

НОВЫЙ
МИР

4

НОВЫЙ МИР

1977

4



1977



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1977 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
- РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Байкальская баллада, стихотворение	3
• АЛЕКСАНДР КРОН — Бессонница, роман	7
ИЗ ЭСТОНСКОЙ ПОЭЗИИ: Дебора Вааранди. Гранатовый плод; Способ жизни. — Эллен Нийт. Искать себя. — Арви Сийг. Ольшаники. — Владимир Бэзкман. Песнь о времени. — Бетти Альвер. Из поэмы «Босая Нога». — Пауль-Эрик Руммо. Ats solaris; В белоснежный город уч; из «Песен Гамлета». — Яан Каплинский. Мечта быть флибустьером.; Глаза. — Яан Кросс. Автобиография вспять. — Матс Траат. Сказка; Учебник; из цикла «Этюды для зажигания». — Эви Ветемаа. Одиноко прильнуть... — Хандо Рунвель. Кристина. — Вийви Луйк. Мольба. — Ли Сеппель. На моих скулах горит нынешнее солнце... — Александр Сууман. Не убивай, не убивай меня!.; Бледная желтизна березы.; Я нарисовал лес... Перевели Д. Самойлов, Юнна Мориц, Борис Штейн, Вячеслав Куприянов, Светлан Семеновко, Арво Метс	81
А. БОЧКИН — С водой как с огнем, рассказ гидростроителя.	94
ЧАРЛЬЗ П. СНОУ — Хранители мудрости, роман. Окончание. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская	127

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СИЛЬВА КАПУТИКЯН — Меридианы карты и души. Окончание. Авторизованный перевод с армянского Т. Смолянской	192
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИЙ ИВАНСКИЙ — Три дня в апреле	209
--------------------------------------	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ ТОЛКУНОВ — Отчуждение юности	230
-------------------------------------	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.	
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ		
М. УРНОВ — Огонь таланта	237	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА		
МОЛОДЫЕ СИЛЫ ЛИТЕРАТУРЫ	244	
В. КАМЯНОВ — По родословной линии	245	
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ		
<i>Литература и искусство</i>		
Николай Воронов. Правда человеческих отношений. — Юрий Домбровский. Начало пути. — И. Питяяр. Во власти впечатления. — Л. Лиходеев. Позволяет надеяться.	261	
<i>Политика и наука</i>		
Г. Резниченко. Проверено в космосе. — Р. Баландин. Город глазами геолога.	273	
КОРОТКО О КНИГАХ: Виктор Широков. — Михаил Синельников. Облака и птицы. Стихи. ♦ А. Любимов. — Анатолий Медников. Свет московских окон. ♦ Б. Пуришев. — Шарль Де Костер. Фламандские легенды. ♦ Ю. Болдырев. — Николай Носов. Повесть о детстве. ♦ И. Пешкин. — А. И. Храмцов. Уральская баллада. ♦ С. Сураг. — Виталий Корионов. Устремленные в будущее. Коммунисты в современном мире. ♦ Б. Розен. — К. Манолов. Великие химики		279
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	285	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288	

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

★

БАЙКАЛЬСКАЯ БАЛЛАДА

Их напрасно весь день искали.
Вдалеке
от привычных дорог
катерок посадило на камни.
Уходил на дно
катерок.
Экипаж катерочка —
четверо,
да еще пассажирка одна..
Видно, так судьбою начертано,
что вода
чересчур холодна.
Знали все
(зачем утешаться
и надеяться на чудеса?) —
в этом климате
можно держаться
на поверхности
полчаса,
а потом..
Да ну его к черту!
Все равно не спасется никто...

Капитан
взглянул на девчонку:
— Парни,
ей-то это
за что?!
Мы
пожили не так уж мало,
а она всего ничего..
Но ведь есть на катере
мачта!
Это ж —
лодка на одного!..
И не надо, сестренка, плакать..
Мы немножко
обманем смерть!..
А она:
— Не умею плавать..
Он:
— Тебе и не надо уметь!..

Знаю, что меня ты
любила понарошку.

Но теперь —
хоть мертвому! —
перечить не моги:
Сбереги Алешку.

Алешку.
Алешку.

Я тебя прощаю.
Алешку сбереги!..»

А четвертый
буркнул нехотя.
— Некому писать!..
Да и — некогда...

...Письма спрятаны в целлофане.
(Лица мокрые,
будто в крови.)

Помолчали.
Поцеловали.
И сказали глухо:
— Живи...—
Подступившие слезы вытерши,
привязали,
сказали:

— Выдержи...—

Оттолкнули,
сказали:
— Выплыви...—
И смотрели вслед,
пока видели...

И плыла она по Байкалу.
И кричала,
сходя с ума!

То ль —
от гибели убегала,
то ли —
к гибели шла сама.

Паутинка ее дыханья
обрывалась
у самого рта.
И накатывалась,
громыкая,
фиолетовая темнота!
И давили

чужие письма.
И всна, как ожог, была...
Почтальонша,
самоубийца —
все плыла она,
все плыла.
Все качалась

под ветром отчаянным,
ослепительным,
низовым...

АЛЕКСАНДР КРОН



БЕССОННИЦА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Пишущий эти строки

Я проснулся среди ночи, разбуженный неясным предощущением. Люди, привыкшие просыпаться за минуту до того, как затрепещит будильник, и бывшие фронтовики, когда-либо дремавшие в ожидании сигнала к выступлению, знают, о чем я говорю. Проснулся я с мыслью об Успенском. Это была даже не мысль, скорее зрительный образ. На одно мгновение, но с такой отчетливостью, как при вспышке молнии, я его увидел. Лицо моего учителя, бледное несмотря на зимний загар, было задумчиво и печально. Таким он запомнился мне во время прошлогоднего юбилейного чествования. Он стоял на краю эстрады, возвышаясь над почтенной публикой первых рядов, высокий, юношески стройный, и смотрел невидящими глазами не в ярко освещенный партер, а куда-то в полутемную глубь ярусов, где над запасными выходами рубиновым светом горели указатели. Стоял неподвижно, и только когда накатывала новая волна аплодисментов, он, как будто очнувшись, медленно и без улыбки склонял свою красивую седую голову. Тогда многие восприняли это как высокомерие...

Чтоб не зажигать яркой лампы, я включил шкалу радиолы и при ее мерцающем свете взглянул на часы. Было две минуты третьего. Повернулся на другой бок с твердым намерением заснуть, но меня тут же заставил подскочить безобразный грохот. Спросонья я забыл выключить приемник, и нагретые лампы обрушили на меня шквал аплодисментов.

У меня есть свои причины не любить аплодисменты, но рукоплескания в третьем часу ночи хоть кого приведут в ярость. Сон как рукой сняло, и по нарастающему чувству тревоги и одиночества я понял, что мне предстоит бессонная ночь.

Мой покойный отец, профессиональный революционер, бывший для своего времени образованным врачом, успел внушить мне кое-какие гигиенические принципы, в том числе стойкое отвращение к сноворотным. Он говорил, посмеиваясь, что искусственный сон это такой же протез, как искусственная нога; когда ему не спалось, он вставал, надевал бухарский халат и садился за письменный стол. Ночная работа редко бывала продолжением дневной, ночью отец делал какие-то заметки, переводил с немецкого, а одно время даже писал социально-фантастический роман. Заметки эти, частью растерянные при переездах, частью отобранные при пограничных досмотрах и

обскаках, не сохранились, роман так и остался неоконченным. Отец говорил, что в ночные, вернее предутренние, часы мозг, даже утомленный, работает наиболее самостоятельно, в эти часы он независимее от давления извне, и что именно днем создается наибольшее количество мифов и стереотипных представлений.

С некоторых пор я все чаще поступаю по примеру отца, и как вещественный след моих ночных бдений у меня накопились кое-какие записи приватного характера, имеющие лишь отдаленное отношение к той исследовательской работе, которой я занимаюсь у себя в лаборатории. Часов около семи я задернул шторы, лег и, вероятно, проспал бы до одиннадцати, но уже в девять меня поднял с постели резкий, прерывистый, настойчивый звонок. Так звонит только тот, кто хочет и имеет право разбудить.

«Паша умер сегодня ночью в два часа. Прошу тебя, не приезжай и не звони, пока я тебя сама не позову. Мне необходим твой совет, а может быть, и помощь.

Бета.

PS. И, пожалуйста, никаких телеграмм».

Вторая записка — на бланке:

«Дорогой Олег Антонович, пересылаю Вам записку Елизаветы Игнатьевны. Она потрясена, но держится с поразительным мужеством. Медицинского заключения еще нет, предполагают инфаркт миокарда. Приезжать Вам пока нет необходимости. Я в Институте безвылазно — звоните в любое время.

Ваша О. Ш.».

О. Ш. — это Ольга Шелепова, секретарь Успенского. Конверт белый, плотный, с грифом нашего Института. Я верчу его в руках, скомкать и бросить — значит, признать и примириться. Логика в этом немного, но не следует преувеличивать место, которое в наших поступках занимает логика.

Когда меня спрашивают, верю ли я в телепатию, я обычно отшучиваюсь. Говорю, что верить можно в пресвятую троицу, а в таблицу умножения верить не надо — ее надо знать. Ответ, конечно, несерьезный. Всякое научное исследование основывается на гипотезе или даже цепи гипотез, в гипотезу можно верить или не верить. Если же говорить всерьез, то вполне допустимо представить себе существование некоторых, еще неведомых нам свойств материи, объясняющих радиобиологический эффект, во всяком случае, мне неизвестен закон природы, который запрещал бы его даже как рабочую гипотезу. Неопровержимый факт — я проснулся с мыслью об Успенском в то самое время, когда он умирал, — сам по себе ничего не доказывает. Но мне на минуту становится жутковато.

Итак, сегодня в два часа... Вчера в два часа мы с Павлом Дмитриевичем Успенским еще бродили по ночному Парижу, днем, вытянув усталые ноги, дремали в самолете, затем ехали в одной машине с Внуковского аэродрома и попрощались небрежно, как люди, которые на днях непременно увидятся и еще успеют обо всем поговорить. Но вот его больше нет, и в дальнейшем мне предстоит адаптировать свою психику с учетом этой новой реальности. Наше сознание консервативно, и в одну минуту это не делается.

— Поедешь, что ли? Я на колесах — доведу.

Голос старческий, стеклянный. Это старик Антоневиц, ветеран нашего Института. Он привез конверт и ожидает ответа. Я спохватываюсь и начинаю его усаживать, как-никак старику все восемьдесят.

Старик решительно отказывается, и тут я вспоминаю, что за тридцать лет нашего знакомства я почти не видел его сидящим. Старик невысок ростом, но на диво крепок, руки у него железные, когда нужно отвинтить тугой кран отопления или выставить забухшую раму, зовут старика Антоневи́ча. От его лысого черепа исходит ощущение несокрушимой прочности, на гладко выбритом лице с ястребиным носом и пронзительными глазками почти нет морщин. Я всматриваюсь в это суровое и непроницаемое, как у римских статуй, лицо и не нахожу видимых следов потрясения. А ведь в течение многих лет Успенский был для старика Антоневи́ча единственным авторитетом, другом, покровителем и объектом неустанных забот. Что это — возрастная самозащита, удивительная и еще до конца не исследованная способность стариков отстранять от себя самую мысль о смерти? Может быть и так, но я почему-то не решаюсь расспрашивать старика, хотя он наверняка знает какие-то неизвестные мне подробности. Подробности, которые ничего не меняют.

— Не поеду, Михал Фадеич, — говорю я.

— А не поедешь, так хоть телеграмму отбей.

Мне удается уговорить старика присесть, и вопреки прямому запрету я принимаюсь сочинять телеграмму. И только измарав несколько листков, понимаю, какое чудо Бета, как точно она угадала, что при связывавших нас троих бесконечно запутанных отношениях невозможно найти такие слова, чтоб они не были фальшивы и оскорбительны. Все эти «глубоко скорблю» и «всем сердцем сочувствую» никак не выражают моего подлинного отношения ни к ней, ни к человеку, которого я попеременно любил и ненавидел, сделавшему из меня ученого и отнявшего любимую женщину, много раз меня предававшему и столько же раз выручавшему... Раз не выражают, значит, лгут.

Старик уходит. По его укоризненному взгляду догадываюсь, что он недоволен мной. Проходит несколько минут, и, стоя у окна, я вижу, как он приближается к нашему старенькому институтскому «ЗИМу». Юра, шофер Успенского, распахивает дверцу, старик нагибается, чтоб сесть рядом. Расстояние придает особую выразительность фигурам, и теперь мне виднее то, что не замечалось вблизи, — как он стар и раздавлен горем.

Итак, на шестьдесят втором году жизни умер Павел Дмитриевич Успенский, выдающийся ученый и общественный деятель, увенчанный всеми доступными ученому лаврами и действительно их заслуживавший; физиолог, оказавший заметное влияние на изучение онтогенеза в нашей стране и за ее пределами, красивый человек, до самой смерти сохранивший мощный голос и стремительную походку, певун, танцор и лыжник, безудержный в работе и в гульбе, равно умевший покорять сердца недоверчивых министерских работников и чопорных кембриджских профессоров, пить водку с сезонниками, строящими нам виварий, и блистать на пресс-конференциях. Его смерть — тяжелый удар не только для родных и друзей, но для всей науки, и в первую очередь для возглавляемого им Института. Она несомненно повлечет за собой множество потрясений и перемен.

Меня всегда забавляло выражение «пишущий эти строки». Почему-то я представляю себе этого пишущего тощим испуганным человеком, выглядывающим из-за частогола строк, одной из тех комических фигурок, какие нынче принято рисовать на полях научно-популярных изданий. Однако деваться некуда, пишущему эти строки пришлось время представиться своему гипотетическому читателю. Гипотетическим я его называю потому, что пишущий эти строки собирался писать совсем другую книгу, эти же строки, порожденные не столь-

ко писательским зудом, сколько бессонницей, набрасывались без какого-либо плана и ясного представления о том, кто их будет читать и будут ли их читать вообще. Пишущий эти строки даже пытался убедить себя, будто делает это исключительно для собственного удовольствия, но очень скоро догадался, что лукавит. Человек, пишущий только для себя, не заботится о том, чтоб быть понятным, достаточно того, что он сам понимает свой код. Да и нет ли в этой формуле «пишу для себя» какого-то коренного противоречия, мы пишем и говорим всегда для кого-то, и разве писать «для себя» не такое же безумие, как произносить речи в пустой комнате?

Поэтому, чтоб не играть в загадки, разрешите представиться: Олег Антонович Юдин, сорока девяти лет, доктор биологических наук, заведующий лабораторией некоего Института, для краткости назовем его Институтотом онтогенеза. В начале апреля сего (1957) года пишущий эти строки договорился с дирекцией Института о трехмесячном отпуске для окончания давно начатой монографии. Работа эта, посвященная некоторым актуальным проблемам возрастной физиологии, — результат многолетних исследований, проведенных в нашей лаборатории, и доступна только специалистам. Я не знаю, как пишутся повести и романы, но научные монографии создаются в лабораториях, накопление и обобщение фактов идут рядом, и ко времени, когда исследователь садится за письменный стол, его задача сводится к тому, чтоб расположить материал наиболее удобным для восприятия образом. Умение писать, на мой взгляд, находится в прямой зависимости от умения мыслить, и я плохо представляю себе настоящего ученого, который нуждался бы в посторонней помощи, чтоб связно изложить то — обычно небольшое, — что не было известно до него. Поэтому при некоторой самодисциплине и отсутствии прямых помех трех месяцев мне должно было хватить.

С некоторых пор я начал ощущать свой возраст и стал чувствителен к быстротечности времени. Боюсь я не смерти, а старости. До старости мне еще далеко, я здоров и при моем обманчиво хрупком сложении довольно силен. В метро мне до сих пор говорят «молодой человек», и я не помню ни одного случая, чтоб кто-нибудь попытался уступить мне место. Вспоминая себя тридцатилетнего, я не нахожу в себе сегодняшнем серьезных возрастных изменений. До известной степени я обязан этим выработавшемуся с годами режиму, тайны из него я не делаю и обычно разочаровываю тех, кто жаждет овладеть секретом молодости. Ничего нового: правильное чередование труда и отдыха, зарядка, пешие прогулки, зимой лыжи, умеренная еда, минимум лекарств, алкоголь только изредка и в символических дозах. Если добавить к этому, что с сорок пятого года я не выкурил ни одной папиросы, то вот, пожалуй, и все, что обеспечивает мою считающуюся завидной спортивную форму. Единственное, в чем я заметно деградировал, это память, некогда феноменальная. Благодаря ей я легко приобретал знания, в том числе много ненужных, изучил без посторонней помощи три европейских языка, умею производить в уме довольно сложные вычисления и играть в шахматы, не глядя на доску. Всему этому я не разучился и сегодня, но кладовые моей памяти переполнены, я стал запоминать труднее и легче забывать. Когда-то я презирал записные книжки, теперь у меня заведена целая картотека; в юности я бездумно расточал свое время, теперь, когда меня приглашают на какое-нибудь не строго обязательное заседание или предлагают прочесть посредственную книгу, я чаще всего отделяюсь шуточной формулой: «Не так долго осталось жить», но вряд ли кто-нибудь понимает, какое нешуточное содержание я в нее вкладываю. Мне надо многое успеть, пока я еще в форме и не окостенел, я при-

хожу в ужас от мысли, сколько времени, необходимого для серьезной исследовательской работы, я уже потерял по самым разнообразным причинам. Достаточно назвать три — войну, несчастливый брак и то смутное для нашего Института время, когда в биологической науке возобладали осужденные впоследствии волюнтаристические нравы и методы. Было бы, впрочем, неверно сказать, что все эти периоды прошли для меня без следа и пользы, жизнь всегда чему-то учит, теряя одно, мы неизбежно приобретаем нечто другое, и я лишь недавно понял, как много для моей работы дали годы, проведенные в армии. Но поторапливаться надо, и это обязывает меня к жесткой организованности, щажу я себя ровно настолько, насколько это необходимо для восстановления энергетических затрат.

Поразмыслив, я решил никуда из Москвы не уезжать. Я живу в новом районе, от моего дома десять минут ходьбы до воды и леса, у меня однокомнатная квартира на восьмом этаже семизэтажного дома (sic¹!), в квартире есть радиолоа и холодильник, через день жилище мое посещает ангел-хранитель в лице нашей лифтерши Евгении Ильичны, а при этом нет ни телефона, ни телевизора — этих основных пожирателей времени. Настоящая «башня из слоновой кости», как будто нарочно созданная для уединения и размышления. Нет ничего печальнее одиночества, но уединение временами необходимо, я жалею людей, которые его лишены, и с подозрением отношусь к тем, кто в нем не нуждается.

Я полагал себя достаточно защищенным и от помех и от соблазнов. Но не рассчитал. Только я разложил свои бумажки, за мной прикатила институтская машина. Шофер Юра ничего объяснить не мог, сказал только, что очень надо. Я ехал, всячески распаяя себя, готовый всеми средствами защищать свой с таким трудом завоеванный отпуск, но мой заряд пропал даром — предстояла заграничная командировка. Пришло приглашение на организационную сессию «L'Institut de la Vie»², международного объединения ученых с несколькими туманными, но благородными задачами, и Успенский предложил мне поехать с ним в Париж в качестве члена делегации и переводчика.

Предложение Успенского было для меня неожиданным и по многим причинам заманчивым. Я состою в переписке с зарубежными научными обществами, некоторые мои работы перепечатаны на Западе, но сам я, если исключить весну сорок пятого года, ни разу не выезжал за границу. Вторая, и не менее существенная, причина: я уроженец города Парижа. Родился там и прожил до четырехлетнего возраста. В Париже на Пер-Лашез похоронена моя мать. Матери я почти не помню, и вообще о парижском периоде жизни у меня сохранились лишь смутные воспоминания, но именно теперь, в сорок девять лет, мне вдруг остро захотелось пройтись по тихой улочке Бизе, найти наш дом, заглянуть во внутренний двор, где цепкая детская память поможет мне угадать наши окна, два зеленоватых окошка на третьем этаже, а затем поехать на кладбище и разыскать могилу матери.

Вся поездка, включая дорогу, заняла всего четыре дня, но вместе со сборами у меня вылетело из отпуска больше недели. Вернулся я перенасыщенный впечатлениями и очень усталый, последнюю ночь в Париже я совсем не спал и очень рассчитывал отоспаться дома. Во Внукове нас встречал заместитель Успенского Алмазов, и, чтоб не показываться в Институте, я там же всучил ему все отчетные документы. По дороге Алмазов рассказывал всякие институтские новости,

¹ Так! (Лат.)

² «Институт Жизни» (франц.).

но Успенский слушал его невнимательно, с хорошо знакомым мне нетерпеливым выражением, вид у него был нездоровый, но ничего особенно тревожного я не заметил. Меня довезли до стоянки такси, и еще через двадцать минут я был дома. Квартиру я нашел в образцовом порядке, тахта застелена свежим бельем, ручной попугайчик Мамаду накормлен и напоен. заглянувши в холодильник, я убедился, что тоже не забыт, мой ангел-хранитель обо всем позаботился. Я выпустил Мамаду из клетки, и произошло трогательное свидание. Мамаду не говорит (говорящего попугая я не потерял бы), но мне приятно его чирикание, и вообще мы отлично понимаем друг друга. Рассказывают, что Иван Петрович Павлов очень сердился, когда его сотрудники говорили о животном, будто оно любит, понимает, грустит etc, для него это было изменой теории условных рефлексов. У себя в лаборатории я полностью разделяю его взгляд, но дома позволяю себе тешиться невинной иллюзией, что Мамаду в самом деле любит меня, скучает, когда меня нет, и радуется нашей встрече. Я поужинал в обществе Мамаду, с удовольствием лег в раскрытую постель, пробежал глазами газету, послушал музыку — по УКВ передавали прелестных старых итальянцев, Вивальди и, кажется, Корелли, — после чего задремал в надежде проснуться часов в семь утра и начать размеренную трудовую жизнь. Однако, как уже известно читателю, мои планы были грубо нарушены.

Я умею заставлять себя работать, и даже бессонная ночь не помешала мне выполнить заданный себе дневной урок. Вечером я перечитал свой опус и лишний раз убедился в справедливости учения Алексея Алексеевича Ухтомского о доминанте — все написанное в этот день никуда не годилось. Как ни старался я сосредоточить свое внимание на осуществленной у нас в лаборатории серии экспериментов, думал я о другом. О Бете. Весь день меня не оставляло желание бросить все дела, подхватить такси и без спросу ворваться в большую, странно необжитую квартиру, где в послевоенные годы я почти не бывал. Но запрет оставался в силе, и я не поехал. А когда наступило время сна, понял, что мне предстоит еще одна бессонная ночь.

У себя в лаборатории я могу часами ждать результатов заложенного эксперимента, но в быту я нетерпелив. Нет ничего томительнее, как ожидать рассвета в одну из таких ночей. За окном стоят плотные чернильные сумерки. Я подхожу к окну и с высоты своего этажа разглядываю знакомый пейзаж — несколько кособоких тополей и огороженный полуразвалившимся забором деревянный домишко, типично пригородный, полудеревенский, с фанерным курятником и старыми, выродившимися кустами смородины, такой дряхлый и неприютный на фоне крупноблочных стандартных новостроек. Законная мусть бледнеет нестерпимо медленно, наблюдать за этим такое же унылое занятие, как отмыкать запущенную авторучку, запасы чернильной синевы кажутся неистощимыми.

Конечно, я думаю об Успенском. Мысли мои столь же смутны, как и чувства. На передовой я видел солдат с тяжелыми ранениями, только что доставленных в медпункт. Они не чувствовали боли. Еще не чувствовали. И почти у всех в глазах — застывшее изумление. Нечто похожее на изумление ощущаю и я. Изумлен, ошеломлен — когда-то на Руси эти слова имели буквальный смысл: ошеломляли ударом по шлему, пытками приводили в изумление... Я пытаюсь осмыслить эту неожиданную смерть, обрушившуюся на головы людей, связанных с умершим десятилетиями совместной работы, дружбой, любовью.

К моему горю примешивается и профессиональный интерес. Одна из самых спорных проблем физиологической науки — граница между

нормальным и патологическим развитием организма. Был ли Успенский болен, во всяком случае болен настолько, чтобы смерть его была неизбежным следствием болезни? Вторая до сих пор не решенная проблема, относящаяся уже к наиболее близкому мне разделу физиологии, — это роль генетического кода и внешней среды в определении продолжительности человеческой жизни. Почему умер человек, который ни одного дня не был стариком? Вопросы эти прямым образом связаны с темой моей монографии, где я впервые, во всяком случае одним из первых, ввожу понятие надежности человеческого организма, и я несколько стыжусь, что они меня занимают. В конце концов, не столь существенно, отчего он умер, важен самый факт, важно то, что происходит сейчас с Бетой, которая, вероятно, тоже не спит, лежит с открытыми глазами в своей комнате или бродит по ненужно огромной и враз опустевшей квартире, а может быть, сидит в Пашином кабинете перед письменным столом с выдвинутыми ящиками, перебирая пачки писем и бумаг...

Я задергиваю шторы, иду к своему письменному столу и запускаю руку в секретный ящик. С тех пор как мы с Лидой разошлись, нужда в тайниках отпала, но я по-прежнему держу в этом отделении немногие сохранившиеся у меня письма Беты, в том числе и последнюю записку. Немногие, потому что всю переписку военных лет сжег еще в Берлине. Я перечитываю эти коротенькие записки, очень нейтральные и все-таки ни на кого не похожие, пытаюсь вычитать между строк больше того, что там написано, но безуспешно, они значат только то, что значат. Затем вновь задергиваю шторы. Чернильная муть еще несколько побледнела, но до солнца еще далеко.

Дом, в котором я живу, начал строиться еще до войны, но достроен недавно и второго такого во всей округе нет. Квартира моя тоже единственная в своем роде и больше похожа на мастерскую художника, чем на нормальную жилплощадь. Формально однокомнатная, она простирается с юго-запада на северо-восток, полукруглое окно моей комнаты венчает фасад, кухонное оконце выходит во внутренний двор. Между комнатой и кухней расположено полутемное, без окон помещение, которое наш управдом называет «холлом», а Евгения Ильинична «горницей». Сюда выходят двери ванной и уборной, рядом крошечная прихожая. Горница считается подсобным помещением, но без него я бы пропал, у меня несколько тысяч книг, большой архив из картотека, здесь стоят холодильник и обеденный стол, здесь же я принимаю редких посетителей, в своей комнате я только сплю и работаю. Полная тишина, соседей никаких, лифт доходит только до седьмого этажа. Единственное неудобство — прямо подо мной домовая арка с железными воротами, и даже зимой сквозь двойные рамы слышно, как рычат грузовики с товарами для занимающих весь нижний этаж магазинов. Лязгает железо, гремят пустые бидоны, переругиваются шоферы. Но на сей раз я с нетерпением жду — пусть скорее раздадутся эти малоприятные звуки или хотя бы петушинный крик. Увы, единственный сохранившийся в нашей округе петух кричит крайне нерегулярно, его инстинкт подточен одиночеством, ему не с кем перекликнуться. Нечто подобное испытываю и я, пожалуй, впервые за все месяцы, что я здесь живу, уединение становится мне в тягость.

Кончается все тем, что я малодушно отступаю от своих принципов, разыскиваю в сохранившейся с военных лет походной аптечке какие-то сомнительные таблетки, не то нембутал, не то барбамил, и под утро забываюсь тяжелым, неосвежающим сном. Снятся мне Бар-Бамил и Нем-Бутал — грозные ассирийские военачальники с туго завитыми черными бородами и жестокими петушиными глазами.

II. Старик Антоневи́ч

Старик Антоневи́ч — личность легендарная.

Легендарный совсем не значит прославленный или знаменитый. Для возникновения легенды должны быть два необходимых условия — общественный интерес и недостаточность информации. Тогда легенда рождается естественно. Наш век страдает не от недостатка информации, а от ее избытка. Легенда обречена на вымирание.

Старик Антоневи́ч мало известен за пределами нашего Института. Зато внутри он необыкновенно популярен и окружен ореолом тайны.

Никто не знает, когда и каким образом старик Антоневи́ч появился в стенах особняка на Девичке, где и поныне помещается наш Институт. Считается, что он был всегда, есть и будет вечно.

Институтское предание утверждает: когда основатель и будущий глава Института Павел Дмитриевич Успенский впервые постучался у входа в особняк, дверь ему отворил старик Антоневи́ч.

По штатному расписанию старик Антоневи́ч числится гардеробщиком. Но это никак не исчерпывает его обязанностей и не определяет его подлинного места в институтской иерархии.

Гардеробной у нас служит тесноватый и темноватый закуток в вестибюле, слева от входной двери. В закутке помещается древняя вешалка, ящик с сапожными щетками и доска для ключей. От вестибюля закуток отделен прочным барьером с тяжелой откидной доской. Обычно старик Антоневи́ч стоит за барьером, опершись локтями на доску, и смотрит перед собой твердым немигающим взглядом. У всех проходящих с улицы этот взгляд почему-то вызывает желание немедленно и тщательно вытереть ноги. Старик знает в лицо и по фамилии каждого сотрудника Института, всех пришлых он мгновенно и безошибочно классифицирует, и хотя с некоторых пор ему запрещено допрашивать посетителей, куда и зачем они идут, старик смотрит на них как-то так, что они сами ощущают настоятельную потребность обратиться к нему за справкой и тем самым косвенно представиться.

Все научные сотрудники носят на работе белые халаты, технический персонал — синие. Старик Антоневи́ч носит белый халат, а на лысой голове накрахмаленную белую шапочку. Вид у него и так внушительный, а твердые, исполненные спокойного достоинства манеры заставляют самых бесцеремонных остряков воздерживаться от излишней фамильярности. Все мы очень привязаны к Институту и, естественно, переносим часть этой привязанности на старейшего из абorigенов, носителя его духа и традиций.

Гардероб обслуживает только посетителей, но в закутке у старика можно увидеть всех и вся — от солидных докторов наук до практикантов и девчонок из вивария. Один забегает почистить башмаки, другой — вывести пятно, третья — спасти поползший капроновый чулок. У старика Антоневи́ча есть клей, воск, бензин, ацетон, мед, сурик, нитки, гвозди, шурупы, лейкопластырь, салол и английские булавки. У него можно взять напрокат расческу, молоток, утюг и даже штопор. Он умеет починить все, кроме электроприборов. Старик прижимист, но некоторым, особо доверенным, удавалось перехватить у него до полочки. Все эти услуги Михаил Фадеевич оказывает совершенно безвозмездно, но очень любит получать премии и почетные грамоты. На всех профсоюзных собраниях он неизменно избирается в президиум и сидит всегда на одном и том же месте в первом ряду с самого краю. Сидит очень прямо и неподвижно и смотрит в зал. Трудно понять, слышит ли он, что говорится с трибуны, вероятно, слышит, однако я не помню случая, чтоб он подал реплику или улыбку.

нулся. Когда собрание аплодирует, он тоже хлопает, не изменяя позы и выражения лица. Даже принимая очередную грамоту, он никак не обнаруживает своих чувств и не произносит ни слова, а только кланяется.

Я бы дорого дал за то, чтоб увидеть своими глазами первую встречу между стариком Антоневицем и Павлом Дмитриевичем Успенским. Эта историческая встреча, историческая в точном смысле слова, ибо с нее начинается история Института, произошла еще до моей эры. Будущий академик не имел в то время европейского имени и соответствующей осанки и был всего-навсего тощим длинноногим парнем в долгополой кавалерийской шинели, с вещевым мешком вместо портфеля и с устрашающих размеров мандатом. Мандат открывал ему двери особняка на Девичке и предписывал всем учреждениям и лицам оказывать товарищу Успенскому всемерное содействие. Прежде чем впустить пришельца в вестибюль, старик Антонец (стариком его звали уже тогда) заставил товарища Успенского долго и тщательно вытирать забрызганные дорожной грязью сапоги, а затем, изучив мандат и убедившись в его подлинности, объявил, что требуемое содействие будет оказано, но при условии: соблюдать порядок, ничего с мест не трогать, мебели не портить, грязи не разводить и, главное,— чтоб никаких собак и кошек. Юмор положения заключался в том, что товарищ Успенский прибыл из Ленинграда с единственной целью — создать в Москве лабораторию из правых филиала Павловского Института и провести в ней ряд опытов на животных. Не хочу расписывать то, чему не был свидетелем сам, но известно, что не прошло и недели, как в особняке на Девичке завизжали пелы и застучали топоры. В барски просторных, соединенных высокими двустворчатыми дверями покоех ставились фанерные перегородки, а в подсобных помещениях наспех сколачивались клетки для подопытных собак. Эти скупые сведения получены мною из надежнейшего источника, каким всегда была для меня покойная Пашина жена Вера Аркадьевна. Стоустая молва разукрасила их разными трагикомическими подробностями. Когда Успенского впоследствии спрашивали, так ли все это было, он только усмехался и говорил «приблизительно». Мне же он как-то признался: «Да, была борьба...»

Борьба бесспорно была, но к тому времени, когда мы — я и друг моей юности Алешка Шутов — впервые переступили порог особняка на Девичке, она уже закончилась полной победой Успенского, старик был полностью покорён и смотрел Паше в рот. В ту пору Паша лучше понимал людей, чем в последние годы, у него хватило великодушия заключить со стариком мир, почетный для обеих сторон, и если старик Антонец не стал впоследствии помощником директора или хотя бы комендантом здания, то виной тут не возраст и не малая грамотность, а мистический страх перед казенной бумагой и неистребимая привычка делать все своими руками. Властный и упрямый, он не обладал самым необходимым для начальника умением — заставлять работать других.

Называя Алешку Шутова другом своей юности, я говорю правду, и эта правда колет мне сердце. Мы должны были остаться друзьями на всю жизнь, но жизнь нас разнесла в разные стороны, и виноват в этом больше я, чем он. Произошло это незаметно и как будто беспричинно, мы всегда были разительно несхожи, и это не мешало нам дружить, мы в чем-то дополняли друг друга. У меня сохранилась фотография студенческих лет: стоят, обнявшись, невысокий блондинчик в весе пера, с хитрой мордочкой благовоспитанного, но непочтительного подростка, скромно, но чистенько одетый, и длиннорукий верзила, большеротый и патлатый, в железных очках, обмотанных по пе-

реностью суровой ниткой, в расстегнутой на волосатой груди застиранной ковбойке. Сухарем я себя не считаю, и с моими помощниками у меня самые простые отношения, но, на мой взгляд, научная работа требует систематического труда и даже некоторого педантизма. Алешка — типичный халдей (мужской род от слова «халда»), щедрый, бесцеремонный, шумный, беспорядочно увлекающийся, верный и ненадежный. Студентом он смахивал на бурсака и остался таким и в Институте. Любимое слово Алешки — «фешенебельный». Слово это он произносит с непередаваемо фатовской интонацией, вставляя после первого слога фыркающий смешок, трудно понять — презрительный или восторженный. Алешка и фешенебельность — взаимно аннигилирующие понятия, о чем свидетельствует следующий эпизод. Уже в институтские времена он неожиданно для всех и для себя самого влюбился в нашу первую красавицу Милочку Федорову, и Милочка, очень хотевшая выйти замуж, назначила ему свидание. По этому случаю Алешка надел свою лучшую рубашку из искусственного шелка. Рубашка была роскошная и дорогая, но стирал и гладил ее он сам, отчего воротничок сразу скукожился и потерял всякую форму. Но все решила пуговица. Взамен потерявшейся шейной пуговицы Алешка впопыхах пришил другую — белую полотняную, такие пуговицы изготавливались специально для кальсон. Увидев эту пуговицу, Милочка зашла от смеха, а, как справедливо заметил Стендаль, смех убивает зарождающуюся страсть.

В особняк на Девичке нас с Алешкой загнала голодуха. Мы учились на первом курсе, и стипендии нам не хватало даже на еду. А у нас были и другие потребности, мы ходили на дешевые места к Мейерхольду и в Третью студию и любили рыться в книжных развалах у китайгородской стены. Одноразовое питание в студенческой столовой явно не возмещало затрачиваемых калорий, и через несколько месяцев такой жизни мы стали ходить пошатываясь и дремать на семинарах. Бесконечно это продолжаться не могло, и однажды, выходя из пропитанного капустными миазмами двора, где помещалась столовка, на булыжные просторы Малой Бронной, Алешка заговорил об этом напрямик.

— Лешенька,— сказал он, как всегда мыча и похохатывая,— если мы с тобой и дальше будем столоваться в этом фе(ха!)шенебельном заведении, то непременно околеем. Может быть, ты при своем субтильном сложении и продержишься до конца семестра, но за себя я не ручаюсь. В мещанском городе Ранненбурге, откуда я веду свой род, меня приучили к мясной пище. Я непоправимо развращен.

— Лешенька,— сказал я (мы оба были Лешки, хотя я Олег, а он Алексей).— Что ты предлагаешь? Я знаю только два пути к улучшению нашего благосостояния — тяжелый физический труд и самое низкое попрошайничество. И то и другое испробовано.

— Я предлагаю третий путь.

— Например?

— У меня есть на примете одна собачка...

— Ты предлагаешь ее съесть?

— Не остри. Съесть, но не в буквальном смысле. Я предлагаю отвести ее в одно родственное медицине учреждение и получить за нее обусловленную плату.

— Лешечка,— сказал я, подумав.— Что-то не по душе мне это предприятие.

— Конечно, занятие не слишком фешенебельное. А какой выход? Вы весьма тонко изволили заметить: платят за труд или за позор. Я предлагаю золотую середину. Кстати, собаку тебе ловить не при-

дется, собака уже третий день содержится у моей квартирной хозяйки, и я кормлю этого пса из собственных средств...

— Прекрасно, у тебя есть собака. А я при чем?

— Лешенька! — На угреватой и бугристой, но неотразимо милой Алешкиной морде я прочитал искреннее огорчение. — Лешенька, позволь мне напомнить, что мы с тобой в некотором роде друзья, отчасти тезки и до сих пор у нас было все общее — от научных взглядов до талонов на обед. Почему у нас не может быть общей собаки? Для дебюта нам ее вполне хватит на двоих. К тому же я начинаю привязываться к этой животине и мне нужен товарищ, который возмет на себя часть греха, ибо замечено, что грех коллективный, так сказать групповой, переносится легче, нежели индивидуальный.

В тот же день мы явились к хозяйке, у которой содержалась собака, и нашли обеих в состоянии крайнего остервенения. Алешка, конечно, приукрасил действительность, утверждая, что кормит пса за свой счет. Два дня кормила пса хозяйка, а на третий забастовала. Хозяйку мы кое-как уживомирили, поманив ее разработанным нами планом быстрого обогащения, удалось это нам исключительно потому, что многодетная вдова, у которой снимал угол. Алешка, происходила из того же славного города Ранненбурга, расположенного в самом сердце Рязанской области, тогда еще губернии. По моим наблюдениям, ранненбургцы доверчивы и отходчивы и среди них очень сильные земляческие связи. Затем, покормив пса в последний раз, мы отконвоировали его до трамвайной остановки. Из попытки провезти собаку на задней площадке прицепного вагона ничего не вышло, нас высадили и не оштрафовали только потому, что сразу поняли всю безнадежность этого предприятия. К концу дня мы, совершенно вымотанные, с собакой на поводке, вошли во двор «городской усадьбы конца XVIII века» и позвонили у парадного входа. Дверь нам открыл старик Антоневиич.

Надо прямо сказать, встретил он нас неприветливо, долго не впускал в вестибюль, а впусивши, с таким молчаливым презрением разглядывал нашу дворнягу, что мы уже были готовы отдать ее даром и, наверно, отдали бы, если б в это время не вошел в вестибюль Паша, Павел Дмитриевич Успенский, такой, каким он живет в моей памяти и сейчас, после тридцати лет знакомства, высокий, худой, как-то по-кавказски стройный, в туго перетянутой ремешком гимнастерке, чуваках и шерстяных носках поверх тесных в икрах и широких с боков брюк-галифе, юноша, несмотря на заметную уже тогда седину, с быстрым взглядом очень светлых, веселых и бесстрашных глаз. Вышел и решил нашу судьбу на долгие годы. Он сразу же оценил положение и захотел. Затем распорядился принять собаку и расплатиться с нами по самой высшей ставке. «Для почина», — сказал он, хохоча. Появилась сурового вида старуха, как мы потом узнали, жена Антоневиича, и увела пса. Пес упирался и смотрел на нас с укором. Мы уже собрались уходить, но Успенский пожелал узнать, кто мы такие. Выяснив, что я медик, а Алешка биолог, он предложил нам посмотреть лабораторию, помещавшуюся в том крыле, где теперь конференц-зал. Вероятно, сегодня она произвела бы на нас самое невыгодное впечатление — захламленная, кустарно оборудованная, со знакомым по анатомичке тяжелым запахом. Но в то время мы все, включая хозяина лаборатории, не утерjali еще той детской силы воображения, которая превращает три опрокинутых стула в курьерский поезд, а главное, Паша помог нам увидеть завтрашний день лаборатории, а ей действительно предстояло со дня на день развернуться в самостоятельный научно-исследовательский Институт. Затем он поил нас чаем с печеньем «Альберт» и за чаем покориł совер-

шенно — простотой, смешливостью, безграничной смелостью своих проектов. Прощаясь, Успенский разрешил нам заходить в любое время, и через неделю мы были в особняке своими людьми, мы топили печки, мыли пробирки, ловили крыс и приبلудных кошек. За это нам разрешалось присутствовать при экспериментах, и мы быстро сошлись с немногочисленным штатом лаборатории, состоявшим из нескольких славных ребят, еще не имевших ученых степеней, и первой жены Успенского Веры Аркадьевны, тихой и болезненной женщины старше его на несколько лет. В ту пору еще не привилось одностороннее начальственное «тыканье», мы без всяких брудершафтов стали говорить Успенскому «ты» и называть его Пашей, что ничуть не мешало ему оставаться для нас почти непререкаемым авторитетом. Почти, потому что Паша не только позволял, но требовал, чтоб с ним пререкались. Он любил спорить, спорил жестко и неуступчиво, но на равных, и, хотя наши силы были далеко не равны, сердился, если с ним слишком легко соглашались. Poleмика была его страстью, и в предвидении будущих схваток он не упускал случая потренироваться. Вера Аркадьевна в наших спорах не участвовала, но когда Успенский в полемическом задоре начинал грубить или передергивать, она, улыбаясь, произносила только одно слово «Па-ша», в крайнем случае подавала короткую реплику, и нас всегда поражало магическое воздействие на Успенского этих вялых реплик. К нам с Алешкой Вера Аркадьевна относилась по-матерински и при случае подкармливала.

И только со стариком Антоневичем отношения складывались трудно. Старик нас не любил и придирился. Я долгое время не мог доискаться причин этой устойчивой неприязни и лишь много позже понял — это была ревность. Старик был горд и, как большинство гордецов, ревнив. Мысль, что какие-то пришедшие с улицы мальчишки сразу стали своими людьми, была для него непереносима. Вероятно, он лучше, чем мы тогда, понимал некоторые опасные черты характера своего покровителя. Паша был человек увлекающийся. В людей он влюблялся. А потом остывал. В этом не было ничего рассчитанного, он был коварен, как бывает коварна погода. Кроме того, он любил людей забавных. Алешка его забавлял. Антоневиц тоже забавлял Успенского, но по-другому. Старик был полностью лишен юмора и все понимал буквально. Это больше всего веселило Пашу, и старик, не всегда разбираясь в причинах веселости патрона, немножко обижался.

Теперь все переменялось. Алешки давно нет в Институте, и единственный, кто, хотя и с оттенком пренебрежительной ласки, его все-таки вспоминает, это старик Антоневиц. Меня же с некоторых пор старик зауважал, и мне передавали, что он считает меня первым (после Успенского, конечно) человеком в Институте. На каких основах покоится это убеждение, мне неизвестно, но старик убежден в этом твердо и единственное объяснение я нахожу в том, что твердые убеждения зачастую обходятся без всяких оснований. Старик ревновал напрасно — проработав с Успенским больше тридцати лет, он, быть может, единственный не испытал на себе неустойчивости Пашиных настроений и привязанностей. Все наши хозяйственники и администраторы, включая нынешнего заместителя директора Алмазова, начинали с попытки убрать старика Антоневица. Пора, говорили они, запретить сотрудникам раздвигаться в лабораториях, надо сделать большую современную вешалку и пригласить гардеробщиков из артели с материальной ответственностью за возможные пропажи. Но Успенский не давал старика в обиду. А после смерти жены Антоневица (она умерла в сорок четвертом, почти одновременно с Верой Аркадьевной) Успенский вопреки всем кодексам установил для ста-

рика трехмесячный отпуск. Гардероб закрывался, старик уезжал на все летние месяцы в Беловежскую пуцу, где жила его родня, и возвращался только к первому сентября. Со стороны Успенского это была настоящая привязанность, к которой примешивалось что-то вроде суеверия.

Я уж не помню всех небылиц, что рассказывались о старике в течение трех десятилетий. Это был настоящий фольклор, передававшийся из поколения в поколение и прорывавшийся в намеках, которых старик не понимал, в репертуар нашей институтской живой газеты, носившей жутковатое название «Вскрытие покажет». Газета эта играла заметную роль в жизни Института, и хотя в разное время находились охотники ее прикрыть, она всякий раз возрождалась, как феникс из пепла. Последний запрет, уже в послевоенный период, исходил непосредственно от Успенского, и то, что этот умный, смешливый и не мелочный человек мог разъяриться на довольно безобидные шпильки, было для многих из нас не только неожиданностью, но и сигналом о каком-то надвигающемся неблагополучии. Но недаром говорится «гони природу в дверь, она влетит в окно»; после ликвидации живой газеты буйно расцвел устный фольклор, посвященный старику Антоневичу. Стараниями наших остряков старик превратился в полумифическое существо, охраняющее «городскую усадьбу» с конца XVIII века, мудрое в своем глубоко невежестве. Каждый третий аспирант умел подражать его стеклянному голосу, старику приписывались афоризмы, вряд ли ему принадлежавшие, и критические замечания, авторы которых почему-либо желали остаться неизвестными. Как всякая гипербола, эти рассказы заключали в себе и некоторую долю правды. Все они так или иначе вертелись вокруг подлинных качеств старика: его возраста, его крепости, его упрямства, его преданности, его скупости, его честности. А при этом никто, кроме, может быть, Успенского, не знал толком его жизни, хотя жил он тут же, во дворе Института, никто не знал, о чем он думает, стоя за своим барьером.

У меня нет охоты развлекать моего гипотетического читателя пересказом всяких аспирантских баек. Наоборот, я попытаюсь соскрести со старика приставший к нему налет легенды и рассказать несколько подлинных историй, за достоверность которых могу поручиться.

Первая из них относится к осени сорок восьмого года, когда по многим научным учреждениям прокатилась волна проработок. Подвергались публичному поруганию формальные генетики, противники методов академика Лысенко, менделисты-морганисты, слишком ревностные сторонники теории относительности и только зарождавшаяся в то время кибернетики.

Но я отвлекся от старика Антоневица. Кажется, я уже упоминал, что старик всегда стоит за барьером раздевалки, опираясь руками на дубовый прилавок. Это не совсем точно. В дни открытых заседаний ученого совета, публичных защит и научных сессий старик Антоневиц, продолжая зорко приглядывать за входом и вешалкой, подолгу простаивает у приоткрытой двери конференц-зала и слушает. Что он при этом понимает — бог весть. Даже самые необузданные фантасты из числа молодых сотрудников не решились бы утверждать, что старику внятен язык наших диссертаций и рефератов, наоборот, известно, что, ежедневно наблюдая установленный в вестибюле бюст Ильи Ильича Мечникова, он до сих пор не знает, кто это такой. И, вероятно, не меня одного занимал вопрос, что же заставляет старика Антоневица, человека при всей его малоподвижности дея-

тельного, часами прислушиваться к речам на непонятном языке, тем более таинственном, что в нем иногда попадаются знакомые русские слова. В конце концов я проник в эту загадку. И проник совершенно случайно.

Произошло это на второй день чрезвычайной сессии нашего Института, сохранившейся в памяти коллектива как «антинеомальтузианская». Почему подвергшиеся на этой сессии разгрому видные ученые и способная молодежь обвинялись именно в неомальтузианстве, мне не вполне ясно и поныне, с таким же успехом их можно было обвинить в неокантианстве, сюрреализме или эксгибиционизме. Теперь я глубже постигаю смысл происходившего, но об этом при случае. Вопреки традиции открытие сессии происходило не в нашем скромном конференц-зале, а в одном из крупнейших концертных залов Москвы, при большом стечении разношерстной публики, привлеченной отчасти присущим всем смертным интересом к проблемам возрастной физиологии, отчасти роскошным буфетом и раскинутыми в нижнем фойе книжными и промтоварными ларьками; участникам и гостям сессии продавались сонеты Шекспира в переводе Маршака, импортные шариковые ручки и безразмерные нейлоновые носки. Но, пожалуй, более всего привлекала людей жажда зрелища. И они его получили. В освещенном жаркими юпитерами президиуме можно было увидеть многих именитых людей, явившихся во всем блеске своих орденов и лауреатских знаков, они совсем потеснили скромных членов нашего ученого совета. Из трех основных докладчиков только Успенский был физиологом. Недавно я перечитал стенограмму его доклада со странным чувством: не прошло и десяти лет, а многое из того, что он говорил тогда, уже звучит средневековой схоластикой. О ходе дискуссии, сыгравшей печальную роль в жизни нашего Института, у меня нашлось бы что порассказать, для данного же случая достаточно знать, что это была трехдневная коррида, где у быков были заранее спилены рога, а для того, чтоб стать матадором, не требовалось ни умения, ни мужества.

Дискуссии никакой и не было. Ни на том первом заседании, ни на следующих, происходивших уже менее парадно в нашем институтском конференц-зале. Пожалуй, самое гнетущее воспоминание оставило у меня вечернее заседание второго дня, на котором мой выкормыш Коля Вдовин, чью весьма посредственную диссертацию мы общими усилиями довели до кондиции, громил и мордовал одного из самых талантливых аспирантов, Илюшу Славина. Фаламова ослица вдруг заговорила, и таким мощным басом, что многие сердца содрогнулись от дурных предчувствий. Вдовин стоял на трибуне под мраморной доской, где золотыми буквами было высечено известное изречение Маркса, что в науке не существует столбовых дорог, и топтал Илюшу за то, что он пытается стащить возрастную физиологию со столбовой дороги, проложенной трудами советских ученых. Он громил его недавно законченную и еще не вышедшую из стен нашей лаборатории, кое в чем спорную, но блестящую по смелости и таланту диссертацию. Я взглянул на Успенского. Он сидел на председательском месте с безразлично-отчужденным видом. Сразу после речи Вдовина я вышел из зала. Я не курю, но в эту минуту мне было легче дышать в насквозь прокуренном вестибюле. Проходя мимо стоявшего в дверях старика Антоневиича, я встретился с ним глазами и вдруг открыл для себя, что старик понимает, что происходит в зале, понимает так же, как я, или, как мне теперь кажется, лучше, чем я. Конечно, он не знал, что такое констелляция и почему плох ламаркизм, но он явственно различал злобу и соперничество, подозрительность и страх, владевшие в те дни нашим мирным конференц-залом.

Я был в то время настолько наивен и самонадеян, что после заседания подозвал к себе Вдовина и попытался его вразумить. А фронт был полный. Вдовин, доселе благоговевший перед моей ученостью и генеральством, отвечал мне вежливо, но уклончиво и даже с каким-то чувством превосходства. Он дал мне понять, что выступал по велению своей гражданской и научной совести и ему странно слышать, как я, всегда ратующий за свободу научной дискуссии, хотел бы зажать ему рот. Как и в единоборстве с Марксом, счет был один—ноль в его пользу.

Мы выходили из Института, когда все уже разошлись. Проходя по полутемному вестибюлю, я заглянул за барьер раздевалки и заметил сидевшего на сапожном ящике Илюшу. Он жевал колбасу, а на полу валялась пустая четвертинка. Рядом стоял старик Антоневиц, заметив нас, он попытался загородить Илюшу полами своего халата. И так, этот скупец и трезвенник сделал то, что не пришло в голову никому из друзей, он, не мудрствуя лукаво, достал где-то водки и отпаивал потрясенного мальчишку. На Вдовина старик посмотрел с ненавистью, на меня — с укоризной.

В последний день на утреннем заседании выступал я. Тогда многим, и в первую очередь мне самому, казалось, что моя речь была актом высокого гражданского мужества. Не вступая в спор по существу, я сказал, что никто не имеет права судить о незаконченной и не представленной для публичного обсуждения работе, попутно мне удалось оспорить некоторые частные замечания Вдовина, уличив его в элементарном невежестве, и вызвать смех в зале, но даже эта робкая попытка соблюсти достоинство вызвала раздраженный визг, у Вдовина оказались подголоски из числа бывших молчаливков. Успенский сидел, как всегда, очень прямо, в окаменении его скул читалось бешенство. Ему было противно слушать Вдовина. Но меня еще больше. В переполненном конференц-зале стояла невыносимая духота, двери в вестибюль были раскрыты настежь, и с трибуны я все время видел смутно белеющий халат старика Антоневица. И, быть может, я должен взять на себя часть вины за то, что в этот день впервые за всю историю Института из гардеробной украли шинель, принадлежавшую нашему уважаемому гостю, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки, действительному члену АМН СССР, генерал-лейтенанту медицинской службы и прочая и прочая, известному всем и каждому под кодовым названием Великий Хирург. Почему украли шинель, хорошую, дорогую, но все-таки только шинель, и не взяли меховое манто или заграничное пальто из замши, так и осталось неизвестным. Кража никогда не была раскрыта.

Великий Хирург был очень недоволен. Не то чтоб он был так уж расстроен пропажей, надо думать, шинель у него была не одна, но он был сердит, что убил три дня на сессию, целям которой не почувствовал, сердит на себя, что десять минут назад проголосовал за резолюцию, огульно осуждавшую научные работы, которых он не читал, сердит на Успенского, не без умысла втащившего его в президиум, под яркий свет юпитеров и вспышки репортерских блицев. Вопреки своей обычной мягкой манере он был очень суров со стариком Антоневицем, сказал, что заставит Институт возместить ему понесенный ущерб, и, все еще кипя, отбыл за рулем своей «Победы».

Присшествие сразу стало известно всему Институту и на некоторое время умягчило создавшееся после сессии умонастроение, внеся в него гуманно-юмористическую нотку. Самых разных людей, принадлежавших к различным течениям, что не помешало им друж-

но проголосовать за резолюцию, призывавшую к единству, на время объединило сочувствие глубоко потрясенному человеку. Люди, знавшие старика, не могли не понимать, что произошла трагедия, и дело тут не в стоимости генеральской шинели, а в чувстве вины, в пошатнувшейся репутации, в оскорбленной гордости доселе безупречного стража. Боялись, что старик заболит, но на следующее утро, хотя и заметно осунувшийся, он был на посту. Мне кажется, что в этот день гораздо больше говорили о пропавшей шинели, чем о прошедшей сессии. Аспиранты много и грустно острили, вспомнили даже об Акакии Акакиевиче, впрочем, больше по контрасту, чем по сходству характеров, но в самой ситуации и впрямь было что-то гоголевское.

В конце рабочего дня мне позвонил Успенский и попросил зайти. Я шел с тяжелым чувством, предвидя неприятный разговор о моем вчерашнем выступлении. Паша встретил меня хмуро, спросил о каких-то пустяках, но о сессии не обмолвился ни словом; мы были слишком близки, чтоб, оказавшись с глазу на глаз, играть словами, и уже достаточно разобщены, чтоб не быть откровенными. Наступала пора умолчаний и недомолвок, и прошли годы, прежде чем мы снова заговорили так, как разговаривали в свое время. Впрочем, началась эта пора еще раньше, но на то были мотивы личные... Разговор происходил в его обставленном карельской березой директорском кабинете, где с высоты книжных шкафов меня разглядывали пустыми глазами мраморные бородачи. Я уже собирался уходить, когда он спросил — нарочито небрежно:

— Да, кстати... Скажи, пожалуйста, сколько стоит построить шинель?

Ему явно нравилось слово «построить».

— Какую?— спросил я, чуточку смущенный.

— Такую, как у тебя.

Он знал, кого спросить. В то время я еще служил по военно-медицинскому ведомству и, получив звание генерал-майора, приходил в Институт в военной форме чаще, чем этого требовали обстоятельства.

— Терпимо,— сказал Паша, когда я назвал сумму.— При Николае Палкине генеральская шинель с бобрами обошлась бы дороже. Наши добрячки из месткома просят меня премировать старика, чтоб таким образом покрыть грех. Глупо. Во-первых, я при всем желании не могу дать ему больше месячного оклада. А во-вторых,— он вдруг захохотал,— если мы начнем премировать виновников хищений, боюсь, у нас найдется много желающих. Короче говоря, вот.— Он вытащил из ящика обандероленную пачку.— Я тебя очень прошу, съезди к Мстиславу Александровичу, ты с ним хорош, отвези деньги и поговори с ним. Попросту, как генерал с генералом.

— При одном условии,— сказал я.— Грех пополам.

На следующий день я созвонился с Великим Хирургом и вечером был у него. Добрейший Мстислав Александрович встретил меня со своим обычным радушием, он не только не дулся, но скорее испытывал неловкость за свою вспышку, когда же я очень осторожно навел разговор на историю с шинелью, он совсем засмутился, взял меня за руку и повел в прихожую, где в продавленном кресле, стоявшем там, вероятно, с начала века, лежал какой-то узел.

— Вот,— сказал Великий Хирург. Вид у него был растерянный.— Принес и ушел. Понимаете, все вплоть до погон и пуговиц. И даже вот,— он показал конверт,— деньги на шитье. Получается совсем неловко, шинель-то как-никак ношенная...

Я был удивлен не меньше, но сумел скрыть свое удивление и заверил Великого Хирурга, что никакой ошибки не произошло. Утром я,

как всегда, был в Институте. Первый, кого я увидел, был старик Антоневи́ч. Старик стоял на своем обычном месте, опираясь на прилавок, и смотрел перед собой твердым немигающим взглядом. Он кивнул мне и отвернулся. Я понял почему. Он не хотел никаких вопросов. Бесполезно было бы предлагать деньги. Он бы не взял. Инцидент, происшедший между ним и Великим Хирургом, касался только их двоих. Это поняли все. Говорят, что старик Антоневи́ч в один день потратил сбережения всей жизни. Очень может быть.

Второй памятный случай произошел примерно через полгода после той сессии. За эти месяцы в Институте многое изменилось. Если задачей сессии было добиться единства, то заплатили мы за него слишком дорого. Раньше Институт объединял по-разному думающих, но единых в своих устремлениях людей. Теперь — внутренне глубоко разобщенных. Вдовин забрал большую силу. Вскоре он стал ученым секретарем Института. На заседаниях ученого совета он держался хозяином и даже позволял себе перебивать Успенского. Успенскому это нравиться не могло, и, наверное, он уже жалел, что выпустил этого духа из бутылки.

Вдовину удалось убрать из Института самых непокорных, а остальных заставить замолчать. Илюше не дали защитить диссертацию, ему пришлось уйти. Не сомневаюсь, что Вдовин охотно избавился бы и от меня. Но я был под двойной защитой — армии и Успенского. Вдовин это понимал и до поры меня не трогал. Тем яростнее он повел атаку на старика Антоневи́ча.

Пути человеческой ненависти так же неисповедимы, как пути любви. Чем мог так прогневить ничтожный гардеробщик могущественного секретаря? Неужели Вдовин запомнил его презрительный взгляд? Может быть. А может быть, ему хотелось выкорчевать всякое напоминание о прошлом Института, о всем том милом, домашнем, непринужденном, что еще сохранялось в его нравах и обычаях? Но тут нашла коса на камень. Успенский старика не отдавал.

На одном из еженедельных совещаний заведующих лабораториями, происходившем, как всегда, в директорском кабинете, когда все уже собрались расходиться, поднялся Вдовин и спросил, известно ли дирекции, что гардеробщик Антоневи́ч под маркой Института занимается медицинской практикой и дает советы, как продлить человеческую жизнь?

Кто-то засмеялся, остальные промолчали. Ненависть ученого секретаря к гардеробщику к тому времени уже не составляла секрета. Многие знали, что старик Антоневи́ч, возвращаясь из летнего отпуска, привозит с собой какие-то травки, сушит их и пьет, но не придавали этому значения. Я взглянул на Успенского. Он сидел за своим огромным столом из карельской березы очень прямо, высоко держа голову, глаза его смотрели устало, холодно и казались выцветшими. За долгие годы я научился не только по выражению лица, но даже по высоте бумажных завалов на письменном столе судить о его настроении. Когда по обеим сторонам стола вырастали сугробы из непрочитанных журналов, непросмотренных диссертаций, направленных стенограмм и неподписанных бумаг, это значило: директор не в духе и у него ни до чего не доходят руки.

Я знал, что Успенский любит и умеет выпить. В подпитии он был всегда мил и весел. Пьяным его в Институте никто не видел, но за последние год-два примерно раз в три месяца он вдруг пропадал на несколько дней. Конечно, это могла быть и командировка и срочная домашняя работа, но замечено было, что после таких отлучек он возвращался неузнаваемым — непривычно высокомерным, склонным к

подозрительности и жестоким шуткам. Люди внимательные заметили, что таким неприятно-грезвым он бывает и перед очередным исчезновением. Именно таким он запомнился мне в тот день.

Выслушав Вдовина, Успенский поморщился и, выдержав длинную паузу, так что было непонятно, собирается ли он вообще отвечать, вяло уронил:

— Чепуха...

— Чепуха? В таком случае разрешите зачитать...— И, не дожидаясь разрешения, прочитал письмо. Какая-то добрая душа из города Весеьгонска выражала благодарность товарищу Антоневичу за его высокополезные советы и попутно желала нашему Институту дальнейших успехов в его благородном труде. Письмо вызвало улыбки и саркастические замечания. Заместитель директора по науке Петр Петрович Полонский сказал, что наконец-то понял, почему старик Антоневиич всегда стоит у дверей конференц-зала. А умница Бета, к тому времени уже доктор и ближайшая помощница Успенского, рассмеялась. Меня всегда удивляет, сказала она, почему никому из сотрудников Института, охотно ездящих в Абхазию в поисках долгожителей, не пришло в голову поинтересоваться секретом редкого здоровья и работоспособности человека, живущего рядом.

Тогда Вдовин вытащил второе письмо. Какой-то злоехидный старец сигнализировал в партбюро Института. Выполняя регулярно в течение года рекомендации гражданина Антоневиича, он, нижеподписавшийся (кстати сказать, неразборчиво), убедился, что названный Антоневиич не что иное как шарлатан, поскольку он, старец, никакого омоложения в своем организме не наблюдает, а, наоборот, чувствует по утрам коловращение и тошноту. Тут вскопчил кто-то из вдовинских подголосков и завизжал. Дескать, дело нешуточное, под ударом престиж Института, надо создать комиссию и разобраться.

Я опять посмотрел на Успенского. На его лице по-прежнему отражалось с трудом подавляемое раздражение, но когда заговорили о комиссии, он вдруг оживился и в его мутных глазах появился тот хорошо знакомый мне опасный блеск, который разом превращал почтенного академика в тощего парня в долгополой кавалерийской шинели. Он позвонил.

— Олечка,— сказал он вошедшей Ольге Шелеповой,— пригласите, пожалуйста, сюда Михаила Фадеевича.

Ольга — образцовый секретарь — привыкла понимать своего патрона с полуслова, но на этот раз ей потребовалось некоторое усилие, чтоб понять, о ком идет речь.

— Никаких комиссий,— объявил Паша, жестко усмехаясь.— Надо упрощать отношения.

Через минуту плотная фигура старика Антоневиича возникла в дверях кабинета. Старик держался с обычным спокойствием, и только когда Успенский предложил ему подойти поближе и занять одно из двух глубоких кресел, стоявших вплотную к директорскому столу, слегка насторожился.

— Почтеннейший Михаил Фадеевич,— сказал Успенский,— до нас дошли слухи, что вы занимаетесь медицинской практикой и консультируете по вопросам, близким к проблематике нашего Института. Принципиально у меня нет возражений, но долг велит мне напомнить вам, что, являясь сотрудником нашего Института, вы тем самым подпадаете под общее правило, запрещающее нам применение своих открытий без ведома ученого совета.

Старик Антоневиич сидел в кресле неподвижно и только слегка поводил головой. Он не вслушивался в то, что говорил Паша, и не

пытался понять. Он не знал этих слов и не воспринимал этого юмора. Но он безошибочно различал потаенные усмешки на всех лицах — злорадные у одних, смущенные у других. На директорские совещания его никогда не вызывали, и он сразу заподозрил подвох. Паша был единственный человек, которому он разрешал, и то осторожно, не на людях, подтрунивать над собой. Поэтому он сонно молчал, как будто говорили не о нем, а о каком-то другом человеке.

— Перестаньте разыгрывать простачка, Антоневиц,— сказал Вдовин.— Скажите прямо: вы лечите людей?

От этого слишком хорошо знакомого тона старик сразу очнулся.

— Ну и что ж, что лечу? — сказал он угрюмо.— Я не по-вашему лечу. От моего лечения вреда еще не было.

— Однако на тебя жалуются,— раздраженно буркнул Успенский.

Раздражен он был потому, что уже понял неудачу затеянного им спектакля. Вероятно, он рассчитывал свести все к шутке и сразу убить двух зайцев — слегка пожурить и предостеречь старика, а заодно поднять на смех Вдовина. Но зная их обоих, он не знал глубины их взаимной ненависти.

Старик поднялся с кресла.

— Я знаю, кто жалуется,— сказал он с усмешкой.— Пустой человек и пьяница. Просит еще трав, а я не даю...— Затем посмотрел на Успенского в упор: — Пить надо меньше, Павел Дмитриевич.

— Что-о?!

— Ничего. То самое. Кто водку хлещет, тому и лекарства не впрок.

Он махнул рукой и пошел к двери, на ходу стаскивая с себя халат, и я видел, как академик Успенский подскочил в кресле, еще немного — и он выбежал бы вслед за гардеробщиком.

На следующий день старик Антоневиц впервые за всю историю Института не вышел на работу. Он заболел и проболел неделю. Знаю, что Успенские навещали его.

На очередном директорском совещании Успенский был в своей обычной форме. Глаза ясные, голос звонкий.

— К сведению Николая Митрофановича,— сказал он, когда все уже поднялись, чтоб разойтись.— Мы с Елизаветой Игнатьевной взяли на себя труд ознакомиться с лечебной практикой Михаила Фадеевича и не усмотрели в ней никакого криминала. Травки, которые он давал пить и пьет сам, вполне безобидного свойства, а к советам его стоит прислушаться. Мы напрасно пренебрегаем народной фармакопеей, она начала бороться со склерозом раньше, чем господа ученые выдумали это слово. Кстати, чем не тема для кандидатской диссертации? — Он нашел глазами Вдовина и улыбнулся ему.— Возьми, Николай Митрофанович. Перспективное дело, прямо золотая жила.— Сказано это было с таким натуральным дружелюбием, что было трудно заподозрить издевку. И так же естественно он спохватился: — Прости, я и забыл, ты ведь уже защитил...

Это была отравленная стрела совершенно в духе Успенского, с ядом замедленного действия. На этот раз спектакль удался на славу. Весь ученый синклит стоя выслушал весть о реабилитации Антоневица, а Вдовин, также стоя, получил щелчок по носу.

Третий эпизод относится к сравнительно недавнему периоду жизни Института, сразу после опубликования решений XX съезда. Шло двухдневное партийное собрание, люди, ранее молчавшие, выговаривались до конца, самые разговорчивые примолкли. Собрание было закрытое, и старик Антоневиц мог только издали прислушиваться

к взволнованным голосам, доносившимся из конференц-зала. Вдовину и его подголоскам пришло время расплачиваться за бывшее торжество. Их в глаза обвиняли в избиении научных кадров, в невежестве, в том, что они отравили атмосферу Института и отбросили его на десять лет назад. Успенского на собрании не было, за два дня до того он вылетел в Прагу на какой-то конгресс. Вдовин держал себя с достоинством, он признавал свои ошибки, но без страстного самобичевания, с которым в свое время каялись и отрекались от своих правительных взглядов его противники. На Успенского он не сослался ни разу. Раздавались голоса: гнать из партии. Но тут вступился секретарь партбюро, он сказал, что не надо смешивать обсуждение основополагающих решений с персональным делом отдельного коммуниста, и с ним согласились. Было и так ясно, что Вдовин уйдет из Института, это устраивало всех.

В эти горячие дни никто не вспоминал о старике Антоневице. Но старик сумел о себе напомнить. Во второй день в кулуары собрания просочилась сенсация, на короткое время затмившая события куда большего масштаба:

— Старик Антоневиц женится!

Сперва я не поверил. Жёниться под восемьдесят лет! Но слухи подтвердились. В кассу взаимопомощи поступило заявление о ссуде. В заявлении было черным по белому написано: по случаю вступления в брак.

Через несколько дней прилетел Успенский — единственный, кто мог что-то знать от самого старика. Разговора о самом главном у нас не получилось, но о старике мы немножко посплетничали. Паша подтвердил: да, женится. И добавил подробности. Невесте семнадцать лет. Такая беленькая девочка. Приезжая из Пуши. Загс не хотел регистрировать. Пришлось оказать давление.

— Послушай, Паша, — сказал я. — Но это же бред...

— Бред? — переспросил он. — Почему бред? Рядом с нами происходили события почуднее, и мы с тобой не удивлялись...

Через пять с половиной месяцев после женитьбы у Антоневица родился сын. Несколько дней об этом поговорили, кто-то ахал, кто-то возмущался, кто-то понимающе покачивал головой, а затем все успокоилось и привыкли к тому, что во дворе Института гуляет с коляской беленькая девочка-мать. И многие, заглядывая под козырек коляски, находили в твердом немигающем взгляде крупного щекастого младенца какое-то сходство со стариком Антоневицем.

Весной девочка уехала к себе на родину и не вернулась.

Таков был человек, привезший мне записки от двух дорогих мне женщин. Одну из них я любил. Другая любила меня. Женился я на третьей.

III. Три Пе плюс Це Аш

Сутки прочь — и новый гость. На этот раз мою отшельническую келью самолично посещает Сергей Николаевич Алмазов. Сергей Николаевич — заместитель директора Института по хозяйству и правая рука Успенского. В настоящее время рука чувствует себя отделенной от тела, чем, на мой взгляд, и объясняется неожиданный визит. Сергей Николаевич привез мне на подпись некролог об Успенском, но это только повод, подпись вполне могли поставить и без меня. Пока я читаю некролог, Сергей Николаевич расхаживает по квартире. Квартиру мою он отлично знает, но ему доставляет подсознательное удовольствие обойти ее всю от кабинета до кухни, пощупать книжные полки и заглянуть хозяйским глазом в ванную. При этом у него

такой вид, какой, вероятно, бывал у Рокфеллера-старшего при посещении подаренной им городу картинной галереи. Алмазов искренне убежден, что эту квартиру он мне подарил, и, если не становиться на формальную точку зрения, он не так уж далек от истины. Квартирой я обязан ему, а он, в свою очередь, обязан мне своим появлением в Институте. Мы с Сергеем Николаевичем знакомы еще по фронту, близкими друзьями нас не назовешь, но нас крепко связывают некоторые общие воспоминания и своеобразно преломленное у каждого чувство благодарности. Для того, чтоб понять наши непростые отношения, нужно мысленно перенестись в сравнительно недавнее, но густо насыщенное событиями прошлое, что я и сделаю при случае. А пока я читаю некролог. Некролог как некролог, написан опытной рукой. Самоотверженный. Скромный и отзывчивый. Правительство высоко оценило заслуги покойного. Орденов действительно много.

— Правительство невысоко оценило заслуги покойного, наградив его всего лишь... — произношу я вслух.

Сергей Николаевич, закончивший к этому моменту обход моих владений, вздрагивает и принужденно смеется:

— Хулиган. Не зря тебя из генералов поперли... — Затем вздыхает: — Вот так-то, дорогой.

Фраза для постороннего уха бессодержательная, но я улавливаю за ней значительный подтекст — здесь и скорбь (совершенно искренняя), и высокая оценка качеств покойного, и констатация сложности возникающих проблем, и даже намек на бренность всего сущего и неисповедимость каких-то там путей, намек, который он может себе позволить лишь в таком завуалированном виде. Обменявшись несколькими столь же содержательными репликами, мы вступаем в следующую фазу.

— Ну-с, так какие же прогнозы?

Ага, вот в чем дело! Обычно Сергей Николаевич гораздо осведомленнее меня во всем, что касается назначений и перемещений. Его прогнозы сбываются гораздо чаще моих. Но сегодня он явно расстроен и не только не пытается меня просвещать, но почему-то подозревает, что я знаю больше. Нехорошо, конечно, но мне хочется его подразнить, и я вяло говорю:

— Какие тебе еще прогнозы? Есть Вице.

Вице (он же Аксакал, он же мсье Трипе) — одно из прозвищ заместителя Успенского по науке Петра Петровича Полонского. Кто-то донес, что жена Петра Петровича Зоя Романовна, говоря о муже, называет его не замом, а вице-директором (через э). Это всех позабавило, и кличка прилипла.

Алмазов смотрит на меня округлившимися от возмущения глазами. Сквозь стекла очков они кажутся выскочившими из орбит. Наконец он издает звук, долженствующий изображать глубокое презрение. И только выдержав новую паузу, говорит:

— Ты что — серьезно?

Презрение презрением, но от него недалеко до испуга. Природу испуга я отлично понимаю. Сергей Николаевич — полезный работник и у него есть все шансы сохранить свое место за исключением того маловероятного, впрочем, случая, если директором станет Петр Петрович. Казалось бы, их должна объединять безоговорочная, не подверженная сомнениям и колебаниям преданность шефу, но похоже, что именно она их разъединяет. Каждый из них считает себя истинным заместителем Успенского, не понимая, что Паша никогда бы не потерпел рядом с собой настоящего заместителя, то есть человека,

способного принимать решения, ему нужны были помощники, освобождаящие его от нелюбимых занятий, он не любил подписывать денежные документы — и ему нужен был Алмазов, делавший это с упоением, он не любил церемониала — и ценил Петра Петровича за то, что Вице с представительной внешностью и громким тусклым голосом как никто умел предлагать повестку и состав президиума, следить за регламентом и зачитывать проекты решений. За это Успенский готов был именовать своих сподручных заместителями и платить им дороже, чем заведующим лабораториями. Кто-то из наших аспирантов сострил: будь у Полонского герб, на нем был бы написан девиз «*nihil disputandum*» — ни с кем не ссорюсь. Другой аспирант (ох уж эти аспиранты!) сказал, что Петр Петрович — это та шляпа, которую оставляют на кресле в знак того, что кресло занято. Вице — человек незлобивый, но Сергей Николаевич столь часто ущемлял достоинство Петра Петровича — даже директорскую машину Петр Петрович не имел права взять сам, а должен был выпрашивать у Сергея Николаевича, — что на другой день после назначения Петра Петровича Сергеем Николаевичу пришлось бы покинуть свой кабинет. Их отношения уже давно определяются формулой $3P + CH = a$. Читается это так: три Пе плюс Це Аш. Первая часть формулы расшифровывается просто, вторая имеет свою историю. Когда Сергей Николаевич стал заместителем директора, он первым делом привинтил к двери своего кабинета большую стеклянную табличку с надписью: «Алмазов С. Н.». Такие надписи и в особенности инициалы, поставленные после фамилии, у нас в Институте были не приняты и считались дурным тоном. Непочтительные аспиранты сразу же прочитали С. Н. как некий углеводород Це Аш, что и положило начало прозвищу. Маленькая альфа — сокращенное обозначение аннигиляции или взрыва.

К счастью для Алмазова, Петр Петрович не только не будет директором, но вряд ли останется заместителем. Наверняка у нового директора найдется своя шляпа, чтоб оставить в кресле на время своего отсутствия. Вице — человек не злой, не глупый, несомненно образованный, но до такой степени лишенный собственных идей, что говорить о нем как о руководителе Института можно только назло Алмазову. Мне становится стыдно.

— Не обращай на меня внимания, — говорю я. — Я ничего в этих делах не смыслю. Ну а по-твоему — кто?

Алмазов отвечает не сразу. Он размышляет. Когда Макс Планк выводил свою «постоянную», вероятно, у него был менее вдумчивый вид, чем у Сергея Николаевича. Наконец изрекает:

— Да ведь без варягов не обойтись.

Я с трудом сдерживаю улыбку. Сергеем Николаевичу трудно и даже невыносимо представить себе, что кто-то из наших докторов наук, привыкших ловить Сергея Николаевича в коридоре или высиживать часами перед его кабинетом со своими вечными просьбами и требованиями, вдруг переедет из своей клетушки в самый большой кабинет с мебелью из карельской березы и мраморными бюстами прародителей современной биологии, будет говорить ему «зайдите» и распекать за нехватку животных для опытов. Петр Петрович ни о чем таком даже помыслить не смел. Иное дело «варяг» — человек, уже прошедший школу директорства в каком-нибудь другом Институте, академик или погоревший министр, такому и подчиниться не грех.

Сергей Николаевич еще раздумывает, поделиться ли ему со мной своими самыми секретными прогнозами, когда раздается звонок, от

которого мы оба вздрагиваем. Я — потому что никого не жду, Алмазов — потому что рассчитывал поговорить со мной без свидетелей. Спешу в переднюю, открываю дверь и в удивлении отступаю — это Петр Петрович. По тому, как он тщательно вытирает ноги, догадываюсь: приехал на метро, а от автобуса шел пешком. Я принимаю из его рук соломенный картуз с лентой вокруг высокой тульи. В этом картузе он разительно похож на пожилого олддермена с этикетки английского Джина «экстра драй». Такое же красное лицо с аккуратной белой бородкой и такой же торжественный вид. В несколько преувеличенных выражениях он просит прощения за бесцеремонное вторжение, а я, со своей стороны, всячески стараюсь показать, что для меня это приятный сюрприз.

Петр Петрович уже раскрывает рот, чтоб изложить цель своего посещения, но в этот момент замечает Сергея Николаевича и от негодования лишается дара речи. Вид у Сергея Николаевича несколько виноватый, но по блеску его очков я вижу, что он старательно накаляет себя до состояния правоты. Наступает напряженная пауза, во время которой я без труда догадываюсь, что произошло всего лишь час или полтора назад. Петр Петрович задумал повидаться со мной и попросил у Сергея Николаевича машину. Сергей Николаевич, в свою очередь собравшийся ехать ко мне, в машине отказал. Петр Петрович счел ниже своего достоинства докладывать, зачем ему нужна машина, а Сергей Николаевич напустил туману, дескать, вызывают в инстанции, и Петру Петровичу, благоговешному перед инстанциями, пришлось отступить. Легко себе представить ярость Петра Петровича, когда этой инстанцией оказался я.

Надо отдать должное светской выдержке Петра Петровича — он не унижается до объяснений и, как бы не замечая Сергея Николаевича, заводит со мной разговор о Париже, где он бывал еще в двадцатых годах, разговор, в котором Сергей Николаевич, никогда не бывавший за границей, участвовать не может. Затем, как бы спохватившись, вынимает из принесенной с собой папочки все тот же некролог, и я подписываю его второй раз. И наконец торжественно — от имени и по поручению — просит меня как старейшего сотрудника Института, работавшего с незабвенным Павлом Дмитриевичем с основания Института, выступить на траурном митинге, дата коего уточняется, получает согласие, после чего бегло осматривает мою башню из слоновой кости, с одобрением отзывается о сделанных по моим собственным чертежам стеллажах для книг и картотеки, но тут же замечает, что только моя всем известная исключительная скромность позволяет мне довольствоваться этой жалкой мансардой на окраине города. Говорится это специально для Сергея Николаевича, считающего себя благодетелем. Благодетель аж крикает от злости, но молчит. Опять наступает длительная пауза. Похоже, что Петру Петровичу тоже хочется поговорить о прогнозах, и я не могу взять в толк, почему оба почтенных деятеля избрали для этой цели именно меня, нет человека, кому было бы меньше дела до того, кто будет сидеть в кабинете Успенского среди мореного дуба и карельской березы. Оба рассчитывали на беседу *entre quatre yeux*³, и теперь уже очевидно, что она не состоится. Петр Петрович понимает это первый и начинает прощаться, а когда я не очень, впрочем, настойчиво пытаюсь его удержать, торжественно заявляет, что ему как ученому более чем кому-либо другому понятно, какое преступление — красть у меня драгоценное время. Намек настолько недвусмыслен, что Сергей Николаевич тоже поднимается.

³ С глазу на глаз (франц.).

— Вы куда, в Институт? — спрашивает он Полонского.

Петр Петрович отвечает не сразу. Вроде бы даже раздумывает, стоит ли вообще отвечать. Затем небрежно бросает:

— Нет, домой.

— Ладно, поехали,— говорит Алмазов решительно.

Это шаг к примирению. Но Петр Петрович делает вид, будто не расслышал. И только на лестничной площадке (я с вызывным ключом провожаю гостей до лифта) он вспоминает:

— Вы, кажется, что-то сказали, Сергей Николаевич?

— Подброшу,— милостиво говорит Алмазов.— До самого дома.

Петр Петрович смотрит на него с хорошо разыгранным недоумением. И, как бы добравшись наконец до смысла сказанного, с пренебрежительной вежливостью отвечает:

— О, не беспокойтесь. Я с удовольствием пройду.

Один—ноль. Ярко освещенная зеркальная кабина принимает двух разъяренных людей, я захопываю за ними железную клетку, и они проваливаются вниз, а я бегу к себе, к своей монографии. Мне не сразу удается сосредоточиться, мои мысли все время возвращаются к недавним посетителям — есть что-то грустное и даже глуповатое в том, что эти, в сущности, неплохие люди теряют так много душевных сил на то, чтоб отравлять друг другу жизнь.

Проводив своих незваных гостей, вновь принимаюсь за работу, но безуспешно, я выбит из колеи и против воли непрерывно возвращаюсь мыслями к нашему несостоявшемуся разговору. Мне хочется вернуть обоих и, не стесняясь в выражениях, сказать, что вместо мелкой склоки и гадания на кофейной гуще им следовало бы подумать о серьезной опасности, угрожающей Институту. Пока был жив Успенский, они могли ни о чем не беспокоиться, с его смертью опасность принимала реальные очертания.

В конце прошлого года наш Институт посетил высокий гость, и раньше проявлявший интерес к близкой нам проблематике, а Успенского знавший еще со времен гражданской войны. Зашел он и к нам в лабораторию, вероятно, потому, что у меня в этот день был заложен интересный эксперимент и Успенскому хотелось показать товар лицом. Затем в директорском кабинете состоялась дружеская беседа, во время которой высокий гость высказал — в очень мягкой, полупросительной форме — некоторые соображения о будущем Института. Суть их сводилась к тому, что столица перегружена научными учреждениями и, пожалуй, было бы неплохо перевести наш Институт куда-нибудь подальше от Москвы и поближе к живой природе, как это уже делается во многих развитых странах. Мысль вообще здравая, но применительно к нашему Институту почти неосуществимая, у каждого из присутствовавших, в том числе и у меня, нашлись бы веские возражения практического свойства, но все промолчали, надеясь на Успенского. Против всякого ожидания, Успенский и не подумал возражать, отделившись ни к чему не обязывающими фразами, а когда я потом попрекнул его за несвойственное ему соглашательство, только засмеялся: «Нам с тобой нужна валюта. Много, страшно сказать сколько. Когда просишь денег, лучше не заводите споров. А насчет переезда — у нашего гостя есть дела поважнее. Увидишь — все обойдется».

Однако же не обошлось. Сам высокий гость, может быть, и забыл о своем предложении, но среди сопровождавших его лиц нашлись ревнители и энтузиасты, и я доподлинно знаю, что в подшефный нашему Институту Юрзаевский заповедник выезжала авторитетная комиссия. К слову сказать, когда мы с Успенским ехали с аэродрома,

Алмазов среди прочих новостей что-то говорил о готовящемся решении. Вероятно, Паша не хуже меня понимал, что, если такое решение будет принято, бить отбой будет поздно, и отмахнулся только потому, что твердо знал: без него решать не станут и ему будет нетрудно доказать абсурдность переезда, в равной степени бесполезного и для нас и для заповедника. В принципе я не против рассредоточения исследовательских институтов, но надо знать Юрзаево — отдаленность, глушь и бездорожье не лучшие условия для наших лабораторий. Мы экспериментируем на собаках, мышах и морских свинках, богатейшая фауна заповедника нам совершенно ни к чему...

Все эти тревожные мысли накладываются на мой и без того подточенный бессонницей рабочий аппарат, выработанная годами привычка к сосредоточенности мне полностью изменяет, я порчу три листа бумаги подряд и наконец, отчаявшись, закрываю рукопись и ставлю на радиолу любимую пластинку.

К вечеру появляется мой ангел-хранитель. Евгения Ильинична — женщина грузная, но я никогда не слышу ее шагов, об ее появлении я узнаю по щелканью замка и по тому, как радостно оживляется Мамаду. Она потихоньку возится на кухне, и только переделав все дела, стучится ко мне, чтоб прибраться в комнате, а меня выгнать на прогулку. Затем я возвращаюсь, выпускаю Мамаду из клетки, и мы с Евгенией Ильиничной садимся пить чай. Картинка идиллическая, в стиле старых голландских мастеров. Евгения Ильинична женщина совершенно необразованная, но природного ума и такта у нее хватило бы на дюжину докторов наук, разговаривать с ней одно удовольствие. Самое удивительное, что в свои семьдесят лет она начисто лишена возрастного консерватизма. У нее есть свои сложившиеся взгляды и привычки, но в отличие от большинства старых людей она легко допускает, что можно жить, поступать и смотреть на вещи иначе. Знаю, она не одобряет моего холостяцкого существования и огорчается, что у меня нет детей, но тактично помалкивает. Если она со мной не согласна или чего-то не понимает, то обычно не спорит, а только улыбается или говорит: «Ваше дело, у вас своя голова». Голову мою она оценивает высоко, хотя вряд ли понимает, чем я занимаюсь. Упряма она только в одном: любит покушать и ей кажется, что я морю себя голодом. Мою диету она скрепя сердце приняла, но я всегда настороже: «Тетя Евгеша, суп опять на мясном бульоне?» Лгать Евгения Ильинична не умеет и обиженно молчит, но не выдерживает моего взгляда и взрывается: «Гос-споди, ну совсем чуточку... Что ж воду-то хлебать?» Есть у нее и другой пунктик: она знает, что я доктор, а доктора, по ее понятиям, на то и существуют, чтоб лечить людей. Никакие мои разъяснения, что я биолог, а не врач, не производят на тетю Евгешу никакого впечатления. Но все это мелочи. Самый факт, что у меня есть свой ангел-хранитель, по нынешним временам есть величайшее благо, а наши тихие беседы за чаем для меня не только интересны, но и поучительны. От Бальзака пошло выражение «физиология общественной жизни». Кругозор у тети Евгешы поуже, чем у Бальзака, но если бы существовала такая дисциплина «физиология быта», то Евгения Ильинична могла бы быть профессором.

В одиннадцать Евгения Ильинична уходит. Она живет рядом, в том самом полудеревенском доме, что виден из окна. Там же живут ее взрослые сыновья, невестки и внуки. Старший сын — шофер такси, младший — механик на заводе, оба неплохо зарабатывают и сердятся на мать, зачем она ходит на работу, работы и дома хватает. Но тетя Евгеша цепко держится за свою скромную лифтерскую должность, она предпочитает иметь собственные деньги и тратить их по своему

разумению. К тому же она ценит свою независимость и не хочет, чтобы ею помыкали невестки. После ухода Евгении Ильиничны я стелю себе постель, но надежды на сон у меня мало. Думаю я, конечно, о Бете. И не только о постигшем ее горе, что естественно, но и о том, что теперь она свободна... Мысль это стыдная, и я гоню ее.

IV. Бета

В одной старинной книге я вычитал: человек — все равно, мужчина или женщина — это только половинка какого-то более совершенного существа. Вторая половина затеряна в мире, и они всю жизнь безотчетно тянутся друг к другу и стремятся соединиться. С научной точки зрения эта концепция не выдерживает критики, но, как всякий поэтический образ, заключает в себе зернышко истины. Чем совершеннее организм, тем он избирательнее. У высших млекопитающих уже есть в зародыше «нравится» и «не нравится». У *homo sapiens* половое влечение сложно персонифицировано и способно далеко отрываться от своей физиологической основы. И вот сейчас, когда я пишу эти строки, в радиоле приглушенно звучит голос Марио дель Монако. Он поет арию Радамеса. Этому Радамесу почему-то позарез нужна пленная эфиопка Аида и ни к чему царевна Амнерис с ее меццо-сопрано.

Умница Вера Аркадьевна, первая Пашина жена, как-то сказала мне под настроение и вроде бы в шутку очень грустные слова.

— Эх, Лешенька,— сказала она,— мы придаем слишком много значения любви. Нас к этому приучила дворянская литература. Все это от сытости. Писатели пописывали, а в это время мужики женились, не выходя за околицу своей деревни, девушки из рабочего предместья находили суженого на своей улице. И любили и бывали счастливы. Жили и без любви. Стерпится — слюбится, говорит народная мудрость. Устаревшая, Лешенька, но все-таки мудрость. И как знать, не была ли бы я счастливее, если б вышла не за Пашу, а за какого-нибудь бухгалтера...

У Веры Аркадьевны была беспокойная жизнь, и она имела немалые основания так горько шутить, но сегодня, когда ее уже нет в живых, думаю, она никогда не променяла бы свое трудное счастье на покой и семейное благополучие. И насчет сытости она тоже вряд ли права. Экономика гнетет не одних бедняков, в обеспеченных слоях общества свои табу и свои расчеты, буржуазная девица, выходящая замуж, чтоб не дробить капитал, и принц, вступающий в династический брак, ничуть не свободнее мужика или девушки из предместья. Мне никогда не был симпатичен кавалер де Грие, но я с детства люблю деревенского кузнеца, летавшего верхом на черте за черевичками для своей Оксаны.

Всю эту бодягу (пользуясь терминологией друга моей юности Алешки Шугова) я развожу исключительно для того, чтоб попытаться объяснить себе самому, почему для меня во всем мире существует только одна женщина. Одна, несмотря на то, что она много лет принадлежит другому, несмотря на то, что в моей жизни были другие женщины и временами мне с ними было хорошо. Но стоит этой женщине прислать мне коротенькую записку — и мою достаточно уже зачерствевшую холостяцкую душу вновь охватывает непреодолимое волнение, как в день нашей первой встречи.

Между тем днем и днем сегодняшним пролегло полтора десятилетия, полных тревог и борьбы, но я помню его так живо, как будто

это было вчера. Я зашел в кабинет к Успенскому, не в тот большой, обставленный карельской березой директорский кабинет, где во время совещаний набивается человек до тридцати, а в проходную каморку в одном из дальних коридоров, где помещалась тогда его лаборатория, там он был доступнее и больше напоминал прежнего Пашу. Успенский куда-то вышел, и я прождал его минут пять, в сотый раз разглядывая репродукцию «Мадонны Литты» в одной рамке с фотографией кормящей самки шимпанзе — напоминание о том, каким озорником был в свое время нынешний академик. Из смежной клетушки, где стояла опытная аппаратура, доносились негромкие голоса. Мужской голос я узнал сразу — это был Слава, лаборант Успенского. Женского я наверняка раньше не слышал — низкий и даже чуточку хриловатый, но не грубый, а скорее нежный и как будто немного сонный, без заметных повышений и понижений, используемых большинством людей для того, чтобы навязывать собеседникам свои эмоции. Насколько я понял, женщина объясняла Славе, как надо нарезать стеклянные трубки для опыта, вероятно, объясняла толково — Слава покорно поддакивал, — и меня поразило соединение мягкости и власти, она не приказывала, а просила, но просила как человек, привыкший, что его просьбы выполняются. Вошел Успенский, мы заговорили о делах, но я невольно продолжал прислушиваться. Паша это заметил, засмеялся и крикнул:

— Бета!

Вошла, кутаясь в платок, высокая молодая женщина в черном свитере. Хороша она или нет, я сразу не понял, скорее значительна. Бледное лицо, впалые щеки, темные стриженные волосы. Ни капли косметики, ни тени кокетства, притом несколько не синий чулок, наоборот, женщина во всей силе. Она подняла на Пашу вопросительный взгляд зеленовато-коричневых глаз.

— Познакомься, Леша, — сказал Успенский. — Это Бета, наша новая аспирантка. А тебя я не представляю — тебя она обязана знать.

Бета улыбнулась — приветливо, но сдержанно — и подала мне руку.

— Имейте в виду, Бета, — сказал Успенский, — Олег Антонович у нас самый молодой доктор наук. И единственный холостой. Если вы не будете лениться и хорошо защитите диссертацию, мы вас выдадим за него замуж.

— Спасибо, — сказала Бета. — Но зачем же непременно за доктора? Я согласна и за лаборанта.

Сказано это было со всей возможной кротостью, но у меня — вероятно, у Паши тоже — было ощущение, что девчонка нас поставила на место. Сказав это, она вновь посмотрела на нас вопросительно. В соединении с почти неуловимым движением в сторону двери этот взгляд давал понять, что если мы и дальше намерены острить на том же уровне, то с нашего разрешения она предпочла бы закончить прерванный деловой разговор. Затем она скрылась за дверь, и мы услышали негромкое: «Извините меня, Станислав Евгеньевич. Так вот, если вы все поняли — пожалуйста. А концов оплавать не надо».

Паша подмигнул мне как-то особенно, и мы не сразу вспомнили, о чем только что говорили. Чтоб скрыть замешательство, я спросил как можно небрежнее:

— Бета? Что это за имя?

— Елизавета.

— Елизавета?

— Ну да. Елизавета, Эльжбета, Бета... У нее какая-то польская кровь...

Влюбился ли я в Бету с первого взгляда? Не знаю. Знаю, что с того дня я постоянно ощущал ее присутствие и уже не могло быть так,

чтоб я вошел в конференц-зал или в буфет и еще в дверях не подумал, здесь она или нет. И еще — почему-то мне было не безразлично, что думает про меня эта молчаливая аспирантка. Оказалось, что я не одинок, замечено было, что самые разные люди дорожат мнением новой сотрудницы, мнением, почти никак не выражаемым, разве что улыбкой или чуть заметной гримаской. Бета никому не говорила комплиментов и не выказывала явного пренебрежения, она только была внимательна к тому, что ее интересовало, и мгновенно отключалась, если ей становилось скучно. Наша первая красавица Милочка Федорова по-прежнему привлекала сердца институтской молодежи, но разница ощущалась всеми, при Милочке наши аспиранты остряли шумно и неразборчиво, кто посмелее, отпускал довольно рискованные комплименты, а Милочка, блестя глазами и поворачиваясь во все стороны так, чтоб на всех поровну излучалась ее ослепительная свежесть, смеялась, поощряла и одергивала. При Бете они по непонятным причинам притихали, остряли с разбором и не решались открыто выражать свое восхищение. Некоторых даже раздражала их собственная сдержанность, и за глаза они честили Бету «гордой полячкой» и «королевой испанской», хотя ничего шляхетского, а тем паче королевского в ее поведении не было, со всеми она держалась ровно и дружелюбно, к ней сразу расположился весь технический персонал, и даже старик Антоневиц, суровый и ревнивый, признал ее сразу и безоговорочно.

И только у нас отношения складывались трудно. Им явно не доставало простоты. К тому же я был несвободен. Ко времени знакомства с Бетой я уже больше года был близок со своей студенткой Ольгой Шелеповой и чувствовал себя необременительно счастливым. Ольга была мила, женственна и влюблена в меня так, как только может быть влюблена ученица в учителя; мы виделись часто и если не афишировали слишком свои отношения, то больше потому, что связь профессора со студенткой всегда вызывает излишние толки. Познакомились мы случайно. Я взялся читать факультативный курс возрастной физиологии, и с первых же лекций образовалось небольшое ядро постоянных слушателей. Среди них была и Оля. Читаю я не скучно главным образом потому, что никогда не теряю связи с аудиторией, на сей предмет я неизменно держу в поле зрения несколько уже примелькавших лиц, они служат мне контрольными приборами. Олю я заметил сразу, но очень скоро убедился, что в контрольные приборы она не годится; если верить неотрывному взгляду ее больших вопрошительно-доверчивых глаз, все, что я говорил, было не только понятно, но мудро, остроумно и бесконечно увлекательно. Я не настолько самоуверен и поначалу заподозрил неизвестную студентку в том, что она не понимает решительно ничего. Позже, присмотревшись, убедился, что был не прав: она понимала, во всяком случае понимала по-своему — слушая, улыбалась своим мыслям, а однажды звонко, по-девчоночьи рассмеялась совсем невпопад. После лекции мы столкнулись в дверях, и я не утерпел, спросил, что ее так рассмешило. Девушка густо покраснела:

— Ой, извините. Ужасно глупо получилось...

— Ну а все-таки? Что же я такого сказал?

Убедившись, что я не сержусь, а любопытствую, осмелела и посмотрела на меня искоса, с некоторым лукавством.

— А вы никогда не замечали за собой, какое у вас любимое слово?

— Какое?

— «Можно». Можно себе представить, можно допустить — ну и так далее. Не замечали?

— Не замечал. Это разве смешно?

— Нет, очень здорово. Вы и сегодня так начали... А засмеялась я потому, что вспомнила одного нашего руководителя. Он почти каждую фразу начинает со слова «нельзя». Нельзя допустить, нельзя себе представить...

После этого разговора мы стали здороваться. Постепенно Оля перестала дичиться и уже сама подходила ко мне в перерывах. По тому, какие вопросы задает студент, гораздо легче судить о его знаниях и способностях, чем по ответам на экзаменах. Вопросы она задавала неожиданные. Я жил тогда в огромном человеческом улье — коммунальной квартире на Большой Садовой, где занимал одиннадцатиметровую комнату рядом с местами общего пользования, — и Оля иногда провожала меня до ворот. Бывало, что мы по часу простаивали на черной лестнице, подняться ко мне Оля упорно отказывалась, — мне это казалось мещанством. А однажды, поднявшись, осталась у меня до утра, была прелестна, ни одного неизящного жеста, ни одного фальшивого слова, и все-таки впоследствии во время злых раздумий я мысленно попрекал ее, на этот раз за отсутствие мещанства: слишком уж легко она решилась остаться у малознакомого человека и, следовательно, с такой же легкостью могла отдаться другому. Ох уж это «следовательно»! Оно возникает неизвестно откуда и, насколько я могу судить, лежит в основе большинства заблуждений и роковых ошибок — научных, политических, судебных... Вероятно, если б Ольгу пришлось долго и трудно завоевывать, я больше бы думал о том, как ее удерживать, в то время мне еще не приходило в голову, что женщину, которую надо завоевывать, может завоевать кто-то другой. О женитьбе на Оле я всерьез не задумывался, рассуждал я так: между нами двенадцать лет разницы, сейчас эта разница неощутима, а потом скажется, я не тот человек, какой ей нужен; впрочем, всех своих доводов я уже не помню. Если же говорить честно, к тридцати двум годам я отчетливо сложился как закоренелый холостяк, раньше всего ставил свою личную свободу и считал, что жениться надо только в том случае, если нет другого выхода. У меня этот выход был, об оформлении наших отношений Ольга никогда не заговаривала, даже оставаясь наедине, мы сохраняли предназначенное для посторонних ушей холодноватое «вы», мне это нравилось и только обостряло те минуты опьянения, когда мы невольно переходили на «ты». За все время нашей близости я не помню ни одной настоящей ссоры, даже грустное молчание и с трудом сдерживаемые слезы я рассматривал как покушение на мой покой. Когда она грустила, мне никогда не удавалось дознаться причин, обычно она отвечала: «А, пустяки...» — и старалась улыбнуться. Она не любила рассказывать о себе, и я даже не знал толком, где и как она живет. В этом она была упряма, как-то застенчиво упряма, как будто ей самой было неловко, что она не может иначе. Я догадывался, что живется ей трудно, но всякая попытка всушить ей какие-нибудь деньги отвергалась с обычным застенчивым упорством. Это тоже казалось мещанством. Единственным, что мне было разрешено — устроить ее в Институт на вечернюю работу. Я не имел права спрашивать про ее женские тревоги — ребенка я не хотел, но не хотел и аборта, — как-то спросил и получил в ответ почти высокомерное: «Забудьте про это, если что случится, вы об этом даже не узнаете». Это была в чистом виде самоотверженность, но мне почему-то почудилась опытность.

Задумываться всерьез о характере Ольги я стал уже после нашего разрыва. Оля разорвала со мной так просто и стала после разрыва такой недоступной, что я очень скоро понял, каким мещанством были мои предположения о ее доступности. Все было проще и

трагичнее — она меня любила и поэтому считала пошлостью разыгрывать сопротивление и ставить условия. Затем чувство перегорело, она ушла, и уже ничто не могло заставить ее вернуться. Разорвав со мной, она немедленно отказалась от работы в Институте и вскоре уехала в свой родной Саратов — взяла перевод в тамошний университет. До меня доходили слухи, будто бы в Саратове она вышла замуж за военного и уехала с ним на Дальний Восток. Муж каким-то образом погиб, а она родила девочку. Отъезд Ольги огорчил меня, но и развязал руки.

Бета заставила себя долго и трудно завоевывать. С ней приходилось быть все время начеку, она видела меня насквозь и бывала беспощадна ко всему, что казалось ей ложью, пошлостью или трусостью. Меня бесила ее нетерпимость. Мягкая и тактичная с другими, она находила особое удовольствие обнаруживать мои слабости, — впрочем, и я ей ничего не прощал.

Началось у нас, так же как с Ольгой, с провожания. Но с одним существенным различием — провожать ходил я. Раза два, выходя вместе из Института, я делал вид, что нам по дороге, на третий она сказала:

— Вы живете совсем в другой стороне. Хотите проводить — пойдемте.

Крыть было нечем, и я промолчал. С этого дня мы стали часто ходить вместе. Она любила ходить, и мне нравилось смотреть, как она ходит — закинув голову, широким шагом, с зажатой в кулаке косынкой, косынка вилась, как флаг. Мы редко ходили под ручку, руки нам были нужны, чтоб размахивать ими в споре. Спорили обо всем, редко о науке — здесь наши силы были еще неравны, — но часто расходились в оценке людей и событий, книг и кинофильмов; говорят, о вкусах не спорят, но мы спорили именно о вкусах, и спор перерастал в ссору.

— Он пошляк, — говорила Бета низким смеющимся голосом. Не важно о ком — о незадачливом поклоннике или авторе модного романа. Это было ее единственное, но любимое ругательное слово.

Из духа противоречия я вступался:

— А мне он нравится.

— Значит, вы тоже пошляк.

— А я считаю пошлостью зачислять в пошляки всех, кто не разделяет наших вкусов...

И я и Бета не из тех, у кого брань на вороту не виснет, необходимость держаться в рамках придавала нашим ссорам особое тихое ожесточение. Иногда в разгар спора Бета, чтоб не наговорить лишнего, вскакивала на ходу в отходящий трамвай, а меня бросала на остановке, бывало, что я, не дослушав фразы, круто поворачивался и, не сказав ни слова, переходил на другой тротуар. Странно, сегодня я при всем желании не могу припомнить ни одного серьезного повода. Подлинные причины наших столкновений не лежали на поверхности и были скрыты от нас самих. Была ли это борьба за власть? Мы не хотели властвовать, но боялись оказаться во власти и как будто задались целью продемонстрировать друг перед другом силу своего характера и независимость ума. Временами я почти ненавидел Бету, она тоже бывала беспощадна. Злость обычно уродует женщину, но Бета не злилась, а гневалась и при этом очень хорошела, бледное лицо розовело, глаза расширялись, и в эти моменты у меня ужасно чесались руки сгрести ее в охапку и заставить замолчать, но бес гордыни запрещал это как недостойную мужчины слабость. За ссорами следовали примирения. Сделать первый шаг было мучительно трудно, но мы его все-таки делали. Делали по очереди, даже не пытались установить, кто был больше виноват, это повело бы к новой ссоре. Вместо выяснения мы

исступленно целовались в самых опасных и не защищенных от постороннего вторжения местах — в городских парках и скверах, лабиринтах Китай-города и даже в музеях. Иногда мы задерживались допоздна в Институте и целовались под оглушающей вой вакуумных насосов в Пашиной лаборатории, но стоило мне перейти некоторую границу, Бета выключала насосы и наступившая тишина отрезвляла нас. И вообще всякий раз, когда мы оказывались в более покойном месте, где можно было закрыть дверь на задвижку, на Бету нападала необъяснимая скованность. Она запросто заходила ко мне домой взять книгу или послушать пластинку, но запрещала опускать дверной крючок, и я даже подумать не смел, что Бета может крадучись, чтоб не попасться на глаза ответственному съемщику, уходить от меня рано утром, как уходила Оля. Бета была равнодушна к формальностям, но необходимость скрываться ущемляла ее гордость.

Незавершенность наших отношений утомляла нас обоих, и в мае сорок первого года мы, не ставя никаких точек над «i», решили поехать вместе в Киев. Киев весной особенно хорош и заслуженно считается Меккой отечественной геронтологии. Я позаботился и о комфорте — двухместное купе в голубом экспрессе и люкс в «Континентале». Эта поездка должна была многое решить.

Прежде чем голубой экспресс дошел до Малоярославца, мы уже крупно поссорились. Трудно поверить — я не помню повода. Вспомнить можно только то, что поддается логическому восстановлению, но логика тут была ни при чем. Помню только сжавшуюся в углу дивана, готовую к отпору Бету, враждебный блеск ее глаз и ни одного слова из того, что мы тогда наговорили. Ночь мы провели как посторонние люди, я спал не раздеваясь на верхней полке, а проснувшись, не застал Беты в купе — она курила в коридоре. В тот же день, не заходя в гостиницу, она вернулась в Москву, а через три дня вернулся и я — раньше по моим делам нельзя было — и, несмотря на то, что была моя очередь мириться, к Бете даже не подошел.

Помирила нас только война. Узнав, что я еду на фронт, Бета прибежала ко мне, была нежна, как в лучшие наши дни, и все-таки наше последнее свидание оставило у меня чувство неудовлетворенности. Мне казалось, что любимых провожают на войну не так. Как — я не знал. Может быть, мне хотелось чуточку больше восхищения моим решением отказать от брони, чуточку больше страха за мою жизнь. Не знаю. Не знал я и того, что месяцем позже Бета вступит в народное ополчение, станет телефонисткой в штабе полка, будет засыпана землей в обрушившемся блиндаже и только через полгода после тяжелой контузии вернется в Институт.

Мы переписывались не очень регулярно, случались перерывы по два и даже по три месяца. Бета писала ласковые и даже чуточку покаянные письма, но каждый раз меня что-то в них ранило — то краткость, то отсутствие каких-то простых, но крайне необходимых мне слов вроде «жду, тоскую», каких-то обещаний. А затем наш фронт перешел в наступление и было уже не до обид. Переписка вновь оборвалась.

О том, что Бета вышла замуж за Успенского, я прослышал в Берлине и сгоряча послал ей поздравительную телеграмму. Эта скверная телеграмма затерялась по дороге, за что я впоследствии не раз благодарил судьбу. Как нарочно именно в это время комендант Берлина генерал Берзарин предложил мне интересную работу по инспектированию госпиталей, и я ухватился за его предложение, чтобы подольше не возвращаться в Москву. В конце концов меня все-таки отозвали, и я с ходу дал согласие остаться в кадрах, а еще через полгода женился на хорошенькой женщине, дочери крупного военного деятеля,

очень этого хотевшей и обладавшей множеством ненужных мне достоинств. Все это делалось с единственной целью — возвести между собой и Бетой тройной ряд проволочных заграждений. В Институт я даже не зашел.

О том, что мне не следовало жениться и портить жизнь сразу двум людям, я догадался едва ли не на другой день после свадьбы. Я не оговорился, была настоящая свадьба, не церковная, конечно, а вполне современная, но от этого не менее глупая и томительная. Начать с того, что на свадьбе не было ни одного близкого мне человека, только сослуживцы тестя и подруги моей жены; невестой я ее не рискую назвать, потому что регистрация не внесла ничего нового в наши интимные отношения. Новым было другое: до свадьбы мы жили врозь, теперь нам предстояло жить вместе.

Успенский явился на свадьбу незванный. Свадебный пир происходил в квартире моего тестя, в огромной гостиной, увешанной картинами батального содержания. К приходу Паши было уже порядочно выпито и все-таки скучновато. Паша ворвался как смерч, с охапкой обожженных первым заморозком красных кленовых веток из институтского сада, такой же ясноглазый и молодежавый, как до войны, разве что седины стало больше, но она ему шла. Ворвался и сразу овладел застольем, как умел он один, самовластно, но никого не обижая, ему покорились самые солидные, самые важные из гостей, он заставлял их дружно хохотать, а затем вытащил из-за стола, повел к стоявшему в гостиной трофейному «Блютнеру» и наскоро сколотил мужской хор. Пели полузабытые солдатские и революционные песни, причем громче и вернее всех пел он сам, его левая рука извлекала из загрубевших глоток нечто стройное и задушевное, а правая самозабвенно отбивала маршевый такт, лицо Паши становилось то грозным, то печальным, очень светлые глаза мечтательно щурились и вдруг вспыхивали жестоким весельем. Презрев слабые протесты моей тещи, он распорядился убрать стулья и придвинуть пиршественные столы к стене, усадил одну из Лидиных подруг за пианино и вдохновенно дирижировал кадрилию, а затем под дружные аплодисменты собравшихся протанцевал с тещей мазурку. Теща моя танцевала мазурку еще на губернских балах, но откуда бывший красногвардеец, чьи ноги чаще шагали по глине, чем по натертому паркету, мог научиться этой скользкой дворцовой грации, для меня до сих пор загадка.

Наконец наступили те предшествующие разъезду полчаса, когда усталые и отяжелевшие гости вновь возвращаются к столу, где уже засыпаны солью винные пятна и вместо остро пахнущих солений и копченостей расставлены никому не нужные жирные торты. Убедившись, что жена и теща разливают чай и на нас не смотрят, он схватил меня за локоть и оттер в полутемную переднюю.

— Не валяй дурака,— сказал он сердито.— Почему ты не приходишь? Тебя все помнят, любят и будут рады. И Бета тоже.

Конечно, он все знал. Умолчание было не в характере Беты. Знал, но не считал нужным объясняться. Меня это задело. Паша понял и засмеялся:

— Поговорить о прошлом мы всегда успеем. А вот подумать о будущем надо не теряя времени. Пора перестать играть в солдатики.

Вероятно, я поморщился. Паша опять засмеялся:

— Извини. Я хотел сказать: все хорошо в свое время. Пока шла война, твое поведение делало тебе честь. Но война кончилась. Не собираешься же ты до конца своих дней оставаться полковником? — Он посмотрел мне прямо в глаза и вдруг захохотал.— Что? Хочешь быть генералом?

Тут он как в воду глядел. Я уже был на генеральской должности, а к Новому году должно было подоспеть и звание.

— Зачем тебе это? — сказал Паша. — Для солидности? Нам с тобой солидность ни к чему. Солидные у меня замы. Послушай меня, Леша... — Впервые за вечер он назвал меня по имени, и меня это тронуло. — Плюй на все и береги лампочку.

— Какую лампочку? — спросил я, уже что-то понимая.

— Ту, что внутри нас. — Он показал на грудь. — Пока она горит, мы будем двигать науку, заводить друзей, нравиться женщинам... Погаснет — и никакие лампы тебя не спасут. Короче — ты в любой момент можешь получить обратно свою лабораторию. Черт с тобой, можешь совмещать. Баба Варя тебя подстрахует, затем подыщем тебе крепкого помощника, а твое дело — резать и ставить проблемы. Приходи. Кстати, увидишь еще одну женщину, которая будет тебе рада. Олю Шелепову. Она теперь работает у меня.

Я обещал подумать. Паша вернулся в столовую, а когда я через минуту вошел вслед за ним, оказалось, что он исчез так же внезапно, как и появился.

V. Среди шумного бала

В последних числах декабря того же сорок пятого года я получил письмо от Петра Петровича Полонского. В чрезвычайно лестных выражениях, от имени и по поручению коллектива он приглашал меня в Институт на новогодний бал.

Петр Петрович появился в нашем Институте, когда я был на фронте. До войны он заведовал кафедрой в каком-то периферийном вузе. Вуз этот эвакуировался на Урал. Жена Петра Петровича, в то время беременная, на Урал ехать не захотела и, будучи наделена от природы всепокрушающей энергией, добилась перевода в эшелон, увозивший наш Институт в областной среднеазиатский городок, сохранившийся в благодарной памяти эвакуантов под сокращенным названием «абад». В результате этих стремительных, но необдуманных действий семья в составе доктора биологических наук П. П. Полонского, его супруги Зои Романовны и двух дочерей, из коих одна, как любят выражаться наши ученые мужи, была еще в антенатальном периоде, оказалась на мели: в снятой за большие деньги семиметровой конуре, без работы и всяких средств к существованию. Кто-то надоумил Зою Романовну послать телеграмму Успенскому. Паша в то время подолгу обретался в Куйбышеве, куда перебралось большинство правительственных учреждений. Он рвался на фронт, а его не пускали. Петра Петровича Успенский знал разве что по фамилии, но отозвался немедленно: позвонил по ВЧ в обком с настоятельной просьбой оказать срочную материальную помощь известному ученому профессору Полонскому. Все остальные вопросы он обещал разрешить на месте по возвращении в «абад».

В ожидании приезда Успенского Петр Петрович развил в городе бурную общественную деятельность. Он выступал в местном лектории, и его стали узнавать на улицах. Вернувшись, Паша со свойственной ему быстротой соображения сразу смекнул, что от исследовательской работы Петр Петрович давно отстал, зато он прямо создан, чтоб замещать директора Института во время его частых и продолжительных отлучек. Решение было мудрое. Пока Институт жил бивачной жизнью и основная задача руководства состояла в том, чтоб сохранить до лучших времен ценное оборудование и научные кадры, Петр Петрович был вполне на месте. Неизменно и ровно любезный, он никому ни в чем не отказывал, а если притом не всегда выполнял

свои обещания, то как-то так, что на него не обижались. Он ладил со всеми, а на местные власти производил неотразимое впечатление своей бородой аксакала, вальяжными манерами и тем высоко ценимым на Востоке талантом ко всякого рода церемониалу, которого всегда недоставало мне. В этом отношении мы полностью сходились с Успенским, разница была только в том, что Паша как человек государственный лучше меня понимал необходимость ритуала и по достоинству оценил эти качества Петра Петровича. За два года эвакуации Успенский не провел в «абаде» и шести месяцев и, возвращаясь, неизменно находил сотрудников более или менее сытыми, склоки — улаженными, отношения с инстанциями — в самом превосходном состоянии. И хотя уже тогда злые языки называли Петра Петровича шляпой, которую оставляют в кресле в знак того, что место занято, большинство моих коллег и сейчас относится к нему лучше, чем к дельному и работающему Алмазову. Кто-то сказал: ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Очень верно.

Письмо было более чем вежливое, и хотя в этот день нам с женой предстояло впервые отправиться в Кремль на встречу Нового года, мне остро захотелось хоть на час окунуться в милую моему сердцу атмосферу институтского праздника. Балами наши институтские вечера называются по традиции отчасти потому, что происходят они не вечером, а сразу после работы, но еще больше потому, что торжественная часть у нас бывает краткой и необременительной, а основное время занимают живая газета, игры и танцы. Танцевали у нас в Институте все, и лучше всех сам Павел Дмитриевич Успенский, неизменно открывавший бал мазуркой в паре с кем-нибудь из юных лаборанток, и наши девчонки, для которых шимми и чарльстон были давно пройденным этапом, старательно разучивали па мазурки на случай, если их пригласит директор. Столь же традиционными были маленькие банкетки по лабораториям с мензурными стаканчиками вместо стопок и неизбежным красным винегретом в эмалированных ведрах. В каждой лаборатории были свои фирменные блюда и коронные номера, свои поэты и каламбуристы, свои милые обычаи и местного значения фольклор. Шло соревнование, и, скажу не хвастаясь, наша маленькая лаборатория блистала чаще других, она была самой молодой, самой дружной, самой веселой и изобретательной на развлечения, и даже представители старшего поколения, в том числе моя ближайшая помощница Варвара Владимировна Алеева, строгая и справедливая баба Варя, ни в чем не уступала молодежи. Чтоб руководить коллективом на отдыхе, необязательно обладать какими-то особыми талантами, важно не мешать тем, у кого они есть, и, бог свидетель, я не мешал никому.

Незадолго до описываемых событий мне было присвоено звание генерал-майора медицинской службы, и для своего первого визита в Институт я надел новенькую генеральскую форму. Каюсь, острой необходимости в этом не было, но человек суетен, а форма мне шла, она добавляла к моей мальчиговатой внешности какую-то недостающую краску. Жена тоже настаивала на форме, но, как я теперь понимаю, по совсем другим причинам: ей хотелось, чтобы мои бывшие друзья воочию убедились, что теперь у меня совсем другая жизнь и я им больше не принадлежу. Ехать со мной жена отказалась, она готовилась к кремлевской встрече, но отправляясь в парикмахерскую, самолично довезла меня до ворот Института. Это был акт высокой лояльности.

Я не был в Институте с лета сорок первого года и, войдя в ворота, неожиданно для себя неприлично разволновался. Говорят, старые боевые генералы любят пустить слезу, но я был генерал не старый и,

несмотря на свои ордена, не такой уж боевой, появляться на люди в растрепанных чувствах мне не хотелось. К счастью, я был один, будь жена рядом, мое волнение несомненно было бы истолковано самым превратным образом. Перед женитьбой я имел глупость рассказать ей о Бете и Ольге, в чем очень скоро раскаялся. Вероятно, есть женщины, способные понимать чувства, которых сами не испытывают, но моя жена к ним не принадлежала. Единственной точкой отсчета и мерой вещей была для нее она сама.

Я люблю наш Институт. Люблю его так, как любят женщину или родные края, не за что-нибудь одно, а целиком, безраздельно, со всем, что в нем есть, я не умею отделить тело от души, здание от людей, прошлое от будущего, успехи от неудач, я не испытываю слепого восторга перед нашими институтскими порядками, многое меня бесит и заставляет страдать, но какая же любовь не знает приступов бешенства и мук ревности?

В давние времена к стойке ворот была прикреплена небольшая мраморная дощечка: «Городская усадьба конца XVIII века. Архитектор неизвестен». Автора проекта установить так и не удалось, и кто-то распорядился снять дощечку. У меня на этот счет особое мнение — на мой взгляд, здание надо охранять прежде всего потому, что оно прекрасно. Неизвестный архитектор строил ничуть не хуже Казакова или Баженова, и было бы только справедливо воздать ему в двадцатом веке недоданное в восемнадцатом. В этом здании все гармонично: и двухэтажная средняя часть с четырьмя небольшими полуколоннами, и несимметрично расположенный вход, и легкие, похожие на крытые галереи одноэтажные крылья с низенькими арочками, ведущими во внутренний двор, когда-то сад, где еще сохранилось несколько старых кленов и одичавших яблонь. В результате снятия дощечки Институт получил право достройки здания, однако же не вверх и не в стороны, а только вглубь, и теперь, если посмотреть на него с птичьего полета, оно должно напоминать распластанный на летном поле самолет, где фюзеляжем служит пристроенное с тыла перпендикулярно к крыльям длинное строение из серого бетона. Когда-то весь Институт со всеми лабораториями умещался в особняке, теперь там остались только кабинеты администрации и конференц-зал; лаборатории и мастерские отступили в глубь фюзеляжа, в длинные, освещенные лампами дневного света коридоры с одинаковыми, обитыми рыжим дерматином дверями по сторонам. На многих дверях стандартные картонки: «Не входите, идет опыт». Чем дальше по коридору, тем явственнее сладковатый запах морга, смесь из запахов так называемых субпродуктов, которыми кормят подопытных животных, и запаха самих животных, живых и мертвых, их крови и мочи. А в хвостовой части фюзеляжа помещается виварий, и летом сквозь открытые окна конференц-зала бывает слышен собачий лай.

Была еще одна причина, мешавшая мне сразу войти. Я не был готов к встрече со старыми друзьями. Предстояло отвечать на вопросы, а может быть, и на упреки. Из письма Петра Петровича я понял, что Паша с Бетой где-то за границей, и это отчасти снимало напряжение, но был же еще Алешка, была баба Варя... Вернувшись из Берлина, я им даже не позвонил. Почему? До сих пор мне приходилось объяснять это только самому себе, и ответ находился с легкостью: новое дело, работа по десять—двенадцать часов в сутки, разъезды и командировки, включая вылет на Дальний Восток, войну с Японией, Корею, Дайрен, Порт-Артур... Ну и, конечно, самозащита — стремление возвести между собой и Институтом непроходимый барьер, стремление, к тому же подкрепленное затаенным недоброжелательством жены к моему прошлому, к Институту, к моим старым друзьям и привязан-

ностям. Убедительно? Да. Простительно? Нет. То, что наедине с собой сходило за объяснение, на пороге Института выглядело как самый черствый эгоизм. И лучше уж не лезть к хорошим людям со своими доморощенными оправданиями, а положиться на их такт и великодушие.

Прежде чем прийти к такому выводу, я дважды обошел внешний двор по припорошенной свежим снежком круговой аллее, то приближаясь, то удаляясь от ярко освещенных окон. Вряд ли меня видели, а если кто и видел, то не узнал. И только обретя внешний покой, взялся за медное кольцо у парадного подъезда.

В вестибюле меня встретил старик Антоневи́ч, и мы впервые за все время нашего знакомства расцеловались. Моя шинель не произвела на него никакого впечатления, явись я в горностаевой мантии, он точно так же выдал бы мне номерок. Как я и думал, старик не ездил в эвакуацию, а оставался охранять здание. Но мы не успели поговорить, меня сразу же окружили распорядители обоего пола, знакомые и незнакомые, и потащили в конференц-зал, где я оказался в центре внимания, дружеского у одних, любознательного у других, почти подострастного у третьих. Замечено, что люди, вернувшиеся из эвакуации, где они честно работали на оборону, чувствуют что-то вроде вины перед фронтовиками, и я в своей военной форме и с внушительной колодочкой на груди казался настоящим героем. Петр Петрович почел своей приятной обязанностью (его собственные слова) представиться и пригласить меня в президиум. Кажется, я разговаривал с ним не очень внимательно, не из чванства, а потому что искал глазами Ольгу, я не видел ее много лет и боялся встречи — не то что боялся, а не хотел увидеть ее сильно изменившейся, подурневшей, озлобившейся. Сидя за длинным столом на возвышении, где не раз сиживал как член ученого совета, и слушая громкий, но тусклый голос Петра Петровича, я жадно разглядывал зад, вылавливая из полумрака знакомые лица и пытаюсь понять по незнакомым происшедшие без меня изменения. Жену и старшую дочь Полонского я угадал мгновенно. Жену — по хозяйскому взгляду, сфокусированному на красном лице Аксакала. Это была чугунная блондинка атлетического сложения, отлично сохранившаяся для своих лет. Дочку — по сходству с отцом и матерью, и меня поразило, что черты таких видных и даже красивых людей, смешавшись, не пошли на пользу потомству. Девочка была не то чтоб нехороша собой, нет, природа явно намеревалась произвести на свет красавицу, но допустила брак. Девочка об этом не догадывалась, у нее была надменная осанка привыкшей к поклонению женщины, и на отца она смотрела тем же хозяйским взглядом. Так на собачьих выставках смотрят владельцы на своих псов-медалистов — гордо, ревниво и в то же время с чувством абсолютного превосходства.

Я поискал глазами Алексея и бабу Варю. Их в зале не было, и я уже хотел спросить о них у соседа, когда в глубине зала приоткрылась дверь из ярко освещенного вестибюля и показалась женская фигура. Она была освещена ровно столько времени, сколько нужно, чтобы проскользнуть в зал и стать за колонну, но я успел узнать Ольгу.

Если до того я лишь краем уха прислушивался к праздничному гулу, издаваемому Петром Петровичем, то с этой минуты я перестал его слышать совсем. К счастью, его речь уже шла к концу и вскоре он приступил к вручению премий и почетных грамот. Первым в списке был старик Антоневи́ч. Петр Петрович долго тряс ему руку, но обнять не решился. Затем членам президиума было предложено занять оставленные для них места в первом ряду, стол разобрали, и возвышением завладел Илюша Славин со своим сатирическим ансамблем.

блем, носившим многообещающее название «Вскрытие покажет». Теперь от этого ансамбля мало что осталось, нет в Институте и самого Илюши, но тогда это было по-настоящему талантливо, и я почувствовал некоторую гордость оттого, что ядро ансамбля составляла молодежь из моей бывшей лаборатории. Илюша был новый аспирант, нам еще только предстояло познакомиться. С того вечера прошло больше десяти лет, многое забылось, но мне хорошо запомнился один номер — вполне невинная пародия, немало повредившая Илюше, когда решалась судьба его диссертации. Мне сразу понравился этот задорный чертенок с мордочкой неаполитанского мальчишки, яркоглазый и неулыбчивый. Илюша вел программу в образе хромого и косноязычного служителя из анатомички, он все время заикался и путал, в этих как бы нечаянных оговорках таилось страшное коварство. И на этот раз он вышел, смешно загребая ногой, в резиновом фартуке и белой шапочке, выйдя, он бесконечно долго с радостной ухмылкой разглядывал зрительный зал, было ясно, что он может удерживать на себе внимание зала столько, сколько хочет. Затем вздохнул и возвел глаза к потолку. На лице его отражалась мучительная работа мысли, он готовился произнести первую фразу. Фраза рождалась в тяжких потугах. Губы шевелились, кадык ходил как при глотании, казалось, слово вот-вот обретет критическую массу и сорвется с губ, но в последнее мгновение какой-то пустяк нарушил с таким трудом достигнутую сосредоточенность и попытка не состоялась. В зале засмеялись и захлопали. Илюша поднял руку, его глаза умоляли: тише, так легко нарушить творческий процесс. После этого он еще не меньше минуты под сдерживаемый смех зала ловил ускользящую мысль и наконец выдохнул:

— Я н-не оратор...

Досадливо отмахнулся от смеющихся людей и грустно пояснил:

— Г-говорить не умею.

Затем извлек из кармана свернутую в трубочку бумагу и бережно развернул.

— Р-разрешите зачитать?

— Читай! — крикнули из зала.

Илюша колебался. В нем зрело новое решение:

— Лучше я з-запою.

Он мигнул аккомпаниатору и объявил:

— К-композитор Чайковский. К-куплеты мсье Трипе.

— Трике! — крикнул зычный голос.

Илюша вздрогнул как от испуга. Посчитал на пальцах, как бы проверяя себя. И, проверив, печально подтвердил:

— Трипе.

Известные всем и каждому куплеты были забавно переделаны на злобу дня, но секрет их успеха заключался все же не в тексте, а в дьявольски уловленном сходстве между оперным Трике и почтенным Петром Петровичем с его торжественной жестикуляцией и выпренно-комплиментарной речью. Даже я, видевший Полонского первый раз в жизни, оценил меткость нанесенного удара, но мог ли я тогда предвидеть, что беззлая насмешка Илюши навсегда вытеснит старое лестное прозвище Аксакал и отныне во всех кулуарных разговорах он будет именоваться не иначе как мсье Трипе. Обо всем этом я не слишком задумывался, потому что среди взрывов хохота мне два или три раза слышался негромкий, но очень ясный, по-девчоночьи звонкий смех Ольги — так радостно-доверчиво умела смеяться только она. И я решил, как только объявят перерыв, подойти к Оле и заговорить, даже если мне придется пробиваться сквозь отчужденность.

Ольга была слишком горда, чтоб упрекать, и я не боялся упреков, но имел все основания ожидать холодности.

Куплеты имели шумный успех, затем хор превратился в ученый совет, а Илюша изображал поочередно диссертанта, научного руководителя, двух официальных оппонентов и одного неофициального — подвыпившего паренька «из публики», единственного, кто дает диссертации трезвую оценку. Это была довольно злая пародия на наши защиты. Не дожидаясь конца, я встал и пошел к выходу с озабоченным лицом человека, вызванного по срочному делу. У двери я оглянулся. Ольги уже не было. Я пересек пустой вестибюль и вошел в приемную перед директорским кабинетом. Здесь явно готовились к приему знатных гостей, столик карельской березы был накрыт скатертью, Ольга и пожилая машинистка из методбюро расставляли парадные стопки из чешского стекла. Увидев меня, Ольга застыла, мне показалось даже, что она оперлась рукой на стол, чтоб не покачнуться, но это продолжалось секунду, она улыбнулась и подала мне руку.

— А я вас видела.

— Знаю,— сказал я.— А я вас слышал.

— Каким образом?

— Вы прятались за колонной. Но я узнал ваш смех и очень рад, что он не изменился.

Ольга засмеялась.

— Да, забежала на минутку, чтоб посмотреть Илюшу. Правда, он чудо?

— Почему же вы ушли?

— Я не могла. Вот...— Она повела рукой, показывая на армянский коньяк и чешское стекло.— И потом, я прикована цепью к телефону. Я ведь человек служащий.

— Ученый секретарь?

— Что вы!.. Я ведь ничего не кончила. Обыкновенная секретарша.

Я смотрел на Ольгу не отрываясь. Она нисколько не подурнела, скорее похорошела. Ушло все то детское, наивное, чуточку провинциальное, что было в прежней Оле. Доверчивость осталась только в смехе. Передо мной стояла очень подтянутая, скромная, но уверенная в себе женщина в хорошо сшитом темном платье.

— Помните, вы меня дразнили, что мой смех похож на телефонный звонок? Сегодня я вспомнила и вдруг обиделась. Неужели я так противно смеюсь?

— Если б мне не нравилось, как вы смеетесь, я бы вас не дразнил. Надоели телефонные звонки?

— Временами надоедают, но вообще-то я привыкла. Это все, что я умею делать. Скажите, вы теперь всегда будете ходить в форме?

— А что — не идет?

— Очень идет. Но в ней вы похожи на всех других генералов. А в апашке вы были больше похожи на себя.

Пожилая машинистка тактично вышла. Разговаривать стало легче.

— Как вы живете, Оля?

— Вот так и живу. Между домом и Институтом.

— Позовете меня посмотреть дочку?

— Нет,— сказала Ольга с неожиданной суровостью.— Нет, Олег Антонович, не позову. Было время, когда я очень хотела, чтоб вы зашли ко мне, познакомились с моей мамой. Мне это было необходимо, а вам ничем не грозило. А теперь я так занята, что у меня никто не бывает.— Чтоб смягчить отказ, она улыбнулась.— Нет, правда, никто... Вы посидите с нами?

— Наоборот, хочу вас увести. Меня ждут в лаборатории мои мальчишки и девочки. Уверяю вас, там будет веселее.

— Да, но как же я могу... Знаете что, если вы непременно хотите пойти к своим, то уходите сразу. А то придет Петр Петрович с иностранным гостем и вам будет неудобно уйти. Мы еще увидимся. Я знаю, вы возвращаетесь в Институт.

— Вот как? Откуда?

— Секретари всё знают...

Еще на пороге приемной я заметил, что в вестибюле кто-то есть, и, приглядевшись, увидел Петра Петровича. Бедный Аксакал был загнан в полукруглую нишу, где у нас на высоком цоколе установлен бюст Мечникова. Один выход из ниши запирала своей мощной спиной чугунная блондинка, другой сторожила дочка, державшая свою лакированную сумку как изготовленный к стрельбе автомат. Дама была в бешенстве.

— Идиот! — шипела она. — Я всегда знала, что ты тряпка, но сегодня ты превзошел себя. Ему при всем честном народе наплевали в морду, а он еще лезет обниматься и благодарить...

— А что я, по-твоему, должен был делать?

— Что? Ну, знаешь ли, ты совсем болван. Не допускать! Прикрыть раз и навсегда весь этот балаган. А этому гаденышу сказать, чтоб он убирался на все четыре стороны.

— Ты бог знает что говоришь. Павел Дмитриевич...

— Ты себя с Павлом Дмитриевичем не равняй. Он может валяться под забором и все равно останется Успенским. Пойми, болван: человек, которого в глаза зовут мсье Трипе, не может руководить институтом.

— Я и не собираюсь...

— А кем ты собираешься быть? Может быть, уйти в науку и открыть какой-нибудь новый закон? Открой, если можешь, буду только рада...

Я смертельно боялся, что Полонский меня заметит. Случайно или намеренно ты становишься свидетелем чужого унижения — это почти не имеет значения. Человек может простить врага, но не свидетеля своей слабости. На мое счастье, распахнулись двери и из конференц-зала повалил народ. Пустынный вестибюль сразу наполнился оживленными людьми с еще не отвердевшими после смеха лицами, курильщики нетерпеливо чиркали спичками, засидевшиеся девчонки приплясывали и перекликались. Шумная и текучая толпа скрыла от меня семейство Полонских, и, бросив в ту сторону последний взгляд, я увидел только возвышавшийся над морем голов бесстрастный мраморный лик Ильи Ильича Мечникова. Меня вновь окружили. Подошла Варвара Владимировна, совсем седая и как будто уменьшившаяся в росте, но такая же старомодно-элегантная, как всегда. Конечно, она была в зале и видела меня, это я ее не узнал. Я поцеловал ей руку, она меня в голову, тут же выяснилось, что нам этого мало, и мы обнялись. Баба Варя — чудо. Чудо научной добросовестности. Чудо скромности, чудо доброты. Я достоверно знаю, что Успенский не раз предлагал утвердить ее заведующей лабораторией и Варвара Владимировна всякий раз отказывалась. Могла ли она стоять во главе лаборатории? Не только могла, но в течение четырех лет фактически стояла. Но вот — ждала меня.

— Фу-ты ну-ты какой франт, — сказала баба Варя, закуривая, руки ее заметно дрожали. — Ну, а делом вы намерены заниматься? Поторопитесь, сударь.

— А что?

— Не могу же я вечно быть и. о.

— И не надо.

Она отмахнулась.

— Куда мне. Я старая баба, у меня внуки. Найдутся охотники помоложе меня. И — позубастее.

На этом разговор и кончился, потому что на каждой из моих рук повисло по кандидату наук. Кандидаты были свежеиспеченные, из моих бывших аспиранток, и очень пищали. Они потащили меня в лабораторный корпус. Свою лабораторию я нашел бы даже с завязанными глазами, на ощупь, по слуху, по запаху. За четыре военных года она почти не изменилась, те же выкрашенные белой масляной краской стены и застекленные перегородки, те же выставленные в коридор термостаты и кислородные баллоны, запах химикалий и шуршание включенных в сеть приборов. И вообще все было по-прежнему: заменяющая скатерть белая лабораторная простыня на оцинкованном столе, мензурные стаканчики и разномастные блюда с красным винегретом, шуточные объявления на стенах и, главное, милые, до родственности знакомые лица, немного постаревшие, чуточку увядшие, но с неугасшим блеском в глазах и с неостывшей готовностью спорить, смеяться, а когда нужно, торчать здесь до поздней ночи. Многих недостает. Нет лаборантки Тани Шишловой, ушедшей по путевке комсомола в школу разведчиков, нет Наты Чемодуровой, ушедшей замуж в «абаде» за секретаря горисполкома, нет Рафика Енгибаряна, погибшего в окружении под Полтавой. Есть и новые лица. Две светленькие девочки в одинаковых белых блузках, вероятно лаборантки. Уже знакомый мне по живой газете неулыбчивый чертенок. И крепкий, несколько поигрывающий своей медвежатостью малый лет тридцати, устремивший на меня взор, полный обожания. Девочки протянули мне твердые ладошки и невнятно пробормотали свои имена. Баба Варя перевела: Нина и Сима. Малый раздул ноздри и, стиснув мою руку сильнее, чем мне хотелось, сказал счастливым шепотом:

— Вдовин.

— Николай Митрофанович, — добавила баба Варя.

Малый зарделся:

— Что вы! Просто Николай.

Чертенок небрежно сунул мне лапу и спросил:

— Говорят, вы прилично играете в шахматы?

— Говорят, — сказал я.

— Не глядя на доску?

— Немножко.

— Вот и отлично. А то тут все слабаки.

Приветливо кивнул и отошел. Было ли это нахальством? С точки зрения Зои Романовны, несомненно. Вероятно, с точки зрения Вдовина, тоже, он был явно шокирован. Мне же чертенок понравился. В нем была независимость талантливого человека, то чувство равенства, которое ощущает молодой ученый по отношению к своему независимому от возраста и чинов. Впоследствии мы с Ильей дружили почти на равных, как в свое время дружил со мною Успенский. В современной науке молодость отнюдь не недостаток и академический старый хрен, требующий к себе особого почтения только за то, что он старый хрен, нынче просто смешон. Илье все давалось легко: новые идеи, смежные области знания, лабораторная техника. Он был равно силен в теории и в эксперименте. С ним было весело, хотя улыбался он редко. Самые забавные и парадоксальные мысли он изрекал с ошеломляющей серьезностью, а с научными гипотезами играл, как котенок с катушкой, ему доставлял удовольствие самый процесс спора, и, бывало, он приводил в неистовство своих оппонентов

для того, чтоб тут же с легкостью отказаться от добытой в кровавой схватке победы и самому опрокинуть всю систему своих доказательств. У него было природное недоверие к авторитетам, и временами он несомненно перебарщивал. Азартный в работе, хотя и с приступами необъяснимой лени, ласковый и дерзкий, он обладал удивительным даром изображать самых разных людей. За одних он мог произносить целые монологи, других показывал молниеносной гримасой. Меня он показывал именно так, и, говорят, очень похоже, — не только мой вздернутый нос, но и несколько искусственную чопорность, которой я за собой раньше не знал. Наблюдательность у Илюшки была дьявольская, и хотя по доброте душевной он вряд ли хотел кого-нибудь обидеть, некоторые из наших ученых мужей все-таки обижались. Не всякому приятно видеть, как вытаскивается наружу что-то глубоко запрятанное, и мы нередко склонны видеть клевету там, где есть только сходство.

За столом было шумно и весело. Я, как всегда, пил сухое вино, да и то больше для вида. Пить водку я умею, когда я был фронтовым хирургом, случалось пить даже чистый спирт. Просто она мне не нужна. Она мешает мне работать, и я не становлюсь от нее ни веселее, ни откровеннее. Пьяных я не то что не люблю — они мне неинтересны. Не знаю, был Вдовин пьян или притворялся, но от его настойчивых объяснений в заочной любви мне было не по себе. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Это правда, хотя и не вся правда. Если пьяный говорит вам какую-нибудь гадость, можно не сомневаться, что она приходила ему в голову и трезвому. Я не верю, чтобы нормальный человек, который в трезвом состоянии не был, скажем, гомосексуалистом или антисемитом, стал им под влиянием бутылки коньяка. Алкоголь ослабляет тормоза и может сделать человека агрессивным, но не изменяет его сущности. Пьяный не лишен соображения, часто он и пьет затем, чтоб ему стало дозволено то, что не положено трезвому. В силу не вполне понятных мне причин пьяные пользуются у нас некоторыми льготами и умело их используют, бестактность принимается за откровенность, а грубая лесть — за крик души. И когда Вдовин, раздувая ноздри и непрерывно за что-то извиняясь, пытался мне втолковать, с каким нетерпением он ждал нашей встречи, меня не оставляло ощущение, что я ему зачем-то нужен. Чертенюк же обращал на меня не больше внимания, чем на остальных, он потешал весь стол, причем как будто ничего особенного для этого не делал. В разгар веселья появилась слегка раскрасневшаяся Ольга. Она протиснулась ко мне и зашептала в ухо:

— Петр Петрович вас очень просит...

— Не пойду, — сказал я.

— Ах ты господи! — Она хмыкнула совсем по-девчачьи. — Ну как вы не понимаете... Надо.

— Надо?

Я удивился: неужели милая Оля ударилась в дипломатию? Взглянул на нее и понял: ошибся. Надо, но не мне. Надо Петру Петровичу.

— Сейчас приду, — шепнул я, подмигнув, и Ольга, довольная, исчезла.

Однако меня отпустили не сразу. Баба Варя предложила гост «за возвращение блудного сына». И по тому, как все потянулись ко мне, я понял, что меня здесь помнят, а те, кто меня не знал, достаточно слышаны. Мне все улыбались. Только баба Варя сказала без улыбки, с некоторой даже суровостью:

— Дружок мой, вам очень идет ваша форма, но меня вы не обманете. Ваше дело не маршировать, а экспериментировать. Кому как не нам знать, сколь быстротечно время. Чем больше вы сегодня пре-

успеваете, тем больше отстаете. Еще год-два — и вы рискуете отстать безнадежно.

Я знал все это не хуже бабы Вари, но на меня ее слова все-таки произвели впечатление.

Я подоспел на помощь Петру Петровичу как раз вовремя. Он принимал гостя из Вьетнама. Гость не знал английского, а Петр Петрович французского, и беседы не получалось. Зоя Романовна, считавшая, что она говорит по-французски, допрашивала маленького вьетнамца, нравится ли ему московское метро. Вьетнамец белозубо улыбался и говорил: «Mais oui, madame! Magnifique!⁴». В глазах его застыло страдание. Все остальные — Полонский, помощник Успенского Кауфман и Ольга — присутствовали при сем на правах статистов. Меня Зоя Романовна встретила светской улыбкой и тут же представила гостю как *notre célèbre savant, général Udine*⁵. Я заговорил с вьетнамцем и сразу понял, что имею дело с настоящим ученым. Мне удалось вовлечь в разговор Петра Петровича и несколько блоkirовать мадам. Ольга смотрела на меня с благодарностью.

Минут через десять в вестибюле ударили в гонг — начинались танцы. Петр Петрович предложил перейти в конференц-зал, где к тому времени были убраны стулья. В новеньких мощных динамиках чисто звучал пленительный и тревожный вальс Хачатуряна, вальс нарушал традицию, но мазурка без Успенского в первой паре была бы еще более заметным нарушением. Петр Петрович и доктор Нгуен не танцевали, мне пришлось тряхнуть стариной, я танцевал с Олей, с бабой Варей и даже с Зоей Романовной. Пригласила она, и я не сумел отказаться. Мне были приятно, что баба Варя не разлюбила меня, а с Олей сразу установились простые и дружелюбные отношения, поэтому я был любезен с чугунной дамой. Конечно, это было чистое лицемерие и его хватило ненадолго. Во время медленного фокса Зоя Романовна спросила меня как бы между прочим, давно ли я знаю Ольгу Георгиевну и чем объясняю влияние, которым пользуется обыкновенная секретарша, а главное, апломб, с каким она себя держит. На это я, леденя от бешенства, ответил, продолжая осторожно вести свою даму по кругу, что Ольгу Георгиевну знаю давно, она занималась в моем семинаре и была способной студенткой, влияние проще всего объяснить ее деловыми качествами, если же Зоя Романовна называет апломбом естественное чувство собственного достоинства, то я особенно ценю это качество в людях, не занимающих высокого служебного положения. Зоя Романовна ответила мне светской улыбкой, но было уже ясно, что мы не станем друзьями. После Зои Романовны я опять танцевал с Ольгой, и когда я вел ее по кругу, у нее был такой же открытый доверчивый взгляд, как в те давние студенческие времена, я понял, что Ольга рада моему возвращению в Институт и не думает обо мне слишком плохо.

Илюша вертелся в зале, но не танцевал. Позднее я нашел его в вестибюле. Он курил и, заметив меня, сделал древнеримский приветственный жест.

— Е-два, е-четыре.

— Е-семь, е-пять, — ответил я.

— Эф-два, эф-четыре!

Тут я задумался. Предлагался королевский гамбит, начало острое, требующее точной игры.

— Конь на це-семь, — сказал я не очень уверенно.

На девятом ходу я потерял легкую фигуру, и продолжать партию

⁴ О да, мадам! Превосходно!

⁵ Наш знаменитый ученый генерал Юдин (франц.).

не имело смысла. Мы заговорили и сразу заспорили. Меня сближает с людьми не столько единомыслие — в науке оно необязательно и даже опасно, — сколько уровень мышления. Невозможно разговаривать не пересекаясь. Можно говорить одно и то же на разных языках и не понимать друг друга. Гораздо больше шансов договориться, когда собеседники говорят разное на одном языке. Меня удивило, что такого мальчишку всерьез занимает проблема долголетия. Обычно это удел людей постарше.

— Долголетия? — переспросил Илюша. — Нисколько. Ненавижу старость. Стариков я жалею — и только. Надо научить людей не стариться.

— Старится все на свете. Люди, идеи, режимы, планеты...

— Ну вы же понимаете... Не стариться раньше времени.

— И у вас, конечно, уже есть собственная гипотеза о причинах старения?

Это было сказано не без ехидства. Илюша улыбнулся, не разжимая губ.

— Одной пока нет. С десяток наберется.

— Не много ли?

— Из них при удаче останется одна. Не беспокойтесь, там, где существует полтора гипотез, мои десять никому не помешают.

— И вы знаете все полтора?

— Более или менее. Я много читал. — Он взглянул на меня почти испуганно. — Думаете, хвастаюсь? Не хвастаюсь, а жалею. Многознание уму не научает, научает эксперимент. Сотни, тысячи экспериментов. А эксперимент — это дорого и черт знает сколько времени уходит на суету. Иногда я физически ощущаю, как утекает время. Прямо из-под пальцев... И тогда на меня нападает страх.

— Чего же вы боитесь?

— Состариться и не успеть.

— Что же тогда остается говорить мне?

— Вы уже многое успели. И вообще — нет. Я к вам присматривался. В вас есть это. — Он сузил глаза, сжал губы, легонько мизинцем оттянул кверху нос и очень смешно показал меня, вернее мою несколько искусственную чопорность. — Но по существу вы человек легкомысленный. Не сердитесь, это комплимент. Вы еще способны усумниться в достигнутом и начать все сначала. Не то что Вдовин.

— Это тот, новенький?

— Ну да! — Так же мгновенно и опять очень смешно Илюша показал раздутые ноздри и медвежескую застенчивость моего будущего врага. — Он так поздно и с таким трудом добрался до некоторых азбучных истин, что очень сердится, когда с ними приходится расставаться. Вы устроены иначе.

— Не спешите с выводами. Вы меня слишком мало знаете.

— Больше, чем вы думаете. У нас с вами есть общие друзья.

— Кто же?

— Алексей.

— Шутов?

— Ну да! Мы с ним лежали рядом в госпитале.

Я не сразу решился задать следующий вопрос. Алешка воевал, Алешка был ранен, Алешка лежал в военном госпитале, а я об этом не знал. Где же? В ополчении, в кадровых частях? Кем? Рядовым, офицером, в медсанбате? Куда ранен? Кто его оперировал? Вопросов было множество, но я выбрал самый нейтральный:

— Кстати, где он?

— В санатории. А до этого был в Киргизии. Лечился кумысом. У него прострелено легкое.

— Послушайте, Илюша...

Я хотел еще что-то спросить, но в этот момент двери конференц-зала широко распахнулись, в запущенных на полную мощность динамиках загрела озорная джазовая полечка, и на просторы вестибюля выползла, извиваясь, длинная вереница хохочущих и приплясывающих людей. Во главе процессии самозабвенно прыгал какой-то черноватый аспирант с лицом арлекина. Увидев нас, он восторженно захохотал и, увлекая за собой всю цепочку, рванулся ко мне, наставил на меня оба указательных пальца и, продолжая приплясывать, стал кланяться на манер китайского болванчика. По правилам игры я тоже должен был поклониться, а затем, подпрыгнув, стать впереди него и вести процессию дальше. Я так и сделал. Отыскать следующую жертву было несложно — Илюша стоял рядом. Получив инициативу, Илюша на секунду задумался, оглядел пустой вестибюль и вдруг ринулся в раскрытые настежь двери дирекции. Следуя за ним по пятам, я впервые подметил, что Илюша слегка припадает на левую ногу, на встраде он преувеличивал свою хромоту, а в жизни ловко прятал. Мы влетели в приемную, она была пуста, на столе стояли недопитые стопки, и только из приоткрытой двери директорского кабинета доносились голоса. Я хотел удержать Илюшу, но было уже поздно, он ворвался в кабинет как шаровая молния. В кабинете за коньяком и сигарами мирно беседовали Петр Петрович и доктор Нгуен. Кто-то лысенький и отутуженный переводил. Зоя Романовна скучала с внимательным лицом. Сердитая девочка дремала в глубоком кресле. То ли Илюша не догадывался о настроении мадам Трипе, то ли сознательно играл с огнем, но он выбрал именно ее и, наставив на Зою Романовну указательные пальцы, закланялся и заплясал. Из-за спины Илюши я хорошо видел лицо Зои Романовны, и, признаюсь, мне вчуже стало жутко. Прошло несколько секунд, достаточно, чтоб в кабинет втиснулась половина процессии, все мгновенно оценили драматизм ситуации и примолкли. Трудно сказать, чем кончился бы этот немой поединок, если б не сидевший рядом с Зоей Романовной маленький доктор Нгуен. Он вдруг вскочил, с серьезнейшим видом поклонился Илюше, затем подпрыгнул и, повернувшись в воздухе, наставил пальцы на свою соседку. Откровенно говоря, я боялся, что нервная система Зои Романовны не выдержит такого количества противоречивых команд, ее лицо то краснело, то белело, губы складывались то в гримасу гнева, то в светскую улыбку, в конце концов улыбка победила, Зоя Романовна вспорхнула с дивана, отвесила гостю церемонный поклон, затем, встав во главе процессии, одним пальцем вынула из глубокого кресла Петра Петровича, легкая толчая в дверях, и вереница во главе с Аксакалом заплясала с удвоенной энергией, вылетела обратно в вестибюль, продефилировала мимо мраморного Мечникова, растянулась в хоровод, затем опять стянулась, как пружина, чтоб вытащить из-за барьера сопротивлявшегося старика Антоневица, и вдруг распалась. Полечка еще гремела, но молекулярное сцепление было уже нарушено, все столпились у входных дверей. Я выглянул и ахнул, увидев в дверях Пашу и Бету. Они показались мне очень красивыми — и он и она: высокие, стройные, смеющиеся. Он в защитного цвета сибирочке, она в меховой шубке и шапочке с белым верхом. Старик Антоневиц со счастливым лицом спешил им навстречу. Шофер Юра вносил какие-то картонные коробки. По довольному и лукавому виду Успенского я совершенно точно угадал, что он удрал очередную штуку: сбежал с чужого новогоднего праздника, чтобы встретить Новый год со своими, и прямо с аэродрома, не заезжая домой, прикатил в Институт. Петр Петрович хотел рапортовать, но Паша рапорта не принял, поклонился Петру Петровичу,

подхватил Бету и понесся впереди каким-то чудом вновь восстановившейся цепочки. На пороге конференц-зала он на несколько секунд остановился, чтобы сбросить шубы на руки подоспевшему Антоневичу, полечка захлебнулась, было слышно, как чиркнула игла по пластинке, одновременно вспыхнули стенные бра и грянула мазурка. Праздник, уже шедший на убыль, пошел по второму кругу.

Я не мог уйти из Института, не поговорив с Успенским. И Паша и Бета встретили меня так сердечно, так непритворно радовались моему появлению, что с меня разом соскочила моя ревнивая настроженность и все было решено в несколько минут: мне дается неделя, за эту неделю я должен утрясти с военным начальством свой дальнейший служебный статус и принять лабораторию.

В этот вечер мы с женой тяжело поссорились. Бывают ссоры бурные, но не оставляющие рубцов. И есть ссоры, где примирение — сделка, последствия их необратимы. Подлинная причина таких ссор обычно глубже внешнего повода и зачастую бывает скрыта от самих ссорящихся. Формальный повод для претензий у Лиды был — я вернулся домой часа на полтора позже обещанного. До встречи в Кремле было еще много времени, и я никого не подводил, но, вероятно, должен был позвонить. Эту свою вину я готов был признать, но прекрасно понимал, что дело не в том, когда я пришел, а в том, что пришел я счастливый из Института, который она ненавидела и где я наверняка яхшался со своими бывшими пассиями. Уходя из дому, я зачем-то сказал, что Успенских нет в Москве, это была правда, вернувшись, я не скрыл, что видел Бету, и оказался лгуном. Я мог повдичиться за опоздание и тем локализовать ссору, но во мне уже накопилось столько раздражения против семейного деспотизма и оскорбительного недоверия (оно неприятно даже в тех случаях, когда приходится лгать, и совершенно непереносимо, когда ты невинен), что я тоже перешел в наступление. Мы разговаривали как враги, и если бы не настояния заехавшего за нами тестя, не поехали бы в Кремль. В Кремле у жены разболелась голова, мы вернулись домой рано и впервые за нашу совместную жизнь легли спать в разных комнатах. После мы прожили вместе еще много лет, но трещина осталась навсегда.

VI. По сравнению с вечностью

Новый район, где я теперь живу, еще сравнительно недавно был подмосковной деревней. Следы деревенской жизни стираются быстро, но еще торчат среди вразброд поставленных блочных пятиэтажников бревенчатые домишки с резными наличниками, не то избы, не то дачки, за плетнями и заборчиками копошится всякая живность, и тянут свои кривые жилистые шеи подсолнечники. От широких асфальтированных улиц, по которым ходит городской транспорт, разбегаются безымянные проулочки, к стенам зданий жмутся тесные палисаднички, кое-где построены летние беседки и разбиты площадки для игр, мальчишки играют в чижика, а отцы семейств в городки, по праздникам звучит гармошка и можно видеть, как принаряженная и в меру подвыпившая компания, взявшись за руки, прохаживается по местам своих прежних прогулок. Впереди, пятясь и приплясывая, заводит частушку чуточку отяжелевшая, но еще лихая матрона в платочке и импортном костюме джерси, компания подтягивает нестройно и неуверенно, милая моему сердцу частушка вымирает, вытесняемая современным оптимистическим романсом, унаследовавшим от жестокого романса наших предков беззастенчивость в изображении своих интимных чувств. «Полюбила! Полюбила! — вопит стеклянный

голосок из выставленных на подоконники и запущенных на полную мощность приемников.— И не надо мне другого!..» Если не надо, то зачем же так орать? Протяжных песен не поют совсем, да и гармонист уже не чувствует себя первым парнем, как в деревне, еще год-два — и его аккордеон отступит перед портативным радиоприемником на полупроводниках, по сравнению с которым выставляемые на подоконники громоздкие ящики покажутся ангельским хором. Город наступает, новое теснит старину, все это естественно и закономерно, но расставание, даже если это расставание с отжившим, всегда окрашено грустью. До сих пор ближайšie к моему дому автобусные остановки называются «Северная околица» и «Сельсовет», их скоро переименуют, а жаль: эти названия — такой же памятник прошлого, как Никитские ворота и Кузнецкий мост.

Мой дом самый высокий и самый красивый в микрорайоне. Дом построен в форме буквы П, вход в квартиры только со двора, по фасаду расположены магазины и бытовой комбинат. Наш управляющий Фрол Кузьмич более всего гордится тем, что вверенный ему дом держит в районе первое место по наглядной агитации. И в самом деле, такого количества транспарантов, плакатов и стендов на душу населения я не видел больше нигде. Всю торцовую часть дома занимает гигантский плакат, призывающий граждан подписываться на газеты и журналы. Нет квартиры, куда бы почта не доставляла газеты, но в теплое время года пенсионеры, составляющие у нас значительную прослойку, предпочитают толпиться вокруг установленных в середине двора газетных стендов. Это и понятно: можно не только почитать, но и обсудить. Стараниями Фрола трижды в году выпускается машинописная стенгазета «За здоровый быт» с яркими заголовками и вырезанными из «Огонька» цветными картинками.

Когда я поселился в доме, у меня была единственная мечта: затвориться в башне из слоновой кости и привлекать к своей особе как можно меньше общественного внимания. Но башня из слоновой кости ничуть не большая реальность, чем воздушный замок, меня знают все, и я знаю многих. Теперь я не жалею об этом, дом стал для меня продолжением лаборатории и рабочей моделью, в лаборатории я могу наблюдать возрастные изменения только на животных, здесь я вижу их на людях. Конечно, никаких плановых исследований я в доме не провожу, но именно здесь, а не в лаборатории у меня возникли некоторые еще требующие подтверждения мысли о взаимосвязи между физиологическим процессом старения и высшей нервной деятельностью. Взаимосвязь эту изучать на подопытных животных затруднительно, поскольку вторая сигнальная система у них отсутствует, ставить опыты на человеке и вовсе невозможно. Получается порочный круг, из которого еще надо искать выход. Не могу сказать, что я люблю свой дом так же, как Институт, у меня нет к нему цельного отношения, одни люди мне нравятся, другие неприятны, но я часто, особенно ночью, когда мне не спится, думаю и о тех и о других.

В день похорон Успенского я выхожу из дому рано. Накануне я получил от Беты телеграмму с просьбой приехать в Институт до объявленного часа и понял: предстоит разговор. Прошедшую ночь я почти не спал, но вялости не чувствую, наоборот, моя восприимчивость обострена. Спускаюсь на седьмой этаж и вызываю лифт. Кабина всплывает, я берусь за ручку шахтной двери. Одновременно за спиной у меня щелкает дверной замок, и по астматическому дыханию я понимаю, что на площадку вышел Мясников. Этот человек — бич всего дома и мой личный враг. Наша вражда лишена всякой реальной основы, помнится, с год назад он явился ко мне с какими-то фанта-

тическими претензиями, стал угрожать, и я захлопнул дверь перед его носом. С тех пор он несколько раз пытался вызвать меня на скандал, все эти попытки я пресекал без особого труда, но должен признаться, что само существование этого человека где-то вблизи — меня утомляет. Его неприязнь ко мне еще обострилась с того случая, когда я купировал у него тяжелый приступ астмы. Я давно бы забыл об этой небольшой услуге, но он мне ее не прощает. Смешно, но всякий раз, выходя из своей квартиры, я готовлю себя к возможности встречи с Мясниковым, чтоб по рассеянности не поздороваться, а иметь то жестко-отчужденное выражение лица, которое удерживает его в рамках приличия.

Итак, Мясников дышит у меня за спиной. Поскольку он не просит меня подождать, пока он запрет свою дверь, я вправе уехать без него. Но это было бы демонстрацией и дало бы Мясникову основание думать, что я его боюсь или, наоборот, задираю. Поэтому оставляю дверь кабины открытой, и он входит. Я предоставляю ему нажать кнопку первого этажа. Сделай я это сам, он немедленно заявил бы, что ему нужно на третий этаж — достаточный повод затеять сладостную для него свару. Мы спускаемся в молчании, по-моему, он даже задерживает дыхание, чтоб не радовать меня своей астмой. Я вижу его лицо в зеркале, оно было бы даже красиво, если б не нечистая лоснящаяся кожа и застывшая на лице презрительная гримаса. Мясников совсем не стар, вероятно, моложе меня, и напоявляет мне хорошую машину, попавшую в руки плохому хозяину, забывающему ее чистить и смазывать. Насколько мне известно, Мясников почти не пьет, истоки его агрессивности в чем-то другом. Иногда мне хочется зайти к нему и поговорить по душам, но вот лишнее доказательство, как сложно экспериментировать на людях: попробуй подойти к человеку, чья недоброжелательность так сильна, а при этом не имеет видимых причин. Всякий шаг к примирению он воспримет как слабость. Мы благополучно спускаемся. Из множества таких не поддающихся измерению микрораздражителей, бомбардирующих нашу нервную систему и наносящих микротравмы, рождается утомление.

Когда в нашу повседневную жизнь вторгается смерть, мы не перестаем замечать мелочи. Наоборот. Много раз, участвуя в похоронах людей, в том числе людей мне близких, я замечал, что мое зрение обостряется, а память удерживает множество деталей. Это obviously, изменяется не поле зрения, а его освещенность, одни мелочи приобретают неожиданную значительность, а другие, до сих пор неоправданно раздуваемые, осознаются в своих подлинных масштабах, то есть именно как мелочи. У друга моей юности Алешки Шутова было излюбленное выражение «все это чепуха и тлен по сравнению с вечностью». Сегодня я вспоминаю Алешкину поговорку и нахожу, что время от времени такое сравнение не только полезно, но и необходимо, оно возвращает нам способность видеть знакомое и привычное как бы впервые. Сегодня, стоя на площадке, я впервые вчитался в прикрепленный к двери шахты призыв: «Берегите лифт, он сохраняет здоровье и создает удобства». Конечно, я видел его раньше и считал безобидной фикцией, но только сегодня я разглядел толщину железа и добротность покрывающей его эмали, мысленно представил тонны проката, истраченные на то, чтоб донести до жителей большого города эту банальную и не очень грамотно выраженную истину. Вряд ли созерцание подобной вывески способствует продлению жизни лифта, умному она не нужна, а дурак все равно сделает по-своему. И мне становится жаль тех людей, которые тратят время на изготовление ненужных вещей. Неверно, что время — деньги. Вре-

мя — это жизнь. Деньги приходят и уходят, только время и жизнь нельзя повернуть вспять.

Во двор я спускаюсь в тот благословенный час, когда машины, загружающие трюмы наших магазинов коробками, ящиками и бидонами, уже отгрохотали и еще не выползли на двор пенсионеры, чтоб предаться ненавистной мне игре в домино. Во дворе меня по-военному приветствует наш управдом Фрол Трофеев. Настоящая фамилия его Трофимов, но всем жителям дома откуда-то известно, что в сорок пятом году Фрол был старшиной трофейной команды. С этим человеком у меня еще более сложные отношения, чем с Мясниковым, но по совсем другой причине — он меня обожает, мне же он и все его семейство глубоко противны. Почтение, которое чувствует ко мне Фрол, объясняется легко — он уважает во мне заслуженного фронтовика. Моя военная карьера закончилась в звании генерал-майора, его — в звании младшего лейтенанта, и еще неизвестно, кому было труднее взять рубеж — мне стать генералом или ему офицером. Человек он совершенно невежественный и, как большинство невежд, самоуверенный, то немногое, что он усвоил, кажется ему пределом человеческого знания. Я предвижу: сейчас Фрол попросит меня написать заметку о вреде пьянства для стенгазеты «За здоровый быт», и убыстряю шаги. Фрол предпочитает бороться с пьянством лозунгами и заметками, а в это время на глазах у всех погибает его собственный отец Кузьма Николаевич. Я часто вижу этого высохшего человечка в мятом пиджачке и засаленной кепочке. Он не шагает, а ползет, шаркая по асфальту жесткими кожемитовыми подошвами. Ему не так много лет, но он уже полностью изношен. Бывают такие старые ходики — они еще тикают, но в любой момент могут стать. Это тихий пьяница, одинаково безобидный и во хмелю и в трезвом состоянии, в каком он пребывает редко, только до открытия магазина. Когда я вижу Кузьму или жену Трофимова Капу, бесформенную в свои сорок лет крашеную блондинку, которая ходит по двору переваливаясь и может говорить только во весь голос, из-за ожирения пиано у нее отсутствует, во мне просыпается физиолог, я вспоминаю, какая прекрасная и надежная машина — человеческий организм, и мне хочется крикнуть: безумцы, что вы с собой сделали? Не всякому дано превратить в светящийся факел вложенную в него при рождении божественную искру, но тело ваше такой же божественный дар, а во что вы его превратили? Женщина в сорок лет должна быть красивой и желанной, для этого нет нужды вытравлять волосы, чтоб они превращались в желтое сено, надо есть поменьше пирогов и побольше двигаться. А мужчина в шестьдесят, не воевавший и не особенно голодавший, должен бегать стометровку не дольше пятнадцати секунд, а не лакать отраву. Я уж не говорю о детях. У Трофимовых двое детей: Валюшка и Валерка. Валерке пятнадцать лет, но он уже выпивает. По вечерам, проходя под аркой, там, где стоят автоматные будки, я часто вижу его в компании двух или трех парней из нашего дома, они курят, пересмеиваются и изо всех сил стараются выглядеть опасными. Издали можно подумать, что это взрослые люди, но я-то знаю, что они еще щенки. И пьют они, эти щенки, страшную мерзость, какое-то «біле міцне» и отечественный вермут, пахнущий бытовой химией. Валюшке на год больше, и пока что ей не грозит судьба матери, она тонка, как зубочистка, и ест только то, что рекомендует женский журнал «Elle», а поскольку в нашем гастрономе нет ни спаржи, ни артишоков, она морит себя голодом. Мечта ее жизни стать манекенщицей или стюардессой на заграничной линии, для этой цели она изучает французский язык, хотя с моей точки зрения ей следовало бы приналечь на русский. Ни у Валерки, ни у Валюшки нет

никаких книг, кроме учебников, да и к учебникам они относятся примерно так, как их дед к порожней водочной посуде. Эти благородные отпрыски служат прекрасной иллюстрацией явления, именуемого в науке акселерацией, и одновременно убедительным доказательством того, что акселерация сама по себе не такое благо, как кажется некоторым диссертантам. Скажи я все это Фролу, он наверняка ничего не поймет. Как человек самодовольный, он доволен и своей семьей, спохватится он только тогда, когда Валерку впервые заберут в милицию, а Валюшке надо будет делать аборт. Тогда он затрепыхается, забегает и будет покорно выслушивать любые правдоучения, а пока не стоит и пробовать, мои рассуждения покажутся ему интеллигентскими фокусами, а кое-что в них, например упоминание о божественной искре, и вовсе сомнительным. Ибо, как доказано, бога нет.

Бедняга! Я и сам знаю, что бога нет.

Со всеми этими мыслями я пересекаю двор. Пока я иду, дорожку мне перебегают несколько кошек, в том числе одна или две черных. Кошек во дворе столько, что суеверному человеку лучше сразу закончить с собой. Благополучно выхожу на Унтер-ден-Линден. Это название носит не улица, а обсаженная чахлыми липками прямоугольная травянистая площадка, расположенная между торцовой частью нашего дома и ближайшей автобусной остановкой. Название, конечно, неофициальное. Площадка ежевесенне становится ареной ожесточенной борьбы. Борются две основные силы — домоуправление и состоящий из пенсионеров дворовый актив, с одной стороны, работающее население дома — с другой. Первые запрещают ходить по газону и требуют обходить площадку, вторые, завидев подходящий автобус, без зазрения совести пересекают ее по диагонали, и к середине лета от газона остается только два запыленных уголка. Борьба идет давно, сначала домоуправление действовало в духе наглядной агитации, установив на границах площадки колышки со скромным фанерным призывом: «По газону не ходить!» Следующим этапом была установка заградительных стоек, какие обычно ставятся при очистке крыш от снега и при производстве ремонтных работ. Затем последовательно были применены: проволока, правда не колючая и натянутая на небольшой высоте, но с наступлением темноты становившаяся опасной для жизни и здоровья граждан, низенький, крашенный в зеленую краску заборчик и как последнее слово техники — изгородь из окрашенных в классические цвета железнодорожных шпалобревней тонких жердей. Все это не действует, работяги по-прежнему предпочитают поспешать к автобусу по гипотенузе, а не по катетам. Вероятно, разумнее всего было бы проложить по диагонали узенькую плиточную дорожку, но на такое умаление престижа своей власти Фрол Трофеев никогда не пойдет, и ходят слухи, что на соседнем с нами заводе фасонного литья будет заказана фигурная чугунная ограда.

Из чувства солидарности я тоже иду по диагонали. Автобус мне не нужен. С некоторых пор я признаю только два вида передвижения по городу — метро и пешее хождение. В редких случаях — такси. Нисколько не тоскую по утраченной казенной машине, еще меньше жалею о том, что не взвалил на себя тяжкий крест в виде собственной. Я люблю ходить, на ходу я размышляю на всякие отвлеченные темы, чего нельзя делать за рулем. Метро меня привлекает своей надежностью, его не приходится ждать. В метро люди меньше толкаются и реже грубят, чем в трамваях и автобусах. Стоя на эскалаторе, я тренирую свою наблюдательность. Эскалатор, подобно прокатному стану, выхватывает и формирует из бурлящего человеческого месива длинную и прямую, застывающую на глазах ленту. Люди подчиня-

ются движению, не зависящему от их усилий, это минутный отдых воли. В этот момент они больше всего похожи на самих себя, они не позируют, не напрягаются и наиболее доступны для наблюдения. При встречном движении на каждого индивидуума приходится считанные секунды, но для наметанного глаза это немало. В своем занятии я не одинок. Среди наблюдаемых, я замечаю, есть наблюдатели. Женщина в импортной вязаной кофточке не смотрит на лица. Она смотрит, кто как одет, и ревниво отмечает каждую кофточку, похожую на ее собственную. Нагловатый тип с ненасытными глазами бабника выхватывает из толпы только женщин и мгновенно классифицирует их по пятибалльной системе: старухи — ноль, уродины — единица, пятерку он ставит редко и со знанием дела. Угрюмый старик в темном плаще и дымчатых очках — игрок и, как всякий игрок, суеверен. Он все время что-то подсчитывает и загадывает. Какие-то парни студенческого вида играют в своеобразный «блиц» — пытаются мгновенно определить профессию, национальность и прочие параметры проплывающих мимо них людей. Вероятно, будущие криминалисты или социологи.

Я тоже играю в эту игру, но по-другому. Я физиолог и потому прежде всего схватываю физиологический тип, моя специальность — возрастная физиология, и, скользя глазами по встречному потоку, я почти безошибочно угадываю возраст — подлинный, записанный в метрике. Попутно я отмечаю симптомы преждевременного старения и стараюсь угадать его причины — нарушенный гормональный обмен, патологические роды, наследственная отягченность, неврозы... Причины условно делятся на физиологические и социальные, на практике их разделить почти невозможно, так тесно они переплетены. Один знаковый скульптор говорил мне, что с возрастом человеческие лица приобретают наибольшую выразительность. Здесь необходимо уточнение. Лицам пожилых людей свойственна некоторая застылость черт, и в способности выражать непосредственное ощущение они заметно уступают молодым. Зато они великолепно отражают прожитую жизнь и некоторые доминирующие свойства характера. Я считаю себя неплохим физиономистом, но помалкиваю об этом. Какой благодарный материал для Вдовина и его затаившихся комбатантов! Физиономист — значит, проповедник физиогномики, осужденной вместе с френологией как лженаука. Утверждать связь между внешностью человека и его характером — тут пахнет ломброзианством, а это уже не просто лженаука, а лженаука буржуазная, от которой недалеко и до расизма. Все это вздор, никакой систематикой я не занимаюсь, просто я привык верить своему первому впечатлению. Изю всех видов живописи я больше всего люблю живопись портретную, вряд ли великие портретисты прошлого изучали досье своих натурщиков, они и так видели их насквозь. Бывает, конечно, обманчивая внешность, но гораздо реже, чем это принято думать, чаще всего человек похож на себя.

Я не был в Институте неделю и не узнал его. Еще в воротах увидел: парадная дверь распахнута настежь, вход стал как будто шире. Подойдя ближе, понял, что не ошибся, — отворена даже левая узенькая створка, не открывавшаяся на моей памяти никогда. Двор пуст, если не считать одинокого «пикапчика» с зеленым брезентовым верхом. Асфальт чист и влажен. От «пикапа» по влажному, как после мокрой уборки, асфальту тянется след из осыпавшейся хвои и каких-то мелких лепестков: пронесли венки. Освещенный только проникающим через открытую дверь дневным светом, пустой вестибюль напоминал придел какого-то собора. Белел в глубине благостный Илья Ильич Мечников, неразборчиво чернели фотографические лики от-

личников на Доске почета. Сходство еще довершалось тихой музыкой, доносившейся сквозь притворенные двери конференц-зала. Я прислушался. Кто-то играл на рояле, и играл хорошо. В том, что невидимый пианист играл Шопена, не могло быть сомнения, но пьеса показалась мне незнакомой, если я и слышал ее когда-либо, то очень давно, может быть в раннем детстве. После пьесы пианист сделал большую паузу, затем вновь заиграл, и я не сразу узнал известный всем и каждому похоронный марш Шопена. Впрочем, пианист исполнил не марш, а третью часть си-бемоль-минорной сонаты, гениальной и редко исполняемой именно потому, что третья маршеобразная часть уже давно оторвалась от нее и ведет самостоятельное существование как общечеловеческий символ мужественной скорби. Незнакомая пьеса была второй частью сонаты. Осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, я пробрался в конференц-зал. То, что я увидел, меня поразило.

Двусветный зал был затемнен плотными шторами, как во время рефератов с диапозитивами. Вся середина зала освобождена от стульев, как для очередного бала, на месте остался только эпидиаскоп, отбрасывавший на экран увеличенный во много раз портрет Успенского, и я вздрогнул, узнав эту выцветшую любительскую карточку. На меня смотрел с экрана молодой, но уже начинающий седеть недавний военком эскадрона с тонкой шеей и очень светлыми бесстрашными глазами, такой, каким его не знала даже Бета, но хорошо помнил я. Под экраном на месте стола заседаний ученого совета стоял рояль, прекрасный инструмент, доставшийся Институту в наследство вместе с карельской березой, а за роялем сидел Лазарь Неменов, молодой пианист, бывавший в доме Успенского и на наших институтских вечерах. И только затем я увидел гроб, стоявший на задрапированном темной материей помосте впритык к тыльной стороне эпидиаскопа, темная лампа, заключенная в щелястый и ребристый алюминиевый корпус, отбрасывала крупные, неправильной формы блики на подголовный валик и лоб покойного. В застывшей у изголовья неподвижной белой фигуре я не сразу узнал Антоневиича. Когда я подошел, он не пошевелился. На лицо человека, лежавшего передо мной в гробу, я старался не смотреть, так неузнаваемо оно изменилось. Оно было изменчивым и в жизни, иногда я видел на нем отсвет того прежнего Паши, чья зыбкая тень переселилась на морщинистый экран. Сегодня оно было жестко-отчужденным, такое лицо у него бывало на заседаниях, когда говорили то, что ему не нравилось или не хотелось слышать.

Пока Лазарь играл, я думал о том, что в искусстве, так же как в науке, бывают изобретения и открытия. Изобретения нарастают лавиной, открытия по-прежнему редки. Похоронный марш Шопена, конечно, не изобретение, а открытие. В его звуках уловлены какие-то общечеловеческие закономерности, иначе почему же он одинаково внятен и мне, и стоящему рядом со мной старику Антоневиичу, и Лазарю, и еще миллионам людей на протяжении целого столетия? Конечно, никакая аналогия не может быть полной, если б Архимед или сэр Исаак Ньютон не сделали бы своих знаменитых открытий, их несомненно сделал бы кто-то другой, но не родился на свет Шопен, не было бы и си-бемоль-минорной сонаты, и это преисполняет меня несколько завистливым удивлением. Я подумал также, что Паша был из тех людей, кому по плечу открытия, он и стоял на пороге открытий, и помешала ему не смерть, а нечто, ворвавшееся в его жизнь гораздо раньше физической смерти и помешавшее ему полностью реализовать свои возможности. Он это знал и мучился. Мне вдруг вспомнились его слова о лампочке, которую надо беречь, и я с болью подумал, что объяснение лежит где-то рядом.

После третьей части Лазарь опять сделал паузу, я шепотом спросил Антоневиича о Бете, и он также шепотом ответил, что Елизавета Игнатьевна «у яго». Я не понял, и он ворчливо пояснил:

— У яго — в кабинете.

В пустынном вестибюле я вижу своего сотрудника Виктора Пущина и радуюсь встрече. Виктор очень способный парень, мягко-настойчивый, терпеливый, щепетильно-добросовестный — прирожденный экспериментатор. Когда ни придешь в лабораторию, видишь его рыжеватый ежик, склонившийся над аппаратурой, сползающие к кончику веснушчатого носа сильные очки и подпертую языком, как у школьника во время диктанта, пухлую верхнюю губу. Нелегко догадаться, что этот ученый очкарик — опытный парашютист, на его счету около тридцати прыжков, в том числе несколько затяжных. Виктор и меня пытался втравить в это занятие, но меня оно не увлекло, прыгнул я всего один раз, только для того, чтоб доказать себе, что я это могу. О моем прыжке в Институте не знает ни одна душа, и это не единственная тайна, связывающая нас с Виктором. Несколько лет назад я сдуру поставил «на себе» — животные для этого дела не годились — довольно рискованный опыт, и Виктор мне ассистировал. Во время эксперимента мне стало дурно, и Виктор проявил восхитительное хладнокровие, сам оказал мне первую помощь и отвез домой, а главное, сделал это так, что, кроме нас двоих, об этом до сих пор никто не знает. Я отношусь к Виктору с нежностью, к которой пришивается некоторая доля раздражения. Корни этого раздражения неясны мне самому, из видимых причин я могу назвать только бороду, рыженькую рублевскую бородку на полудетском лице. Таким оно останется до старости. Все, что я могу сказать против бородатых, ничуть не умнее и не убедительнее того, что бояре петровских времен говорили о бритых, я прекрасно помню, что в сравнительно недавнее время бороды носили Сеченов, Павлов, Ухтомский, Чехов и Толстой и это не мешало им быть передовыми людьми своей эпохи. Так что, вернее всего, это самая обычная нетерпимость. Не религиозная, не политическая, а еще более широкая, всеобъемлющая, древняя как мир нетерпимость ко всему, что не я, вековая привычка рассматривать свой рост, цвет кожи, одежду, язык и способ мышления как общечеловеческий эталон. В своем неприятии Витиной бороды я мало чем отличаюсь от пенсионеров с нашего двора, донашивающих широкие брюки с обшлагами и провожающих носителей узких брюк взглядами, о которые можно споткнуться. Мы очень любим говорить «я бы на твоём месте...», но мы до ужаса не умеем себя ставить на место другого человека, только близость гроба делает нас терпимее, и я впервые начинаю понимать, что моя раздражительность носит отчетливо возрастной характер. До войны и даже еще во время войны я был твердо уверен, что знаю, чем дышат такие вот — до тридцати. Сегодня я в этом уже не так убежден. То есть я знаю, конечно, что наша институтская молодежь относится ко мне совсем не плохо, знаю также, что хотя я уже немолод и никогда не был хорош собой, еще нравлюсь кое-кому из шныряющих по нашим коридорам девченок в белых, ловко обтягивающих бедра халатиках, и, смею думать, нравлюсь бескорыстно, однако расстояние, равное жизни целого поколения, разделяет нас невидимой, но труднопроницаемой преградой и, вероятно, только большая любовь, любовь, граничащая с чудом и столь же редкая, способна разрушить этот страшный барьер, гораздо более духовный, чем физический. С Виктором этот барьер менее ощутим, и все же он существует. Во время опытов мы с ним понимаем друг друга с полуслова, но в остальное время меня раздражает его неторопливость, не лень, а именно неторопливость человека,

убежденного, что у него впереди еще много времени. Так что если вдуматься, кроме непонимания, в моем отношении к Виктору есть и доля зависти. А при всем при том мы нежно любим друг друга.

— Вдовин прикатил,— говорит Виктор самым равнодушным тоном.— Видели?

Равнодушие, конечно, деланное. Вдовина Виктор терпеть не может.

— Нет, не видел,— говорю я еще равнодушнее.— А что?

— Ничего. Любопытно.

— А по-моему, естественно. Через два часа здесь будет вся Москва и двенадцать языков.

Виктор мечет на меня из-под очков быстрый взгляд: придуриваешься или в самом деле не понимаешь? И деликатно переводит разговор на другие рельсы.

— Сердце? — спрашивает он.

— По-видимому.

— Плохо.

— Кому? Ему?

— Ему-то теперь что... Всем.

— А вы его любили, Витя?

Виктор задумывается.

— Не знаю.

Среди наших кандидатов наук Виктор один из самых знающих, но никто так часто не говорит «не знаю», и это меня умиляет. С тех пор как Вдовин защитил переписанную мной диссертацию, я ни разу не слышал от него, что он чего-то не знает.

— Почему, Витя?

— Не знаю. Уважал, конечно. И, признаться, побаивался. Когда боишься, хочется уговорить себя, будто любишь. Чтoб любить настоящему, надо хоть что-то знать кроме того, что знают все. Он ведь был для нас... (Запинка: хотел сказать «для нас, молодых», но постеснялся.) Не знаю, как вам лучше объяснить... Ну, как портрет.

— Какой портрет?

— Ну вот что на стенах вешают.— Он повел рукой и, не найдя ничего подходящего, показал на мраморного Мечникова.— А вы его любили?

— Любил,— говорю я.

У дверей приемной мы расстаемся. Когда-то весь особняк был обставлен карельской березой, теперь она сохранилась только в приемной и директорском кабинете. Я не очень люблю карельскую березу, но она все-таки лучше, чем канцелярский стандарт. Ольга как всегда — на посту. Стоя на шатком столике, она прикрепляет траурные ленты к портрету Успенского и не сразу замечает меня. Столик ей низок, приходится тянуться, я вижу, как напрягаются ее икры. Для тридцативосьмилетней женщины, у которой почти взрослая дочь, она выглядит великолепно. Как всегда, просто и хорошо одета. Темный костюм и белая блузка. Идеальный секретарь, деловитый, вежливый, но умеющий при случае установить дистанцию, уже не Олечка, а Ольга Георгиевна.

Звонит телефон. Ольга оборачивается и, увидев меня, краснеет. Поняла, что я ее разглядывал. Столик опасно покачнулся, и я вовремя подоспел на помощь.

По телефону она говорит сдержанно и немногословно: да, да, да, пожалуйста... Звонит другой аппарат, она не глядя берет трубку и опять: да, да, да, конечно. С двенадцати. Пожалуйста...

— Звонят не переставая,— поясняет она извиняющимся тоном.— Скажите, Олег Антонович, почетный караул... он для кого почетный? Для того, кто в нем стоит?

Вопрос неожиданный, и готового ответа у меня нет.

— Нет, по-моему, все-таки для того, кто умер,— говорю я не очень уверенно.

— Я тоже раньше так думала. А сейчас мне начинает казаться, что для живых. И чтоб было в отчете... Если б вы знали, сколько людей добивались, чтоб их подпись поставили под некрологом, сколько было обид... Ну ладно. Говорят, вы блестяще выступали в Париже?

— Кто это говорит?

— Прогрессивная французская печать. У меня есть для вас вырезка...

Но мне не до Парижа. Хочу спросить, здесь ли Бета и можно ли к ней зайти. Ольга меня опережает, невесело усмехнувшись, она показывает глазами на стоящую в углу одноногую вешалку. Раздевался в приемной — привилегия немногих, в свое время ею пользовался и Вдовин. На вешалке висят зеленая велюровая шляпа и скатанный, как плащ-палатка, дождевик. Я никогда не видел ни этой шляпы, ни дождевика, но сразу догадываюсь, чьи они.

— Он там,— бесстрастно поясняет Ольга, показывая на дверь кабинета.— Если не хотите встречаться, идите к себе в лабораторию. Я позвоню.

Встретаться с Вдовиным мне действительно не очень хочется. Кто объяснит, почему с врагом активным и опасным ищешь встречи, а поверженного видеть трудно, как будто виноват ты, а не он? Мы не виделись целый год, но я всегда помню о его существовании. Никогда не стремился что-либо узнать о нем, но он много раз незримо присутствовал в моих размышлениях. Придет в голову какая-нибудь не совсем банальная идея, и тут же рядом возникает мыслишка: интересно, что сказал бы по этому поводу мой притаившийся где-то выкормыш, мой заклятый дружок, мой закадычный враг, к которому у меня уже нет личного ожесточения, а есть только стойкое неприятие. Для меня он теперь скорее символ, чем человек. Свидание с ним мне удовольствия не доставит, но если у кого-нибудь из нас и есть причины избегать встречи, то скорее уж у него, чем у меня. Я хотел это сказать, но не успел. Отворилась дверь кабинета, и из нее вышел человек, которого я в первую секунду не узнал, хотя и был предупрежден. Меня сбила с толку русая, с легкой проседью борода на загорелом лице. Я давно заметил, что бороды что-то объясняют в человеке, бритые лица нейтральнее. Передо мной стоял купец. Не из Островского, скорее из Горького. Крутой, сметливый, рискованный... Меня-то он узнаёт мгновенно, но гоже захвачен врасплох. Это делает нас обоих искреннее, чем мы собирались быть. Примерно полминуты мы откровенно рассматриваем один другого. Я просто молчу, Вдовин обдумывает первую фразу.

— Не меняется,— говорит он наконец.

Это пробный шар. Короткая фраза, без местоимения и вроде даже не прямо ко мне обращенная. Понимай как знаешь — как комплимент, как иронию, дело твое.

Я молчу.

— Ну, здравствуй, что ли...— Руку он держит, как будто она на перевязи, согнутой и слегка на отлете.

— Здравствуйте,— закатывать демонстрацию глупо, и я протягиваю руку.

— Руку, значит, все-таки подаешь? — говорит он, криво усмехаясь.

— Подаю. Только это ничего не значит.

Это не было заготовленной колкостью, а вырвалось непроизвольно и потому особенно его задело. Он разводит руками, апеллируя к Ольге и даже шире: к висящим на стенах приемной портретам столпов отечественной и зарубежной физиологии. Дескать, чего же ждать от человека, который даже в такой скорбный день не способен изменить своей черствой натуре. Но умница Ольга в этот момент вспоминает, что ей нужно куда-то позвонить, и вид у нее еще более отрешенный, чем у Ухтомского и Алексиса Карреля.

— Ну, как понравился Париж?

Опять без местоимения.

Когда-то Николай Митрофанович очень добивался, чтоб перейти со мной на ты. Во время достопамятной дискуссии он уже «выкал» мне с трибуны, я был для него персона нон грата, гнилой либерал. Теперь он прощупывает почву.

— Париж? Париж, как известно, мой родной город.

Тут Ольга не выдерживает и тихонько фыркает. Ей ли не помнить, как во время все той же дискуссии Вдовин назвал меня «уроженцем города Парижа», вероятно, чтоб обнажить корни моих заблуждений и преступного неуважения к отечественной науке. Удар попадает в цель. Но у Николая Митрофановича достаточно толстая кожа.

— Поговорить надо,— с неожиданной важностью заключает нашу содержательную беседу человек с купеческой бородой. И, не дожидаясь ответа, идет к выходу.

Мы с Ольгой переглядываемся.

— Минутку! — говорит Ольга.

Она проходит в кабинет, и я остаюсь один. И вдруг с удивлением замечаю, что волнуюсь неприлично, до дрожи, как студент перед дверью экзаменатора. А тут еще Лазарь заиграл что-то быстрое и тревожное, вероятно финал сонаты. Траурный марш окончен, живые разошлись, и остался только ветер, порывами налетающий на еще свежий холмик и несущий сухую пыль.

Олина минутка растянулась надолго. Зазвонил телефон резко и коротко, в кабинете сняли трубку, и мне показалось, что я слышу низкий, слегка тягучий голос Беты.

Я даже приблизительно не догадываюсь, о чем пойдет у нас разговор, а потому не способен к нему подготовиться. Когда много лет любишь одну женщину, а эта женщина принадлежит другому, в конце концов вырабатывается какой-то долговременный модус, позволяющий тебе поддерживать ровные и даже дружелюбные отношения. Убеждаешь себя, что все уже в прошлом, и подводишь под это убеждение какие-нибудь подпорки — то ли она оказалась недостойной твоей любви, то ли ты сам признаешь себя недостойным, в обоих случаях чувствуешь грусть, слегка приправленную самодовольством, ибо в первом случае ты прощаешь, а во втором каешься, и в том и в другом есть нечто сладостное. Но вот твой так называемый соперник мертв, и, несмотря на искренность твоей скорби, выработанный ценой многих бессонных ночей модус рушится; вспыхивают какие-то надежды, нет, не на возврат к прошлому — все жизненные процессы необратимы, — а на будущее. Подсознательно ты готовишь себя к тому, чтобы услышать: «У меня теперь, кроме тебя, нет никого на свете» — или даже: «Я не переставала тебя любить все эти годы...» Пропускать эту чепуху в сознание стыдно и неумно, несомненно речь пойдет всего только о дружеской услуге, которая скорее твой долг по отношению к покойному, чем жертва, приносимая любимой женщине. Смятение мое растет, я с ужасом вспоминаю, что через несколько часов мне предстоит говорить у открытого гроба в присут-

ствии нескольких сот человек, и главное — в присутствии женщины, никогда не прощавшей мне ни слова лжи, говорить о человеке, в отношениях с которым дай бог мне когда-нибудь разобраться наедине с собой. Когда наконец Ольга выходит из кабинета и кивает в знак того, что меня ждут, я подобен устрице с раскрытыми створками и шагаю через порог с ощущением, близким к тому, с каким я когда-то выходил на крыло самолета для своего первого и единственного прыжка.

VII. Си-бемоль минор

Вхожу и чуть не спотыкаюсь от неожиданности. В кабинете темно.

— Извини, что я тебя так принимаю,— слышу я голос Беты.— Но я еле стою на ногах, а меня еще должно хватить на целый день.

Она полулежит на низком диване, стоящем слева от входа, между дверью и окном. Тяжелые драпировки на окнах задернуты, но в щели проникает достаточно дневного света, чтобы видеть. Поджатые ноги укрыты пледом, плечи укутаны чем-то лиловым, мохнатым. На полу — туфли, телефонный аппарат, бутылка и пепельница.

— Садись поближе,— голос Беты звучит ровно.— Мне не хочется говорить громко. Хочешь коньяку? А впрочем, я забыла, ты же не пьешь.

— Когда-то ты тоже не пила.

— Я и теперь не пью...

Она слегка подвигается, и я сажусь у нее в ногах, так, чтоб хорошо видеть ее лицо. С минуту мы рассматриваем друг друга так открыто и пристально, как не смотрели уже много лет.

Бессмысленно навязывать кому бы то ни было мое впечатление от ее лица. Мне оно кажется молодым и прекрасным. Как всегда, никакой косметики, ни малейшей попытки скрыть серебряные ниточки, появившиеся в темных волосах. А молодость — в сохранившейся чистоте линий, в блеске глаз, в звуке голоса, в не поддающемся анализу ощущении духовной и физической неистраченности. Держится Бета, как всегда, просто и спокойно, и только по затянувшемуся молчанию я понимаю, что предстоящий разговор ей труден.

— Не знаю, с чего начать,— признается она.

— Когда-то нам было безразлично, с чего начинать,— говорю я.— Мы умели начинать прямо с середины.

— Давно это было. И ты забыл — даже в те давние времена нам это не всегда удавалось.

Новая пауза.

— Ты не думай, что я колеблюсь. Я знаю, что хочу сказать, и скажу непременно. Но я действительно не знаю, с чего начать.

— Нужна моя помощь?

Молчаливый кивок.

— В таком случае давай с этого и начнем. Все, что в моих силах, я для тебя сделаю.

— Не спеши обещать. Мне нужна от тебя не услуга, а жертва. И, вероятно, немалая.

— Считай, что она уже...

— Не спеши. Через пять минут ты скажешь: это невозможно.

Тон настолько серьезный, что я не решаюсь сказать «посмотрим».

— Я потеряла право требовать от тебя каких бы то ни было жертв,— говорит Бета.— Единственное, чем я могу с тобой расплатиться, это полным доверием. То, что я тебе скажу, знаю только я. И будешь знать ты. И больше ни один человек на свете.

— Что же тебе мешает?

— Ничего. Я решила сказать и скажу. Но прежде,— она усмехнулась,— нам надо выяснить отношения. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Ты прав. Уж если я этого не сделала тогда, когда ты был вправе требовать объяснений, по меньшей мере странно заниматься этим сейчас. Но если ты наберешься терпения и выслушаешь меня не перебивая, я постараюсь ответить на все твои незаданные вопросы, и ответить, как умею, честно.

Я киваю в знак согласия. Прежде чем заговорить, Бета еще несколько секунд молча смотрит на меня. Сначала жестко, испытующе, затем взгляд смягчается.

— Я знаю, что говорили обо мне в Институте, когда я неожиданно для всех вышла замуж за Успенского. Говорили плохо. Подумать только: вчерашняя аспирантка выходит замуж за человека старше ее на двадцать лет, через несколько месяцев после смерти его жены, прекрасной женщины, пригревшей эту змею в своем доме, за считанные годы делает головокружительную карьеру, разъезжает с мужем по границам... Спорить с этим бессмысленно, единственное, что я могла — вести себя так, чтоб люди видели: если я и карьеристка, то не очень вредная, и не бездельница, торчу в лаборатории с утра до ночи, не пытаюсь вертеть старым мужем, а иногда могу удержать его от опасных поступков. Я не мстила за злословие, и постепенно оно стихло. Не знаю, насколько мне поверили, во всяком случае примирились. Но тебе я хочу сказать, и сказать именно сегодня: Паша был единственным человеком, которого я по-настоящему любила. Любила со всем, что в нем было намешано, с его талантом, властолюбием, скромностью, жестокостью, щедростью, простодушием, цинизмом... Господи, чего только в нем не было! Я была для него женой, помощницей, нянкой, а он для меня всем на свете... Старый муж! Для меня он был единственным мужчиной, единственным любовником, с тех пор, как я с ним, я никогда не могла подумать ни об одном мужчине, а его ревновала ко всем женщинам и даже к девчонкам, ни одна не устояла бы перед ним, если б он захотел. Я знала все его прегрешения, он их не умел прятать, да и блудил он, только когда загуливал, тогда его могла затянуть к себе в постель какая-нибудь баба, сумевшая подыграть ему под настроение. Последние годы он много пил, у него это было заходами, и тогда он исчезал из дому. Он убегал от меня потому, что я ему мешала. Я научилась пить, чтобы быть рядом и перехватывать лишние рюмки, я отбирала у него бумажник с документами и таскала за ним в своей сумочке, я увозила его за город и прятала от гнева высокого начальства, а если я что-то знаю и умею, то это не столько благодаря ему, сколько ради него, как ученый он всегда был выше меня на десять голов и идей у него хватало на десятерых, но как исследователь он кончился, к нашей ежедневной кропотливой работе он был уже неспособен, не то чтобы гнушался, наоборот, он как будто стремился к ней, но всегда ему что-то мешало: представительство, доклады, пленумы, сессии, конгрессы, заграничные поездки, борьба за мир, он уговаривал себя, что сам в ужасе от такой жизни, но я-то знала, что он уже в душе отвалился от лабораторной работы, любит, чтоб ему мешали, и уже не может жить без внешних возбудителей, шума моторов, аплодисментов; я забыла думать, что у меня может быть что-то свое, у меня была одна работа — чтоб его лаборатория не развалилась, и до сих пор мне, вернее нам, это удавалось, мы проводили в жизнь его идеи, ставили его опыты, мы многое доказали и еще больше опровергли, из-за этого мы ссорились, Паша сердился, но тут я не уступала, ведь он сам внушил мне, что опыт, опровергнувший заблуждение, так же ценен, как под-

твердивший истину, я это помнила и тогда, когда он начал забывать. Все эти годы я разрывалась между ним и Институтом в постоянной тревоге, а при этом надо было не опускаться, я еще хотела ему нравиться. Все это можно делать, если очень любишь, и я не боюсь сказать это тебе сейчас, сегодня, чтоб у тебя не было никаких сомнений. И никаких иллюзий.

Я молчу, понимая, что она говорит правду. Эта правда приходила мне в голову и раньше как одна из возможных версий. Теперь я вижу, что она единственная.

— А сейчас я отвечу на все твои вопросы, старые и новые, и заодно покажусь перед тобой. Вероятно, это надо было сделать раньше, и уж во всяком случае не сегодня. По заведенному ритуалу мне полагается сейчас стоять у гроба с черным гипюровым покрывалом на голове, с запухшей бессмысленной мордой, и, может быть, кому-то уже кажется кощунством мое сегодняшнее поведение. Но мне всю жизнь было наплевать на этого кого-то, а нынче особенно, и у меня остался один-единственный критерий — одобрил бы меня Паша или нет. И я верю: одобрил бы. Одобрил, что я не хнычу, не распускаюсь, а делаю то, что он делал бы на моем месте, — борюсь за Институт, за само его существование, и я знаю, он понял бы, почему я не могу говорить с тобой иначе, чем говорю сегодня. Но об этом после. А сейчас ты вправе спрашивать меня о чем угодно, и я готова тебе отвечать, но лучше не спрашивай, я сама все скажу.

Я молчу. Бета закуривает. Руки у нее не дрожат, и она не ломает спичек, но я вижу, как она напряжена. Когда я нервничаю во время операции, у меня тоже не дрожат руки и я ничего не ломаю.

— Я знаю, что ты думаешь, — говорит Бета. — А если не подумал уже, то подумаешь непременно: «Ну хорошо, ты любила Пашу. Но зачем тебе был нужен я? Зачем ты играла со мной в любовь и держала меня на привязи? На всякий случай?» Вот это и есть главная причина, по которой я не хотела никаких объяснений. Я считала, что ты не смеешь так думать и обязан все понимать сам, а если не понимаешь, то тем хуже для тебя. А притом позволяла себе думать о тебе еще более плоско: вот женился на генеральской дочке, при поддержке тестя вполз в генералы... Откуда в нас эта гнусность?

Вопрос совсем не такой уж риторический. Я сам об этом думаю.

— Нынче я уже не та. Научилась быть строже к себе и терпимее к людям. Я больше не думаю так о тебе и все чаще спрашиваю себя: а не была ли я на самом деле маленькой хитрой дрянью, нарочно задиравшей нос, чтоб никто не посмел бросить ей в лицо что-то такое, чего она не знала, но боялась? Любила ли я тебя? Для того, чтоб ответить, надо знать, что такое любовь, а я узнала это много позже. Ты всегда был мне мил, и когда мы с тобой женихались, я искренне верила, что люблю тебя. Верила, а в это время где-то в самой глубине души кто-то более умный, чем я, знал, что тут что-то не то, и возводил баррикады. Помнишь, как мы отчаянно ссорились, как я пользовалась любым поводом, чтоб избежать последней близости, а ведь я не ханжа и не склочница, я сама не понимала, какая злая сила меня ведет, сколько раз я плакала от ненависти к себе и давала слово быть с тобой ласковой, доверчивой и покорной, а наутро все начиналось сначала, я следила за каждым твоим словом, за каждым шагом, как враг из засады, и не прощала тебе ничего — ты был моим избранником, и я требовала от тебя совершенства, недоступного мне самой, я гордилась своей способностью видеть твои слабости, своим беспристрастием, и мне почему-то не приходило в голову, что любовь — это и есть пристрастие, если женщина беспристрастна, то вернее всего она не любит. Вероятно, всего этого не надо говорить мужчине, в осо-

бенности если собираешься просить его не о пустой услуге. Но мне нечем отплатить тебе, кроме правды, и ты будешь знать то, что я могу доверить только тебе... Но не торопи меня, я уже подхожу к самому главному...

Она откидывается назад и с минуту молчит, прикрыв глаза. Затем вновь выпрямляется. Голос ее звучит по-прежнему ровно, почти бесстрастно.

— Я знаю — меня осуждали. Вначале меня это бесило, а теперь я понимаю, что была так же несправедлива, как мои судьи. Не могла же я кричать на всех углах, что когда Вера Аркадьевна слегла, она несколько раз заводила со мной разговор, что умерла бы спокойно, если б я осталась с Пашей, ну да, вышла бы за него замуж. Видишь, даже ты не можешь скрыть удивления, а от удивления один шаг до недоверия. Последний разговор был за несколько недель до ее смерти, ты помнишь ее обычную сдержанность, но на этот раз сдержанность ей изменила и она чуть не молила меня выйти за Успенского. До того дня я только отшучивалась, говорила, что Павел Дмитриевич никогда на мне не женится, я совершенно не в его вкусе, но тут я заплакала и сказала, что я больше не хочу слышать ни о ее смерти, ни о Павле Дмитриевиче, чтоб она наконец поняла, что у меня есть ты, что я тебя люблю и жду... После этого разговора я даже перестала к ним ходить. Конечно, это было ужасающее свинство — в «абаде» мы жили одной семьей, весь Институт, и Вера Аркадьевна была для всех как мать, а обо мне и говорить нечего — после контузии меня привезли полуживую, с трясущейся головой, и если я вообще выжила, то потому что Успенские все время подсовывали мне масло и сахар из своего академического пайка. Но когда Вере Аркадьевне стало совсем плохо, я не выдержала, бросилась к ней и ухаживала за ней как сестра, как сиделка. Павла Дмитриевича часто посылали в командировки, отказаться он не мог, приказы шли с самого верха, и на эти дни я совсем переселилась к ним. На запретную тему Вера Аркадьевна больше не заговаривала, но прежняя мысль ее не оставляла, я чувствовала это по всему, во взгляде, в неожиданных комплиментах моему характеру, она считала, что у меня сильный характер, именно такой, какой нужен... Но впрямую она об этом уже не говорила, не говорила и о своей болезни, хотя знала о ней все. А умерла неожиданно — перед смертью у нее была короткая ремиссия и она даже вставала. Павел Дмитриевич был в Киеве с правительственной комиссией, я вызвала его телеграммой, и он прилетел. Странно — он знал, что она обречена, и говорил со мной об этом очень спокойно, как ученый, а тут впал в такое отчаяние, что я стала бояться уже за него самого. Он упрекал себя, что не был с ней в ее последний час, чтоб вымолить прощение, — и, верно, было за что... Паша мог быть очень добр, а иногда не щадил самых близких людей, как не щадил и себя. Зато он был не из тех, у кого всегда готово объяснение любому своему поступку, его совесть не принимала грошовых оправданий, и когда концы с концами у него не сходились, он начинал пить. Со дня похорон Веры Аркадьевны он запил так, что я никак не могла его оставить, я охраняла не столько здоровье, сколько престиж, надо было прятать его от посетителей, и не подпускать к телефону, и что-то врать в Институте... Иногда я оставалась ночевать в комнате Веры Аркадьевны, и даю тебе слово — он никогда не позволил себе ни одного вольного жеста, ни одной двусмысленной фразы. Когда Паша пил, он никогда не превращался в животное, в последние годы я не любила его трезвого, то есть не всегда, конечно, а сразу после загула, он догадывался, что напозволял себе лишнего, и становился жестким, подозрительным, высокомерным, в особенности с теми, с кем

пил,— боялся, чтоб не напомнили. И перед загулом он тоже бывал нехорош — раздражался и начинал кричать, на меня никогда, но я вообще не выношу, когда кричат на людей. Так вот, вокруг нас уже шли разговоры, а мы были так далеки от каких-либо чувств друг к другу, что ни о чем не догадывались. Ну, ты понимаешь, о каких чувствах я говорю, были и привязанность и уважение, а с моей стороны еще и благодарность и восхищение талантом — но и только. Так тянулось долго и, наверно, ни к чему бы не привело, если б во Львове не арестовали моего отца. Ты знал об этом?

— Нет,— говорю я растерянно.— За что? — И тут же поправляюсь: — В чем его обвиняли?

— Зачем тебе это? Да и сказали мне только при реабилитации, а тогда я знала только одно: арестовали моего папу, а он не может быть виноват ни в чем дурном. Я бросилась к Успенскому: вы все можете, спасите папу. Он выслушал меня, помрачнел и сказал: надо ждать. Тогда я закричала на него, первый раз в жизни: «Вы будете ждать, а у него больное сердце, и я знаю папин характер, он никогда не признает, чего не было!..» Паша помрачнел еще больше, оделся и куда-то уехал. Приехал только к вечеру, и мы сели ужинать. Я его ни о чем не спросила, будь у него хоть тень надежды, он не стал бы томить. Я поставила на стол коньяк, но он к нему не притронулся, пил только чай. И уже вставая из-за стола, сказал: «Вот что, Бета,— вам надо выйти за меня замуж. И поскорее». Это так не походило на предложение руки и сердца, что я не нашлась что ответить и стояла растерянная. Даже мысль о тебе — прости! — пришла ему раньше, чем мне, потому что он тут же добавил: «Ты понимаешь, конечно, что наш брак не накладывает на тебя никаких обязательств и может быть разорван в любое время. Он поймет». «Он» — это был ты. Наверное, у меня была очень уж ошарашенная физиономия, потому что он вдруг засмеялся и сказал: «Единственная просьба: соблюдать некоторые предписанные светом условности, ибо, как вам известно, я весьма щепетилен в вопросах чести».

Подражать манере Успенского у нас в Институте умеет любой аспирант, но Бета показала его так неожиданно и точно, не столько голосом, сколько характерным, похожим на легкую судорогу движением лицевых мышц, что если б у меня и были сомнения в истинности рассказанного, они должны были мгновенно рассеяться.

— И что же дальше? — спрашиваю я. Знаю, что не надо задавать вопросов, но пауза кажется мне невыносимо длинной.

— А дальше — мы разошлись по своим комнатам. А еще через несколько дней по дороге в Институт мы заехали в загс, и я переменяла фамилию. В наших отношениях это ничего не изменило. Паша в то время был еще слишком потрясен смертью Веры Аркадьевны, чтоб обращать на меня внимание. Вздор я говорю, он был бесконечно внимателен, но по-другому. И совсем не был ласков. Наоборот, он заставлял меня работать до изнеможения, с утра до ночи, без выходных, не знаю, как я выдерживала. Позже он говорил, что от горя есть два лекарства — водка и работа. Работа лучше... Мы были женаты около месяца, когда пришло приглашение на дипломатический прием. Господина Успенского с супругой просили пожаловать... Паша не любил приемы и, если мог, уклонялся, но почему-то именно на этот был невозможно не пойти. У меня не было вечернего платья, и мне сшили за три дня в правительственном ателье. Все эти дни я умирала от страха, казалось, стоит мне войти в большой, ярко освещенный зал, как все догадаются, что я ряженая. В машине меня била дрожь, но в вестибюле я взяла себя в руки и с этой минуты вела себя так, как будто всю жизнь ездила на приемы. Пока шла официальная

часть, я даже немножко передохнула, делала внимательное лицо и хлопала вместе со всеми, но когда нас позвали ужинать, я опять растерялась. Во время ужина отношения становятся проще — стало быть, сложнее для меня. Успенского знали многие, кое-кто уже слышал о его женитьбе, и нас сразу окружили. Будь это обычный банкет, еще куда ни шло, разговаривать надо только с двумя соседями, а остальным достаточно улыбаться, но, как назло, ужин был на западный манер, *à la fourchette*. Паша этих аляфуршетов терпеть не мог, он говорил, что есть и заниматься любовью стоя прилично только лошадям. И тут выяснилось: умею говорить с посторонними, но не умею говорить с Пашей при посторонних. Понимаешь, говорить как с мужем. А от меня только и ждали — как она? Мы стояли с тарелками в руках, я давно не видела такой великолепной еды и с утра ничего не ела, но кусок не шел мне в горло, все казалось пресным, как эта гадость, которую дают перед рентгеном. Смотрю на Успенского, ты знаешь, каким он умеет быть в компании, но тут он упрямо молчал, и я поняла: не хочет ничего подсказывать. И тогда я громко сказала: «Паша, посмотри, нет ли там на столе горчицы». Это был первый раз, когда я назвала его Пашей и обратилась к нему на ты. И Паша сразу оживился, бросился за горчицей, а через пять минут вокруг нас было столпотворение, все обступившие нас важные люди были им заморожены, они смеялись каждому его слову, чокались с ним и со мной и поглядывали на меня — во всяком случае, мужья — без всякого осуждения. А затем мы пошли танцевать, и, несмотря на весь ужас моего положения, это доставляло мне удовольствие. Этот выход в свет нас очень сблизил, но близки по-настоящему мы стали не скоро, уже после победы. Ты был в то время в Берлине. Я видела, что ты не торопишься ко мне, и считала себя свободной.

— Ты была замужем, — говорю я, отлично понимая, что это уже не довод.

— Вот видишь, была и еще не была. А про тебя мне доложили: от него без ума какая-то генеральская дочка. Летала к нему в Берлин, и он вскорости на ней женится.

— Я и женился. Когда увидел, что ты для меня потеряна.

— Видишь, мы оба думали друг о друге хуже... Но сейчас поздно об этом говорить. Я стала Пашиной женой, только убедившись, что люблю его, я прожила с ним двенадцать лет и была с ним счастлива, если, конечно, не понимать под счастьем покой и тупое довольство. В моем счастье было много горечи, меня мучило и то, что у нас не было собственных детей, и то, что взрослые дети от Веры Аркадьевны меня не признали, я их понимала, но скорей умерла бы, чем стала оправдываться. Я несла двойную тяжесть, потому что видела, что не дает покоя Паше, а в то же время была бы в ужасе, если б знала, что у него спокойно на душе. Я мучительно ревновала Пашу к Ольге, одно время мне казалось, что Оля-маленькая — от него. Он очень заботился о девочке, и это бросалось в глаза. И даже потом, когда я поняла свою ошибку, продолжала ревновать — но уже по-другому. Она была к нему слишком близка... Ладно, — обрывает она себя, — с этим я как-нибудь сама разберусь. Ну вот, если после всего сказанного ты не потерял интереса к дальнейшему разговору, то теперь я скажу то, что могу доверить тебе одному. Я не беру с тебя никаких клятв. Если веришь человеку, клятвы не нужны, а если не веришь — бесполезны. Это было самоубийство, Леша.

Это говорится без предварительной паузы, без многозначительной интонации, так что я вполне мог не понять, о чем и о ком это сказано. Но почему-то понимаю мгновенно. Понимаю не в переносном, а в самом ужасающем буквальном смысле.

— Не может быть,— говорю я, похолодев.

— Почему не может быть? Потому что ты читал медицинское заключение, подписанное четырьмя уважаемыми врачами?

— Ты что же, хочешь сказать, будто они...

— Ни в малейшей степени. Заключение абсолютно безупречно. Он всех их обвел вокруг пальца. Только не меня.

Я гляжу на Бету с опаской, боясь увидеть в ее глазах маниакальный блеск. В моей военно-хирургической практике мне приходилось наблюдать людей, у которых тяжелое душевное потрясение вызывало кратковременные психозы. Но нет, это прежняя Бета, конечно, измученная и потрясенная, но вполне владеющая собой. Бета ловит мой взгляд и невесело смеется.

— Я знаю, о чем ты сейчас подумал,— говорит она.— Не беспокойся и выслушай меня до конца. Почему же не может быть? На свете происходят тысячи таинственных смертей, и эксперты с чистой совестью констатируют естественную смерть или несчастный случай. А между тем это самые настоящие убийства. Или самоубийства. У больного человека бывают кризы, когда его жизнь висит на тонкой ниточке, оборвать ее ничего не стоит. Неужели ты думаешь, что такой знающий физиолог, как Паша, не знал, как разорвать свое и без того надорванное сердце, и при этом так, чтоб об этом никто не догадался? Догадалась я одна, потому что слишком хорошо его знала и еще потому, что он чересчур тонко все рассчитал. Он переоценил наблюдательность врачей и недооценил мою. Когда вы прилетели из Парижа, я была у мамы. Он мог меня предупредить, что возвращается раньше, и не предупредил. И вернувшись домой, не позвонил к маме, хотя знал телефон соседей. Он хотел остаться один в квартире. Мне это показалось странным. Я приехала поздно, его уже увезли. День прошел в кошмарной суете, а ночь я провела без сна, за разбором бумаг. Все его бумаги я нашла в образцовом порядке, и это меня насторожило еще больше. Я притерпелась к хаосу, а тут было такое впечатление, как будто аккуратный чиновник подготовил дела к сдаче, все лишнее уничтожено, все важное и срочное подобрано, подколото, подчеркнуто, я просидела до утра, разбирая ящики стола, и с каждым часом мне все яснее становилось, что человек, никогда не помышлявший о завещании и твердо решивший не оставлять предсмертного письма, находит способы как бы незначай продиктовать свою последнюю волю и даже проститься со мной.— Голос ее прерывается, но она сразу же овладевает собой.— Утром я перебрала все бутылки и аптечные склянки и шаг за шагом восстановила его последние минуты. Ему стало дурно за письменным столом, и он прилег на диван. На столе в пустой чернильнице лежало сильное лекарство, присланное ему из Канады профессором Стайном, я подсчитала таблетки — он к нему не притронулся. У изголовья дивана был телефонный аппарат, но он никому не позвонил, ни в поликлинику, ни Шиманскому. Лев Петрович живет в нашем подъезде и прибежал бы в любой час ночи, как прибежал уже не раз. Но Паша не позвонил. Когда-нибудь я расскажу тебе все, что я передумала за эти дни, и мы с тобой вместе проверим каждое звено, а пока мне достаточно твоего молчания.

— Ответ мне только на один вопрос. Можешь не отвечать подробно. Ты считаешь, у Паши были причины так поступить?

— Что я могу тебе ответить? В общедоступном смысле — нет. Ему нечего было бояться. Ему ничего не грозило, кроме старости и упадка. Он страдал от мысли, что жизнь кончается и поздно начинать другую, а он многое передумал за последний год, он считал себя виноватым и перед наукой и перед многими людьми, и уже нет ни времени,

ни сил все исправить. Помнишь его юбилей в прошлом году? Как он его не хотел, его чуть не силой заставили согласиться на чествование, он еле высидел всю эту процедуру и был неприлично хмур, а когда я спросила, чем он недоволен, посмотрел на меня как на идиотку. И только дома сказал: «Чем я недоволен? Не чем, а кем. С собой. Мало сделано, много напутано. Скажу тебе без лишней скромности: я был рассчитан на большее. Но теперь уж ничего не поправишь...» Последнее время он все чаще заводил разговор о своем возрасте; дескать, он слишком стар для меня и ему предстоит печальная судьба дряхлого мужа при молодой жене. Говорилось это будто бы шутя, но я-то понимала, как нестерпима для его самолюбия самая мысль, что он может быть слаб или зависим. Конечно, его независимость была, как и все на свете, весьма относительной, до поры до времени он мог уговаривать себя, будто все его поступки полностью совпадают с его убеждениями, но это становилось все труднее и труднее. В пятьдесят четвертом году к Паше пришла без звонка какая-то женщина, как я потом узнала, жена его покойного друга Вани Боголюбова, и потребовала разговора с глазу на глаз. Паша сказал, что у него от меня нет тайн, но я все-таки ушла к себе. Разговор был недолгий и, вероятно, тяжелый для обеих сторон, я поняла это по тому, как Паша провожал ее до дверей — почтительно, но молча. Мне он ничего не рассказал, а я не стала допытываться. На следующий день он запил. Он выпивал и раньше, но с этого дня он стал пить опасно... Не знаю, надо ли было рассказывать тебе и это, но раз я уж начала, мне трудно отмерять от сих и до сих, правда не делится на порции. Да что там — это было. Но было и другое. Он десятки раз выручал людей, он и тебя однажды спас от крупных неприятностей, тебе он не говорил, не сказал даже мне, но я-то знала наверняка. Не подумай, что я хочу связать тебя благодарностью, просто я хочу быть откровенной во всем. И потом, мне хочется, чтобы ты знал: Паша часто на тебя сердился, но любил, ценил как ученого, а главное, уважал. Уважал за то самое, на что иногда сердился.

В таких случаях никогда не знаешь, что сказать, и я прошу:

— Давай перейдем к делу.

Бета улыбается.

— Не спеши. Ты только что сказал: «Этого не может быть». Сейчас ты скажешь: «Это невозможно».

— Давай станем на почву опыта. Я слушаю.

— Ну, хорошо... Скажи, у тебя был Алмазов?

— Был. И Петр Петрович тоже.

— Вот как?

— Да. Оба очень встревоженные.

— Еще бы! Как ты, вероятно, догадываешься, в эти дни решалась судьба Института.

— Но почему такая срочность?

— Так уж сошлось. Решение о переводе Института на территорию заповедника готовилось давно, много раз откладывалось, и Паша был уверен, что его уже удалось спустить на тормозах. Но как раз во время вашей поездки позвонили, что вопрос включен в повестку, ну а ты знаешь: директивные организации не любят отменять своих решений. И когда стало известно — ну, ты понимаешь, о чем я говорю, — у Института оказалась тьма непрошенных друзей. Болельщиков и советчиков. И куча вариантов. С разделением Института. И, наоборот, со слиянием. И с приглашением варягов. Что было делать? Виде — тряпка, растерялся, да его и слушать бы не стали. Я — никто, вдова, но я понимала, что дело идет о жизни и смерти, и взяла все на себя. За три дня я обзвонила и объездила всех, кого только можно,

я своротила горы, и вот результат: Институт остается на прежнем месте и в прежнем составе, ему присваивается имя Успенского...

— Прекрасно,— говорю я.

— погоди, это еще не все. Мне предложено стать директором.

— Прекрасно,— повторяю я.

— Пожалуйста, не делай вида, будто ты не удивлен. Я сама была удивлена не меньше тебя. Не будем сейчас касаться высокой политики и обсуждать, почему выбор пал именно на меня, это увело бы нас в сторону. Поверь, я нисколько не обольщаюсь на свой счет и прекрасно понимаю, что в нашем Институте есть люди более достойные. Я сопровтивлялась, и совершенно искренне. Говорила, что не обладаю необходимым опытом и научным авторитетом, в Институте нужна твердая мужская рука, а я женщина и вдобавок сбита с толку. На это мне ответили: как известно, последние исследования академика Успенского проводились им совместно с женой — совсем супруги Кюри, не правда ли? А насчет мужской руки мне было сказано, что в критические для Института дни я проявила твердость и энергию, которым может позавидовать любой мужчина, но чтоб не слишком отвлекать меня от чистой науки, мне найдут заместителя, который полностью освободит меня от организационной суеты, оставив за мной общее руководство и координацию исследовательской работы. И такой человек уже есть.

— Кто же этот человек?

— Вдовин.

На этот раз я и не пытаюсь скрыть удивления.

— Вдовин? Ты с ума сошла. Ты забыла, что такое Вдовин?

— Нет, не забыла. Но он получил хороший урок. Люди меняются. Мы легко прощаем ошибки себе и своим близким, почему же мы так беспощадны к чужим?

— Потому что они чужие.

— Я говорила с Николаем Митрофановичем и была поражена, как подействовала на него смерть Паши. Ты знаешь, он плакал здесь.

— Рыдал, как ребенок...

— Ты, кажется, считаешь меня полной идиоткой?

— Нисколько. Женщиной. Вдобавок сбита с толку.

— Ох и мерзкий у тебя характер, Лешка.

Я не смотрю на Бету, но по голосу догадываюсь, что она улыбается. Улыбка слабая, на смену ей вновь приходит озабоченность.

— Может быть, ты и прав. Но у меня хватило ума понять, во что это выльется, если я останусь одна. Будет как в английском анекдоте. Я буду решать все первостепенные вопросы, а он все второстепенные, и в один прекрасный день все первостепенные кончатся, останутся только второстепенные. Поэтому я поставила условием триумвират. Я сказала: мне нужен еще один заместитель, причем именно первый, настоящий ученый, способный направлять исследовательскую работу.

— Кто же этот человек?

— Ты.

— Это невозможно!

Черт меня знает, как это вырвалось. Бета смеется.

— Вот видишь,— говорит она с грустью.— Я тебя предупреждала. В таком случае мне придется отказаться. Но учти — все другие варианты будут хуже. Хуже для Института.

С минуту мы молчим.

— Я все понимаю,— говорит наконец Бета.— Ты залез в башню из слоновой кости, и мое предложение рушит все твои планы...

— Не в этом дело.

— И в этом тоже. Но главное — Вдовин?

— Да. Он мне противопоказан.

— Люди меняются. Он получил хороший урок. Поговори с ним. Никто не требует, чтоб вы бросились друг другу в объятия. Достаточно нащупать почву для... коалиции?

— Консолидации,— говорю я.— На принципиальной основе.

— Вот видишь, ты все понимаешь лучше меня. Тебе не придется делать первого шага. Он сам будет просить тебя о встрече. Отказаться ты всегда успеешь. У нас с тобой еще есть время на размышление. Немного, но есть.

Я смотрю на Бету, на ее чистый лоб и твердые губы, и думаю: понимает ли она, что если я не говорю сразу «нет», то причина не в том, что я вдруг проникся самоотверженной заботой о судьбах Института, а вот в этом «мы», в этом случайно вырвавшемся «у нас с тобой».

— Хорошо,— говорю я.— Я подумаю.

VIII. В тумане

На этом разговор и кончился. Вошла Ольга и сказала, что третий раз звонит товарищ Пескарев,— соединить? Я поднимаюсь, и Бета меня не удерживает.

Из кабинета я выхожу с туманом в голове. Основное мое желание — побыть одному и хотя бы начерно разобраться в услышанном. Не мешает также подумать о своем выступлении на гражданской панихиде, но это мне явно не по силам.

Подхожу к окну. Машин заметно прибыло. Подкатывает зеленый грузовик с солдатами в новеньких мундирах. Солдаты молодые и веселые. С быстротой и ловкостью десантников они прыгают через борт, затем выгружают пожитры. Это оркестр.

Возвращается Ольга. По ее лицу невозможно понять, догадывается ли она, о чем шел разговор в кабинете. Идеальный секретарь. Суровую школу должна была пройти милая Олечка, не умевшая скрыть ни одного душевного движения, вспыхивавшая от всякого обращенного к ней взгляда, чтоб выработать эту тончайшую и невидимую, как слой бесцветного лака, защитную броню.

— Кофе? — спрашивает Ольга.

Варить на старинной спиртовке очень крепкий кофе — одновременно искусство и традиция, заведенная еще во времена наших ночных лабораторных бдений. Я тронут, но мне хочется поскорее уйти.

— В другой раз,— говорю я.

— В другой раз?

По интонации я догадываюсь, что нечаянно коснулся больного места.

— Оля, вы что же думаете... (Ох, только бы не проговориться!) Вы что же, хотите уйти отсюда?

— Конечно, не хочу. Я люблю Институт, и, к сожалению,— она обвела рукой свое хозяйство: пишущую машинку, телефоны, справочники,— это единственное, что я умею. Но придет новый директор, а значит, и новый секретарь.

— Оля, но почему вы думаете... (Опять я почти проговариваюсь!) Почему бы новому директору не получить в наследство идеального секретаря? Павел Дмитриевич всегда говорил, что вы незаменимы.

— Может быть, именно поэтому.

Лицо Ольги по-прежнему непроницаемо, и мне становится грустновато оттого, что женщина, когда-то близкая, так наглухо для меня закрыта. И не сразу вспоминаю, что откровенный разговор между нами невозможен в такой же степени из-за меня самого. Если я хочу быть честным по отношению к Бете, это обязывает меня к скрытности со всеми другими людьми, и с Олей в первую очередь.

От этих невеселых мыслей отвлекает меня появление Петра Петровича. Вид у него еще более торжественный, чем обычно. Это понятно: похороны — обряд. К рукаву его темно-синего, в тончайшую белую полоску костюма приколоты двухцветная траурная повязка, его внушительная фигура так же хорошо вписывается в похоронный антураж, как во всякое другое мероприятие. Мы здороваемся, и по тому, как он трясет мне руку, я угадываю смущение. Действительно, Петру Петровичу как члену высокой комиссии по организации похорон поручено переговорить со мной — не соглашусь ли я ввиду крайней перегруженности повестки гражданской панихиды выступить не в конференц-зале, а на кладбище, где у открытой могилы будет организован второй траурный митинг.

— Дорогой друг,— говорит Петр Петрович, и хотя его голос, как всегда, бесцветен, я понимаю: поручение ему неприятно.— Я надеюсь, вы не усмотрите в нашей просьбе никакого или, лучше сказать, никакой...— Он запинается, у него нет готового слова, а выбирать их сам он не любит и боится.

Положим, я усматриваю. Усматриваю свинство. На кладбище нет микрофона и, чтоб быть услышанным, надо кричать. Пожалуй, я нашел бы что сказать, но мне решительно нечего выкрикнуть. Но возмущает меня все-таки не это, а начавшийся процесс отчуждения покойника от родных и близких. Как видно, похороны такого человека, как Успенский, перестают быть частным делом и гораздо важнее, чтобы говорили о нем не друзья, а представители разных учреждений, плохо знавшие, что за человек был Паша, но зато отлично знающие, каким он должен быть и каким должен остаться в памяти потомства. Усматриваю я и некоторую личную заинтересованность Петра Петровича. От сотрудников Института будет выступать он, и отказаться от этого выше его сил, это значило бы без боя сойти в тень, а у него сейчас единственная задача — удержаться. Не всплыть, а сохранить свою нулевую плавучесть. Остаться тем, чем был. Я совсем не мечтаю занять его место, но меня злит его виноватое бляение.

Ольга смотрит на меня умоляюще. Знает, я умею ответить резко, и чем-то ей даже нравится моя резкость, но в данном случае она призывает меня к смирению. Она права. Я предоставляю Петру Петровичу самому выпутываться из начатой им фразы, а затем со всей возможной кротостью говорю, что меня нисколько не обижает, а даже устраивает просьба моего дорогого друга, ибо по ряду чисто субъективных причин, которые вряд ли интересны высокой комиссии, я сам хотел просить освободить меня от публичного выступления. Говорю я это процентов на девяносто искренне, а искренность всегда производит впечатление. Моя кротость радует и немножко пугает Петра Петровича, он уговаривает меня не отказываться совсем, просит еще подумать, и я обещаю. Покидает он приемную с нескрываемым чувством облегчения. Я тоже чувствую облегчение и даже что-то похожее на жалость. Нелегко быть мужем Зои Романовны. Мне показалось, что Ольга довольна моим отказом.

В вестибюле заметное оживление, появилось много незнакомых лиц. Солдатики, сбившись к бюсту Мечникова, расставили пропитры и вытащили из чехлов свои сверкающие, как хирургический набор, инструменты. Вот-вот грянут. Старик Антоневи́ч ушел к себе за барь-

ер. Прошагал через вестибюль Сергей Николаевич Алмазов. Этот — сразу видно — расстроен. От покойника ему порядком доставалось, но он многим обязан Успенскому, а в неблагодарности Алмазова не упрекнешь. В руках у Сергея Николаевича толстая пачка нарукавных повязок, за ним со следами недавних слез на лице и все же неудержимо улыбаясь от сознания собственной привлекательности семенит Милочка Федорова с булавками и разграфленной бумагой — готовится почетный караул. В конференц-зале светло, шторы раздернуты, много венков с лентами, крышка рояля опущена, эпидиаскоп выключен, туманный облик юного, быстроглазого Паши стерт с экрана, а вместо него на стойке для диаграмм укреплен увеличенный портрет академика Успенского в светлом пиджаке мундирного покроя, с волевым, недоступным лицом. Монтер Ваня устанавливает штатив с микрофоном. Процесс отчуждения вступает в завершающую фазу.

До начала гражданской панихиды еще много времени, и я отправляюсь к себе в лабораторию. Прохожу пахнущим сыростью подземным переходом в лабораторный корпус и, не заходя в рабочие комнаты, отпираю дверь своего кабинета. И вздрагиваю — за моим письменным столом сидит Вдовин. В отличие от меня он не только не вздрагивает, но даже не сразу отрывается от лежащего перед ним номера «*Journal of Physiology*»⁶. Чистое притворство, ибо английского он не знает.

Я молчу. Он поднимается мне навстречу и, правильно расценив мое молчание, считает нужным извиниться:

— Девочки меня еще помнят. Вот и открыли.

— Ясно,— говорю я. А про себя постановляю: сделать девочкам внушение.

— Бета...— Под моим взглядом он сразу поправляется.— Елизавета Игнатьевна говорила с тобой?

Могу притвориться, будто не понял вопроса. Но притворяться мне противно, и я неохотно подтверждаю.

— Надеюсь, ты не отказался?

— Я обещал ей поговорить с вами.

— Помнится, мы были на ты? — с кривой усмешкой говорит Вдовин.

— Были. Но во время одной памятной нам обоим дискуссии вы предпочли публично с трибуны перейти со мной на вы. Меня это вполне устраивает.

— Ну вот,— со скукой говорит Вдовин. Напоминать о прошлом, по его мнению,— бестактность.— Это совсем другое дело. Тогда мы были идейными противниками...

В другое время я нашел бы что ему ответить. Но сейчас мне хочется только одного.— чтоб он ушел.

— Поговорить надо,— говорит Вдовин многозначительно.— Очень надо поговорить.

— Поговорим как-нибудь.

— Зачем же откладывать? — Он смотрит на часы.— Самое время. Его напор меня бесит. Но я говорю только:

— В рабочее время я не выясняю отношений.

Вдовин смеется.

— А ты все тот же. Такая же язва.— Затем круто меняет тон: — Ладно, сделаем иначе. Елизавета Игнатьевна сказала мне, что не желает никаких поминок. Дело, конечно, хозяйское. Так вот, если позволите, я вечером заеду к вам домой с бутылкой доброго коньяка, мы

⁶ «Вестник физиологии» (англ.).

по старому русскому обычаю помянем дорогого покойника и заодно поговорим — по-мужски, начистоту.

— Мне неизвестен такой русский обычай,— говорю я.

— Какой?

— Пить коньяк с идейными противниками.

Вдовин мрачнеет.

— Ну что ж,— говорит он.— Я прекрасно знаю, что вы обо мне думаете, и, может быть, сужу себя строже, чем вы. Короче: условий не ставлю, а принимаю заранее.

— Мои условия: никаких коньяков. Минеральная вода и нейтральная территория.

Вдовин задумывается.

— Может быть, вы с Елизаветой Игнатьевной приедете ко мне в хозяйство? Территория не моя,— добавляет он с усмешкой.— Государственная. Кстати, и заповедник посмотрите.

— Идет,— говорю я, как будто согласие Беты у меня в кармане.— На будущей неделе?

— Да уж, не позже. Только не забудьте предупредить.

— Зачем?

— У нас скорые не останавливаются. А если я буду знать наперед, то позволю в обком. Вас с почетом встретят на вокзале и дадут машину до хозяйства.

— Согласен. А теперь прошу простить, я немножко занят.

Когда Вдовин уходит, я первым делом снимаю пиджак и ложусь на диван.

Просыпаюсь я не от звуков, а от солнца, перевалившего через зенит и подобравшегося к моему незавешенному окну. Я в жарком поту, рубаха прилипла к клеенке дивана. В первую минуту я пугаюсь. Похоже, что гражданская панихида кончилась и Институт опустел. Прислушиваюсь — тишина. Даже собаки не лают. Наконец догадываюсь взглянуть на часы и успокаиваюсь. Спал я не больше часа. Снимаю с себя рубашку и подставляю шею под кран умывальника. Физически это меня освежает, но в голове по-прежнему туман.

Почему-то мне трудно заставить себя выйти на люди. И даже догадываюсь почему. Я отягощен чужой тайной. Интересно, как чувствует себя человек, который знает что-то такое, чего не знает все остальное человечество? Вероятно, по-разному. Коперник знал, что Земля вращается, Эйнштейн — что пространство искривлено,— это одно. А человек, знающий, что завтра начнется термоядерная война,— наверно, совсем другое...

Черт знает какая чепуха лезет в голову!

Выхожу. Лабораторный корпус по-прежнему кажется вымершим, но уже в подземном переходе слышен сдержанный гул толпы. Вестибюль полон, в дверях конференц-зала затор, через распахнутую парадную дверь мне видна часть двора, там тоже толпа. Асфальтовые подъездные пути заняты машинами, люди стоят прямо на газоне, на клумбах. Я никогда не сомневался в значимости и популярности Успенского, но такое стечение публики для меня неожиданность. Остается предположить, что биологическая наука и ее выдающиеся представители популярнее, чем мы привыкли думать.

Я уже готов отказаться от мысли протиснуться в конференц-зал, когда толпа раздается и из зала выходит незнакомый мне коротконогий меднолицый человек в синем бостоновом костюме. На рукаве у него широкая повязка распорядителя, но в ней даже нет необходимости, столько власти в его лице и походке. За ним гуськом тянется восьмерка разномастных интеллигентов академической наружно-

сти, они ступают робко, стесняясь своего нестройного вида. Оглядываюсь и вижу Ольгу, делающую мне таинственные знаки. Она сидит за шатким столиком из карельской березы и формирует очередной почетный караул. Поблизости толчется по меньшей мере два десятка кандидатов, но нет такой области, где личные связи не имели бы веса, и я попадаю в очередную восьмерку. Милочка Федорова, уже несколько поблекшая, прикалывает траурную повязку к моему рукаву с таким видом, как будто я рыцарь, поклявшийся всюду носить ее цвета. Впрочем, я не обольщаюсь — совершенно так же она смотрит на моего соседа, седовласого академика. Затем мы поступаем в распоряжение меднолицего, он выстраивает нас в затылок; седовласого академика, заглядевшегося на Милочку, он отчески берет за плечи и разворачивает в нужном направлении. Затем он пересчитывает нас и громким шепотом инструктирует каждого, я слышу только одно слово: «в головах». Выждав время, он подает знак, и мы трогаемся. Он идет впереди, пяясь, как тамбурмажор, я замыкаю шествие. Перед нами расступаются, мы входим в конференц-зал, где, против ожидания, не так тесно, и происходит смена караула. Мы с седовласым академиком становимся к изголовью, я — так близко, что, вытянув шею, могу увидеть грубо подгримированную щеку покойника. Я не тяну, мне не хочется расставаться с туманным отражением на полотне экрана. Зато я очень хорошо вижу Бету. Справа от постаментов стоят два ряда стульев, первый занимают какие-то старики и старухи, во втором сидит Бета. Сидит очень прямо, глаза ее сухо блестят. Она верна себе — не демонстрирует свое горе и не прячет его под вдовьим покрывалом. Рядом с ней начинающий лысеть инженер-майор с летными петлицами и некрасивая женщина в темных очках — это взрослые дети Успенского. На Пашу они похожи мало, больше на Веру Аркадьевну. Насколько мне известно, они примерно одних лет с Бетой, но выглядят старше. Меня Бета не видит, и я не ищу ее взгляда.

Солдатики в вестибюле потихоньку начинают траурный марш из Восьмой Бетховена, я по-военному подтягиваюсь и застываю. О чем я думаю? Ни о чем и обо всем. Почему-то мне вспоминается вопрос Ольги: кому нужен почетный караул? Она спросила это так забавно, что при воспоминании я с трудом удерживаю улыбку. Действительно, кому? Тому, кто в гробу, все безразлично. Близким — пожалуй. Стоящему в карауле? Да, если в эти минуты он не демонстрирует себя, а мысленно прощается с умершим. Вспоминает о нем все хорошее и пытается великодушнее взглянуть на плохое. Если он на короткое время ясно представит себе, что рано или поздно ему тоже придется лежать таким образом, и это несколько сдвинет его привычные точки отсчета и поможет ему хотя бы временно отрешиться от застилающего глаза пылевого облака повседневных интересов. Вспоминаю Алешку с его присловьем: «Все это тлен и чепухистика по сравнению с вечностью». Даже краткое размышление о вечности подрывает основы чепухистики, выправляет привычные вывихи в оценках, а иногда вызывает те недостаточно исследованные нейрофизиологией раздражения центральной нервной системы, которые в быту называются угрызениями совести. Нечто подобное происходит со мной. Я стою, полузакрыв глаза, и думаю, какой, в сущности, чертвой скотиной я был, когда в чужой стране сводил с большим человеком какие-то счеты (соблюдал, видите ли, свое достоинство), я стыжусь своего недавнего озлобления против Беты, успеваю помянуть добром Алешку и заодно попрекнуть себя за постыдное невнимание к своему единственному настоящему другу и еще больше — за оттенок снисходительного превосходства, появившийся в моем отношении к нему. Я думаю

о своем отце, бабе Варе, Ольге, Илюше Славине, думаю с нежностью. И даже о Вдовине вспоминаю без особого ожесточения. Я так занят своими размышлениями, что меднолицему приходится дернуть меня за рукав: я задерживаю смену караула. На обратном пути прохожу мимо Беты и ловлю взгляд, укрепляющий меня в решении сделать для нее все возможное, даже если для этого мне придется пожертвовать своим покоем и некоторыми взлелеянными в ночной тиши планами.

Народу еще прибыло, вестибюль стал похож на метро в часы пик. Я с трудом протискиваюсь к столику, чтобы отдать повязку. В момент, когда Милочка, жарко дыша, возится с заевшей английской булавкой, я вдруг замечаю пробирающегося сквозь толпу костлявого субъекта с давно не стриженными охрыными патлами, я поворачиваюсь вслед ему так резко, что Милочка вскрикивает. Нырряю в толпу, чтоб догнать и заглянуть в лицо. Заглядываю. Субъект действительно похож на Алешку, каким тот был лет двадцать назад, и уже поэтому не он. Разочарованный, проталкиваюсь к дверям. Какой-то милиционерский чин в белых перчатках пытается освободить подъездные пути. Поймав мой сочувственный взгляд, жалуется:

— По мне, эти похороны хуже всякого футбола. Никогда не знаешь, сколько народу набегит. А тут иностранцев полно, говорят, правительством будет...

Правительства пока не видно, а иностранцев действительно много. Есть ученые, но больше журналистов. Узнать их нетрудно, и не столько даже по внешним атрибутам вроде фотокамер и портативных магнитофонов, сколько по жестко-деловитому виду — они пришли сюда не горевать, а работать. Один из них, судя по акценту, француз или бельгиец, разлетается ко мне с вопросом, не знаю ли я, что послужило причиной кончины господина Успенского, и не считаю ли я ее преждевременной. Вопрос, вероятнее всего, не заключает в себе никакого коварства, но я мгновенно настораживаюсь. Отвечаю (по-французски): причиной смерти, насколько мне известно, была острая коронарная недостаточность, но я не терапевт, и самое лучшее, если мсье ознакомится с медицинским заключением. Корреспондент благодарит, умело скрывая разочарование, — с заключением он наверняка знаком. Затем задает неожиданный вопрос: почему в России пьют так мало виноградного вина? Если в вопросе и заключена какая-то каверза, я не обязан ее замечать, поэтому ограничиваюсь самым банальным объяснением: суровый климат, виноград у нас почти не растет. Впрочем, говорю я, мне приходилось бывать во Франции, и, по моим наблюдениям, жители этой солнечной страны наряду с виноградным вином охотно пьют и коньяк, и джин, и виски, и русскую водку. Только сказав все это, я улавливаю исходящий от моего собеседника запах спиртного. Корреспондент делает комплимент моему парижскому произношению, и мы расстаемся, я — совершенно успешный. В худшем случае он что-то слышал о Пашиных загулах.

Выхожу за ворота. Есть мне не хочется, но домой я попаду еще не скоро и потому решаюсь перекусить в расположенном поблизости предприятии общественного питания. Я в нем никогда не бывал, но давно заметил вывеску. Называется оно почему-то кофейная. Мне кажется, правильнее было бы кофейня, как у дедушки Крылова, но, в конце концов, это не мое дело. Кофе здесь не варят. Утомленного вида женщина за стойкой берет один из десятка стаканов с заранее отмеренной порцией чего-то сгущенного и доликает его горячей водой из кипятивника. Столиков всего четыре, и все заняты. Молоденькие девушки в синих халатиках пьют этот самый кофе, заедая лимонным кексом, названным так, по-видимому, из-за внешнего сход-

ства с гранатой-лимонкой. За одним из столиков сидят двое рабочих, пожилой и молодой, явившиеся сюда как бы специально для того, чтобы доказать, что в России пьют мало виноградного вина. Я подсаживаюсь к ним со своим кефиром. Перед ними три бутылки темного стекла, одна без этикетки, две с грушевым напитком. Они пьют этот тепловатый напиток, закусывая бутербродами с килькой, и с жаром говорят про свое. Некоторые производственные детали мне непонятны, но основная мысль ясна: Шапкин безусловно сволочь, а Иван Николаевич безусловно хороший человек. В этой оценке оба собеседника совершенно единодушны, и поначалу я недоумеваю, почему их беседа так похожа на спор. Потом начинаю догадываться: спорят они не между собой, а с кем-то, находящимся вонне, за пределами кофейной. Суть спора, если попытаться ее сформулировать, примерно такова: есть на свете хорошие люди и есть сволочи, хороших людей больше, почему же хорошие люди никак не могут справиться со сволочами и частенько пляшут под их дудку? Старший — его зовут Авдей Михайлович — высказывает предположение: не потому ли, что в хорошем человеке тоже понамешано всякого дерьма, — и младший с ним полностью согласен. После этого спорить уже решительно не о чем. Авдей Михайлович дружески улыбается мне и щелкает ногтем по моей бутылке:

— Что? Замучила, проклятая?

Мысль опять-таки ясна: только злодейка язва может заставить довольствоваться такой недостойной мужчины пищей. Мне не хочется его разочаровывать, и я киваю.

— Ульсера дуодена? — спрашивает Авдей Михайлович, и я лишний раз убеждаюсь, как глубоко проникли медицинские сведения в гущу населения. — Спиртом не пробовали лечить? У нас диспетчер был, Спектор фамилия. Вчистую вылечил, следа нет. Только спирт должен быть медицинский, девяносто шесть, не сырец какой-нибудь. И закуски — нисколько. Не то чтобы селедочки или там лучку — хлебушка и то нельзя.

— Спектор медом закусывал, — говорит молодой. — Медом можно.

Меня трогает их доброжелательность, и я обещаю попробовать. Медицинская тема исчерпана. Отдаленный медный вздох оркестра. Авдей Михайлович тоже вздыхает и спрашивает:

— Не слыхали — кого хоронят?

Я объясняю — профессора Успенского. Профессор — это понятнее, чем академик.

— А — хороший человек?

Его не интересует специальность профессора Успенского, его интересует, хороший ли он человек. Конечно, он мог бы задать мне вопрос полегче, но я в том состоянии, когда меня покидает всякая язвительность, и, вместо того чтоб отшутиться, я начинаю рассказывать про Пашу. О том, как мы с Алешкой Шутовым пришли к нему продавать собаку. И о том, как он учил нас работать. Авдей Михайлович слушает сочувственно и даже подталкивает молодого.

— Хороший человек, — подводит он итог моему рассказу, затем ополаскивает фруктовой водой мой стакан и твердой рукой разливает на троих остаток водки. — Помянем, братцы, хорошего человека, — говорит он строго, и я не решаюсь отказаться.

Пьем в торжественном молчании, не чокаясь.

После этого надо бы встать и уйти, но мои новые знакомые проявляют такой живой и бескорыстный интерес к покойному профессору и деятельности нашего Института, что я, еще недавно сердито

отказывавшийся тратить время на публичные лекции и всякого рода устные журналы, сижу за мокрым от пролитого грушевого напитка игрушечным столиком и, водя пальцем по пластику, объясняю механику обратных связей в организме. Мои новые знакомые — рабочие-зеркальщики, Авдей Михайлович — мастер, а Толик еще только учится. От них я, в свою очередь, узнаю много интересного. Оказывается, зеркальное дело требует тонкого подхода и не у всякого человека есть к нему дарование. И есть еще, к сожалению, люди, которые все меряют на квадратные метры, и им до лампочки, какая в этом зеркале будет у человека рожа. Для меня уже не представляет загадки, почему Шапкин сволоочь, и я всей душой на стороне Ивана Николаевича. Наши бутылки пусты, и я предлагаю поставить по сто коньяка, этот благородный напиток не противоречит статусу кофейной, но, как видно, не пользуется спросом. Авдей Михайлович решительно восстает:

— При язве мешать — последнее дело.

— Я сбегаяю,— робко предлагает Толик.

— Не спеши,— веско говорит Авдей Михайлович.— Свет не без добрых людей.

Он подходит к прилавку и вступает в секретные переговоры. Возвращается довольный.

— Хорошая женщина,— говорит он.— А муж у ней — зараза. Никакой меры не чувствует. Она правильно говорит: ну пил бы он, как вы, культурно, под разговор, я бы ему слова не сказала. А он — драться. Пустой человек. А женщина — хорошая.

Через минуту или две хорошая женщина выходит из-за прилавка и с перевальцей направляется к нам. Пока она наводит порядок на столе, я наблюдаю за ней. Она была бы даже хороша собой, если б не тяжелые ноги и печать преждевременного увядания на лице. Лет ей, наверное, не более сорока, но по сравнению с ней Бета и Ольга — девушки. Когда она удаляется, на столе по-прежнему стоят три темного стекла бутылки, две с натуральным грушевым напитком и одна без этикетки. Наш разговор вступает в новую фазу. Говорим мы довольно бессистемно, но это не важно, важно, что мы отлично друг друга понимаем, радует и печалит нас примерно одно и то же. Меня провожают до ворот Института, мы сердечно прощаемся, и я узнаю от знакомого милиционера, что правительство было и уехало, а траурный митинг вот-вот кончится. Мне удастся войти в вестибюль, но в конференц-зал уже не пробиться, и я слушаю митинг по трансляции. Говорит представитель министерства, затем кто-то из Комитета по защите мира...

Наконец гражданская панихида кончается. Оркестр играет что-то мажорное. Приоткрывается дверь конференц-зала, и из нее спазматическими толчками выдавливается наружу спрессованная человеческая масса. Те, кто подобно мне стоял в вестибюле, тоже приходят в движение, заставляя потесниться тех, кто ждал выноса под открытым небом. Начинается шествие. Впереди идет Петр Петрович, у него вид заправского церемониймейстера, не хватает только жезла, чтоб стучать им о пол. За ним с десятков сотрудников несут на малиновых подушечках (в отчете все равно будет сказано «алых») Пашины ордена и медали. Все ордена с ленточками, кроме одного — Боевого Красного Знамени времен гражданской войны, этот орден Паша любил и не соглашался ни обменять, ни припать к нему ушко. Вслед за ними движутся венки из хвои, жести и искусственных цветов, перевитые красными и белыми шелковыми лентами, венки так велики, что их несут по двое, лиц не видно, видно только согласно шагающие ноги. Наконец проплывает гроб весь в живых цветах, его несут

на плечах ученые мужи, цвет нашей биологической науки, среди них я замечаю Вдовина. Из полутьмы вестибюля мне виден только кусочек голубого неба, на секунду гроб вписывается в этот голубой квадрат и плавно опускается, слышно, как рычит мотор автобуса и лязгает откидная дверца. Вестибюль постепенно пустеет. Я тоже выхожу. Пытаюсь разыскать Бету, но ее нет нигде. Заглядываю поочередно во все автобусы и легковые машины, многие думают, что я ищу для себя место, и предлагают потесниться. Кончается тем, что головной автобус трогается, а за ним, урча и испуская бензинный чад, выползает за ворота вся процессия, и я остаюсь один в разом опустевшем дворе. Бросаюсь обратно в вестибюль. Он тоже пуст, уехали все, даже старик Антоневиц. Толкаюсь в приемную, сверх ожидания, она не заперта, и вижу Ольгу за пишущей машинкой. Я поражен:

— Оля! Вы здесь?

— Конечно. Должен же кто-нибудь подходить к телефонам.— Как бы в подтверждение ее слов один из аппаратов звонит, и Ольга берет трубку: — Да, уехала... Нет, минут пять... Пожалуйста.

— Уехала,— говорю я растерянно.— Я ее не видел.

— Ее увез Андрей на своей машине. Я выпустила их через служебный ход.

Андрей — это сын Успенского. Тот самый лысеющий инженер-майор.

— Олег Антонович, а вы? Решили не ехать?

Я молчу. Ехать мне действительно не хочется. Я не люблю это кладбище, хотя на нем похоронен мой отец, а также многие другие близкие и уважаемые мной люди. Последний раз я был там, когда хоронили Каминского. Работал у меня в лаборатории старший научный сотрудник Каминский, шестидесятилетний кандидат наук, человек порядочный и дельный, но не более того. В пору своего могущества Вдовин несколько раз пытался его спихнуть, чтоб освободить место кому-то из своих, а я не давал. Какова реальная доля участия Николая Митрофановича в прикончившем Каминского инфаркте, судить не берусь, наука еще до этого не дошла. У Каминского было два брата, один крупный педиатр, другой известный дирижер, оба умерли в тридцатых годах и похоронены на этом самом кладбище. Родные, естественно, захотели похоронить его рядом с братьями, не закопать даже, а захоронить урну. Толкнулись туда-сюда — отказ, и я пошел к Успенскому, чтоб он позвонил куда надо. Паша поморщился, он не любил просить ни для себя, ни для других, но все-таки обещал. Ольга соединила его с человеком, от которого зависело решение, и через минуту услышала яростный вопль. Он кричал...

— Что он кричал, Оля? Парфенон?

Ольга сразу понимает, о чем я ее спрашиваю, и улыбается.

— Я всего не расслышала. Что-то страшное. Потом выбежал из кабинета и завопил: «Где Юра? Если опять уехал без спросу — выгнать!». Пока искали Юру, он ходил здесь, как тигр в клетке, и только ворчал себе под нос: «Парфенон... Ах, сволочь». Я не посмела его ни о чем спросить. Через час он приехал обратно еще злой и бросил мне на стол заявление родственников с резолюцией председателя горисполкома. Все в порядке. В конце дня захожу — он уже совсем веселенький, смеется: «Понимаешь, Оля, я тому чинуше толкую: случай бесспорный, там лежат родные братья», а он мне говорит: «Это кладбище — наш советский Парфенон». В смысле Пантеон, наверно»...

Мы с Олей смеемся, нам приятно вспомнить Пашу таким. Люблю слушать, как Ольга смеется. Раньше она была смешлива, теперь все чаще я вижу ее серьезной и озабоченной.

— Знаете что, Олег Антонович,— говорит Ольга.— Поезжайте-ка вы домой.

— А что?

— Вы не в себе.

— Вы хотите сказать, что я пьян? — Я пытаюсь шутить, но у меня это плохо получается.

— Скажем так: не такой, как всегда. Машина в моем распоряжении, и я могу сказать Юре, чтоб он отвез вас, куда вы хотите. Но лучше поезжайте домой. А вечером позвоните Сергею Николаевичу, и он вам все расскажет.

Ухожу, как всегда благодарный Оле за такт и внимание и чуточку виноватый, хотя меня никто ни в чем не упрекает. Толстяк Юра мрачен и всю дорогу молчит. По-моему, он даже похудел.

Вечером я звоню из автомата Алмазову и среди всяких маловажных подробностей узнаю одну любопытную. У открытой могилы говорил Вдовин. По мнению Сергея Николаевича, говорил замечательно, с большой любовью к покойному и очень самокритично. На глазах у многих были слезы. Вдовин уехал и просил передать мне, что ждет меня и Елизавету Игнатьевну в заповеднике.

Я ложусь спать в обычное время, сразу засыпаю и просыпаюсь через два часа без всякой надежды заснуть еще раз. Но туман прошел, голова опять ясная, я зажигаю настольную лампу и сажусь за письменный стол.

(Продолжение следует)



ИЗ ЭСТОНСКОЙ ПОЭЗИИ

★

ДЕБОРА ВААРАНДИ

Гранатовый плод

Гордый город,
патетически-напряженный, наполненный
отблесками прошлого, ликованиями, стонами,
оставайся теперь без Маро. Дверь на запоре,
в окне нет света,
лунный блик на полу.

Маро ушел в горы.
Он в горах — у горцев, у драконьего ветра,
у горных ручьев.

Маро один в каменной пустыне
со своими раненьями и ранами родины,
один в табачном дыму,
в горьком махорочном дыму воспоминаний.
Повседневной плесенью подзатянуло раны.

Маро в горах, на ладони
гранатовый плод одиночества, на языке
гранатовый вкус памяти, в сердце
гранатовый цвет любви,
багряная плоть,
жгуче-кислый сок.

Способ жизни

Мужчина и чада его
доживают летучие мгновения лета
на островке — на каменном плоту.
Рука женщины над очагом,
шалашик из детских ладоней,
сберегающий под небом
убывающее тепло.
Вскрики птиц водяных,
речь прибрежного камыша,
наречие рыб.

Жизнь на плоту,
вне привычных рамок,
непостижимая,
без боязни стрелы.

Перевел Д. САМОЙЛОВ.

ЭЛЛЕН НИЙТ

Искать себя

Белого облака взгляд —
свысока, над землей плитняка.
Мне можжевельник — брат,
а камни — наверняка.

Вплел можжевеловый куст
корни в земное лоно:
замкнуто слово за створками уст,—
племя мое непреклонно.

Ягоды темной глаза.
Жаркое пламя тимьяна.
Шиповник — рдеющая слеза,
смешаны радость и боль постоянно.

Задумчивы лица камней,
которые ищут себя веками.
Кукушки в арифметике многих сильнее.
Мельканье воздуха с мотыльками.

Мельканье воздуха с мотыльками,
лучинка светлой мысли во мгле.
Я — которая хочет веками
искать себя только на этой земле.

Перевела ЮННА МОРИЦ.

АРВИ СИЙГ

Ольшаники

Что же, ольшаники, просто ольшаники,
Чем потрясете верхушку, которая
Вырвалась к солнцу, покинув кустарники?

Зелени свет. Зелени сень.
Зелени серость.
То ли уйдешь, просветленный совсем,
То ли — отсеясь?

Думы-дубы и красавицы ели
Что-то большое вместить не сумели.

Где-то (да мы
Никогда не видали)
Диво-дымы
И далекие дали,
В снах — эвкалипты...

Послушаешь сойку...

Тянет назад сквозь вечернюю дойку...

Доит корову старая бабушка.
«В дальних краях-то небось... не очень?»
Нет, это голос не старой бабушки:
Эхо дойки бредет вдоль обочин...

Рядом с ольшаником, вдоль обочин.

В это вступаешь, как в теплое детство.
Голос берешь, как берут наследство:
Милый ольшаник, участливый, вечный
(Он с топором примирился, сердечный),
Тихий, задумчивый и бесконечный.

В зелени — свет. Птицы поют.
В серости? Новости!
В зелени — тень. Тень и приют.
Нежность в суровости.

Думы-дубы — мудрецов исполинство.
Зелень ольшаников — материнство.
Вей, горихвостка, гнездо!

Перевел БОРИС ШТЕЙН.

ВЛАДИМИР БЭЭКМАН

Песнь о времени

Такого времени не бывало
(разве когда-нибудь было время?).
Столько скорости и огня, столько неразберихи
на волю вырвалось на земле!
Мы мчимся, стремимся доделать дела.
Время выслушать соловья —
только за кофе после обеда
в стереофонической записи.
Вот наш прогресс.
Мы все те же мальчишки,
мы на Луне играем в телеигрушки,
и все так же мы забываем
про близких и ближних.
Биологи где-то детишек в ретортах растят.
Вот тогда будет порядок!
Вот тогда без нас обойдутся.
Тогда ничто не стеснит наше длительное детство.
Где-то реликтовые короли-подагрики

у электрокамина читают в замках газеты по вечерам
 и по утрам, просыпаясь, спрашивают с интересом —
 что за власть, что за дух, что за деньги в ходу сегодня?
 А где-то в глуши мужчины откармливают комаров,
 волоча буровые вышки через пески и болота,
 чтобы сверлить, бурить — до чертиков — этот шарик,
 чтоб из него выжимать еще больше огня, веществ и вещей, пищи
 и пыли
 и нет им дела до лысых королей и до седины полувзрослых детей,
 потому что их лица похожи на время,
 все лица похожи на время,
 все похожи на время, кто делает вещи,
 и те, кто творит слова, тоже похожи на время,
 провозвестники братства и пророки распри — похожи на время,
 и в этом нет вины времени,
 временами все в нем неплохо,
 и время в нас то же значит, что мы значим в нем.
 Не выбирает нас время.
 И мы время не выбираем.
 Наш единственный выбор —
 Из людей, что вокруг нас, выбирать
 по себе человека.

Перевел ВЯЧЕСЛАВ КУПРИАНОВ.

БЕТТИ АЛЬВЕР

Из поэмы «Босая Нога»

Понедельник

Босая Нога, моя матушка,
 стелила постель мне во поле,
 на лугу лесном, под густым кустом,
 где белый шумит березничек.

Мне оттуда сверкал ее белый плат,
 алый аел передничек.
 Ветер шумел, навевал мне сон,
 небыль очам показывал.

Пробудился я — диво дивное:
 в белой лежу рубашечке,
 чуб во лбу закудрявился,
 в головах — заветная звездочка.

Босая Нога, моя матушка,
 нагребла копну листовья-травы,
 косу под навес поставила,
 на спину мне набросила
 старый зипун залатанный.

Я, Босоножкин беспутный сын,
 с-под того зипуна-то как выскочил,
 как выпрыгнул, как пошел плясать
 к богачам на хутор
 в Иванов день.

То-то плясал, то-то в раж вошел,
не хуже людей покрикивал:

— Эх, суд-молва,
что ли дым с огнем!

Все трын-трава,
однова живем!

Забери того черт, умори угар,
кто сам по себе, на своем уме.
С ними кашу варить,
мед-пиво пить,
на гулянке гулять не пойдет никто.

Я был на гулянье, огонь палил.

Огонь как огонь.
А что-то... не то.

Босая Нога, моя матушка,
тут же бродила, охала,
искала меня, непутевого.

Глядь, один лежу, голова в золе,
не рубаха на мне — срамота-рванье,
не звезда в головах заветная —
под глазом фонарь что чиряк набух.

Перевел СВЕТЛАН СЕМЕНЕНКО.

ПАУЛЬ-ЭРИК РУММО

Ars solaris

Солнце опрокинулось в виноград,
виноград опрокинулся в бочки,
бочки опрокинулись в бурдюки,
бурдюки опрокинулись в луженые глотки.

Солнце стало вином, и вино — живописцами
(одна неожиданность за другой),
живописцы стали красками и смешивали их и самих себя
(еще похлестче),
палитры стали кистями, и кисти — палитрами,
пошли каруселью холсты,
и мир превратился в холсты
(не забудьте, вначале было солнце!).

Сегодня солнце чудеснейшей перегонки
брызжет фонтаном
в серое вещество
трехмиллиардного человечества.

Чокнулись, Рембрандт!
За тебя и за твой шедевр,

где солнце само наполняет
твой хрустальный бокал.
P. S. Привет Саскии.

Перевел АРВО МЕТС.

В белоснежный город туч

Сирень отошла. Жасмина навьюжено.
Голубей на крыше дюжина.

Голубей этих по трое:
сизые, белые, карие, пестрые,
всплески в глазах двоятся.

Улетают двенадцать.

Эта пестрая тройца
в красках радуги кроется.

Трое карих взлетают,
до луны долетают.

Трое сизых дымным клубом
вьются над солнечным кругом.

Трое белых держат путь
в белоснежный город туч,
а жасминные лепестки вокруг,
как голубиный пух,
кружат, кружат, выше, выше,
плавно сползает гребень крыши,
гребень лета виден еле,
пилят стены тени елей.

Из «Песен Гамлета»

Море отступает постепенно.
На песке остаток бури — пена.

Ты послушай... ветер там крепчает
или нам дурное предвещает?

Осока, друг, осока, осока.
Рядом встали стены туч высоко.

Стало страшно. Не дитя ль живое
руку острой рассекло травой?

Или двум возлюбленным и юным
босиком взбрело бежать по дюнам?

В жилах ветер — ток хмельного сока...
Осока, друг, осока, осока.

Хватит! Причитать — с какой стати!
Не видать на берегу дитяти,

и никто из нас босой не ходит.
Почему же тоска не проходит?

Все шумит осока голой остью.
Верь, что эта туча черной злостью

не заденет этих двух влюбленных,
и надейся, вечный мой ребенок.

Все на миг сошлись во мне без спросу,
всем на миг увидел я угрозу,

и на миг земля смешалась с твердью,
и на миг я стал как перед смертью,

и я понял, что молчанье ложно —
зло в добро перекричать возможно.

Осока, друг, осока, осока.
Рядом встали стены туч высоко.

На песке остаток бури — пена.
Море отступает постепенно.

Перевел Д. САМОЙЛОВ.

ЯАН КАПЛИНСКИЙ

* * *

Мечта быть флибустьером —
черный флаг на крыше сарая.

Мечта быть индейцем —
гусиное перо в нечесаных волосах.

Мечта быть птицей —
тайное желание спрыгнуть вниз
искушает стоящего
на самом краю Вышгорода.

Мечта куда-то вдаль
рождает
бессонной ночью
новое стихотворение.

Глаза

Бабочка улетела
за реку
и погибла.

Старик греб на ладье,
увидел отражение свое
и сказал:
это жизнь.

Юноша с девушкой гребли.
Ничего не сказали.
Заглянули друг другу в глаза.

Тысячи раз
они видели
себя, жизнь
и белую бабочку
в полете
над темной водой.

Перевел АРВО МЕТС.

ЯАН КРОСС

Автобиография вспять

Лица не видно Голова
скрыта под черной накидкой фотографа
Говорит: не только тогда в Хиросиме
а всегда
на каждой стене

Он закрывает своей накидкой мои глаза
и я вижу

Он начинает снимать слой за слоем за тенью **тень**
Он расчищает силуэт долговязого малого
чья голова спрятана под фартуком
это я
и еще одного помоложе
с мешком за плечами в бесконечной колонне пленных
и еще одного еще помоложе
в грузовике
среди немцев с пистолетами
и еще развеселого студента в подпитии
с цветком в петлице
в фуражке с сине-черно-белым околышем
а затем школяра в красной шапчонке
и мальчугана и шкета и карапуза и сопляка
которого катят во взятой взаем
послевоенной коляске пятнистой от ржавчины
он расчищает брюхатую женщину
в юбке до пят
под руку с рабочим господского вида в пенсне
а затем этого мужчину одного
и его ручищи
что никак не влезают в карманы пальто с бархатным воротничком
и еще одного в форме машиниста с лихо закрученными усами
с круглой бляхой императорской Балтийской железной дороги
на фуражке

и еще одного сутулого кузнеца
 зажавшего в тисках рук самодельную скрипку
 а также их разбитных молодух
 в черных пальто городского фасона и домотканых юбках
 в сине-коричневую полосу
 и затем мужиков из Паункюлы и Равилы
 везущих на базар
 в скрипучих телегах деревянные посудины с маслом
 и баб поспешающих рядом с телегами
 стук-стук каблучки городских туфель
 а онучи спрятаны под соломой в передке
 и среди них заплаканную девушку красавицу
 и еще чудаковатого старого господина длинного как жердь
 с парой книжиц на местном наречии
 и еще бесконечную вереницу
 крестьян и крестьянок

Стены не тончают
 оттого что тени с них снимают слой за слоем
 но внезапно сквозь стены
 пробиваются голоса

Чуть слышный гул
 нарастающий гул
 тук-тук-тук
 как посох великана за семью морями за горами
 тук-тук-тук
 как отдаленный стук в еловые двери

Странный звук
 нарастающий звук
 ай-ай-ай
 словно стая чаек взметнулась с камней
 ай-ай-ай
 словно поворачиваются еловые двери на еловых петлях
 и ширится звук и нарастает гул
 и крошится облицовка стены
 и прозреваю сквозь стены
 глазами сотен теней

Своими глазами из-под накидки фотографа Глазами пленного с мешком
 Глазами пленного в грузовике Глазами развеселого студента
 из-под козырька сине-черно-белой фуражки Глазами школяра в красной
 шапчонке Глазами мальчугана шкета карапуза сопяка в пятнистой
 от ржавчины детской коляске Глазами женщины благословенной
 брюхом под руку с мужчиной с громадными ладонями Янтарными
 глазами мужчины в пенсне Глазами усатого машиниста Глазами
 сутулого кузнеца поглаживающего скрипку Глазами расторопных
 молодых Зареванными глазами деревенской красавицы Глазами
 чудаковатого старого господина Глазами бесконечной вереницы
 крестьян и крестьянок
 Глазами тысячи теней прозреваю сквозь стены
 слухом тысячи теней я слышу сквозь стены

тук-тук-тук
 в доме сколачивают гроб
 ай-ай-ай

в доме кричат новорожденные
 Ширится звук и нарастает гул
 тук-тук-тук
 как посох великана за семью морями за горами
 ай-ай-ай
 море превращается в чаек и взмывает
 Откликается стук
 в еловые двери
 в стене и во мне
 ай-ай
 поворачиваются еловые двери
 в стене и во мне
 и в умерших и в рожденных

еловые гробы выносят из дверей
 еловые люльки вносят в двери
 пятнистые от ржавчины детские коляски пересекают похоронные
 процессии

Глазами тысячи теней
 вижу тысячи теней на стенах
 и в стенах
 Основания стен
 гудят в донном северном известняке
 верхи стен врезаются в стаи чаек
 и ширится звук и нарастает гул
 вокруг

Никто чуждый не перекричит во мне этот гул
 Никто чуждый не перекричит чтобы это во мне замолчало

Перевел Д. САМОЙЛОВ.

МАТС ТРААТ

Сказка

Однажды в придуманном домике
 жила придуманная девушка,
 варила придуманные кушанья,
 вязала придуманные варежки,
 напевала придуманные песенки
 своему придуманному милому,
 пока придуманный юноша
 не пал на придуманной войне,—
 тогда придуманная девушка
 выплакала настоящие глаза,
 и дело с концом.

Учебник

Возьмите шпиль церкви,
 залитые потом каменистые поля,
 березовые или ивовые ветки на розги,
 несколько угасающих слов,

алую полоску зари
и руки, бесконечно много рук —
получите историю.

Из цикла «Этюды для зажигания»

Завтра снова идти.
Тот, кто непрерывно спрашивает:
куда? кто? зачем? —
не может быть путником и должен
остаться.

Цель должна быть вечером готова,
как каменный сруб колодца.

Перевел АРВО МЕТС.

ЭНН ВЕТЕМАА

..*

Одиноко прильнуть
к теплой, таинственной печи,
которая в темной комнате
дышит ласково и странно...
Печь моей мамы.
Печь — моя мама...
Печи ведь немножечко мамы.
Мамы ведь немножечко печи,
и нам хочется вернуться к ним.

В темной комнате
у теплой печи
мы думаем прекрасные печальные детские думы
о птицах в холодном ночном небе,
темно-синем бескрайнем небе
над высокими трубами.
У этих птиц посиневшие пальцы,
холодные и печальные.
И вы, бедные птицы без печи!
О вы, бедные беспечные птицы!

Перевел АРВО МЕТС.

ХАНДО РУННЕЛЬ

Кристина

Кристина телков годовалых
лелеет, как детушек малых.
И все говорят: «Ну и ладно,
своих-то судьба не послала...»

И слышно, в народе болтают,
 мол, будто она выпивает.
 Да только судить не пристало,
 детей-то судьба не послала.

И мужа судьба не послала,
 и с виду она рябовата.
 Душа, говорят, золотая,
 да что она стоит, душа-то?

На скотном дворе пропадает
 Кристина, чудная бабенка.
 Сидит над телком до рассвета,
 голубит его, как ребенка...

Перевел СВЕТЛАН СЕМЕНЕНКО.

ВИЙВИ ЛУЙК

Мольба

Ты утешь меня, тихая,
 кроткая,
 Утешь меня, ночи!

Утешь меня,
 древо затихшее,
 древо немое!

Ты утешь меня,
 легкое слово,
 с чуждых слетевшее уст!

Вы утешьте меня. Ибо ветром
 я больше не стану.

Перевел СВЕТЛАН СЕМЕНЕНКО.

ЛИ СЕППЕЛЬ

* * *

На моих скулах горит нынешнее солнце.
 На моих скулах горит
 солнце моих предков.
 Ребенок перебирает серебряные монеты на моей шее,
 серебряные монеты с волнистым орнаментом,
 с нарисованным солнцем, головами львов и людей.
 Каждый день новое солнце на моих скулах.
 Каждый день даю из ожерелья
 новую монету ребенку играть.

Перевел АРВО МБТС.

АЛЕКСАНДЕР СУУМАН

Не убивай, не убивай меня! —
 будто бы молит
 с глазами, полными страха,
 бронзовый олень.
 Не бойся,
 с колен подымись,
 иди с миром...
 А эти слова
 не мне говори —
 скажи их
 свинцу всего мира,
 железу, и меди, и стали
 на звонком наречии вашем.

Перевел СВЕТЛАН СЕМЕНЕНКО.

Бледная желтизна березы.
 Ветер развеивает листья по свету.
 Грустно...

Я писал бледную желтизну березы
 и листья, развеиваемые ветром по свету.
 Я почувствовал, что с каждым мазком
 удаляюсь от березы,
 и за грустью пришло беспокойство.

Тогда я стал писать грусть.
 Писал, пока на полотне
 не зашелестела береза
 с листьями, развеиваемыми ветром по свету.

Грусть, которая исходит от полотна,
 так сильна,
 что доставляет радость.

Я нарисовал лес
 и над лесом — солнышко.
 Люди сказали:
 утро.
 Никто не сказал:
 вечер.

Перевел АРВО МЕТС.



А. БОЧКИН



С ВОДОЙ КАК С ОГНЕМ

Рассказ гидростроителя

ОТ РЕДАКЦИИ

Андрей Ефимович Бочкин, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии,— один из крупнейших гидростроителей нашей страны. Он руководил строительством Невинномысского канала, Иркутской ГЭС, а затем Красноярской ГЭС, которая, пока не завершено строительство гидрокомплекса на Саянах, является самой мощной гидроэлектростанцией в мире. Он же был первым начальником строительства Саяно-Шушенской ГЭС. По нашей просьбе Андрей Ефимович рассказал писательнице Ю. Капусто историю своей жизни. Рассказ этот публикуем в ее литературной записи.

НАЧАЛО ПУТИ

Передо мной были открыты все двери. На размышление дали сутки. Я должен был сделать выбор, и в этот раз на всю жизнь.

Мне было тогда двадцать три года, и я успел уже много чего пережить. В пору гражданской войны тринадцатилетним мальчишкой я видел, как дезертиры вели из избы под штыками председателя нашего волисполкома Гусарова — ему дали последнее слово, и он, невысокий, худенький, залез на стол, поставленный посреди площади. Голоса его хватило на целую площадь.

— Убивайте меня! — крикнул Гусаров. — Советскую власть вы все равно не убьете! Что вы есть без советской власти? Яичная скорлупа без белка и желтка!

Его силой стащили вниз, стали вязать руки. Кто-то скомандовал:

— Вести его в Йевлево, связать одной веревкой с Бочкиным и вместе прикончить!

Йевлево — это наша деревня, Бочкин — мой старший брат, секретарь волостной партячейки. Хотя Бочкиных у нас половина дворов, имелся в виду, конечно же, он. Только я знал, что брат уже по дороге к Бежецку, куда он отправился сообщить о восстании дезертиров, а партийные документы, которые хранились у него в плотничьем ящике, я успел утащить в рожь и там надежно упрятать. Гусарова, связанного, повели с площади. Он шел и насмешливо улыбался. Кто-то выстрелил ему в спину. Он повернулся и крикнул:

— Сволочи! Даже стрелять не умеете! В грудь стреляйте!

Раздался еще один выстрел, и он упал. Так я впервые увидел, как умирают за то, во что верят.

Позже, будучи инструктором укома комсомола, я исколесил на велосипеде и исходил пешком весь наш уезд; в семнадцать лет я уже заведовал школой парт-

просвещения: мы нанимали лошадь, грузили в сани ящики, набитые книгами, а сами шли за саянами. Приезжали в волость и в вечернее время, когда детская школа свободна, начинали занятия с теми, кто к нам приходил, а днем сидели за книгами, выступали друг перед другом. Месяца через два переезжали в другую волость и все начинали сначала, а школа, организованная нами, продолжала работать без нас. К этому делу мы привлекали грамотных ребят, вернувшихся с фронта, учителей. Так и познакомился я со своей Варварой Федоровной. Она учительствовала в Ильгощах, я увидел, что она толковая девушка, и поручил ей 8 Марта сделать доклад. Варя отнекивалась, ей не приходилось еще делать доклады, я ее успокоил: ты, мол, доклад будешь делать, а я содоклад, не так уж, мол, важно, какой доклад, главное на собрании — содоклад. 8 Марта собрались женщины в лавке, которую ради праздника мы превратили в клуб. Варя сказала несколько слов, я громыхнул горячим содокладом, потом мы поили аудиторию чаем. Все остались довольны, а я был так счастлив, что в тот же вечер, не откладывая на долгие времена, предложил Варе стать моей женой.

Из мира идей меня бросили в мир ситца и керосина.

Вызвали в губком и сказали:

— Был ты политпросветчиком, теперь будешь торговцем. Готов?

Готов не готов, но я должен был завтра же на собрании кооператива в Ильгощах просить, чтобы меня приняли в члены («Денег нет на вступительный взнос? Сегодня получишь»), должен был выступить с речью о новой экономической политике, да так выступить, чтобы меня обязательно выбрали членом правления и по возможности председателем. Я выполнил все, что мне было сказано. Мужики немедленно сообразили: «Вот кого надо избрать! Его каждый в уезде знает — он прошибет. Он товары достанет». Тут кто-то задал хитрый вопрос:

— А сколько лет тебе, малец?

До восемнадцати мне оставался месяц. Мужики не знали, что им решить: можно ли несовершеннолетнего председателем выбрать? имеет ли рука моя силу, чтоб подписать бумагу? Прервали собрание, послали делегатов в уезд, там их успокоили: месяц — не срок. Выбрали, и стал я потеть. Моя задача была товары доставить, а за прилавком стояли у меня комсомольцы.

Через три месяца, когда работа в кооперативе была налажена, меня отозвали в уком, предложили заведовать агитповозкой «Тверской правды». И снова без конца колесить — уже не по уезду, по всей губернии.

Девятнадцать лет я принят был в партию. Кончилась комсомольская юность. Я работал теперь секретарем парткома на ткацкой фабрике в Волочке, а через два года, когда двести партийных работников из центра направлялись в сельские районы Сибири и десять человек должна выделить наша губерния, у меня уже было двое детей, но в числе десяти, на которых пал выбор, оказался и я. Двинулись всей семьей. На московском вокзале мать, жена и дети спали на лавках, я же с белым — из-под муки — мешком, заменявшим мне в ту пору портфель, стоял в бесконечной очереди за билетами в бесплакартный вагон...

Теперь вот, снова спустя два года, из Сибири меня послали в Москву — на учебу в столичный вуз.

По правде сказать, учиться в институте однажды я уже начинал. После окончания школы второй ступени, где я был секретарем комсомольской ячейки, мне предложили работу в укоме, но мне хотелось учиться дальше. Мы с товарищем босиком прошагали тогда шестьдесят верст до Твери: на двоих у нас были одни сапоги и мы их жалели. Выдержали экзамены, поступили в учительский институт, но не прошло и двух месяцев, как меня отозвал губком комсомола.

Теперь судьба поворачивалась ко мне по-другому. На какой же все-таки специальности остановить свой выбор? На счастье, именно в этот день я встретил Мишу Посележного, старого товарища по Твери. Он удивился, что я размышляю.

— О чем же тут думать? Иди к нам в Водный, на факультет гидротехники. Будем строить электростанции — самая замечательная профессия.

Это была пора ГОЭЛРО и, конечно, придумать профессию лучше было просто-напросто невозможно.

Кое-какие отношения с техникой у меня уже были. Когда наша агитповозка приезжала на место, именно я залезал на крышу — обычно волисполкома — и устанавливал там приемник с тарелкой, чтобы люди могли услышать Москву, я же брал на себя и демонстрацию огнетушителя какой-то новой системы. Все шло хорошо, но однажды шток не сработал, я взялся его отвинчивать, он вылетел, и пружина ударила меня в лоб. Помню, как на меня опрокинулось красное небо, кто-то крикнул: «Убило насмерть!» Меня схватили и понесли к фельдшеру, тот, долго не думая, зашил рану дратвой. Этот рубец так и остался на память о первом увлечении техникой.

Оказалось, что главные предметы на первом курсе факультета гидротехники — физика и математика. Хотя я с детства любил читать (в наших Ильгощах при Доме трезвости была большая библиотека, читал даже то, что не понимал — вплоть до Герцена, до философских работ Толстого, — а уж Некрасова чуть не всего знал наизусть), все же самым большим моим удовольствием было решать математические задачи. Я так пристрастился к этой забаве, что сидел на уроке и все решал и решал вперед по задачку, и когда нужно было объяснять классу новый раздел, поручалось это обычно мне. Что же касается физики, то в памяти у меня был экзамен при поступлении в учительский институт. Физика была первым экзаменом. Мы тянули с товарищем жребий — кто пойдет раньше. Одновременно сдавать экзамены мы не могли: сапоги не краюха хлеба, пополам не разделишь. В коридоре ожидали желающие поступить в институт. Это была интеллигентная публика — дети учителей и священников. Я держался в сторонке. Наконец профессор открыл дверь и прочитал по списку: «Богомазова, Богоявленская, Бочкин». Я сразу подумал: «Сдаю с поповыми, куда мне против них?» Профессор предложил девушкам сесть у стола, а я как вошел, как встал у дверей, так, оробев, и остался на этом месте. Меня он почему-то не посадил и как будто бы не заметил. Он их спрашивает, а что они не могут ответить, я отвечаю, сначала про себя, одними губами, потом все громче, громче, так втянулся, что не заметил, как отошел от двери. Отвечал из акустики, из механики. Потом профессор спросил у девушек: «Кто из вас выведет формулу света?» Девушки переглянулись и промолчали. Профессор повернулся ко мне, и я вышел к доске — до сих пор слышу, как скрипели при этом мои сапоги. Вообще это были не мои сапоги, но мы их считали общими. В карманах у меня были натолканы странички из учебника физики — я готовился по Краевичу. Формула была длинной, выведение ее занимало две или три страницы. Передо мной как бы раскрылись страницы Краевича, встали над доской увеличенные в размере. Я погляжу вверх и пишу, опять погляжу и пишу. «Где вы учились? — спросил профессор и тут же добавил: — Если вы эту формулу знаете, я задерживать вас не буду». А когда я стал уходить, он передумал: «Нет, пожалуй, вы подождите. Вы поможете им». Получилось так, что, помогая девушкам, я ответил по всем разделам школьного курса. На другой день держал экзамен товарищ. Профессор ему сказал: «Тут вот вчера парень был точно в таких сапогах, так же от них дегтем несло. Вот он отвечал! Не ваш ли это приятель?» Видно, он основательно изучил заплаты на наших сапогах, пока я писал формулу света. Формула света! Мог ли я тогда думать, что этот ответ на экзамене предскажет весь мой дальнейший путь?

Итак, гидротехника!

В ЦК партии — а меня посылали учиться ЦК — мой выбор одобрили, и я стал студентом Водного института.

Экзаменов я не держал — экзаменом для меня был весь первый курс. За эти годы я все забыл, утратил навыки, которые даются непрерывным ученьем, на подготовительных курсах не занимался — теперь мне было трудно. Особенно тяжело шла математика, а я ведь привык быть по математике первым. Требовалось усилие воли. Восемь часов я сидел на лекциях, восемь часов занимался в читалке. Подгонял азы — и то, что забыл, и то, чего никогда не знал. Потом

появлялся Миша — у него, как у фокусника, из всех рукавов и карманов вытягивались длинные полоски бумаги с задачками. Он каждый день устраивал мне экзамены и успокоился только тогда, когда я стал знать математику не хуже его.

К весне я сильно устал, появилась бессонница, зато был отмечен как вполне успевающий, избран в партком, получил повышенную стипендию и комнату в общежитии. После этого я смог вызвать в Москву жену с ребяташками — первый год моей студенческой жизни они жили в деревне. Но и теперь я занимался так же — все время, свободное от сна: ведешь детишек в детсад, а про себя геодезию повторяешь.

За три с половиной года ученья я ни разу не позволил себе потратить вечер на театр, не выпил ни одной рюмки водки, что выпито было мной — то потом. Придет товарищ, рюмку ему поставишь, огурчик порежешь, сам посидишь рядом, а только закроешь за ним дверь — и снова за книжку. Закроешь уши руками, чтобы не слышать возню сына и дочки, — и ушел в мир сопромата.

Приходилось еще иногда подрабатывать по ночам — работали мы, студенты, в тоннелях московского Метростроя.

Самым любимым моим профессором был Василий Васильевич Подарев. Он был уже стар. на лекциях иногда забывал, что сказал, что нужно еще сказать, мог обратиться к кому-нибудь из своих лучших студентов: «Ты объясни им».

Все, что он давал нам, мы получали от него не на лекциях, а в гидротехнической лаборатории. Здесь он был воистину богом. Здесь мы узнавали от него о гидростроительстве много такого, чего не вычитать ни в одном многотомном труде.

Все здесь было как в жизни. По трубам в большие бассейны направлялись потоки воды. Из воды поднимались плотины, вода стремглав летела по гидротуру, крошечные турбины вращались с предельной скоростью. Стены лаборатории да и комнаты, где жил Василий Васильевич, были сплошь в чертежах.

На лабораторию денег отпускалось немного. Василий Васильевич вкладывал в лабораторию чуть ли не весь свой оклад, а сам ходил в пиджаке, на локтях протертом до дыр, хотя и имел при себе старого отставного солдата, который был ему заботливой нянькой. Говорили, что старики привыкли друг к другу еще со времен русско-японской войны, когда Тимофей был денщиком Подарева, служившего военинженером.

Нам пришлось в голову приодеть немного профессора. В день, когда нам давали стипендию, мы собрали деньги, купили костюм и попытались всучить его Тимофею. Тот, зная Василия Васильевича, наотрез отказался. Тогда мы пробрались в чуланчик лаборатории, где Василий Васильевич перед работой скидывал с себя пиджак и надевал халат, утащили его старье, взамен положили новый костюм и убежали. Тимофею, конечно, влетело, хотя виноват он не был, но ничего другого профессору не оставалось, как натянуть на себя обнову и в знак протеста тут же измарать ее мелом.

Василий Васильевич вел у нас проектирование гидросооружений. Это был основной багаж, с которым нам предстояло вступить в самостоятельный труд. Ездил профессор с нами на практику, жил с нами в палатке, лез с нами в воду. Вместе с ним мы были и на Днепрострое, месили в блоках ногами бетон (визбраторов тогда еще не было), питались скудно (почти ничего, кроме рыбы, которую сами же ловили в Днепре), но время это было счастливое, молодое.

Однажды на практике Василий Васильевич, как и много раз это было, перешел вброд речушку, впадавшую в Терек; день был холодный, он слег с воспалением легких и больше не встал.

Были у нас преподаватели и другого склада.

Профессор Милович блестяще читал лекции по гидравлике, был и ученым, и оратором, и литератором одновременно, что встречается редко. Он считал, что в мире есть только одна наука — гидравлика и только один апостол ее — он сам.

Но высокомерие его не уступало таланту. Слушателей своих он презирал, и справиться с этим мы не могли.

Я был уполномоченным райкома по распространению займа. Пришлось побывать мне и в его огромной квартире. Оставив в прихожей галоши, заменявшие мне и туфли, я в носках прошел в профессорский кабинет. Милович с любопытством посмотрел на меня.

— Ну, что пришли, комиссар?

— Хочу предложить вам подписаться на государственный заем.

Он сел, я остался стоять. Очевидно, такая ситуация ему казалась естественной. Он попросил меня объяснить ему цели займа, сделал вид, что задумался, и не без рисовки ответил:

— Вы же, насколько я понимаю, материалист, диалектик. Значит, должны понимать: марксизм — это мода. Сегодня его носят, а завтра отбросят, как обветшалый костюм.

И посмотрел на меня: вот, мол, делай со мной что хочешь, но я откровенен. Делать с ним я ничего не стал. Понимал, что, кроме всего, он еще и позер, и, быть может, позер прежде всего.

Да, были в ту пору и такие профессора.

Пользу, однако, он приносил: лекции его нам много давали.

Три с половиной года проучился я в институте, но доучиться тогда не удалось.

Нелегкими были первые колхозные годы, пришлось прибегнуть к такой чрезвычайной мере, как организация политотделов в машинно-тракторных станциях.

Опять выбор пал на меня. До окончания института оставалось всего полтора года, но я спорить не стал.

Обмундировали меня почти как военного, дали недельный паек, продаттестат, вещмешок, инструкции, положение о политотделах, послали в один из засушливых районов Заволжья. Вместо шинели я взял с собой плащ и студенческий полушубок, в котором ездил на практику, и с полушубком на руке ночью сошел с поезда на станции Бузулук, где, как было условлено, меня должны были встречать, но встречающих не увидел. Всю ночь я шагал и шагал по перрону. Давно уже не было у меня столько времени для размышлений. Не заметил, как рассвело. Наконец ко мне подошел кто-то в худом армяке:

— Вы, случаем, не лошадь ждете? Не в МТС вам ехать?

— Случаем, жду.

— А мне сказали, что приедет начальник в военной шинели. Вот я и сижу тут всю ночь.

Он повел меня к лошади. Она была без седла, вместо попоны на нее была натянута рогожка, на спине болталась торба, из которой торчала солома, — должно быть, взамен седла. Лошадь такая, что не только ехать на ней — ее самому в пору нести на руках. Я спросил возчика:

— Давно кормили ее?

Он ответил:

— Я и сам-то не ел...

— Ну давай перекусим, да и пойдем втроем.

Из пайка я взял с собой только хлеб, остальное оставил дома. Поели, да и лошади перепало. По глазам ее было видно: труженица и горемыка.

Двинулись. У меня-то сапоги были крепкие, а у возчика разваливались на ходу. Он то и дело восстанавливал, перевязывал их бечевкой. Тут только я заметил, что он мой ровесник, а показалось сначала — старик.

Немного я посидел на лошади, немного он, а больше мы вели ее под уздцы — уж очень она уставала.

День прошел, ночь, на следующий день достигли усадьбы машинно-тракторной станции. Директор МТС объяснил мне, что у него только три лошади и что встретить меня отправили лучшую. После такого веселого сообщения он показал мне комнату в квартире здешнего слесаря, где я должен был жить.

— Что же вы тут делать будете? — спросила хозяйка, подперев щеку рукой, как это делала моя мать.

— Дела тут найдутся, — ответил я, — начну с того, что умоюсь.

Я вышел из дому, прошел по двору и вдруг провалился в яму. Как мне потом объяснили, яму эту хозяин вырыл для силоса. Дно ее и откосы были песок и галька. Песок осыпался, и вылезти оказалось трудной задачей, а сил у меня было немного — ничего, кроме хлеба, последние дни я не ел. Я карабкался вверх, снова катился вниз и думал о том, как это может выглядеть со стороны: приехал начальник политотдела, сразу же очутился в яме и ползает по ней, как навозный жук. Я весь перепачкался, пока вылезал, и долго еще себя приводил в порядок, прежде чем вернуться к хозяйке.

И вот я на посту начальника политотдела машинно-тракторной станции. Крестьянские работы я знал: и сам деревенский, с детства приучен (взрослые мужики у нас вечно были в отходе, а после и вовсе ушли на первую мировую войну, с семи лет я уже пас скотину, ходил за плугом, работал на сенокосе), и вся моя партийно-комсомольская работа проходила в селе.

В Сибири, чем бы я ни занимался (созданием ли комитетов бедноты, изъятием ли хлебных излишков, пятикратным ли обложением кулаков, не сдавших хлеб добровольно), я прежде всего оставался пропагандистом — собирал людей, рассказывал, зачем нужен хлеб: здесь необмолоченный колос по три года в ямах гниет, мыши его есть не хотят, а в городах рабочим нечего есть. Поработал инструктором райкома партии — выбрали меня секретарем райкома. Чтобы получить инструкцию, нужно было день провести на почте у телефона, поэтому многое приходилось решать самому. Я дни и ночи мотался из деревни в деревню, пытался убедить людей словом и только словом. Ничего диктаторского ни разу себе не позволил. Из области нам прислали уполномоченным Брюховецкого, бывшего партизана, считали, должно быть, что я молодой, что нужно меня учить. Он работал совсем по-другому: хлеб добывал глобусом, который возил с собой. Раскрутит глобус, а на глобусе стрелка начерчена, на кого стрелка покажет, с того Брюховецкий и требует пятикратку. Брал на крик, на испуг. Мне говорил: «Разве так надо работать? Ты народник, ты агитатор, а надо организатором быть».

Пришли годы коллективизации. Сначала наш район считали одним из лучших. В коммуны мы никого не звали, строили ТОЗы, шли даже на то, чтобы использовать узы родства: «Вот вы, Комаровы, вроде как родичи, вы и объединяйтесь!» Я не торопился, свято верил, что сила тут не применима. И вдруг соседние районы стали меня обгонять, мой район оказался в хвосте. Меня ругали, обвиняли в либерализме, в оппортунизме. Я и сам поверил, что работаю хуже других, не понимал, как у других получается то, что у меня не выходит. Однако в той части района, где действовал Брюховецкий, дело двигалось быстро, но кончилось тем, что он едва ноги унес из села. После появления в «Правде» статьи «Головокружение от успехов» полетели за перегибы и Брюховецкий и секретари соседних районов.

Словом, опыт у меня уже был, но все же так туго, как здесь, в политотделе, мне, пожалуй, еще не приходилось. Пора сеять, а тракторы неисправны, нет запчастей, нет трактористов. Нужно найти людей, которые умеют работать на тракторе от зари до зари и готовы есть одну затируху — муку да воду, и то не вдоволь.

Приедешь на поле, на тракторный стан, ребята черные от мазута, от пыли, только белые зубы сверкают. Один усмехается: «Нам хорошо, мы в керосине, нас вши не берут». Другой скажет злее: «Гражданин начальник, садись поешь затируху с нами — меньше спрашивать будешь».

А «гражданин начальник» с утра до ночи в поле — и вовсе не ел ничего, но это никого не касается: отшутись, если можешь, а не можешь — смолчи.

Ловили сусликов, находили в поле мороженые корнеплоды, упавший колос, ели семена, приготовленные к посеву, протравленные, чтобы их не трогали суслики. Но люди не суслики: промывали зерна и ели. Бывало: вдова с ребятишка-

ми — куры у нее околели, о корове и говорить не приходится, вот и попутал ее сатана — взяла мешочек семенной колхозной пшеницы и отравила своих детишек. Что с ней делать? Сама наказала себя больше чем высшей мерой.

Помню, как в двадцать первом году мы, комсомольцы, собирали краюшки хлеба, ягоды, корешки, полезные травы, все сушили и отправляли для голодающих. И снова эта беда.

Я шел на все, приказывал последнего вола резать для трактористов. Только бы вспахали. Люди терпели, готовы были работать две смены подряд, но машины уже не могли: расплавились подшипники, трактора выходили из строя. Все же вспахали, посеяли — я сам в две недели стал трактористом, — вдруг прошел добрый дождь, после него проглянуло солнышко, снова смочило дождем, ростки бурно полезли вверх.

Я был счастливейшим человеком.

Поехал в Москву промышлять подшипники, доставать где-то движок: и на черный рынок пришлось заглянуть и в институте поклянчить. Кафедрой метеорологии у нас заведовал профессор Марцелло, его мы тоже любили. Нашел его, все ему рассказал. Он не стал меня обнадеживать:

— Хорошее начало еще ничего не значит.

В памяти он держал метеорологические сводки по годам и по месяцам по крайней мере за полвека. Смены погоды, причины и взаимная связь этих смен — это было для него как увлекательный роман, не прочитанный еще до конца.

— Так и бывает: смочит, пригреет, всходы пойдут — и вдруг потянет с Каспия суховей. Выскочит колос, чуть только нальется — и сразу сжарится, сникнет. Если бы провести каналы к полям, напоить каждое растение с вечера... Но об этом нет пока речи. Словом, радоваться вам еще рано, будьте настороже...

Вот ведь какая должность теперь была у меня. Вечно в тревоге. Солнышко приласкало, дождик брызнул, а ты беспокойся, жди, что будет дальше. Радоваться тебе не дозволено, а то зарадуешься и что-то упустишь.

Первым моим заместителем был Георгий Иванович Боровский. Он приехал к нам в МТС с женой, всего семейного скарба у них было два чемодана, сколоченных из фанеры, и те наполовину набиты книгами. Худой, высокий, в чем-то похожий на Дон Кихота, потомственный интеллигент, педагог, это был действительно рыцарь, святой человек, глубоко убежденный, преданный коммунист. В гражданскую войну он был комиссаром, во время мамонтовского рейда попал в руки врага и едва остался живой. Когда наши отбили город, выходила его госпитальная сестра, в прошлом актриса, выходила и так и осталась с ним навсегда. Он был ей вместо ребенка: детей у них не было.

Боровские, оба получившие широкое образование, многое сделали в нашем политотделе. Особенно волновали Боровского вопросы культуры быта. Ездил по селам, входил в каждую избу, готов был с каждой хозяйкой выворачивать из дому грязь.

— Ты смотри, в каких пеленках у тебя ребенок лежит. Кто тебя замуж брал? Кто дите тебе сотворил?

Мог он до слез довести за грязь. Лишь только в селе появлялся Боровский, женщины бросались в дома наводить порядок:

— Ой, Боровский идет, а у меня на полу лужга...

Едем мы с ним по селу, я за водителя, он рядом со мной, навстречу женщины с поля идут, семечки щелкают, шелуха на губах. Я привык уже к этому, а он обязательно попросит остановиться, выйдет навстречу бабам:

— Вы бы хоть губы вытерли. Смотреть же противно! Как же вас целовать?

Что бы ни делал он, все делал по-своему — не по стандарту, а как подсказывала ему душа. Придет человек рекомендацию у него просить — он к нему в печенку залезет:

— А зачем тебе партия? Почему пришел? Сам, своею волей вступаешь или скажешь потом — я затащил?

— И ты тащишь, и сам я хочу.

— Чего же ты хочешь?

— Светлого будущего.

Эти слова жили в нашем языке еще с двадцатых годов.

Он был старше меня и хотя был моим заместителем, но называл меня просто — Андрюша, я же его по имени-отчеству — Георгием Ивановичем. Боровский привязался ко мне. Уеду я на весь день по массиву, он меня на самом дальнем поле разыщет, вытащит из охотничьей сумки котелок с каким-то варевом, завернутый в газету и в полотенце, чтоб не остыло, да еще сунет ложку:

— Мы с тобой, Андрюша, обязаны жить — ты же с утра голодный. Садись и ешь.

Потом приехала в МТС и моя семья. По вечерам мы сами строили себе на усадьбе деревянный барак. Семьи наши сдружились. Особенно бездетный Боровский полюбил моего сынишку Володю. Часто его брал с собой, когда объезжал на машине массив МТС. Так и запомнили их по селам: длинного, худого Боровского и почти всегда рядом с ним маленького мальчонку.

Мы сами писали и печатали на типографском станке газету тиражом в две-три тысячи, сами развозили ее по селам, читали ее на полях, по фермам, в сельских читальнях.

Не рассказать обо всем, что входило в нашу работу, скажу только одно: через два года люди ели уже не затируху, а хлеб.

Политотделы в МТС и совхозах превратились в постоянно действующие партийные органы.

Мне казалось, что теперь я имею право закончить наконец институт. Однако отпускать меня на учебу не торопились.

В ту пору недалеко от мест, где я работал теперь уже снова первым секретарем райкома, в городе Орске начиналось строительство большого металлургического комбината. Я подумал, что это все-таки ближе к моей инженерной профессии, и попросил, чтобы меня перевели на любую работу в Орск. Так я стал секретарем парткома на строительстве Орского никелевого комбината. День был занят с утра до вечера, зато ночи были мои: я занимался, пытался заочно пройти курс института.

Позже я стал на этой стройке старшим прорабом. На бытовом языке это, конечно, понижение, на самом же деле что бы со мной ни случилось в жизни, так выходило, что все на пользу.

Теперь я был значительно ближе к профессии, к которой готовился в институте. Здесь я получил первый профессиональный урок: мы прокладывали железнодорожную ветку и я убедился, что строитель должен проверять данные геологов и геодезистов, обязательно знать смежные дисциплины.

БУЗУЛУК, КУТУЛУК — ЗАВОЛЖЬЕ

Я снова сделал попытку вернуться в свой институт. На моем заявлении нарком написал: «Поезжайте строить Бузулукскую систему, а институт закончите заочно».

В какой уже раз я был огорчен. Но теперь, когда я оглядываюсь на пройденный путь, состоявший из множества назначений, при которых не всегда считались с тем, чего я хочу, из множества шишек, полученных мной заслуженно и незаслуженно, мне начинает казаться, что меня варили, закаливали и обкалывали по специальной программе, составленной именно для меня, с заранее обозначенной целью: настолько необходимо впоследствии оказалось все, что я пережил. Но это приходит в голову мне только сейчас, тогда у меня не было времени для таких рассуждений.

Орошение — единственная реальная возможность справиться со здешней засухой, я не раз думал об этом той первой политотдельской весной, когда

дрожал над всходами яровых и приезжал за прогнозом к Марцелло. Именно этим теперь и предстояло мне заниматься: я начинал работать по избранной мною профессии.

Осуществлять орошение в крупном масштабе тогда было еще невозможно. Стали изучать небольшие речушки, впадавшие в Волгу. Весна в этих краях короткая, бурная. Ручьи, пересохшие балки быстро наполняются паводковой водой. Решили, что нужно строить на речушках плотины, создавать водохранилища, а летом в случае необходимости эту воду спускать, используя местный сток.

Первой такой ирригационной системой в России и была Бузулукская система, состоявшая из двух земляных плотин на речках Лабаза и Домашка и каналов. Сооружение этих плотин началось еще в ту пору, когда после политотдела я работал в райкоме партии в тех же краях.

Я приехал начальником строительства в коллектив, где было много моих однокашников, успевших уже получить диплом и способных что-то мне подсказать, когда это нужно. Много было здесь коренных москвичей: инженеры учились для того, чтобы строить, а не для того, чтобы писать бумажки. Работало у нас в ту пору пять экскаваторов, а прицепных орудий к тракторам тогда еще не выпускали. Один наш инженер, Прокопий Макаров, придумал приделывать к трактору деревянный щит, чтобы сдвигать и уплотнять сдвинутый грунт, правда, мы не знали еще, что такое приспособление назовут позже бульдозером. Макаров изобрел его сам, а мысль о патенте ему и в голову не пришла.

Тут же ночами я готовил дипломный проект, готовился к экзаменам, которые мне оставались, тут и закончил высшее образование и формально и по существу: эта первая моя самостоятельная работа на гидростроительстве требовала досконального изучения многих проблем гидротехники.

Главную роль в строительстве по-прежнему играла лопата.

Приходилось много разезжать по коляхозам. Часто меня узнавали — помнили с политотдельских времен. Расскажешь о том, что мы строим, проголосуют и прищлют на стройку людей с лошадьми, а чаще с быками. Грабари, как называли этих отходников, бывало, приезжали целыми семьями, селились в степи в палатках, спали на лежаках. Сын и сноха землю копают, нагружают телегу, старик отвозит землю к реке, ссыпает ее на плотину, и учетчица ставит крестик. В день, скажем, сто крестиков — таков был учет работы.

Наконец по каналу пошла вода.

Сначала она идет осторожной волной, несмело, как бы нащупывает дорогу. Идет и ласкает дно и бока канала и тут же впитывается или уходит вглубь, и поток замирает, пока следующая волна не подтолкнет его дальше. То вода нырнет под землю, в дюкер, то должна выбиться вверх и пересечь овраг по акведуку. Ты идешь за нею и ждешь — сейчас все твои ошибки выйдут наружу. Нет более строгого нивелира. Если ошибка — вода не пойдет, выльется через дамбу. Идешь за водой и знаешь — это экзамен. А экзаменатор не поднимается пока выше десяти сантиметров, но на своем пути все подметает, все захватывает с собой.

Вода по каналу подходит к селу, огибает околицу, а там уже собрался народ — встречают, как крестный ход.

Идет вода!

Вода — значит, хлеб будет каждый год.

И тут понимаешь, какая у тебя замечательная профессия, какая она чело-вечная. Не успел сообразить, в чем дело, тебя хватают за ноги и бросают в воду. Так меня искупали в тот день три или четыре раза. Только появилась вода — и уже сразу возник новый обычай: вместо того чтобы сказать спасибо, поднести хлеб-соль, тебя купают в воде, которую ты привел. Это как бы крещение.

За водой бегут мальчишки, девчонки, скачут на одной ноге босые, но нарядно одетые, с трещотками, с гребенками вместо губных гармошек. За водой по правому и левому берегу идут женщины, мужчины и старики.

Вода в степи — настоящий народный праздник.

Потом мы строили Кутулукскую оросительную систему, вторую в России. На этой стройке у нас произошел интереснейший случай, память о нем оставила след на всей моей инженерной жизни.

К весне мы подняли плотину на проектные отметки и начали наполнять водохранилище паводковой водой. Проектировщики утверждали, что пройдет две весны, прежде чем Кутулук сумеет целиком наполнить водохранилище; на этом основании они задержали проект водосбросных сооружений — паводкового канала и быстротока.

Теперь получилось, что плотина уже стояла готовой, а водосбросные сооружения, рассчитанные на неожиданность, мы еще только строили. Идея была простой: если воды будет больше, чем может вместить водохранилище, способное сдерживать напор водяного столба в тридцать метров, откроют шандоры — тяжелые деревянные щиты, окованные железом, — и вода хлынет в паводковый канал. В конце канала должен быть выстроен быстроток — наклонный лоток, составленный из тяжелых бетонных плит, и бетонированный водобойный колодец. Вода устремится по наклонному лотку и упадет в водобойный колодец. При падении будут погашены ее размывные скорости, и она успокоенной пойдет в отводящий канал, вернется в ложе реки, в ее нижний бьеф.

В первых числах апреля мы отправили в главк телеграмму, где сообщали: снег сошел, наполнена четверть водохранилища, строится водосброс. Действительно, кривая расхода воды пошла уже вниз, и мы считали, что паводок позади, а плотина в безопасности. Вдруг начался ливень, что необычно для Заволжья. Когда ливень прошел, столб воды в водохранилище был равен шестнадцати метрам — при тридцатиметровой плотине в этом беды еще не было. Но тут ливень возобновился. Вода в хранилище прибывала. Мы лихорадочно бетонировали колодец, закрыв шандорами все отверстия водовыпуска.

Наступил день, когда уровень воды стал критическим. Вот чего стоили прогнозы гидрологов и расчеты проекта!

Это было 16 апреля 1939 года. Под угрозой оказалась плотина.

К счастью, быстроток уже был готов. Мы сняли щиты и пустили воду через паводковый канал. Ливень продолжался, и вода все прибывала — на такой напор наклонный лоток не был рассчитан. На третьи сутки тяжелые бетонные плиты лотка сдвинулись с места, поднялись одна на другую и оказались сброшены в водобойный колодец. Это была катастрофа. Грунт обнажился, вода на больших скоростях угрожала проникнуть дальше, угрожала размывом грунта, на котором стоит плотина.

Что же случилось?

Наклонная часть быстротока строилась на девонских глинах, до укладки железобетонных плит основание выравнивалось гравием. Вода шла так бурно, что часть ее просочилась сквозь швы в этот гравий и снизу стала давить на плиты лотка, выталкивая их вверх, а идущий из паводкового канала поток сбросил приподнятые плиты в колодец. Пришлось снова навесить щиты и закрыть паводковый канал. Ливень буйствовал, и вода в хранилище поднималась. Она грозила перелиться через гребень, снести плотину и обрушиться на железную дорогу, проходившую недалеко.

Мы решили поднять плотину выше, чем предполагалось проектом, чтобы как можно дольше сдерживать напор воды, которая по-прежнему прибывала. На работу вышли все кто мог из соседних сел, мы сами независимо от чинов, наши жены, матери, дети. Мы наращивали плотину и выстраивали на ней бастионы из мешков, наполненных прибрежным песком, а тем временем нужно было немедленно восстановить наклонный лоток и водобойный колодец, чтобы как можно скорее сбросить излишки воды в отводящий канал. Решили наклонный лоток сделать из дерева: в дно вбили сваи одна к одной, и так три сотни штук, связали их арматурным железом, сверху покрыли деревянными брусками, на брусках положили деревянный настил. На случай слишком большого паводка сделали в наклонном лотке обратные фильтры — ответвления в сторону, чтоб увести, если

понадобится, избыток воды. Об этом ни в одной книге сказано не было, это был наш собственный опыт и наше решение. Позже обратные фильтры вошли в учебники и инструкции. На всю эту работу ушло три дня, точнее трое суток, потому что понятия дня и ночи для нас, естественно, не было.

А дальше все было так, как чаще всего случается в кинофильмах: вода сровнялась с плотиной, водохранилище стояло как высокая чаша, переполненная до самых краев. Дождя больше не было, но каждая тучка угрожала бедой: вот-вот еще какая-то малость — и случится то, чего мы боялись: вода перельется через плотину, снесет ее, рухнет всей своей тяжестью вниз, затопит пути.

Именно в этот день закончились бетонные работы на быстротоке.

Шандоры подняли, и вода с ревом, с кипением пошла из водохранилища.

Я едва удерживался на ногах над беснующимся потоком, стоя на смотровом канатном мостке, перекинутом с берега на берег. Мосток швыряло из стороны в сторону, и меня окатывало потоками обжигающей ледяной воды. Подо мной по наклонному деревянному помосту мчалась вода. Кое-где она мчалась и над помостом, выбрасывалась из щелей сбоку, пыталась перевернуть помост, а вместе с ним и меня на канатном мостке. Вода в остервенении выбрасывалась в воздух, как бы вскипала и клубилась вокруг облаком пара.

Где-то за стеной этого густого пара, со всех сторон окутывавшего меня, было, кажется, солнце. Я не видел его в тот ясный, погожий день.

Вокруг все грохотало. В нескольких метрах от меня вода низвергалась с деревянного помоста в приготовленную нами ловушку — глубокий бетонный колодец — и гасила в нем дикую скорость, опасную и для грунта и для плотины, чтоб усмирненной вернуться по проложенному нами каналу в русло реки ниже плотины.

Что я испытывал? Радость победы? Тревогу? Не знаю. Скорее предельное напряжение, крайнее напряжение всех своих сил.

Ясно было, что мы совладали с этим беснующимся потоком, но я уже знал — вода так коварна, так несжимаема и неуступчива, что еще всего можно ждать. Сжимают железо, сталь и чугун, только ее, податливую и мягкую, нельзя ни потеснить, ни загнать в меньший объем. А еще говорят: тише воды, ниже травы. Нет поговорки нелепее.

Да, теперь я это знал.

Позже мне приходилось идти на схватку с реками, рядом с которыми безвестный Кутулук не больше ручья, строить плотины во много раз выше, чем та, которую мы спасали в апреле тридцать девятого года. Но этот день я запомнил. В нем как бы столкнулось все, что уже было прожито и вело меня к вершине этого дня, и все, что еще предстояло.

Зарубкой осталось во мне на всю остальную жизнь: прежде чем приступить к работе, строитель должен проверить не только геологию и геодезию, это я уже понял раньше, но проект целиком — досконально, по всем вопросам.

В ГОДЫ ВОИНЫ

После Кутулукского строительства меня назначили начальником Главводхоза Наркомата сельского хозяйства.

В ту пору строили Ферганский канал, Уч-Курганское водохранилище, Невинномысский канал. Приходилось ездить по всей стране.

Война застала меня в Литве, где мы осушали болота.

Я вернулся в Москву, добился, чтобы с меня сняли броню, хотел ехать на фронт, но попал в Военно-инженерную академию и только в марте сорок второго года получил звание военного инженера и был направлен на Карельский фронт.

Я попал в удивительный край: корабельные сосны высотой в сорок метров, обнаженные гранитные скалы, озера чаще сверху, чем внизу (гидротехнику это

бросалось в глаза прежде всего — запасы энергии!), болота, которые не менее опасны, чем враг, а стояли против нас на этом участке финны: они чувствовали себя на ветвях деревьев как дома и били без промаха.

Меня послали военинженером в 85-ю морскую стрелковую бригаду. Это были моряки, вышедшие на сушу прямо из моря, в черных шинелях и черно-золотых бескозырках, бесстрашные головы, ничего не желавшие знать, кроме «вперед!». Море открыто со всех сторон — они привыкли не прятаться и тактики наземных боев не знали. Я должен был учить их тому, что поначалу было им чуждо, — вгрызаться в землю, строить окопы, блиндажи, командные пункты, маскировать укрытия. А прежде всего мне пришлось на собственном примере показать морякам, как ползать на животе: я прополз весь передний край бригады — нужно было его выравнивать, выводить из болот под прикрытие гранита и леса.

Мы были сильно оторваны от наших военных баз. Самолеты противника уничтожали транспорты, которые доставляли нам продовольствие, и часто мы оставались без хлеба. Делали чучела: куклы-лошади, куклы-возницы, макеты повозок. Самолеты противника снижались над этой бутафорией, и мы стреляли в них из противотанковых ружей.

Когда надо было бесшумно добраться до нейтрального острова — крутого гранитного выступа, поросшего где гигантскими соснами, где высокой травой, — я учил бойцов обертывать весла шинельным сукном, чтобы не было слышно удара о воду. Этот гранитный остров, поросший соснами, нужен был лишь как плацдарм для броска на пятнадцать рыбацких лодках под фейерверком немецких ракет к берегу, занятому противником. Не уверен, что эта операция, к которой я был причастен как инженер, была такой уж разумной с точки зрения тактики, а может быть, дело тут было в том, что нас подвела авиация. Погибло много людей. И когда погиб командир батальона, мне, инженеру, пришлось его заменить.

Иногда говорят, что в армии думать не надо. Не знаю, как это понимать. Командир отвечает за любой поступок солдата, за его жизнь. Как тут не думать? Посылаешь людей на задание и знаешь, что вряд ли все они вернуться живыми. Пьешь из каски, снятой с убитого, дышишь смрадным запахом трупного разложения. Думаешь — и тут же съедаешь котелок пшенной каши.

Тебе, естественно, хочется остаться живым, но не за счет другого, конечно, ты хочешь сберечь не только себя, но и людей, за которых ты отвечаешь, а на тебя жмут за то, что ты не взял какой-то высоты. Будь она проклята, эта высота, но взять ее нужно. И в каждую твою клеточку входит это: ты должен сберечь не только себя, не только своих солдат — ты должен сберечь родину. И вот тебе кажется, что ты достиг уже того, чего должен, что ты уже камень. А вдруг откуда-то опять вылезает, что ты человек и тебе все еще хочется чего-то человеческого, простого, несоместимого с тем, что требует от тебя война: как хорошо бы выспаться, вымыться, освободиться от «бекасов», замучивших тебя больше, чем голод, холод, огонь. И среди этих не совместимых порой с реальностью желаний, мыслей и чувств единственным островком, в котором все ладно и все, кажется, притерто друг к другу, встает память о том, как хорошо ты жил до войны. Именно — как хорошо. А жил же и плохо, всякое было. Но помнишь лишь то, что хорошо, и за это хватаешься всей душой.

Никто не назовет это роскошью, что ты с женой и двумя детьми жил в одной комнате, что у тебя были кровать, стол, стул, рабочее место, что тебе доводилось ежедневно обедать, и вовсе не чем бог послал, что никто от твоих приказов не погибал и ты не разрушал, а строил... А каким несбыточным все это кажется, когда ты здесь, среди этих болот, среди смерти, в самом что ни на есть пекле войны.

Так случилось, что меня неожиданно вынули из этого пекла. Пришлось мне, минуя обычный армейский порядок, побывать в штабе дивизии, штабе армии, штабе фронта. Создалась ситуация, при которой я мог остаться при штабе

фронта, — я отказался. Тогда мне предложили принять участие в разработке и осуществлении одной боевой операции.

Я был назначен командиром десантного инженерно-разведывательного отряда. Местом действия на этот раз было Баренцево море. Водную преграду мы преодолели, используя суда, именуемые «морскими охотниками», у рифов, вблизи норвежского берега, спустились на шлюпках, незаметно подошли к укрепленному берегу. Мы должны были высадиться на вражеском берегу Баренцева моря, произвести разведку боем и снять кроки — схему инженерных береговых укреплений. Задание было выполнено, правда дорогой ценой.

На обратном пути шлюпку, в которой я находился, волна разбила о риф. Здесь я пережил тяжкое испытание.

За спиной был берег, на который я не должен был возвращаться, об этом у меня просто не было мысли, впереди море, и сколько его видно до самого горизонта — все в клокочущей пене.

Я торчал на рифе, едва поднимавшемся над водой, в одной гимнастерке: штаны разодрались о выступ камня и не держались на мне. От голода я начинал порой грызть свой размоченный соленой водой ремень. Я был совершенно мокр, все во мне дрожало от холода и от жара, который, я чувствовал это, во мне поднимался. Иногда надо мной пролетал самолет и обстреливал меня с бреющего полета. Казалось, самолет сядет сейчас на риф — я видел лицо летчика, валился под воду и отлеживался на дне, пока самолету не надоедала эта охота.

Рот, кожа, глаза — все постепенно становилось одною раной. Соленая вода разъедала не только ремень.

Комиссар, который находился в одной шлюпке со мной, давно уже был избавлен от всех неприятностей: у меня на глазах его грудь пробило сразу несколько пуль. Мне нечего было ждать, от меня зависело только одно: прекратить эту пытку. Патронов у меня не было — не оставил для себя ни одного.

Я дожидался большой волны и, широко открыв рот, шел ей навстречу. Но лишь только я начинал захлебываться, лишь только волна поглощала меня, что-то кричало во мне: нет! Какая-то сила ударяла меня снизу и выталкивала на поверхность. Я возвращался к рифу, крошечному островку, который теперь остался мне от целого мира, и тут в чужом северном небе над моей головой совершалось чудо.

Помните известный плакат «Родина-мать зовет!»?

Она, эта женщина, точно такая, как на плакате, вставала в небе передо мной. Я вглядывался в нее и понимал, что это не просто Родина, что это не просто мать, что это моя, собственная моя мать в своем всегдашнем темном платке стоит в небе передо мной и чего-то ждет от меня. Я был как младенец: что-то кричал ей, тянулся к ней, прижимался и мне становилось спокойно. Я засыпал, а когда просыпался, надо мной снова было пустое чужое небо.

Адски хотелось хотя бы раз глотнуть несоленой воды. Есть уже не хотелось. Меня ломало, трясло, не было во мне ни одной клеточки, которая не бодела бы. Я опять открывал рот и шел навстречу волне, и снова в последний момент что-то кричало во мне: нет! — и выталкивало меня на поверхность. Обесиленный, я возвращался к рифу, и снова в небе стояла передо мной моя мать, поднявшая руку точно как женщина с плаката «Родина-мать зовет!».

Должно быть, никто не сделал мне в жизни столько добра, если именно ее видел я в этот самый трудный час моей жизни.

Я у нее родился одиннадцатым. Когда ей пришло время рожать, она пошла в хлев, никого с собой не позвав, постелила на соломе только что выстиранное рядом и сама, без помощи меня родила, сама сделала все что полагается в этих случаях, даже сама обмыла меня. У нее уже было два сына Андрея, оба умерли в раннем детстве. В печальную память о них она и меня назвала Андреем. Я выжил.

Она была доброй, и в этом заключалось то единственное воспитание, которое она, неграмотная женщина, способна была мне дать. Когда случалось, что в

деревне болели тифом и люди боялись подходить к этому дому, мать шла туда, где беда, выхаживала больных, а если судьбе угодно было, чтобы они умирали, собирала их в последний путь и сама хоронила. Кто-то ее берег: она не болела. Особенно доброй была мать ко мне — я был ее последним ребенком. Я жил больше на печке, делил ее с тараканами, но я не помню, чтобы меня дома ударили. Когда в школе за проказы во время урока закона божьего я получил от попа наказание месяц стоять на коленях во время его уроков, мать сделала штанишки из отца старого ботрика, а с изнанки на уровне коленок к ним пришла подушечки, набитые мягкими льняными хлопьями, чтобы мне было легче отбывать свое наказание.

Отца моя память почти не сохранила. Как все тверские мужики, большую часть года он проводил в отходе. Однажды в дом принесли письмо: его насмерть придавило бревном. А мать оставалась с нами и сколько у нее было сил каждому из нас помогала до последней своей минуты.

Наверное, потому я и не мог погибнуть в соленой северной волне, что знал: она меня ждет. Я опять к ней тянулся и, прижавшись, опять засыпал. Не знаю, сколько раз так повторялось. Потом я совсем потерял сознание и, быть может, уже в забытии пытался кончить эти мучения и все же не мог их кончить.

Не мог!

В нагрудном кармане у меня были кроки, зарисовки береговых укреплений, завернутые в клеенку. Ради этого я и оказался у чужих берегов. Я обязан был передать эти кроки тому, кто меня послал, иначе наша разведка, стоившая многих жизней, теряла смысл.

Как я позже узнал, это продолжалось пятьдесят четыре часа, а каждый час на этом проклятом острове был как вечность.

Я родился в рубашке. Меня, лежавшего на рифе ничком, заметил наш тральщик, который отправился в море разыскивать не вернувшихся участников морского десанта. Об этом мне тоже рассказали уже потом. Кроки были извлечены из моего кармана и переданы начальству, а меня выхаживали в госпитальной палате судна, заворачивали в батистовые простыни, пропитанные моржовым жиром, и в пуховое одеяло и еще поверху повязывали бинтом, чтобы я был свертком. В точности так пеленают младенцев. Так исцеляли ту рану, какую был я.

После излечения я был назначен инженером 205-й стрелковой дивизии на тот же Карельский фронт.

От Мурманска вдоль всего Карельского фронта по железной дороге шли грузы, доставляемые нам союзниками, Америкой прежде всего. Это было важнейшее направление.

Противник пытался перерезать эту дорогу.

Передовая проходила через болота, а болота здесь местами и вовсе непроходимы.

Моей задачей было инженерное укрепление переднего края.

И снова я полз по болотам на брюхе, изучая со своими саперами передний край теперь уже не бригады, а целой дивизии, геологию и гидрогеологию здешних краев. Выискивал островки твердой земли, наплывы гранита, гнейса, небольшие высотки, чтобы сюда переносить оборону.

Лес вокруг корабельный, материала хватало. Даже дивизионный клуб построили, подземный конечно.

Оборона здесь была долговременной, и вот приехал как-то проверять наши сооружения армейский инспектор Фенин, как оказалось, мой однокашник.

Зимним вечером сидели мы с ним в блиндаже, вспоминали институт, преподавателей, и прежде всего, конечно, нашего профессора-гидротехника Василия Васильевича-Подарева. Достал я десятиверстку, показываю товарищу — смотри, мол, сколько безымянных озер и на каком уровне они располо-

жены. Фенин — недаром мы оба занимались когда-то в лаборатории Подарева — сразу меня понял:

— А что ты думаешь, гидростанцию строить можно. — И тут же пообещал: — Скоро буду в Москве, зайду в институт, выпрошу в лаборатории деревянную турбинку Соколова.

Свое обещание он выполнил: турбинка у нас появилась.

Нашли два озера, как блюдца лежавшие на высотках. Разница уровней между ними была семь метров, расстояние около полутора километров. Провели красным карандашом линию на десятиверстке, перенесли ее на натуру.

Выпал уже первый снежок, но он еще не лежал. Нам каждый день давали по роте солдат — то из одного полка, то из другого. Рыли канал. Грунт был различным: сверху торф, внизу тяжелый суглинок. Сделали приемный колодец, от него отводящий канал, деревянный шлюз. Над колодцем, где стояла турбинка, поставили сруб, замаскировали все как могли. Я поднимался на самолете, смотрел, не видно ли сверху.

От турбинки провели трансмиссию к динамо-машине, и ток пошел. Электростанция получилась, конечно, маленькой, всего на двадцать пять киловатт, но осветили все командные пункты, клуб, а главное, в большом, хорошо освещенном блиндаже я организовал мастерские по ремонту и производству шанцевого инструмента — это помогло в подготовке следующей операции.

Это скромное гидросооружение, выстроенное в семи-восьми километрах от переднего края, было первой электростанцией в моей биографии гидростроителя.

Я мог бы вместе с одним из поэтов — участников Отечественной войны сказать о себе: «Я тот, кто рвал мосты». Действительно, за четыре года войны пришлось много минировать и взрывать — взлетали мосты, ряжи, шлюзы, — и всегда досадно было, что приходится это делать, даже когда это бывало на чужой территории: все равно сделано руками людей.

Здесь же была огромная радость — не взорвали, а создали.

Позже пленные показали, что противнику стало известно: русские построили гидростанцию у самого переднего края. Немцы искали ее с помощью «фоккевульфов», но так и не нашли.

Не меньшую радость я испытал позже в Германии, когда на мою долю выпало восстанавливать большой мост, взорванный самими же немцами. По этому мосту прошла тогда танковая армия Катюкова.

Наша линия обороны, над которой мы столько трудились, все же проходила пониже, а господствующие высоты были в руках противника.

Прямо перед нами высилась большая гора Гангашвара. В сторону горы пролегла шоссейная дорога. Насколько нам было известно, на горе Гангашвара находился опорный пункт ротного района обороны противника и дорога выходила как раз к этому пункту. Мне пришла в голову мысль, что под гору можно сделать подкоп, и инженер армии генерал Хренов одобрил эту идею. Тоннель должен был пролегать на протяжении двухсот пятидесяти метров под дорогой, шириной в метр, высотой в полтора.

Начали мы с того, что на своем конце сделали яму, накрыли ее тремя-четырьмя накатами и из нее стали рыть тоннель, тут же ставя подпоры из досок. В тоннеле одновременно работали двое: один грыз грунт, другой в мешках вытаскивал землю. Места было так мало, что затекали руки и ноги, немело все тело. Потом уже пришлось копать не лопатами, а штыками, завернутыми опять же в обрывки шинели, чтобы не было звука. Солдаты задыхались, пары приходилось менять каждые два часа. Я шел в свою очередь наравне с другими, задыхался еще больше оттого, что был старше, но когда я говорил: «Ничего» — и ребята мои говорили: «Да, можно еще терпеть». Важно чувствовать, что ты не один. Такое состояние было, что хоть превращайся в железо, а делай что должен.

За два с половиной месяца мы вышли под гранитное тело горы, а скоро

поняли, что находимся уже по ту сторону склона горы, под ротным районом обороны противника. Мы были у цели.

В конце тоннеля сделали расширение — нечто вроде подземной камеры. Утром ребята стали затаскивать в концевой отрезок тоннеля взрывчатое вещество. Это был тол. Тащили его в льняных мешках, а не в бумажных — чтобы не было треска. Укладывая мешки, оставляли между ними узкие щели. После этого какое-то время совсем ничего не делали — должны были убедиться, что противник нас не заметил. Потом в щели между мешками уложили шашки, а на протяжении всей траншеи поставили капсюли-взрыватели. Теперь все было готово.

Утром пехота стала отрабатывать свою задачу на правом фланге. Это были бои отвлечения.

На направлении нашей галереи к атаке был подготовлен полк, выдвинутый из резерва. Артиллеристам стрелять запретили: они могли вызвать детонацию раньше чем нужно.

В начальном колодце стояла небольшая электрическая машина. Старший лейтенант Колотов, давно потерявший счет минам, которые он разрядил своими руками, сделал тот поворот рычажком, ради которого было положено столько труда. Мы увидели, как из-под земли вырвалось синее пламя и тут же высоко-высоко в небо взлетели сосны, султаны земли, глыбы гранита. В небо поднялась чуть ли не вся гора, и лишь после этого мы услышали взрыв, казалось рвущий на части и землю и небо. Собственно говоря, их было много, взрывов, следовавших один за другим, но все слилось воедино.

Высота оказалась в тот день в наших руках, что значительно улучшило наши позиции и дало возможность нашим войскам продвинуться дальше.

Гора Гангашвара! Как часто я вспоминал о ней позже, когда пришло время использовать взрыв в созидательных целях!

Многому меня научила война, которую я прошел как инженер.

Когда перед нами показался городок Кусамо, Финляндия считалась уже вышедшей из военных действий.

Городок весь был как вымерший — ни одного человека. Зато в кухнях домов на столах стояли банки соленых грибов, лежали куски свежего мяса. Не успели хозяева даже убрать подальше свое добро — видно, им много чего наговорили о нас.

Света в домах не было, но скоро в городе обнаружили ток высокого напряжения: один из солдат без перчаток схватился за оголенные провода и был сразу убит. Послали инженерную разведку найти источник энергии. Гидроэлектростанция была обнаружена в лесу, на небольшой речке. Здесь были установлены три турбины, работала в данный момент одна, работал и генератор. В рабочем зале был полный порядок, вокруг здания шел цветочный газон, но не было ни одного человека. Стали искать работающих людей. Не может же быть, чтобы такая электростанция работала сама по себе! Устроили засаду и утром задержали пришедшего сюда старика. Привели его в избушку у электростанции, нашли переводчика и объяснили ему, что мы с финнами теперь не воюем. Оказалось, что станция управляется автоматически. Мощность ее семь с половиной тысяч киловатт. Работало здесь всего три с половиной человека. Полчеловеком старик считал самого себя: он пенсионер, имеет полставки.

Я был рад, что интересы войны не потребовали от меня уничтожить это сооружение.

Из дивизии меня взяли в корпус, и в Германию я попал корпусным инженером. Участвовал в боях в Померании, при взятии Гдыни, в форсировании Одера, во взятии многих городов Восточной Германии. Мы шли впереди. Ни танкисты, ни пехотинцы не пойдут туда, где еще не побывали саперы, — такой уж закон войны.

Когда меня спрашивают: «Сколько вы убили немцев на фронте?» — я думаю: «А почему вы не спросите: «Сколько людей вы спасли?»?»

Но ни на тот, ни на другой вопрос не ответишь. Саперы действуют минами, а мы их ставили и снимали десятками тысяч.

Война уже окончилась, а для нас она еще продолжалась.

Опять на «морских охотниках», легких, скользящих по поверхности моря, мы отправились на датский остров Борнхольм.

Борнхольм возвышается над морем высоким утесом, идущим от моря изломами. Кто-то из нас насчитал: три с половиной сотни ступеней, два с лишним десятка маршей.

Наверху нас ожидала принцесса, дочь датского короля, при ней переводчица, как мы узнали потом, русская княжна из императорской фамилии. Принцесса, приветствуя нас, заявила:

— Мы, датчане, с вами, русскими, единокровные.

Мы не поняли сначала — почему же единокровные? Оказалось, что мать нашего последнего царя Мария Федоровна — родная сестра датского короля, то есть тетка принцессы. Так вот в чем дело! Спорить с принцессой, конечно, никто не стал.

Борнхольм — это сплошной лесопарк с семью городами-садами. Улицы с живыми зелеными заборами, за живой изгородью акаций — одноэтажные домики. Борнхольм — соловьиный остров, нигде я не видел, не слышал такого множества соловьев. Еще недавно я засыпал под грохот арканонады, теперь же не мог уснуть от соловьиного пения. Все цело. Со стороны казалось, что люди совершенно ничем не озабочены. Женщины ходили по улицам в пляжных костюмах. После всего пережитого нами было такое чувство, что это если не рай, то другая планета. Но планета была все та же, и война, захватившая мир, не оставила в покое и этот чудесный остров. Здесь находились немецкие войска. Нужно было разоружить их и отправить домой, в Померанию. В их казармах мы и разместились.

Сначала датчане смотрели на нас из-за угла, встретившись, старались как можно скорее уйти.

Соловьиный остров был в крепком кольце немецких подводных мин. Мы снова шли на морские мины, и снова погибали наши саперы уже у совсем чужих берегов.

На отношение к нам датчан, как ни странно, повлияло другое.

У датчан удивительные кладбища. Красивые памятники, дорожки, масса цветов, нет забытых могил и нет пустоты одичания. Сюда часто приходят живые. Это культ памяти о человеке. Они предложили нам сделать могилы для наших ребят, погибших на минах. Мы отказались, сделали сами, и сделали, нужно сказать, не хуже. Это почему-то их поразило. Они стали захаживать и на наши могилы, приносили цветы. После этого нам с ними стало легче.

Я как человек деревенский родом заинтересовался их фермами. Земля там мало, но как разумно ее используют! Имеет хозяин гектар выпаса и, скажем, десять коров. Этот гектар разделен на десять полос — по обеим сторонам поля поставлены колышки и от одного к другому натянута бечевка. По этой бечевке пускают корову, она идет и поедает траву перед собой. Минут через пять пускают другую корову, она идет рядом, не по бечевке, но параллельно ей, совершенно не отклоняясь в сторону — такой у нее уже навык, — и, естественно, отстает немного от первой коровы. Минут через пять на выпас пускают третью корову — и так до десяти. Идут они как полкосяка журавлей и потому друг другу совсем не мешают. Когда они дойдут до конца и поедят всю траву первой делянки, их переведут за бечевку на следующую делянку, и они пойдут здесь в том же порядке. А когда пройдут последний участок, трава на первом участке уже отрастет и все начнется сначала.

Меня поразила не только догадка людей, но и глазомер, дисциплина коров, строго идущих по непрочерченной линии параллельно бечевке. Старик датчанин охотно объяснял преимущества такой системы скармливания травы, а я, достав

блокнот, набрасывал чертеж выпаса. Не знал я еще, куда пошлют меня после демобилизации. Подумал, что, может, это мне пригодится.

Пришла пора расставаться с Борнхольмом. К тому времени я был подполковником. Предлагали повышение в чине, предлагали остаться в кадровой армии, но мне не терпелось вернуться к своей работе.

Так я попал в Москву на свою подушку. Вернулась из эвакуации к тому времени и моя семья.

Снова я оказался на прежней должности в министерстве, но никогда так не хотелось строить, как теперь, после войны. Я сказал, что предпочитаю непосредственную работу, и скоро меня уважили — послали на Невинномысский канал.

НЕВИННОМЫССКИЙ КАНАЛ

Кинооператор, позже снимавший фильм о Невинномысском канале, весною отправился с кинокамерой в горы, взобрался на вершину Эльбруса, подглядел прозрачную голубую льдину, нависшую над горным ущельем, подглядел солнечный луч, подтачивающий угол льдины, и каплю, срывающуюся с голубого угла, за ней другую, капля за каплей. И рядом другие льдины, и с них тоже срываются капли и летят стремглав в бездну ущелья.

Много прозрачных льдин, много источающих капли углов. Где-то внизу собирается горный ручей. Сотни таких ручьев — как разметавшиеся по горе светлые волосы — собираются вместе, рождается горный поток. Рядом другой, третий.

Из-под склона горы вверх рвутся ключи и, не в силах взлететь в небо, тоже падают вниз. И вот собирается быстрая большая Кубань. Кубань бежит по гранитному ложу с предгорий Эльбруса на север, в Ставрополье, пробегает мимо садов и полей, потом поворачивает на запад, к Черному морю, а на восток от реки остаются безводные степи, где все задыхается от жажды, от суховея, от черных песчаных бурь.

Здесь лежат тучные черноземы толщиной в три-четыре метра, таких мало в России.

Весной степь расцветает, но стоит сойти талым водам — и степь буреет и никнет. Только сайгаки да овцы могут тут жить — они умеют доставать воду из-под корней. Бывают зимы, когда и сайгаки не могут найти здесь корм, они идут отсюда стадами в сторону Пятигорска, оставляя за собой кровавый след сбитых копыт.

Если так трудно маленьким неприхотливым сайгакам, как же уживался здесь человек?

Зимой рыли ямы-колодцы, набивали их снегом, утапывали его, чтобы больше вошло, тщательно закрывали и запирали, после бережно брали по полкотелка. А то в поисках воды уезжали за сотни верст, привозили ее в бурдюках, позже стали привозить по железной дороге.

Давно уже родилась эта мысль — повернуть Кубань на восток, привести ее воды в высохшее русло реки Егорлык, которая давно умерла. В начале века один казак стучался с этой идеей в Петербург и в Москву, потом обращался к своим землякам, наконец, отчаявшись, сам вышел в степь и начал копать, надеясь, что люди его поймут и выйдут на помощь. Так он и умер, ни в чем никого не убедив, буквально вопиющий в пустыне, а идея осталась, дожила до нашего времени, и за несколько лет до войны приступили к гидростроительству, задачей которого было преградить дорогу Кубани у станицы Невинномысской, заставить ее остановиться здесь свой бег и поделиться частью своей воды с восточными степями Ставрополья. От плотины у станицы Невинномысской должен был начаться большой канал, принимающий воду Кубани. Дальше на пути от Кубани до Егорлыка канал должен был встретить и преодолеть немало препятствий.

Было задумано, что, встретившись с речкой Барсучкой, канал нырнет под нее и пройдет под ее ложем. Летом Барсучка почти умирает, но весной это кипящий поток.

Было задумано, что канал пройдет мимо Ставропольского плоскогорья, прижавшись к нему как к своему правому берегу. Здесь предстояло с вершин плоскогорья под дно канала проложить ливнеотводящие трубы — целых шестьдесят, — чтобы спасти канал от потоков, сбегаящих с возвышенности во время весеннего таяния снегов.

Затем канал должен был упереться в Недреманные горы (из-за этих-то гор и повернула Кубань налево, к Черному морю, вместо того чтобы идти туда, где она нужна) и горы эти пройти — для этого решено было рыть тоннель.

Дальше учитывался естественный склон рельефа: разница уровней Кубани и Егорлыка шестьдесят метров.

В воде предстояло здесь мчаться с бешеной скоростью, прыгать с двадцатидвухметровой высоты наклонного лотка концевого сброса и вбегать в естественное русло засохшего Егорлыка, идущее к Каспию.

Плотины, дамбы, шлюзы, дюкеры, гидростанции, тоннели, сбросы, водобойные колодцы — проект представлял собой универсальный сборник гидротехнических сооружений, своеобразную гидротехническую энциклопедию.

До войны первая очередь сооружения вчерне была готова. В годы войны немцы вошли в Ставрополье. Многие оказались сожженным, разрушенным, и в довершение бесследно исчез проект.

В сорок четвертом году работы на строительстве возобновились, но работать здесь еще очень мало людей — исключительно женщины. Стройка располагала только тремя грузовиками, не было ни одного мужчины-водителя.

Я приехал и понял еще острее, чем понимал это в Москве: до чего же изголодался я по работе. По настоящей. Когда нужно не разрушать, а строить.

В первый же день проехал по трассе. Откосы канала осыпались, поросли бурьяном, плотину подорвали, мастерские вывезли, на месте рабочего поселка осталось пожарище.

Начали мчаться с того, что стали собирать коллектив. Ставропольская парторганизация направляла на канал коммунистов, возвращающихся из армии. Я разыскал начальника головного сооружения Симонова, у него было множество ребятешек — всё рождались двойнята, — вот он и не сумел с ними подняться, уехать в эвакуацию. Забрался в дальний угол района, не показывался никому на глаза, ничего не делал для немцев. Люди плохого о нем не говорили, и я поверил ему — поставил его восстанавливать плотину, которую он сам же когда-то строил. Когда об этом стало известно, кое-кто предлагал Симонова от работы освободить. Я поручился за него и оказался прав: и хорошего работника сохранили для дела и дети его выросли — все до одного пошли в гидротехнику. Порой приходится отбрасывать формальные обстоятельства, если видишь перед собой человека.

Приехал на канал главным инженером эрудированный гидротехник Островский, прежде принимавший участие в разработке проекта канала. Это был хороший товарищ, энергичный, технически грамотный инженер, знакомый со здешним рельефом, — словом, было мне у кого поучиться. Островский нашел людей, работавших над проектом. Работники проектной организации, разместившейся в Пятигорске, регулярно приезжали к нам на канал, привозили чертежи и расчеты, обсуждали с нами все детали проекта.

Конечно, не сразу нам это удалось. Сначала проектировщикам казалось, что они обойдутся без нас. Проектируя фундамент электростанции, они не учли, что здешние грунтовые воды содержат хлористые соли, разъедающие бетон, а мы вовремя обратили на это внимание. Сидел у нас старшим инженером в техническом отделе Сергей Аристархович Коньков, вернувшийся с фронта. Он не требовал больших должностей, не говорил громких слов, а просто с утра до ночи работал. Он-то и забил первым тревогу. Я его поддержал, потому что уже под

Орском видел такую гибель бетона. Чтобы уберечь бетон от беды, одели его в битумные галоши.

Проект не включал в себя строительство холостого сброса на случай аварийного прибывания в канале воды. Включение в проект холостого сброса предложил главный инженер Островский. Я, переживший катастрофический паводок на Кутулукской ГЭС, не мог с ним не согласиться. Нас называли перестраховщиками. Бывают люди, которым лишь бы уложиться сегодня в сроки, а что будет завтра, им все равно. Вот уж буквально после меня хоть потоп. В Москве мы нашли понимание.

Я уже знал, что такое разумный проект и как это важно, если он согласован с теми, кто будет строить. Непосредственный контакт с проектирующей организацией — счастье.

Строительством тоннеля руководил Кангун, тоже приехавший с фронта.

Всех не перечислишь, пусть простят мне товарищи, которых я здесь не назвал.

Тогда, после войны, все дышали одним. Было чувство, что продолжается бой и его можно выиграть, если сумеешь спаять коллектив. Никто никого не заставлял, но инженеры выходили на трассу с лопатами.

Когда я вычеркнул из списка ночных дежурств фамилию главного инженера (знал, что жена ругает его: детей, мол, хоть пожалей), он пришел возмущенный:

— Чем я хуже других? А жена за себя пусть решает.

Возвращались и старые кадровые рабочие. Как-то вошел в мой кабинет коренастый, широкий в плечах человек, положил на стол сверток, сказал:

— Я тут думал встретить другого начальника. Ну, раз вы — значит, вы. Я все мечтал: как вернусь — и преподнесу это для пользы дела в дар начальнику нашей стройки.

Он развернул сверток, и в моих руках оказалась прекрасная, совершенно новая готовальня.

Это был арматурщик Ковшов, работавший здесь до войны. Он сказал, что пронес готовальню за пазухой от Венгрии до Дальневосточного фронта. Дар этот оказался действительно больше чем кстати. Ковшов собрал из мальчишек учебническую бригаду, и они установили всю арматуру на ГЭС и в тоннеле. Ковшов был большой умелец. Убедившись, что он читает сложные чертежи, я предложил ему:

— Знаешь, Алеша, пора тебе уже на инженерную работу переходить.

Ковшов не хотел «повышаться». Я с ним не посчитался, сделал его прорабом. Он подчинился приказу, но стал приходить на работу в девять и уходить в четыре. Пробовал я удивиться, он мне ответил:

— Переводите меня, товарищ начальник, на мое прежнее место.

Я пропустил это мимо ушей. Ковшов стал надевать на работу свой выходной костюм, повязывал галстук, требовал машину там, где пройти было всего два-три шага. Я не понимал — то ли и правда он так зазнался, то ли издевается надо мной, а он, будто не замечая моего удивления, упорно звонил диспетчеру:

— Прорабу Ковшову машину!

Он уже почти не работал, но обойтись без него мы не могли, он это знал. На технических совещаниях мы часто обращались к нему за советом: «Так ли? Посмотри-ка чертеж». А он старался и на эти совещания не ходил. Главный инженер терялся в догадках: что же с ним происходит? А я наконец-то понял и без лишних слов приказом снова сделал его бригадиром. В тот же день он позвонил мне по телефону:

— Я вам благодарен.

Он, оказывается, только этого и добивался. Снова став бригадиром, как и прежде, работал со всеми сменами, спал, прикорнув там, где застал его сон. совсем как на фронте, а жена трижды в день приносила ему суп или кашу да

хлеб в узелке — время тогда было еще несытое. У нас на стройке он получил орден Ленина.

Мне как начальнику это был хороший урок.

Трудно работалось, трудно жилось; может быть, потому жили мы нараспашку, все друг о друге знали, старались друг другу помочь — жизнь все еще шла по нормам военного времени.

Работал у нас старый горный техник Яцкевич, хороший маркшейдер, еще до войны изучивший геологию здешних мест. Он был нашим первым советчиком во всем, что касается подземных работ. Старик семьи не имел, жил одиноко, товарищи заботились о его быте, жена одного придет и постирает ему, другая комнату уберет.

Помню — это случилось в самом начале — сижу я в рабочей столовой обедаю. Это был час перерыва, меня впустили с черного хода, потому что я торопился ехать на трассу. Слышу, кто-то отчаянно стучит. Официантка открыла. В столовую вбежала молодая девчонка со свертком, положила сверток рядом со мной на стол, крикнула:

— Вот вам, начальник, подарок. Получила на вашем канале — вам отдаю, вы и решайте, что с ним теперь делать, мне деть его некуда!

Заплакала в голос и убежала.

Взял я сверток, осмелился его развернуть, а в нем — новорожденный, мальчик. Яслей и правда у нас еще не было — только проект утверждали. Куда его денешь? Ребенок расплакался. Официантка принесла тряпочку, смоченную молоком, сунула ему в рот. Он успокоился. Что же дальше? Я стал перебирать всевозможные варианты. Пока я думал, ребенок опять заплакал. Прибежала официантка, вытащила из-под него мокрые тряпки, завернула его в полотенце. Вот ведь беда! Тут я вспомнил: на стройке работала Фаина Николаевна Яновская, которую я знал еще по Кутулукской ГЭС. Муж ее недавно вернулся из армии и тоже работал у нас инженером. Они были бездетные, и я тут же послал за ними обоими. Дождался их — отложил поездку по трассе, — протянул им, еще не разобравшим, в чем дело, сверток:

— Вот вам судьба посылает. Растите.

Взяли, стали растить.

Мне не раз приходило в голову, что работа на гидротехническом строительстве — та же война. На войне зевать не приходится, иначе тебя опрокинут, и здесь нужно непрерывно работать — на тебя наступает вода. Котлован роешь — она норovit тебя затопить, особенно в паводок; возводишь плотину — готова снести все преграды; ведешь под нее подкоп — грозит все размывать. Когда вы строите дом, можно передохнуть; в схватке с рекой нужно все время быть на чеку. Наблюдение за водой должно идти круглые сутки, не ослабевая ни на секунду. На гидростроительстве не зажиреешь, не погрязнешь в быту. Создается особый тип человека, всегда подтянутого, привыкшего к постоянному напряжению.

На Невинномысском канале все это было помножено на навыки, добытые на войне, на счастье, что работаешь не на войну, а на мир.

Люди, конечно, всегда люди. Встречались и пьяницы. Мы вытаскивали их под огонь товарищеского суда. Женщины, если поставишь перед ними такого слугу бутылки, готовы глаза ему выесть. Нет контроля более жесткого, чем женский контроль.

Я любил рабочие собрания за чистоган — за откровенность. Бывало, и мне доставалось. Думаю, я мало кого кровно обидел, старался последнего пьяницу вытянуть, наставить на истинный путь, потому что в любом человеке нужно прежде всего увидеть хорошее и крепко ухватиться за это. Но и сам я человек, и со мной случалось — срывался. Тогда мне говорили об этом в глаза. Мы, мол, ходим на работу пешком за три километра, а начальник на машине поехал купаться. Подумаешь: а ведь верно, среди дел не заметишь, как барином станешь

за государственный счет. Или скажут: женщина устала, присела на минутку передохнуть, а начальник из машины выходит и на тебе: «Что расселась?» Вместо того чтобы сказать: «Как себя чувствуешь, товарищ Петрова?» Бывало и так, что слушаешь, слушаешь — не ел с утра, не спал уже сутки, вроде на барина и не похож — и вдруг не выдержишь: «Да чего ты демагогию тут разводишь?» А она тебе так ответит — за войну все говорить научились, — что, хочешь не хочешь, увидишь себя со стороны и даже спасибо этой бабе крикливой скажешь... Необязательно вслух, разумеется. Достаточно, если и про себя. Случалось, что собрания кончались с рассветом. Если за всю жизнь посчитать да сложить, я лет пять провел на рабочих собраниях, иной раз бывало и нудно, а в общем это время не потерянным было: и людей учил и сам у людей учился.

В армии мы привыкли, что нас всем обеспечат: и личным составом, и пшенной кашей, и боеприпасами. Здесь же, сразу после войны, никто ничего нам не давал готовым. Заводы не успели еще перестроиться — обеспечивать нас государство было не в силах, рабочих рук не хватало. Приходилось рассчитывать на собственную находчивость. Как бывало уже и на Бузулуке, ездили по колхозам, рассказывали, что такое Невинномысский канал. Нас понимали. Во время засухи сорок шестого года приезжали и колхозники из-под Курска, Орла, Воронежа, иногда целыми семьями. Чтоб разместить их, опять обращались к своим колхозникам, селили приезжих в окрестных станицах, пока не вырос у нас свой рабочий поселок.

Требовалась древесина — мы находили и сами разрабатывали делянки в горном лесу. Затем потребовался железобетон — свод тоннеля обкладывали железобетонными тюбингами. Железо приходилось раскапывать на складах разных организаций, собирали по полям и оврагам разбитые танки, подбитые самолеты и лишь кое-что получали по государственному наряду. Еще труднее было с цементом: за ним ездили в Москву и Грузию, шли на всякие операции, выпрашивали в чужих министерствах. Только в сорок седьмом году пришло два парохода с цементом из Югославии и эшелоны цемента из Воскресенска. Этот впервые вполне законный цемент, с самого начала предназначенный именно нам, мы встречали с флагами, с музыкой — стихийно возникла почти первомайская праздничная демонстрация.

Строительство началось с того, что временно отвели Кубань по старому руслу, на осушенном русле воздвигли плотину, построили шлюз, прокопали канал, просверлили через Недреманные горы шестикилометровый тоннель. Для этого пришлось с девяти вершин идти сверху вниз, а потом расходиться в стороны. Здесь у нас действовал щит — автоматический землекоп, прежде работавший в московском метро.

Мучались с электричеством, движки были слабые, энергия угасала.

Наконец землеройные, монтажные и строительные работы подошли к концу. Тут-то и начинается всегда самое трудное, тут-то вы и теряете сон. Сначала вы строите без воды, хотя она и угрожает вам бесперывно, потом водой проверяете то, что сделано. Вот теперь-то и всплывают все огрехи, просчеты. В одном месте протекает плохо завибрированный бетон, в дюкере, проложенном под речкой Барсучкой, труба не выдержала давления идущей воды — речка запузырилась, забеспокоилась и вдруг сквозь нее прорвался фонтан. Закрываете шлюз, спускаете воду, высушиваете сооружение, ищете причину беды, чтобы поставить заплату. С дюкером под Барсучкой так повторялось не раз. Затем на ГЭС замачивали деревянные щиты, схваченные металлическими обручами. Дерево сохло, расступались щели, его снова замачивали, чтобы больше оно уже не рассыхалось.

Но самое трудное — это установка турбин. Так, во всяком случае, было у нас. На нашем складе уже несколько лет лежали турбины, полученные из Швеции. Каждый раз, когда мы пускали воду, с турбинами случалась одна и та же беда. Вал, на котором насажен генератор, одним концом упирается в углубле-

ние турбины, называемое «тарелкой». Эта «тарелка» выложена баббитом и залита маслом. И вот как только вал начинал вращаться, масло разогрелось больше чем нужно и баббит расплавлялся. Мы просто измучились с этим — никак не могли понять, в чем секрет, пока не приехал техник-наладчик от шведской фирмы. Оказалось, что в «тарелке» были недостаточно отшлифованы верхние бортики и от этого масло не получало требуемого вращения. Я сильно переживал, что мы не справились с этим сами, но откуда же нам было знать, в какой степени должны были быть отшлифованы бортики?

Словом, было много волнений, прежде чем мы сумели дело довести до конца.

И вот наконец пришло время сдавать весь канал целиком. Приехала правительственная комиссия, состоявшая из докторов наук и академиков, а мы были еще не уверены в работе многих гидротехнических сооружений.

Все по отдельности неоднократно уже замачивали, но одно дело, если вода стоит, другое — если она несется при полном проектном напоре.

Больше всего мы беспокоились за тоннель...

При определенном расходе воды зазор между водой и сводом тоннеля должен быть равен двадцати сантиметрам. Если сечение тоннеля где-то сжмется меньше чем нужно, вода завихрится и разорвет тоннель.

А вдруг тоннель оказался где-то заужен?

Наши маркшейдеры без конца проверяли точность, во всех расчетах мы имели в виду запас, все это так, и все же...

Тоннель был выложен железобетонными тубингами, но за шкурой бетона таились агрессивные воды, которые могли давить на бетон и постепенно его разрушать: тут проходили майкопские глины, достаточно насыщенные водой. Кроме того, бетон испытывал давление горных пород.

Бетонная рубашка, которой мы облицевали тоннель, должна была быть обтекаемой, плоскости ее были рассчитаны на то, что вода пойдет эластично.

Все было предусмотрено, но чего не передумаешь перед пуском!

Академики чувствовали наше волнение:

— Вы не темните, ребята, показывайте все документы.

А при чем тут документы? Они не спасут.

До пуска канала мы вместе с комиссией проезжали тоннель на грузовой машине. Да, собственно, все шесть километров прошагали пешком — грузовик только шел рядом. Каждый метр тоннеля — буквально — был просмотрен, прощупан.

Заполнили тоннель водой и пустили в него двух гусей. Один гусь вышел, другой погиб. В чем же тут дело? Но гусь — это гусь, мало ли как он себя повел. Находились смельчаки, которые готовы были вслед за гусями проплыть тоннель.

Наконец время пришло.

Я командовал у головного сооружения — следил за тем, как вода поступает в канал. Кангун, руководивший строительством тоннеля, находился у входа. Перед входным порталом тоннеля — вертушка, замеряющая, сколько воды проходит через тоннель за секунду, кроме того, у портала — рейка, говорящая об уровне горизонта воды. По показаниям рейки тоже можно было судить о расходе.

Когда вода стала подходить к тоннелю, Кангун то и дело звонил мне:

— Сколько забираете воды в голове?

Я говорил ему, сколько пускаю воды, он сообщал мне свои показания и, быть может, готов был бы, как хороший председатель колхоза, себя подстраховать, преувеличить опасность, но мы с ним по дыханию понимали друг друга. Волновались мы одинаково. Если расход воды превысит допустимое, произойдет гидравлический удар. Я спросил его:

— Выстрелов нет?

Он признался, что нет.

Тогда я поставил расход воды семьдесят кубометров в секунду — дальше пока не решился — и поехал к тоннелю. Вода прошла, мы закрыли в канале щит; чтобы пройти от головного сооружения до тоннеля, воде нужно пять часов.

Когда тоннель пропустил воду и опустел, мы с Кангуном снова прошли пешком все его шесть километров, а потом вернулись к головному сооружению, посадили академиков на грузовик и опять повезли их к тоннелю. Если верх свода замочен, значит, тоннель в этом месте несколько сужен, но у нас таких мест не оказалось. Академики хлопали меня по плечу:

— Пока все хорошо.

Я уложил членов комиссии спать, уложил спать Кангуна, который вконец извелся, приказал ему, чтобы ложился по-настоящему — снимал ботинки, штаны (он как часовой маячил все эти дни у тоннеля), — а сам со своим водителем еще раз (который уже раз!) прошел через тоннель, высвечивал его своим фонарем.

Наутро решили пустить по каналу семьдесят пять кубометров в секунду — это было нашей проектной мощностью. Пустили воду, а тут, как назло, еще дождь: слетела дамба, где-то произошло оползание. Опять все остановили, отремонтировали. Академики меня успокаивали:

— Это не важно. То, что видно, то не опасно.

Еще раз прошли тоннель. Я говорю своим инженерам:

— Вот что, друзья, мы дадим сегодня из головы семьдесят восемь кубов. Все не пройдет, кое-что потеряется, пока дойдет до тоннеля.

Меня поддержали.

— А если что и случится — у нас же есть щит!

— Хлопнет — так остановим!

Только Кангун промолчал. Я понимал его. Молодым инженерам — им все нипочем. Он же достаточно повидал уже на своем веку, чтобы предвидеть все возможные неприятности.

На следующее утро дали из головного сооружения семьдесят восемь кубов, через пять часов тоннель начал работать, никаких ударов мы не услышали.

Комиссия потребовала снова воду закрыть. Они обнаружили, что потери на замачивание бортов канала не три кубометра, а целых шесть. Значит, чтобы через тоннель прошло семьдесят пять кубометров, из головного сооружения нужно пустить восемьдесят один кубометр. Грешным делом, мы сами знали, что это именно так...

К нам приехали опытейшие гидротехники, все испытывшие. Кто из них не боялся воды? А смельчаками сейчас были они потому, что видели: мы, строители, семь раз отмеряем...

Ладно, остановили воду, проверили все еще раз, а утром пустили в канал восемьдесят один кубометр, как требовала комиссия.

Так проработал канал трое суток, и все было в порядке — получили отличную оценку комиссии.

Среди ученых, входивших в комиссию, был Костюков, старый профессор нашего института, которому я когда-то сдавал мелиорацию. С ним потихоньку все эти дни я делился своими тревогами. Он с особенным удовольствием подписывал заключение по приему.

Так мы сдавали сооружение за сооружением.

Наконец-то вода прошла весь приготовленный нами путь, побежала руслом Егорлыка и оказалась в районах, где люди привыкли видеть воду лишь в кожухе, привезенном издалека.

Потом, когда канал начал регулярно работать, я еще раз проехал его на лодке с оператором, который снимал документальный фильм о канале, фильм этот назывался «Река счастья». О времени, потраченном на создание этой реки, я вспоминаю как о счастливой поре.

Годы уносят волнение, горечь, досаду, а радость свершений и теплота товарищества — это остается в тебе навсегда.

НА ДНЭПРЕ

В начале пятидесятых годов, когда Невинномысский канал был сдан в эксплуатацию, меня снова перевели в Москву на должность начальника главка, но в министерстве я опять затомился — должно быть, не создан я для таких масштабов.

К моему счастью, как раз в это время приступили к созданию крупных гидросооружений. Были постановления ЦК о строительстве Куйбышевской и Сталинградской ГЭС, о строительстве крупных каналов. Я получил назначение на должность начальника Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов.

Была создана крупнейшая организация с центром в Запорожье, с семью строительно-монтажными управлениями, куда на правах замполитов входили секретари обкомов.

Украина давала нам все что могла: к нашим проблемам привлекли Академию наук Украины, за нами закрепили до десятка проектных учреждений, выделили партийных работников, прислали лучших экскаваторщиков, бульдозеристов. Наши финансовые и организационные возможности были огромными — времена изменились с тех пор, когда мы заново начинали Невинномысский канал. Трудности нас поджидали в другом.

Южно-Украинский канал должен был передать днепровскую воду в сухие степи Южной Украины и снабдить ею через Северо-Крымский канал задыхающийся от жажды Крым. Предполагалось днепровскую воду взять у Запорожья из озера Ленина, как называется водохранилище Днепрогэса, каналом провести ее через юг Левобережной Украины и перебросить в Крым джукером, который будет прорыт под болотами Сиваша. Но к моменту решения предполагаемая трасса канала геологически была еще не изучена.

Изыскания привели к неожиданным выводам: чтобы прорыть канал, как было задумано, оказалось, что нужно идти сквозь твердые породы приднепровских кряжей и делать выемку глубиной в сто метров — техника того времени не давала возможности произвести этот объем работ, а уж тем более в сроки, которые предполагались. А если бы это все-таки было сделано, вода, приведенная таким образом на поля, обошлась бы слишком уж дорого. Затем выяснилось, что провести канал, как предполагалось, невозможно при всех условиях: в породах были обнаружены карсты, пустоты. Сколько бы мы ни тратили денег и сил, прорывая канал, вода все равно уходила бы в эти провалы.

Через два года изыскательских работ стало понятно, что целесообразнее другой вариант проекта, принадлежавший известному гидростроителю Жуку. Жук предлагал начать канал много южнее, вести его не от Запорожья, а от Каховки, Правобережьем, и днепровскую воду провести в Крым не под болотами Сиваша, а самотеком по Перекопу, но для этого нужно было создать Каховское водохранилище.

А пока шли изыскания и споры в верхах, мы стали делать то, что бесспорно: в порядке подготовки к строительству начали строить жилые дома, бетонные заводы и склады в Запорожье, Мелитополе, Джанкое, Симферополе, то есть, по существу, взялись восстанавливать разрушенные войной города.

В любом случае это было необходимо.

Что же касается проблем орошения, то, пока суд да дело, и здесь мы занялись тем, что было в то время реально.

Среди засушливых степей Украины зеленым оазисом, не знающим бед от засухи, стояла Каменка, село на Днэпре, куда царские власти когда-то сослали революционно настроенного семинариста. Юноше ничего не оставалось, как стать здесь священником. Но это был необычный поп. Он читал необычные проповеди и заставил крестьян мечтать не о райских садах, а о садах вокруг каждой хаты, больше — о том, чтобы весь мир стал садом.

Молодой проповедник не ограничивался словами, вместе с попадьею он работал — сажал деревья. Глядя на него, из хат выходили люди, брали лопаты.

Село оказалось укрытым со всех сторон огромным садом, защищающим от суховеев огороды внутри села. Для подливки поп своими руками ставил у Днепра чигири, водозаборные устройства с черпаками, навешанными на вращающиеся колеса. Так вот как можно достать, оказывается, днепровскую воду!

Эти чигири и навели нас на мысль, что воду для орошения можно брать из Днепра и его притоков насосами во многих местах, всюду, где без нее не обойтись.

Насос — это механизм, обратный турбине: он поглощает энергию и подает воду на высоту, откуда вода уже идет самотеком по оросительной сети. Такие насосные станции и оросительные системы местного значения мы создавали не на одном Днепре. У Кривого Рога построили станцию на реке Ингулец, у Симферополя — Салгирскую систему, у Николаева — Снегиревскую. Другим путем, но задача решалась та же — задача орошения засушливых степей нашего Юга.

Так мы и не приступили к строительству, которое все равно не смогли бы довести до конца, и ни одной копейки не израсходовали напрасно.

Пришло время, и окончательно победил проект инженера Жука, согласно которому канал должен начинаться в Каховке. По этому проекту и построен теперь Северо-Крымский канал, который недавно начал действовать. Уже есть решение строить вторую его очередь, чтобы вдвое увеличить забор воды из Днепра для орошения и водоснабжения Крыма.

Но это я забегая вперед. Тогда, в пятьдесят третьем году, строительство Южно-Украинского канала, как известно, было закрыто, а работы на Крымском канале временно приторможены и переданы местным властям.

Мне опять предложили было пост в министерстве, но я уже знал себя. Зато я очень обрадовался, когда было решено поручить мне строительство гидроэлектростанции на Ангаре.

НА АНГАРЕ

Самолету не давали идти то туманы, то грозы. Мы без конца садились. В каком-то аэропорту спали на полу под столом, и даже, признаюсь, меня охватило уныние: вечно куда-то спешить, вечно в пути, а семья заброшена, дочь выросла без меня. Сына я потерял еще в Орске, девятилетним мальчиком он утонул в реке.

В Иркутске меня встретил водитель со стройки. На стареньком грузовике мы подъехали к берегу. Никогда я не видел такой яркой синей реки, такой прозрачной чистой воды, и такого течения бурного я тоже не видел. Вот она, Ангара, пробившая себе дорогу сквозь скалы, по преданию — дочь Байкала, бежавшая от него к Енисею. Это не Бузулук и не Салгир, что у Симферополя, и даже не Днепр с его гоголевским плавным течением. Недаром пишут, что в Байкал впадает триста тридцать три речки, а вытекает только одна — Ангара.

Такую реку одолеть!

Минута уныния, которую я испытал в дороге, была позади, я уже не помнил о ней. Меня охватило волнение, как перед боем. С чего я здесь начну?

А по мосту навстречу нам двигался ассенизационный обоз. Утренний горный воздух, светлое голубое небо, чистая могучая река — и вдруг эти клячи и эти бочки.

Предстояли масштабы, которых вообще не знала еще гидротехника всех времен и народов, но в смысле культуры Сибирь отставала от городов Украины, откуда я ехал. Я подумал, что здесь мы должны будем дать не только энергию.

Стройка располагалась за городом, выше по течению, чем Иркутск. Вокруг конторы стояли жалкие глинобитные лачужки и деревянные бараки — общежития для рабочих, набитые до отказа, по два метра на человека. Да и в самом Иркутске чуть ли не в центре, как я успел заметить, понастроены были лачужки — едва не курятники. Это, должно быть, осталось от военной поры. Но война была позади. И многое было уже позади. Я сразу подумал: будем строить для

рабочих дома с удобствами, с этого и придется начинать. В первый же день позвонил в обком, спросил, когда я могу приехать на прием к первому секретарю обкома.

Первым секретарем Иркутского обкома в ту пору был Алексей Иванович Хворостухин, по образованию инженер. Он взял трубку, сказал:

— Не тратьте время. Я сам к вам приеду.

Впервые я все осмотрел вместе с ним — он ввел меня в курс дела, рассказал о моих предшественниках. Первым начальником стройки был Калижнюк, герой романа Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Он знал гидростроительство, но скоро его вернули в Среднюю Азию — он считался лучшим специалистом по ирригации. Затем на стройку прислали генерала, который был убежден, что все решает приказ. В проблемы гидротехники он не вникал, творческую атмосферу вокруг себя создать не умел, просто не подозревал, что без этого дело не сдвинется, а о том, как живут люди, и вовсе не думал. Вспоминая о генерале, Хворостухин сказал:

— Многие здесь уже потеряли веру в то, что ГЭС мы построим. Нужно вернуть людям доверие к руководителям стройки.

Он ничего мне не диктовал, просто делился со мной. Я тоже поделился с ним первыми впечатлениями и нашел у него поддержку.

С этого мы и начали: стали строить рабочим вместо бараков двухэтажные рубленые дома, в которые можно будет провести водопровод и канализацию. Теперь это настолько азбучно, что и говорить тут, кажется, не о чем. Тогда на этот вопрос были разные точки зрения. В Америке, например, для строителей сооружали временное жилье — на полгода приезжали одни сезонные рабочие, на полгода другие.

Мы считали, что нужно так решать жилищный вопрос, чтобы не разрушались семьи. Больше того, мы имели в виду, что у нас будут создаваться новые семьи.

Вспоминая ту первую пору иркутской стройки, вижу перед собой инженера по гражданскому строительству Крутера. Работал он так, что жена не успевала ему рубахи менять. Вечно потный мотался по стройке то на велосипеде, а то и пешком, прыгал в ямы, отрытые для фундамента, поднимался по стропилам наверх: все брал на ощупь. А избивали его больше всех: уж очень нужно было жилье.

Молодые проектировщики часто не обращают внимания на бытовые удобства, а стройка начинается с этого и определяется этим: как люди живут.

Но стройка начинается и с другого — с раздумий строителя над проектом. Эта истина далась мне всем, что я уже пережил.

Когда я приехал, котлован еще не был готов, плотины не было — были лишь отдельные ее островки, — к строительству станции не приступали. Осмотрев все, что было в натуре, я погрузился в проект.

В гидротехнике нет стандарта. Все зависит от того, где ставишь плотину, с какими грунтами имеешь дело, с каким течением и с какой водой. Например, чем чище вода, тем выше требования к бетону: вода замутненная забивает своей грязью поры бетона и, как ни странно, этим укрепляет его. А прозрачней ангарской воды природа не знает — значит, бетон наш должен быть лучшим в мире!

Не первая уже в моей жизни это была плотина, а все начиналось заново — с одних неизвестных.

Плотина здесь должна быть в два с половиной километра длиной. Таких плотин еще не было, к тому же на такой быстрой реке. Плотина должна была создать столб воды высотой в сорок два метра, поднять подпор реки до Байкала, более того, на полтора метра поднять уровень и самого Байкала. Водохранилище, образованное плотиной, становилось заливом великого озера, сам Байкал превращался в водохранилище ГЭС.

Когда я прочел эти пункты проекта, у меня захватило дух — говорю это не в переносном смысле, буквально.

Ангара всегда отличалась удивительной равномерностью расхода воды в течение года. Еще более равномерным должно было стать ее течение, получив такой мощный резерв.

Плотина впервые в Советском Союзе была запроектирована гравийно-песчаной. Это должно удивить — песок и гравий пропускают воду больше, чем любой другой материал. Плотина на Ангаре из песка! Разве не странно?

Что же толкнуло проектировщиков к такому решению?

Дело в том, что Иркутск находится в сейсмической зоне. На случай землетрясения для плотины нужен материал, который обладает упругостью: получит удар, придет в движение, подпрыгнет и сядет, опять уплотнится. Значит, материал этот сплошным быть не может! Песок и гравий действительно здесь подходят.

Замечательно, что сама Ангара поставляла материал для плотины, которая ее остановит и победит, — выходя из Байкала по большому уклону, река веками размывала каменистое ложе, превращала его в песок и гальку и несла за собой. Здесь в семидесяти километрах от истока начальные скорости гасли, вода мучилась, ворочая тяжелые камни, выбивалась из сил, и грунты осаждались. Так возник Кузьмихинский остров посреди Ангары, который проектом был тоже включен в основание плотины — это было экономией сил и средств. Очень разумно поступили Винтер, Веденеев и Александров, дав такое решение, а вслед за ними и те, кто занимался детальной разработкой проекта.

Чтобы оградить гравийно-песчаную плотину от волнобоя, ее мокрый откос, обращенный навстречу течению, задумано было одеть бетоном, а чтобы предупредить размыв по длине плотины, на всем ее протяжении были запроектированы две шпунтовые стенки, проходящие через тело плотины и представляющие собой два ряда плотно приставленных один к другому металлических шпунтов. Четырехметровое расстояние между стенками должно было быть забито водонепроницаемым материалом — суглинком. Этот суглинок — ядро, или зуб, плотины.

Абсолютной водонепроницаемости вообще-то не существует: нет преграды, которую не взяла бы вода. Но ток воды сквозь металлический шпунт и сквозь суглинистое ядро будет таким ослабленным, что у нее хватит энергии вынести за собой песок и гравий.

Равномерность расхода воды в Ангаре позволила отказаться от специального водосброса: водосливные отверстия должны были располагаться в теле плотины, точнее в бетонном здании ГЭС, подпорная стенка этого здания входила в состав плотины как его центральная часть. Равномерность расхода воды определила собой и другую уникальную особенность Иркутской гидроэлектростанции: турбины могли здесь работать на пределе своей мощности круглый год.

Так в целом выглядел проект строительства ГЭС.

Сначала меня поразила его разумность: как все это вписывается в природу и как природа сама идет навстречу человеческим замыслам. Но опыта строительства гравийно-песчаных плотин у нас не было. Такие плотины строились только в Японии, однако ангарских масштабов Япония, конечно, не знала.

Чем больше я размышлял над проектом, тем опаснее мне казалось перекрытие Ангары плотиной с таким узким зубом. Я сомневался, что четырехметрового зуба будет достаточно, чтобы сдержать могучий напор реки. Спрашивал проектировщиков:

- Почему зуб такой узкий?
- Так по расчетам.
- Покажите ваши расчеты.

Для меня этот вопрос был очень важным.

Я понял, что проектировщикам не удалось изыскания. Суглинок нашли они близко, но залегания были бедные; получилось, что суглинок обходится дороже песка, вот они и сужали расстояние между стенками шпунта.

Мы нашли крупные суглинистые залегания и предложили уширить зуб плотины.

тины до семи, а кое-где и до четырнадцати метров. Проектировщики согласились при условии, что уложенный нами суглинок будет не дороже того, что запроектирован.

Оказалось, что наш суглинок много дешевле.

Основание плотины закладывалось ниже дна, оно должно было принять на себя всю тяжесть реки. Поэтому главное внимание нужно было обратить на сопряжение тела плотины с донной породой, вогнать шпунт в донную породу как можно глубже. Рассчитывается это по установленным формулам, но на протяжении двух с половиной километров грунты могут меняться. Требовались разные приемы и формулы, пригодные для самых отрицательных вариантов. Строить нужно было навечно. Соответствует ли проект этой задаче? Трудно решать, когда вы строите такую электростанцию, что ни одна книга вам не подскажет, как поступить.

И тут опыта не было. Нужно было его создавать.

Я уже говорил: чтобы начать строительство плотины, прежде всего избавляются от воды, создают сухое пространство для котлована. Кубань мы отводили по старому руслу. В иных случаях, чтобы отвести временно воду, строят новый канал, но пробиться временным каналом сквозь сибирские аливалиты не шутка.

По проекту решено было разделить Ангару надвое, как позже надвое разделили и Енисей, всю ангарскую воду на первых порах пустить по правому рукаву, по основному руслу, а левую часть пока огородить перемычкой — временной плотиной из того же гравия и песка. Верхняя, нижняя и продольная перемычки, примкнув к левому берегу, образуют четырехугольник — будущий котлован для постройки левобережной части плотины и здания ГЭС.

Как только четырехугольник был замкнут, его начали осушать.

Но что такое осушить котлован?

Это значит откачивать воду из замкнутого пространства быстрее, чем она просачивается через перемычку и через дно, это значит качать воду круглые сутки. Останови эту службу хотя бы на час — и вода все затопит, снесет все преграды.

В осушенный котлован спускались ковшовые экскаваторы, чистили дно, снимали рыхлую породу — аллювий, добирались до аливалитов — окаменевших суглинков, на которые можно ставить плотину. Основание должно выдерживать тяжесть такой глыбы, как плотина Иркутской ГЭС весом около тридцати миллионов тонн. Особенно глубоко в толщу речного дна мы уходили там, где предстояло ставить фундамент здания будущей ГЭС — бетонной части иркутской плотины.

Как же достать со дна Ангары гравийно-песчаную смесь для перемычки, а позже и для плотины, если глубина реки здесь примерно пять метров? В проекте об этом сказано не было.

По нашему заказу Краматорский и Уральский заводы сделали большие шагающие экскаваторы впервые с семидесятипятиметровой стрелой.

Но как загнать эти экскаваторы в воду?

Главным механиком у нас тогда был Евгений Никанорович Батенчук, теперешний руководитель строительства КамАЗа. На войну он попал, только что окончив вуз, очутился в плену, потом проходил проверку на строительстве электростанции возле Сочи. Начальник строительства Калижняк, который позже стал первым начальником строительства Иркутской ГЭС, заметил его, оценил его серьезность, сосредоточенность, сделал механиком, потом главным механиком, взял с собою в Иркутск. Нужно было только разглядеть этого человека, вовремя подать ему руку, в этом заслуга Калижняка, а уж рекомендовать Батенчука в партию — это выпало мне.

Начальником экскаваторного парка работал Илюша Гуревич — молодой инженер послевоенного выпуска. Внешне он казался мальчишкой — узкоплечий,

невысокого роста, но ум у него был быстрый, живой, душа простая, открытая; все время он проводил с рабочими, и рабочие любили его, нередко подсказывали ему дельные вещи.

Бывало, посидев в техотделе, поломав себе голову, прикинув и так и этак, Батенчук и Илюша Гуревич шли за советом к экскаваторщикам:

— Что делать, ребята? Давайте подсказывайте. Как же все-таки загнать экскаваторы в воду?

Идей было много. Разговор такой у нас был не раз. Откидывая неподходящее, подбирались к истине. И однажды случилось, что ребята подсказали именно то, что нужно. Было это как раз при мне. Помню, встал один из парней — я и сейчас его вижу перед собой, — встал и сказал:

— А что, если мы повернем стрелу экскаватора в сторону и начнем с берега брать ковшом грунт из реки да станем его отсыпать в реку прямо перед собою, мостить перед собою дорогу и шагаться по ней экскаватором все дальше и дальше к середине реки? И так сразу с двух берегов! А как до середины дойдем, начнем двигаться назад и дорогу за собой постепенно всю подберем... Вот вам и грунт!..

Это вот мысль! Только рабочему человеку, который сидит на экскаваторе каждый день, придет в голову такое ясное, простое решение. Недаром говорят, что научно-техническая революция рождается прежде всего на рабочем месте.

Кто-то из ребят отозвался:

— Так рыбу берут из Ангары — с двух берегов сразу.

А другой парень добавил:

— А как обратно пойдем — чтоб самосвал был перед нами и все отвозил, отвозил к берегу грунт.

Я ухватился за эту **мысль**.

Так точно и поступили.

К экскаваторам по отсыпанной ими дороге подходили тяжелые «МАЗы», принимали гравийно-песчаную смесь.

Но это просто сказать — принимали гравийно-песчаную смесь. А как принять ее, если дрегляйн, ковш шагающего экскаватора, висит на длинной цепи? Рассчитано, что дрегляйн, описав дугу, выбросит в сторону добытый им грунт и снова опустится за грунтом в карьер. Но тут не выбросить нужно, а опустить в определенную точку, в кузов машины.

Механики должны были научиться точности такого броска.

Сначала мазисты неохотно шли на эту работу: водители не любят простоев. Высунувшись из кабины, они нетерпеливо кричали:

— Эй вы, на экскаваторе, что вы там, загораете, что ли?

Скоро экскаваторщики приловчились за несколько секунд поднимать ковш со смесью и опускать его в кузов машины.

А чему научились экскаваторщики, тому должны были учиться и инженеры. Был подписан приказ, согласно которому после работы инженеры приобретали необходимые рабочие навыки, работали на экскаваторах учениками.

Тут уж, к слову сказать, инженеры у нас были, как правило, со школьной скамьи; пожилые люди да и люди среднего возраста, прошедшие через войну, в Сибирь ехали туго. Мы ориентировали молодежь: учитесь у рабочего класса. Мало вычертить на бумаге. Ты подожди, не инженер ты еще, пока элементарному труду не научишься. Нужно суметь и опалубку своими руками сработать и арматуру собрать.

Я не любил, когда инженер приходил на работу в галстук, в хорошем костюме. Галстук есть свое время, но при галстук да в костюме в бетон не полезешь. Какой-то чин, посетивший стройку, сделал мне замечание:

— Почему вы всегда в спецовке? Вас и не отличишь...

— От кого не отличишь?

Я еле сдержался, чтобы не выпроводить со стройки этого чинодрала, и

после таких речей еще настоятельней советовал молодым инженерам: «Ходите на работу в спецовке, чтоб быть не рядом с делом, а в деле».

Те из молодых инженеров, кто это понял, кто повисел с плотниками над стремниной реки, те впоследствии выросли в крупных руководителях гидротехнического строительства.

После того как готов котлован, все идет сразу: и бетон для здания ГЭС и отсыпка гравийно-песчаной плотины.

Но прежде чем отсыпать земляную плотину, нужно создать зуб, или ядро. У каждого металлического шпунта с одной стороны выступ, с другой выемка, чтобы шпунт плотно входил в шпунт и стенка получалась сплошной. Шпунты забивали в дно — где-то они входили в породу легко, где-то приходилось пускать в котлован экскаваторы и снимать неподдающийся грунт. Но как мы ни старались, чтобы все было точно, никак нельзя было поручиться, что шпунтовая стенка выйдет везде абсолютно сплошной. Да и порода, на которую ложилась плотина, была разной, потому, установив две шпунтовые стенки и заполнив промежуток между ними суглинком, мы через каждые десять метров ставили бурильный станок, просверливали сквозь суглинок скважину, уходящую глубоко под речное дно, и под давлением нагнетали цемент, который скреплял ядро с основанием и расходился по трещинам горной породы.

Плотина как бы прорастала корнями, уходившими в глубь донной породы на двадцать пять метров. Технически это называется цементационной завесой, а так действительно больше похоже на разветвленную корневую систему; которая навеки сращивает плотину с рекой.

Когда я вспоминаю этот начальный этап работы, я вижу перед собой молодого инженера с грубоватым, простым лицом — он стоит в моей памяти по колено, а то и по пояс в воде. Это старый Липендин, который учил рабочих не столько словом, сколько примером, просто показывал, как и что нужно делать.

Старых инженеров на этой сибирской стройке было всего несколько человек, но это были отборные люди.

Тимофей Яковлевич Липендин все лето ходил по стройке в латаных-перелатаных валенках, да еще и в галошах — должно быть, страдал ревматизмом, хотя я ни разу от него не слышал об этом. Но если оказывалось, что где-то протекла вода, что она попадает в камеру, что монтажники пропустили болт, если оказывалось, что нужно спуститься в воду, порой ледяную, чтобы что-то исправить или проверить, он ничего никому не приказывал, только спрашивал: «Кто, ребята, пойдет со мной?» — и первым заворачивался в брезент. Я всегда внутренне улыбался, просто испытывал наслаждение, когда видел этого человека, так славно встречавшего свою старость. Он был очень добр, но когда доходило до дела, в своих мнениях был непреклонен. Скажем, что завтра начинаем отсыпку перемычки на таком-то участке, он ничего не ответит, только носом потянет — значит, считает, что с этим спешить не нужно. Привезут в котлован бетон, он подойдет, пощупает замес и опять засопит — значит, бетон этот нужно возвращать на завод. От пространных рассуждений Липендин воздерживался, теоретиком себя не считал, но это был безошибочный практик — не помню случая, чтобы его подвело чутье.

На гидротехнических строительствах он появился в двадцатых годах деревенским пареньком, поднаторевшим уже в плотницком деле. Работал на строительстве Волховской — первой советской ГЭС, на Днепрострое, прошел все ступеньки гидротехнического строительства и давно уже занимал инженерные должности, а вот дипломом обзавестись так и не удосужился — в ту пору такое бывало.

Многому он всех нас научил — и как вести документацию, и как подавать бетон в мертвое пространство, куда не дотягиваются стрелы кранов, но это позже; а вот на этих первых порах он всех нас учил трудной науке цементации.

Это был не только серьезный специалист, но и пунктуальнейший человек с

повадками старого мастера. С работы уходил последним, в столовой появлялся часто, когда котлы все уже вымыты, а если в гостях оказывался, первым вставал из-за стола: «Ну пойду, мне еще надо заглянуть на плотину...»

Били мы шпунт целых три года — ночью и днем, в четыре смены, без суббот и воскресений. Это работа адская, и пока вбивали его, недостижимым будущим казалось завершение стройки, а теперь, когда давно уже все позади, поражаешься, как мы одолели это.

Как только на каком-то участке ядро было готово, начинали с обеих его сторон отсыпать откосы. Брели гравийно-песчаную смесь и послойно отсыпали ее в плотину. После этого в соответствии с проектом следовало пускать катки для уплотнения тела плотины. Но оказалось, что эта операция совершенно излишня. Грузные «МАЗы» сами своей тяжестью уплотняли плотину. Обратили на это внимание снизу, в ходе работы. Трудно даже теперь сказать, кому пришло это в голову раньше. Прорабы и мастера заставляли водителей «МАЗов»:

— А ну давай проезжай еще...

После этого образцы грунтов посылали в лабораторию, там у нас тогда начинал Александр Павлович Степанов, теперь он руководитель большого гидростроительства на Евфрате. В ту пору это был совсем молодой человек, только что окончивший Ленинградский политехнический. Голова у него была ясная, руки умелые, он и от людей мог потребовать дело и сам — это главное! — не чурался черной работы, потому я тогда его и приметил.

Как видно, в студенческие годы была у него склонность к научной работе. Я ему как-то сказал:

— Это хорошо, что тебя наука влечет, но рядом с тобой один профессор работает с трехклассным образованием. Он на плотинах зубы проел — смотри не пропусти его.

Это я имел в виду старика Петухова, большого практика, рабочего нашей грунтовой лаборатории.

Данные лабораторной проверки, которые мы получали от Степанова и Петухова, говорили о том, что, когда по насыпи проходит нагруженный «МАЗ», плотность становится выше проектной.

Исключение операции укатывания катком дало экономию в семь миллионов рублей, по пятьдесят копеек с кубометра.

По-разному можно добиваться экономии, но истинные решения не решаются авральным «давай-давай!». Только та экономия истинна и перспективна, которая является не результатом физических сверхусилий, истощающих рабочего человека, а итогом усилий живой технической мысли.

Предложенный нами метод уплотнения грунта оказался серьезной поправкой к проекту.

Проект предполагал отсыпку плотины в течение шести месяцев в год. Значит, рабочие должны быть сезонными: приедут, уедут, а на будущий год, возможно, приедут совсем другие. Какой уж тут коллектив! Я был убежден, что без крепкого коллектива ничего толкового не сотворишь. Кроме того, нельзя было не думать над сокращением сроков. Мы стали отсыпать плотину зимой. Для этого летом заготавливали резервы: ссыпали только что взятую из реки мокрую гравийно-песчаную смесь в бурты высотой до пятнадцати метров. Вода стекала, гравий и песок просыхали и промерзали — пользоваться ими оказалось возможно весь год.

Отсыпка плотины зимой вела за собой решение многих других вопросов.

А как создавать зимой ядро из суглинка? Суглинок при минусовой температуре смерзается, становится крепче гранита, его ничем не взорвешь и никак не получишь той однородной массы, которая должна равномерно заполнить расстояние между рядами металлических столбов, забитых в речное дно.

Этим занимался научный работник Сыромятников, приехавший из Ленинграда. Вместе с ним мы делали различные опыты и наконец остановились на таком варианте: в каньон между двумя стенками валят глыбы суглинка, а сбоку под большим давлением подается вода. Напор воды на лету разбивает падающие глыбы, суглинок превращается в массу, похожую на сметану, ровно заполняет пространство, отведенное ему, и консолидируется навечно. Кое-кто из ученых мужей сопротивлялся этому методу, но Сыромятников сумел найти теоретическое обоснование и за эту работу получил ученую степень.

И еще была забота — как поведут себя механизмы в условиях сибирской зимы? В чешских экскаваторах, например, при больших морозах сталь трещала, чугун лопался. Приходилось вводить заводы в круг этих вопросов.

Словом, работа стала идти и зимой. Включение суровой сибирской зимы в рабочий сезон — это было нашим серьезным вкладом в гидротехническую науку.

Иркутское строительство, по существу, превращалось в гигантскую опытную лабораторию. До нас ни в одной книге не было сказано, что гравийно-песчаную плотину можно возводить зимой. Эту книгу — не на бумаге — теперь писали мы сами. Недаром к нам приезжали гидротехники из-за рубежа убедиться своими глазами в том, что мы действительно поднимаем плотину зимой.

Так, с другой стороны, мы вернулись к той же проблеме: к необходимости строить жилые помещения, рассчитанные на постоянных рабочих.

(Окончание следует)



ЧАРЛЬЗ П. СНОУ

★

ХРАНИТЕЛИ МУДРОСТИ*

Роман

26

Лиз не замечала, как часто она повторяется. Это проявлялось не только в ее любви, граничащей с манией, но и в мелких привычках, которых она просто не замечала. И вот когда Джулиановский финт на совещании у Марча вновь верг ее в тревогу и растерянность, ее мысли вновь обратились к отцовским деньгам, и она вновь позвонила Джеймсу Райлу.

Это был тот звонок, которого он ждал так давно, убеждая себя, что звонка не будет, что его не может быть. И когда оказалось, что звонит она, он почувствовал себя счастливым. До чего глуп может быть разумный человек, подумал он. Ему оставалось утешаться мыслью (утешение довольно слабое), что он, по крайней мере, вел себя как разумный человек. Сам он ничего не предпринимал и не собирался предпринимать. Тем не менее, говоря с ней по телефону, он был счастлив. И поспешил — он готов был выбрать себя за эту поспешность — пригласить ее пообедать с ним. В «Коннауэте»? Неплохое место, во всяком случае было таким прежде. Да, ей надо поговорить с ним. Да, он понимает.

Говорила она много. В обеденный зал она вошла впереди него, и он залюбовался ее быстрой грациозной походкой: так ходят актрисы и для этого требуются крепкие мышцы. Он заказал столик в углу, и не успели они сесть, как Лиз уже принялась описывать сцену в конторе Марча.

Райл начал было светский пустой разговор, упомянув, что часто обедал тут в годы войны, тогда еще у американского посла был постоянный столик у дверей... Лиз даже не притворялась, будто слушает. От прежней резковатой, но обаятельной манеры держаться не осталось ничего. Прежде она сознавала, что мужчины находят ее интересной, и отзывалась на их интерес. Теперь же она попросту не заметила, как отнесится к ней Райл. Ее занимал только один вопрос, только он существовал для нее в эту минуту: как и почему Джулиан «перевернул все вверх тормашками»?

Райл вспомнил (с саркастической усмешкой и без малейшего удовольствия), как три-четыре года назад, когда его жена была уже тяжело больна, он, донельзя измученный, попробовал немного отвлечься и пригласил пообедать вдову, близкую приятельницу его жены да и его самого. Вдова не потрудилась даже спросить об их здоровье, а сразу же разразилась монологом, со вкусом описывая, как она учреждает небольшие премии в разных школах, дабы сохранить таким образом память о своем покойном супруге. Да, есть много родов эгоцентризма, и все они достаточно несокрушимы, но трудно найти что-нибудь более несокрушимое, чем эгоцентризм любви.

— Зачем он это сделал? Ну объясните мне! — восклицала Лиз.

— Не забывайте, что я почти незнаком с ним, — сказал Райл, довольно успешно изображая рассудительного старца.

Лиз перебирала более или менее вероятные причины, как уже перебирала их десятки раз наедине с собой. Среди них были и те, которые Марч и Лэндер обсуж-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2, 3 с. г.

дали в клубе, посмеиваясь и отнюдь не с восхищением. Райл не мог не уловить за ее метаниями восхищения, гордости, смиренности — ведь Джулиан взял верх над ними всеми. Но зачем? Деньги? Как же надо любить деньги, чтобы вопреки здравому смыслу пойти на подобный риск! Потому лишь, что есть шанс — довольно неверный шанс — получить вдвое больше!

— Я бы так не поступил,— сказал Райл,— но ведь я не игрок и никогда им не был.

— Но игрок ли он?

— Разве вы не знаете?

— Нет. Порой я чувствую, что совершенно его не знаю. После всех этих лет.

И, не выдержав, она принялась рассказывать Райлу, что после этого совещания Джулиан с ней «необыкновенно мил». Что это за слово «мил»?— подумал Райл. Значит ли оно, что он был нежен? Пылок? Или еще что-нибудь? Затем она назвала причину, которую опять-таки взвешивали и Марч с Лэндером. Может быть, Джулиан хочет отплатить за все, что вынесла его мать?

— Маловероятно,— сказал Райл.— Что, собственно, это даст?

Было ясно, что Лиз питает к миссис Андервуд ту же (хотя, возможно, и не столь жгучую) ревность, какую питает к ней миссис Андервуд, ревность, которую Лиз заметила непрослительно поздно.

— Что она за человек?— спросил Райл.

Впервые за весь вечер она улыбнулась ему — в благодарность за сочувствие.

— По правде говоря, она далеко не мой идеал.

— И не мой, насколько я могу судить.

— Но он ей дороже всего на свете,— продолжала Лиз,— что говорит в ее пользу.

Райл заметил, что Лиз пьет больше его. Он замечал это и раньше, но ведь ее ровесницы вообще пьют гораздо больше, чем пили женщины, с которыми он бывал в ресторанах в дни своей молодости. Зато она почти ничего не ела и только ковыряла вилкой в тарелке, хотя все было приготовлено отлично. В молодости Райл счел бы это скверным знаком. Две-три тогдашние его близкие знакомые, которые не обладали аппетитом, в любви были либо слишком разборчивы, либо ненасытны. И даже в этот вечер в «Коннауте», вглядываясь в красивое одержимое лицо напротив, он вспомнил, что в старинной венчальной клятве жена обещала быть «кроткой и покорной на ложе и за столом». Он был очарован этой женщиной, но дурман не мешал ему задумываться и сомневаться.

Наконец она указала причину, которая не пришла в голову ни Марчу, ни Лэндеру. Может быть, дело в ней? Ее постоянные опасения — не прибегнул ли Джулиан к этому маневру, чтобы ускользнуть от нее? Потерять все, а потом заявить ей, что он вообще не может жениться — ни на ней, ни на ком другом.

— По-моему, это более чем неправдоподобно,— сказал Райл.

— Но почему?— Она смотрела прямо на него, и ее глаза, зеленые при солнечном свете, в уютном ресторанном полумраке были совершенно черными. Ее взгляд, исступленный, настойчивый, вдруг стал доверчивым, потому что ей нужно было услышать именно это, хотя услышала она не совсем то, что хотела.

— Все мы, когда человек, к которому мы привязаны, вдруг поступает странно или неожиданно, бываем склонны думать, что как-то причастны к этому. Но я постоянно убеждался в обратном. Человека влекут его собственные дикие кони, а не чьи-то еще. Мы вовсе не центральная причина чужих поступков, хотя и льстим себя этой мыслью.

(Но так ли это? В первом приступе влюбленности кто-то другой может стать единственным центром наших мыслей и даже наших действий. В это мгновение Райл занимал мысли Лиз не больше, чем официант, только что вновь наполнивший ее рюмку.)

Райл продолжал рассуждать о глубоко личных отношениях совершенно в том духе, что и другой разумный человек, Дэвид Марч, и пришел почти к тому же выводу.

— Как я уже говорил, я его не знаю. Мне представляется вполне вероятным, что он далеко не зауряден, иначе концы уж совсем не сходились бы с концами. Тем не менее я не могу поверить, что он абсолютно не похож на других людей.

Лиз улыбнулась улыбкой, которая у другой женщины показалась бы глуповатой.

— А потому я готов заключить пари на скромную сумму, что причина этих его

поступков — а они, говоря между нами, кое в чем почти граничат с сумасшествием, — что эта причина заключена в нем самом. Может быть, он хочет всех поразить. Ведь пока он, простите меня, не слишком оправдывал свое существование. А может быть, причиной всему деньги и он говорил правду. С людьми такое иногда ведь случается.

— Вероятно, это должно послужить мне утешением, — сказала Лиз.

— Это должно послужить предостережением: вот с чем вам придется мириться.

— Очень хорошо. — И вдруг она сказала резко: — Ну, а теперь о моем отце.

— Да?

— Что вы можете мне сказать?

— Очень мало.

— Вы были у него?

— Нет. — После паузы Райл добавил: — Я хотел, но он не пожелал меня видеть.

— Но вы же один из его ближайших друзей.

— Так мне казалось, — просто ответил Райл.

— А он серьезно болен?

— Боюсь, что очень серьезно.

— Да, мне говорили.

Поразительно то, подумал Райл, что больше она ничего не слышала.

— Но все-таки — насколько это серьезно?

— У меня ведь сведения только из вторых рук.

— Что у него?

— Мне не хотелось бы пугать вас...

— Говорите прямо.

— Похоже, что это рак, но точно я не знаю.

Лиз задумалась, и лицо у нее было такое, каким ему предстояло стать под старость.

— Мне надо поехать повидать его.

— Да, конечно. Вас он примет.

— Мне надо повидать его.

Больше она ничего не сказала и только выпила рюмку коньяка. Потом вторую. Райл ощутил свой возраст. Коньяка он теперь остерегался: ему не нравилось просыпаться в три часа ночи от сердцебиения.

Лиз выяснила все, что хотела выяснить, и предпочла бы уйти, но привычка к вежливости мешала ей встать и попрощаться. Та же привычка принудила Райла помочь ей в этом. Он посадил ее в такси на Карлос-Плейс. Она чмокнула его в щеку, такими поцелуями люди их круга, и мужчины и женщины, обмениваются теперь по каждому поводу (не то что в дни его юности). Единственное ее прикосновение.

На следующий день Лиз узнала, что ее отец в больнице проходит курс облучения. Он очень устает и никого не может видеть. Вскоре он вернется в дом ее сестры и недели через две настолько отдохнет после лечения, что сможет принимать посетителей.

Только в конце марта Лиз, тревожно этого ожидавшая, узнала, что он достаточно окреп. Освободив себе утро, она поехала на Берил-роуд, Райл, которого поразило, что ей так мало известно о болезни отца, поразился бы еще больше, узнай он, что это был всего второй ее визит в дом сестры. Но ведь Райл никогда не жил в лоне семьи, состоящей из чужих друг другу людей. Как правило, любезных и сердечных, но чужих. Младшая сестра обрадовалась ей. Их разделяла десятилетняя разница в возрасте, они очень мало соприкасались друг с другом, и у них почти не было общих воспоминаний. Но есть вещи, которые подразумеваются сами собой.

— Ему как будто получше, — сказала ее сестра, — немного, но получше.

— Это действительно так? — спросила Лиз.

— Наверное тут ничего сказать нельзя, — ответила ее сестра таким же твердым тоном. — Возможны ремиссии, и довольно длительные. Никто толком ничего не знает.

В небольшой уютной гостиной (маленькое полотно Энди над камином показало Лиз знакомым — наверное, привезено из Суффолка) Лиз, говоря про отца, испытывала еще одно неосознанное ощущение. При взгляде на этот дом Адам Седжвик, привыкший к просторности буржуазных жилищ, подумал, что не смог бы жить тут. Од-

нако Лиз, знававшая куда больший аристократический простор, почувствовала, не признаваясь себе в этом, что, если бы ей удалось заполучить сюда Джулиана, она обрела бы надежное убежище. В этой тесной комнатке им обоим ничто не грозило бы.

Вслед за сестрой она поднялась наверх и одна вошла в спальню. Отец сидел в кресле у окна и читал. Открыв дверь, Лиз окликнула его. Обернувшись довольно живо, он сказал:

— Девочка моя, как поживаешь?

— Я не помешаю?

Ее и без того напряженные нервы напряглись еще больше, потому что она задала этот нелепый, этот бессмысленный вопрос.

— Чему ты могла бы помешать? Но я очень рад тебя видеть. Собственно говоря, меня предупредили, что ты приедешь.

— Как ты себя чувствуешь?

— Более или менее покойником. Хотя, пожалуй, чуть меньше, чем месяц назад. Но вряд ли нужно добавлять, что это, возможно, лишь приятный самообман.

Впрочем, хотя Лиз этого знать не могла, он выглядел много лучше, чем в тот день, когда к нему приходил Седжвик. Щеки не казались такими ввалившимися, и желтизна была заметна только у нижних век. И держался он тоже по-другому. Она не представляла себе, каким его найдет, но все-таки не ожидала, что он настолько сохранит свою прежнюю невозмутимость.

— Что ты читаешь?— Она не сумела удержаться от еще одного глупого вопроса.

— Тебе я признаюсь: мемуары Палеолога. Он был французским послом в старом Петербурге перед самой революцией. Видишь ли, как-то утешительно читать о людях, которых в самом недалеком будущем ожидает судьба не менее неприятная, чем твоя собственная.

Он улыбался ей, готовый начать неторопливые отвлеченные рассуждения. Но она пришла не за этим.

— Кроме того, они были удивительно бездарны. Интересно, нет, правда интересно, показали бы себя наши высшие классы столь же бездарными в подобных обстоятельствах? А впрочем, вполне возможно. По-моему, с шахтерами, например, мы могли бы действовать и умнее.— Это суждение о весенней стачке он произнес тоном легкого злорадства, как удалившийся от дел государственный муж.— Но мне хотелось бы верить, что кое-кто из нас, будь мы тогда в Петербурге, сумел бы проявить крупицу здравого смысла. И кстати, этот Палеолог писал по-французски очень изящно. Я читаю его по-французски. У меня ведь была гувернантка-француженка. Не то чтобы я стал таким уж знатоком. Правда, в Итоне меня ставили в пример другим. Вероятно, в расцвете моего с ним знакомства я изъяснялся примерно как бельгийский фламандец, который говорит на втором государственном языке,— более или менее литературно, но с запинками.— Он явно остался доволен этим сравнением и, поглядев на нее таким знакомым ей взглядом из-под полуопущенных век, спросил:— Девочка моя, а как твой французский?

— Он ужасен.

— Мы ведь тебя никогда как следует не учили. Это было непростительно. Очень жаль. Очень.

— Но как ты себя чувствуешь? На самом деле? — не выдержала Лиз.

— Мы все смертны, не так ли? И для меня этот факт несколько более актуален, чем для некоторых других.

Ее голос стал еще жестче, еще напряженнее:

— Как ты себя чувствуешь? Я хочу знать.

— Если ты хочешь знать, долго ли я еще протяну, боюсь, я не смогу тебе ответить. Мне ничего не говорят, хотя я как будто здесь лицо отчасти заинтересованное. Но будем снисходительны и предположим, что им самим толком ничего не известно.

Отдавал ли он себе отчет, насколько иначе держался он с Седжвиком? Разумеется, он всегда в какой-то мере был актером. Играть роль для него было естественно, это доставляло ему радость, он больше ощущал себя самим собой. И в смысле самочувствия это был один из его хороших дней. Возможно, так, как тогда с Седжвиком, он говорил только при полном упадке сил.

Тонем отвлеченного любопытства он спросил:

— Но, девочка моя, почему тебе так нужно это знать? Я ведь вряд ли значу для тебя столь много. То есть едва ты свыкнешься с неизбежностью моего относительно быстрого исчезновения...

— Это не так легко.

Внезапно он улыбнулся ей той улыбкой, с которой имел обыкновение поддразнивать ее, когда она была маленькой:

— Ах да, небольшое осложнение, не так ли? Я мог бы вспомнить. Мне надо прожить еще около шести лет для того, чтобы ты могла получить мой маленький подарок целиком. Ты совершенно права, что думаешь об этом. Было бы глупо...

— Не только это.— Лицо ее хмурилось, обвиняло — себя ли, его ли.— Не только это.

— Не только? Но ведь чуточку и это, верно? Ты же не будешь притворяться?

Он все еще поддразнивал ее почти с нежностью, и это было ей странно. Он глядел на лицо дочери и видел его словно заново. Хорошее, классически правильное лицо, без излишней подвижности и переменчивости. Хорошая матовая кожа, запылавшая сейчас румянцем. Слезы ярости для нее, конечно, привычнее слез мольбы. Он догадывался, что она почти готова заплакать. Всю свою жизнь в отношениях с женщинами он старался облегчить текущее мгновение.

— Ну, тебе, пожалуй, не стоит рассчитывать на эти деньги. При нынешнем положении вещей шесть лет — слишком долгий срок. Конечно, я готов постараться, но обещать ничего не могу. Я бы постарался не только ради тебя, но и ради себя.

— Ах, боже мой! — вспыхнула она. — Я же сказала, что дело не только в этом.

— Послушай, девочка, мы ведь с тобой, в сущности, совсем не ханжи, ты согласишься? И ты похожа на меня гораздо больше, чем тебе хотелось бы. В свое время я говорил немало благопристойного вздора. Ты, я полагаю, этого избежала. Но, во всяком случае, сейчас мы могли бы обойтись без него.

Лиз принудила себя улыбнуться. Желание заплакать исчезло, но если прежде она только изображала дочернее сочувствие, то теперь у нее по-настоящему сжалось сердце.

— Так-то лучше, — сказал он и снова вернулся к тону неторопливой приятной беседы. — А знаешь ли, любопытно, к каким неожиданным результатам приводят подчас, казалось бы, более чем второстепенные законодательные установления. В мое время было в обычае посещать престарелых родственников и живо интересоваться тем, когда они намерены покинуть эту юдоль. Чем скорее, тем лучше, поскольку их кончина означала пополнение твоих денежных средств. Помнится, с каким вниманием я следил, как один мой очень милый дядюшка доживает свой век. Я питал к нему искреннюю привязанность. И мог рассчитывать на очень приличное наследство, которое, рад сказать, со временем и получил. Но хотя его некролог был уже давно заготовлен в «Таймс», он протянул еще не один год. Мне казалось тогда, что он мог бы подумать и о других. Я не хотел бы особенно себя хвалить, девочка моя, но не думаю, нет, не думаю, чтобы я был намного эгоистичнее подавляющего большинства представителей рода человеческого. Невольно начинаешь прикидывать, сколько их было — тех, кто слишком долго заживался на свете, смущая душевный покой любимых и близких.

Эти рассуждения, несомненно, понравились бы его наследнику доктору Пембертону, если бы он их услышал.

— А теперь, — продолжал Хилмортон, — мы искусно ввели некую тонкость. Пресловутый пункт о семилетней отсрочке дарения, который нам обоим хорошо известен, не так ли? И теперь, вместо того чтобы сидеть у постели престарелого родственника, как сживал я возле дядюшки, со сложным чувством, включающим и любовь и желание — может быть, невольное, — чтобы он поскорее преставился, мы теперь сидим возле постели престарелого родственника, испытывая то же сложное чувство, но с одним небольшим изменением. Теперь нам приходится желать, чтобы он протянул подольше. Во всяком случае, семь лет или сколько там осталось до законного срока. Очень любопытно. Согласись, милая Элизабет, что это позволило совместить учтивость с искренностью.

Он был горд, завершив свое изящное построение, как бывал горд, когда завершал

удачную речь, хотя, бесспорно, ни одна из его речей ни разу не была столь прямодушной, как эта. Лиз тоже испытывала гордость, все остальные чувства куда-то отступили. В детстве он нравился ей больше всего, когда вел себя не слишком чинно или, как ей тогда казалось, притворялся нехорошим.

А он был утомлен, так утомлен, что больше не хотел говорить, и только из вежливости спросил, как идут ее дела.

— Ты имеешь в виду Джулиана? — сказала Лиз.

Он кивнул.

— Все так же.

— Я этого и опасался.

— Ничего и не могло измениться. Во всяком случае, пока, — сказала она с тем же вызовом, как при первом своем объяснении с ним. И рассказала, что апелляционную жалобу решено назад не брать.

Несмотря на утомление, он немного оживился.

— Но разумно ли это? — спросил он. — Действительно ли это разумно?

— Он считает, что да.

— Ах так!

Лиз объяснила, что они могли бы добиться вполне сносного соглашения, но он не захотел.

— Ах так! — сказал Хилмортон еще раз, выразив этим коротким восклицанием и не слишком большое удивление и свое мнение о Джулиане. Он спросил, когда будет рассматриваться апелляционная жалоба.

— Неизвестно, — ответила она. — Вероятно, где-нибудь в конце года.

— Мне бы хотелось узнать, чем это кончится. Надеюсь, я дотяну. Очень надеюсь.

Он сказал это со странной простотой, без намека на сарказм, без желания вызвать сочувствие — объяснил ей, чего он хочет, и только. Лиз подумала, что засиделась слишком долго и пора уходить.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

27

В течение лета Джеймс Райл много раз вспоминал, как спросил Хилмортон в клубе, что с ним, и услышал в ответ: «Легкое недомогание». Райл вновь и вновь мысленно возвращался к этому разговору потому, что слова Хилмортон в какой-то мере подходили к его собственному состоянию. Нет, не физическому: он чувствовал себя не хуже, чем все прошлые годы. Но он утратил внутреннее спокойствие, нервы его были обнажены, и он не умел к этому приспособиться, словно теперь шел по жизни не вперед, а вспять.

Чарующее ощущение — а оно было чарующим! — что для него вновь настала весна любви, рассеялось полностью. Как смешно — томиться по женщине, которая его даже не замечает. И ничего измениться не может — он еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь с такой полнотой подчинялся сокрушающей любви. У него хватило силы воли смириться с безнадежностью.

С каждой новой их встречей ее одержимость этой любовью становилась все очевиднее. А встречались они часто, потому что у него в начале наступающего лета недоставало решимости уклониться, когда она искала его общества. Как-то она умудрилась поссориться с Джулианом и рассталась с ним на две недели. Вечер за вечером она сидела с Райлом в гостиной палаты лордов и ужинала с ним в городе. Замечая, как мужчины смотрят ей вслед, Райл порой испытывал нелепую гордость. Потом она вернулась к Джулиану. Телефон больше не звонил. И опять надо было вычеркнуть ее из мыслей.

Подави одно тревожное чувство — и на смену ему придет другое. Изгони мысли о Лиз — и их место займут другие, не менее тягостные. Правда, они не такие личные и, быть может, не столь унизительны, как юношеские грезы старика. Дело в том, что Райл теперь начал опасаться за судьбу страны — ничего подобного он не испытывал с первых лет войны, — и мысли эти нагоняли тоску не меньше, чем мысли о Лиз.

Объективных причин для тревоги вполне достаточно, говорил он себе. Как они

выберутся из этой тяжелой неразберихи? Он еще не утратил ясности оценок и никаких драматических перемен не ожидал. Национальные государства не рухнут внезапно. Капиталистический мир не рухнет, и уж никак не в Соединенных Штатах. Он оказался поразительно живучим и останется таким в обозримом будущем. Как, кстати, и коллективистский мир.

Райл полагал, что и его сыновьям не доведется дожить до особых катаклизмов. А что будет с его страной? Превратится ли она в бедную родственницу на задворках Запада? Вполне вероятно. Она может стать увеличенным, более расхлябанным и внутренне расшатанным подобием Швеции, социал-демократической страной, где правят профсоюзы, но далеко не так хорошо организованной. Пожалуй, это наилучшая перспектива. Остальные куда мрачнее.

Во всем этом Райл находил оправдание своей внутренней неудовлетворенности. Будь он счастлив, он искал бы более светлого будущего. Сумел ли бы он его найти — это другой вопрос.

Лондон летом 1972 года. Все еще самая комфортабельная из столиц мира, думал Райл. Ничего от тебя не требующая. Можно предположить, что в прошлые дни, когда англичане отличались большей строгостью, она не была столь уж нетребовательной. Но Райлу, в котором иностранцы часто видели типичного англичанина, она нравилась такой, какой стала. Манеры в магазинах и на улицах стали более резкими, чем в былые годы, а в кругу его знакомых наоборот.

Он часто обедал не дома, хотя в гостях — довольно редко. Еда была гораздо лучше, чем в дни его юности, и вина пили больше, а крепких спиртных напитков — гораздо больше (и много, много больше, чем в XIX веке, не мог не отметить он как историк). Он все еще иногда бывал занят по утрам — заседал в правлении торгового банка и еще в двух-трех правлениях. И так будет, пока ему не исполнится семьдесят. А днем и вечером — палата лордов. Для многих из тех, кто близок к пенсионному возрасту, это самый сносный способ коротать время, так до последнего времени казалось и ему.

А тех, кого он видит, с кем разговаривает, их тоже мучит внутренняя тревога? Не из-за женщины, хотя и это не исключено. Во всяком случае, у двоих-троих, насколько ему было известно, в этом смысле далеко не все обстояло благополучно, и у каждого по-своему. Сам же он, как ему хотелось надеяться, сумел сохранить видимость, и никто (кроме разве что Хилмортон, которого теперь это уже не может интересовать) не догадывался о его тайне. Но тревожит ли кого-нибудь будущее? Ближайшее и отдаленное?

Наверное. Райл в этом почти не сомневался. Тем не менее они скрывали свою тревогу слишком уж хорошо. Даже в уютном, укромном зале, где неторопливо завтракали члены правления, сытые лица не выдавали никакого беспокойства — словно эти люди все еще вершили финансовые дела в лондонском Сити времен Эдуарда VII. Деньги, разумеется, напуганы, но с деньгами так бывало раньше, так будет и после. Они обсуждали это с интересом врачей, обсуждающих неприятную врожденную болезнь. Ну а как они распорядились собственными деньгами, обсуждению не подлежало. Запретнейшая из тем. Райл присутствовал на множестве заседаний правления, но ни разу не услышал ни единого намека, который позволил бы ему заработать свой честный фунт, — только то, что он и сам мог понять между строк, читая газеты.

Мейнерцхаген — тот самый, который нанес однажды дружеский визит Суоффилду, — также заседал в правлении этого банка. Мейнерцхаген источал неколебимую веру в правительство, словно епископ, который чуть-чуть правовернее самого папы.

— Им требуется всего лишь твердо придерживаться курса, — заверял он завтракающих, хотя они, по-видимому, не нуждались в заверениях. — И, конечно, они будут его придерживаться.

Мейнерцхаген, кроме того, источал уверенность, что весьма скоро они заручатся поддержкой «всей страны».

А Райлу на память приходили точно такие же люди в предвоенные и военные годы, когда он был еще молод. И его отнюдь не утешало, что перед войной они в своей уверенности допустили такой чудовищный просчет. Но вот во время войны эти же флегма и неумение смотреть вперед оказались полезными. Только интеллигентные при-

знавались в откровенном разговоре, что мы обречены на поражение. Флегма была бесценна, когда взгляд вперед не обещал ничего хорошего. Сколько было случаев, когда у человека, глядящего вперед, вообще опустились бы руки.

Тем не менее в нынешнем своем настроении Райл не раз спрашивал себя, существовали ли когда-либо более самодовольные люди. Уже давно его жизнь была тесно связана с тем кругом, к которому принадлежал Хилмортон. Но теперь он чувствовал, точно вернувшись в дни своей юности, что он — чужой. У Хилмортоня хотя бы случались мгновения отстраненности. А остальные? Существовал ли еще когда-либо правящий класс, настолько неспособный мыслить? Пусть даже бывший правящий класс. Или правящие классы вот так и лишаются своей власти? Но, пожалуй, «неспособный мыслить» — не вполне справедливое определение... Райл пытался побороть свою мрачность. Скорее близорукий. И возмутительно неосведомленный, даже если говорить о людях с таким цепким умом, как Мейнерцхаген.

Райлу мучительно требовался умный собеседник. Ему хотелось знать, о чем думают деятели в министерстве финансов. И, собственно, поэтому, а не под влиянием отцовского чувства он позвонил своему сыну Фрэнсису и пригласил его заглянуть как-нибудь вечером после службы.

Собственно говоря, поскольку Уайтхолл находился совсем рядом, Фрэнсис «заглядывал» к нему не так уж редко. Отношения между ними были приятными, но не особенно близкими. И когда Фрэнсис явился по этому совершенно излишнему приглашению — не в белой униформе своего ведомства (черный сюртук, полосатые брюки), а в корректном темном костюме (современном ее эквиваленте), — отец оглядел его с обычным нарастающим раздражением. Фрэнсис улыбался, был достаточно мил и стригся коротко. Джеймс Райл никак не мог свикнуться с длинными волосами, но его младший сын уж конечно отпустил свои до плеч. И тем не менее этот младший сын непонятно почему утишил бы его беспричинную досаду. Младший не был ни таким деловитым, ни таким преуспевающим, как этот. Он вернулся к семейной профессии и преподавал в школе, но без особого блеска. На отца он походил не больше, чем Фрэнсис. Ему была свойственна врожденная глубокая и беспричинная унылость, тогда как Джеймс Райл, как правило, унынию не поддавался — во всяком случае, без реальных причин. Тем не менее второй его сын, как это нередко бывает у людей, склонных к депрессии, обладал душевной теплотой и чуткостью. Он был добр, а его отцу в эту минуту не хватало именно доброго внимания.

Райл вдруг ощутил прилив совсем уж неоправданной злости: почему сын, которого он любит, несчастен, а у этого, старшего, такой вид, будто его жизнь ни разу не омрачало ни единое облачко? Глупая мысль. Будь Райл в нормальном состоянии, она не вызвала бы у него ничего, кроме усмешки. Разумному человеку не к лицу стелать оттого, что на земле нет справедливости. Несправедливость — удел человека с минуты его зачатия, она сопровождает его всю жизнь. И в старости. И в том, какая ему выпадает смерть. Вот он сам силен и бодр на пороге восьмого десятка. А людей более достойных, чем он, Адама Седжвика, например, подстерегает вовсе неоправданная несправедливость. Или Хилмортон — с ним судьба обошлась и вовсе свирепо.

Ну а счастье — это всего лишь милость. Никакой справедливости нет и тут. Оно всегда достается случайно. Иногда счастье упорно обходит тех, кто имеет на него все права, его младшего сына в том числе. Иногда оно достается дуракам или негодяям. Счастье отнюдь не награда за примерное поведение. Райл получил свою долю — не меньше, чем другие люди, а может быть, и больше. Лиз до сих пор его доставалось меньше.

Райл сказал, чтобы Фрэнсис налил себе чего хочет, и по заведенному порядку спросил, как чувствуют себя его жена и дети. Затем, когда Фрэнсис сел, придвинув кресло к дивану, совсем как в тот раз, когда сюда за советом приходила Лиз, Джеймс Райл сказал тем искусственным грубовато-добродушным тоном, в который почему-то всегда впадал в разговорах со старшим сыном:

— Куда вы там у себя гнете?

— Ты хочешь сказать...?

— Я хочу сказать — что, собственно, вы делаете для укрепления экономики?

Ведь что-то, я полагаю, вы делаете?

— Копаемся понемножку,— ответил Фрэнсис.

— Это я уже не раз слышал. И смысл всегда один: будет даже хуже, чем можно предположить.

Фрэнсис и бровью не повел.

— Тебе ведь довелось повидать не так уж мало, не правда ли? — сказал он.

И вновь его отца охватило неоправданное раздражение.

— Возможно, я чувствовал бы себя спокойнее, если бы ваше ведомство хоть изредка утрачивало полнейшую невозмутимость.

— И какую пользу это принесло бы?

— Думаю, кое-кто из вас иногда испытывает тревогу. То есть мне хотелось бы так думать.

Фрэнсис улыбнулся широкой улыбкой, что предвещало веселую сплетню.

— Есть и такие. Вот, скажем, дня два назад некто пожелал встретиться с моим шефом. По личному делу. Собственно говоря, он довольно видный член вашей палаты. Меня вызвали записать кое-что.

Джеймс Райл без труда представил себе, что кроется за этими формальностями. Фрэнсис не имел права и не собирался ни называть посетителя, ни намекать на суть его дела. И очень хорошо. У бюрократической процедуры есть свои положительные стороны. Шеф Фрэнсиса — один из заместителей министра, а человек, о котором идет речь, вероятно, видная фигура. Во всяком случае, настолько, что в качестве безмолвного свидетеля их беседы был приглашен чиновник, занимающий столь высокий пост, как Фрэнсис. Вежливый и открытый уайтхолловский вариант скрытой аппаратуры подслушивания, что тоже хорошо.

— Ну,— продолжал Фрэнсис,— дело было, по-видимому, удовлетворительно разрешено. И тут этот человек вне всякой связи с целью своего прихода упомянул между прочим, что ему не слишком нравится положение вещей. То есть в том же смысле, что и тебе. Он даже взвешивает, не разумнее ли уехать куда-нибудь туда, где будущее выглядит надежнее. Например, в Канаду. Но, с другой стороны, речь же идет о его родине. Да, насколько он может судить, она — тонущий корабль. Однако с тонущих кораблей бегут только крысы.

Райл старался отгадать, кто бы это мог быть. Кто-нибудь из знакомых? Во всяком случае, любитель хлестких фраз. Он спросил:

— И что же ответил твой шеф?

Улыбка Фрэнсиса оставалась все такой же.

— Ну, всего только... «Естественно, я с этим согласиться не могу, не правда ли?» Имея в виду первую часть этого заявления.

Фрэнсис, даже посмеиваясь, не утрачивал педантичности. Он добавил, вновь цитируя своего шефа:

— «Но я прекрасно вас понимаю».

Райл сказал, на мгновение проникаясь теплым сочувствием к сыну:

— Достойный ответ хорошего чиновника.— Затем он спросил: — Но все-таки что думаешь ты? Ты сам?

— Видишь ли, работа в государственном аппарате требует умеренного оптимизма. Иначе мы не могли бы выполнять своих обязанностей,— ответил Фрэнсис.

— Излишний оптимизм порождает больше ошибок, чем что-либо другое. Мне не раз приходилось это наблюдать.

Фрэнсис повторил спокойно:

— Без известной толики оптимизма мы вообще ничего не могли бы делать.

Несколько следующих минут он посвятил конкретному анализу — вполне профессиональному и стереотипному, подумал его отец. Экономическую экспансию теоретически можно только одобрить. Министерство финансов не стало бы проводить ее столь поспешно. В этом есть элемент азарта и риска. Неудача может привести к значительному хаосу. Разумеется, на всякий случай уже разрабатываются соответствующие планы. Фрэнсис был достаточно осторожен и не сказал этого вслух, однако высокопоставленные чиновники вроде него имели немалый опыт методичной подготовки планов на непредвиденный случай, о которой стоящее у власти правительство ничего не знало.

Все тем же тоном Фрэнсис добавил:

— Собственно говоря, я как раз собирался написать тебе письмо.

Это было сказано так ровно, спокойно, деловито, что Райл ничего не заподозрил.

— Да неужто? Но ведь теперь, я полагаю, ты уже все изложил?

— Боюсь, что нет.

Фрэнсис улыбнулся, но его улыбка не была ни веселой, ни вежливой.

— Я не собирался писать тебе об экономическом положении страны.

— Так о чем же?

— Кто-то должен поставить тебя в известность. И я подумал, что будет лучше, если это возьму на себя я.

— Не понимаю.

— Ты попадаешь в глупое положение из-за этой своей девицы. Тебе следует взять себя в руки.—Его голос по-прежнему оставался ровным и сдержанным, но где-то в нем крылась та резкость, которая нередко сквозила во время их разговоров в тоне его отца.— Люди уже говорят.

Райл слушал с удивлением и горечью. Внезапно он получил повод рассердиться.

— А мне-то что?

— Да, конечно...— Фрэнсис смутился— это была тактическая ошибка.— Нас заботит другое...

— Кого это «нас»? О каких людях ты говоришь?

— Но ведь у тебя есть семья, не правда ли? Ну а если посторонние начали что-то замечать, так ведь ты не такой уж незначительный человек. Тебя с ней неоднократно видели в публичных местах.

Райл далеко не в первый раз попал в ловушку, созданную специально для пронычательных и любопытных людей. Они невольно начинают верить, будто могут наблюдать, сами оставаясь при этом незамеченными, словно благодаря действию какого-то странного варианта принципа неопределенности, открытого Гейзенбергом. Сейчас у себя в гостиной он растерянно перебирал в уме современные методы слежки. Может быть, у этого его сына есть связи в разведывательном управлении? Он пошел напролом:

— Да, я бывал с ней в публичных местах. И бывал бы гораздо чаще, если бы это зависело от меня.

— Она тебе не пара,— сказал Фрэнсис.— Нам тяжело смотреть, как ты портишь себе жизнь.

— Насколько я понимаю, ты говоришь от имени моей любящей семьи?

— Совершенно справедливо.

— Весьма тронут таким горячим ко мне интересом. Возможно, ты будешь не прочь узнать, что, согласись она, я женился бы на ней завтра же. Но она не согласится. И меня останавливает только это. Насколько я понимаю, моя любящая семья не слишком обрадовалась бы, если бы я снова женился. Вы тогда не получили бы денег, на которые рассчитываете.

Теперь уже Фрэнсис поглядел на отца с изумлением. Он никогда в жизни не слышал от него подобных слов. Да и не только он. Знакомые Райла единодушно сказали бы, что такие вульгарные сарказмы совсем не в его характере. И тем не менее они у него вырвались.

Фрэнсис вновь пустил в ход свою автоматическую японскую улыбку, но лицо его стало серым. Он принадлежал к людям, которые бледнеют от гнева. Прошло несколько секунд, прежде чем он овладел собой.

— Это абсолютно несправедливо. И недопустимо.

Он говорил негромко и холодно-официально, словно выступал на заседании.

Райл тоже старался справиться со своим гневом. На помощь он призвал не свои отцовские чувства, а гордость. Он всегда гордился своей уравновешенностью, умением трезво оценивать факты, и теперь эти индикаторы показывали, что он не прав.

— Согласен. Это было несправедливо. Я сожалею о своих словах. И беру их назад.

Это было сказано резко, почти грубо, но это было сказано.

— Послушай,— начал Фрэнсис,— мы все только обрадовались бы, если бы ты снова женился. Я сам от души желал бы этого для тебя. Это так. Поверь мне.

Наступило неловкое молчание.

— Да, я верю.

Это опять было сказано резко, но сказано.

— Мы с удовольствием познакомим тебя с какими-нибудь милыми незамужними дамами, если ты хочешь.

— Отчего бы и нет,— ответил Райл сухо.

— Ничто, собственно, не препятствует тебе найти жену и жить счастливо. Нам всем это было бы очень приятно.— Фрэнсис улыбнулся искренней улыбкой, маловыразительной, слегка скромной.— Полагаю, в этом отношении у тебя все в порядке.

От кого-нибудь из своих друзей Райл выслушал бы нечто подобное не без удовольствия. И совсем недавно у него был случай без лишней сложности убедиться, что это так. Он испробовал несколько средств, которые принято считать противоядием против безнадежной страсти. Помочь они не могли (ничего другого и не должен был бы ждать человек с его жизненным опытом), однако не всем же чувствам обязательно быть высокими и благородными, и выйдя из дома своей приятельницы, он вдруг заметил, что вдыхает ночной воздух и смотрит в лица встречным с той же беззаботностью, с тем же вызовом, как бывало в сходных случаях в дни его молодости.

Но эта фраза в устах сына, которого он считал чопорным ханжой, вывела его из себя. В этот вечер, как и много раз прежде, они то и дело наступали друг другу на ноги. Оба были спокойными и сдержанными людьми и тем не менее все время доводили друг друга до белого каления, хотя оно и пряталось под маской невозмутимости. Райл давным-давно принял решение не касаться в разговорах с сыновьями никаких сексуальных тем и тем более не поверять им собственных переживаний. На подобную наивность способны лишь люди, верящие, что жизнь подчиняется законам гигиены, и ничего не знающие ни об отцах, ни о сыновьях. И вот Фрэнсис счел возможным поднять такую тему. Вероятно, из самых лучших побуждений, но это только усугубляет его грубую бестактность.

И что бы они ни говорили друг другу, все оказывалось неуместным. Возможно, Фрэнсис, натура менее сложная, был не прочь (конечно, не при исполнении служебных обязанностей, по выражению его коллег, заимствованному из военного языка) и пооткровенничать немножко. Но время для этого давно миновало. Подобно всем отцам, Райл с тайным удовлетворением догадался, а затем и убедился, что его сыновья приобрели первый сексуальный опыт и все прошло нормально. Отцы радовались этому и в несравненно более чопорные времена. Райл читал, что говорили некоторые викторианские отцы своим близким друзьям,— возможно, они смотрели на вещи не столь свободно, но чувствовали то же, что он. Однако совсем другое дело, когда его сын с благожелательным интересом предполагает, что он еще вполне мужчина.

Ответить на это можно было, только ничего не ответив. Райл, столь легкий в общении с самыми разными людьми, столь часто бравший на себя в обществе роль катализатора, замолчал — тупо, упрямо. Фрэнсис глядел на него сначала с веселой усмешкой, потом с недоумением, почти с обидой. Райл заставил себя прервать молчание и безразличным тоном опять заговорил об экономическом положении.

28

Если бы Райл был приглашен на суоффилдовский вечер в июле, ему выпал бы лишний случай задаться вопросом, действительно ли эти люди неспособны мыслить, или же они танцуют, как танцевали английские офицеры накануне Ватерлоо, потому лишь, что ничего другого делать не остается. Но Джеймс Райл приглашен не был, да и танцы, если вернуться к реальным фактам, в программу вечера не входили. Суоффилд планировал его с величайшим тщанием и приготовился развлекать своих гостей совсем по-другому — некоторые из них, получив приглашение, были приятно удивлены, большинство же просто недоумевало, а два-три циника задали вопрос: «Во имя чего все это затевается?»

Суоффилда этот вопрос не задел бы. Вечер был затеян во имя Суоффилда, или, точнее говоря, во имя Суоффилда-миротворца. Когда мастерский ход Джулиана сорвал соглашение, Суоффилд оказался в положении столь же смешном, как и неприятном: он рискнул сразиться с ветряными мельницами, навлек на себя все последствия своего поступка, а затем был полностью лишен предвкушаемого торжества. Это разъярило бы и людей куда более уравновешенных и гармоничных, чем Суоффилд, в том маловероятном, в том невозможном случае, если бы более уравновешенные и гармоничные люди решили сразиться с ветряными мельницами.

Однако Суоффилд вопреки этому приступу гордости — и другим взрывам, о которых знал только он сам, — умел подличать, как юный карьерист. Он пригласил гордость, как будто не в ней было дело, и принялся спасать то, что еще мог спасти. Дополнительные сто тысяч фунтов в фонд партии Мейнерцхагена? Это легко. Извиняться и заискивать перед милыми друзьями вроде Мейнерцхагена? Не так легко, но все же возможно. Заверения в искреннейшей дружбе, искреннейшее раскаяние в прошлых ошибках и промахах (где кончается блистательная неискренность и начинается самовнушение?) — карабкаясь вверх по социальной лестнице, он досконально изучил все приемы, которые обязательно должен знать честолюбивый член политической партии, и в случае необходимости мог снова к ним прибегнуть. Своевольный характер не позволил ему стать тут виртуозом — для этого требуется природный дар, которого не заменят никакие старания. Однако он располагал достаточной энергией и другими ресурсами.

Разумеется, Мейнерцхаген и прочие партийные боссы знали, чего он добивается. Только дураки могли бы этого не заметить, а они были отнюдь не дураками. Они привыкли к выражениям раскаяния и к попыткам тех, кто пробивается наверх, упрочить свой кредит. Это был совсем не вредный пример для других, отнюдь, отнюдь не вредный. Ну а что уготовано Суоффилду, это их тайна.

Странность, однако, заключалась в том, что не только Суоффилд недооценивал их, но и они его недооценивали. Он считал их третьесортными политиками с воображением, которому не позавидует и черепаха в аквариуме. На самом же деле они обладали некими способностями, которых у него не было. Они, в свою очередь, считали его тупым мошенником, который каким-то образом умудрился разбогатеть только потому, что у него был нюх на деньги, и ничего больше. А в действительности, как мог бы с одобрением заметить Седжвик, он был гораздо умнее любого из них.

И вот Суоффилд, знаменуя свое возвращение на путь истинный, устроил во испупление среди многого другого и этот званый вечер. Его враги и хулители получили, казалось, новое подтверждение своей правоты: подобно многим другим очень богатым людям, он, казалось, наивно верил в благую силу увеселений и угощений. Наивность была ему совершенно не свойственна (как могли объяснить его хулителям Симингтон и Дженни), но он вел себя так, словно накормить министра хорошим обедом значило обеспечить себе его дружбу на всю жизнь. А не лучше ли, мог бы спросить какой-нибудь скептик, оставить призрак Тримальхиона в покое и угостить министра хлебом с сыром в ближайшей пивной?

Впрочем, июльский званый вечер во многом нарушал традиции тримальхионовских пиров. Еще только приступая к планированию, Суоффилд решил устроить нечто в высшей степени светское, а уж когда Суоффилд принимал светский тон, он выдерживал его до конца. И потому первое решение было — банкета не устраивать.

Далее: вечер этот должен был вылиться в апофеоз миротворчества или, в всяком случае, символизировать все, что хотел бы сделать Суоффилд во исполнение пожелания, которое высказал его друг Мейнерцхаген во время их милой дружеской встречи, и сделал бы, если бы ему не воспрепятствовали. Но другая сторона (о чем было тактично доведено до сведения кого следовало) наотрез отказалась обсуждать возможность какого бы то ни было полюбовного соглашения. А он, Суоффилд, хотел только одного: устроить так, чтобы все были счастливы, чтобы не возникло никакого шума, который мог бы достигнуть слуха непосвященных масс, и чтобы прочие люди доброй воли остались довольны.

Это определило выбор гостей. Он решил пригласить главных противников и тех, кто принимал участие в процессе на той или иной стороне, — миссис Андервуд, Джу-

длана и при нем Лиз, их поверенного и адвоката, а также, с полной и беспристрастной симметрией, Дженни Рэстал и при ней Лоримера, ее поверенного и адвоката. Можно ли сделать более умиротворяющий жест? Пусть Мейнерцхаген, Хейдон-Смит, другие министры и прочие влиятельные сановники — им всем были разосланы приглашения, — пусть они увидят всю истовость намерений Суоффилда. Затем следовали те, кто, по его мнению, мог бы составить надлежащий фон и разбавить общество, — например, Шифы и полдесятка магнатов помельче. Суоффилд вписал лорда Клэра, вычеркнул, подумал и вновь внес его в список. Он не забывал своих подозрений, он всегда сводил все счеты, но давно уже приучил себя откладывать это до удобного случая.

Все внесенные в список получили приглашение в положенный срок, и многие, прочитав карточку, изъявили явное неудовольствие. Она отличалась целомудренной строгостью: «Мистер Реджинальд Суоффилд приглашает лорда и леди Шиф на *soirée*¹ (уже двадцать лет ни один человек даже слова *soirée* не слышал, заметил кто-то. Этот субъект, как всегда, перегибает палку) в четверг 20 июля 1972 года в 9.30 вечера в доме № 27 по Хилл-стрит». В нижнем левом углу — «итрают... и...». Любители узнали фамилии членов знаменитого струнного квартета, а также не менее знаменитых клавесиниста и пианиста. («Какого дьявола ему понадобилась музыка? — заметил еще кто-то. — Пропавший вечер».) И аккуратное уведомление — «вечерний костюм». («Боже мой, белый галстук! — воскликнул лорд Клэр. — Да кто теперь надевает белые галстуки на званые вечера в частных домах!»)

Отворчавшись, почти все приняли приглашение. Любопытно, что такие приглашения — не только суоффилдовские, но и любые другие — всегда принимаются почти всеми. «Почему?» — мог бы спросить Хилмортон в дни своей надменной отстраненности. Званые вечера не такая уж редкость, и мало кто признается, что получает от них удовольствие. Но ворчат и идут.

Из более или менее заметных людей приглашение Суоффилда не приняли только оба знаменитых адвоката. Но даже и они, возможно, пришли бы, если бы не перенесли на этот вечер с пятницы свой традиционный обед в клубе. Для Марча он был притягательнее любой музыки на свете, а у Лэндера, который слушал бы музыку с истинным наслаждением, не хватило духу его огорчить. Они не знали, что такое же приглашение получили их клиенты и другие люди, так или иначе соприкасавшиеся с делом.

Четверг 20 июля обрел для всех, кто жил по соседству с Суоффилдом, величавую торжественность, которая требовала благоговейной тишины. Даже прохожие на Хилл-стрит и Честерфилд-Хилл замечали, что тут готовится нечто необычное. К дому Суоффилда подъехал гигантский фургон. Задняя стенка откинулась, образуя скат. По скату был спущен довольно внушительный лавр в довольно внушительной кадке. За ним появился второй. И так далее. Рабочие в фартуках втаскивали лавры в дом. Суоффилд без пиджака помогал им, распоряжался и сам трудился усерднее всех.

Наблюдатели насчитали тридцать деревьев, но похоже было, что ими дело не кончится. Они были заинтригованы. Однако в этом великом переселении деревьев, как и в безумии Гамлета, была своя система. Суоффилд постановил, что гости будут располагаться в патио, примыкающем к колоссальной гостиной. В открытом патио вполне хватало простора для размещения столов и гостей, но вид у него был несколько голый. Несмотря на приоткравшиеся у стен розы, этот внутренний дворик как-то неуютно ассоциировался с расстрелами на заре. И Суоффилд пытался унытьжить эти привкорбные ассоциации с помощью деревьев. Внезапно им овладело сомнение, не многовато ли их получилось, но, с другой стороны, они ему понравились.

К тому же его точило сомнение посерьезнее. Музыкантам в гостиной ничто не угрожало, но гостям предстояло сидеть под открытым небом. Суоффилд, подготовивший инструкции на случай самых маловероятных неожиданностей, проявил трогательную веру в лондонские летние вечера. И теперь он клял себя на чем свет стоит. Загнать всех приглашенных в гостиную не было никакой возможности. По каким-то никому не ясным причинам идею тента он отверг как вульгарную. Он злился на себя и еще больше на всех, кто попадался ему под руку, однако делать было

¹ Званный вечер (франц.).

нечего, оставалось только покорно следить за погодой. Утро было холодное, пасмурное, но сухое. Чуть лучше по сравнению с предыдущими. Он продолжал настороженно следить за небом. Затем, сообразив, что можно предпринять еще, распорядился, чтобы ему каждые полчаса доставляли прогнозы из бюро погоды, а сам засел у себя в кабинете в мрачной сосредоточенности, которой хватило бы на всех начальников объединенных штабов накануне дня высадки в Нормандии.

Суоффилд нередко представлял себе, как его враги потешаются над ним, и в эти минуты видел их перед собой особенно ясно. «Между тремя и четырьмя дожди, возможны ливни» — вон они скалят зубы над потерпевшим крушение нелепым маленьким человеком. Однако Суоффилд умел вести себя нелепо и не терпеть при этом крушения. Очередной прогноз: «К началу вечера ожидается сухая погода, ветер с северо-востока, легкое похолодание». От мрачной сосредоточенности — к энергичным действиям. Похолодание. Значит, необходимо принять меры. Суоффилд готов был подвергнуть своих гостей (и себя тоже) любым неудобствам, лишь бы не менять строительного плана празднества. Но все-таки совсем морозить их не годилось. Это отвлечет влиятельные умы от главного, ради чего все устраивается. Действовать, действовать. И Суоффилд послал за таким количеством пледов, что их более чем хватило бы для всех шезлонгов на прогулочной палубе океанского лайнера. Между деревьями расставить электрокаминны. Держать в резерве горячие напитки.

Прогноз погоды не подвел. Врагам не придется злорадствовать. Дождя не будет. Суоффилд почувствовал, что к его прежним триумфам прибавился еще один, и им овладела безудержная радость — верх снова остался за ним. В девять двадцать, облаченный во фрак, он стоял в гостиной, которую озаряли лучи заходящего солнца. Впечатления безупречной элегантности он не производил. Фрак не слишком сочетался с короткими могучими ногами. Но гостей он приветствовал с безупречной светскостью. Дженни, которая приехала рано, никогда еще не видела его таким.

— Добрый вечер, дорогая Дженни, как мило, что вы приехали.

Ни насмешки, ни толчка локтем, ни объятий.

— Добрый вечер, лорд Лоример, очень любезно с вашей стороны, что вы приехали. Очень рад вас видеть.

Пока собственный дворецкий Суоффилда при содействии вспомогательных дворецких, нанятых на этот вечер, рассаживал гостей за столиками в патио, безупречная светскость была всего лишь раз чуть заметно нарушена. Когда одним из последних вошел Мейнерцхаген, Суоффилд поздоровался с ним по всем правилам хорошего тона, но потом удержал возле себя.

— Я хочу вам кое-что показать, — сказал Суоффилд.

Они прошли в дальний конец гостиной и посмотрели в патио на диагонали столиков, на фонари, отнюдь не карнавальные, которые матово светили с каждого второго дерева, на прозрачное, не совсем еще ночное небо в вышине. Суоффилд указал на группу гостей.

— Вы их знаете?

Мейнерцхаген взвесил этот вопрос.

— Насколько помнится, нет.

— Это дочка лорда Хилмортон. А он считается ее женихом. И его мать. Те, кто проиграл это дело о завещании Мэсси.

— Ах так.

— А вон тех двоих в углу видите?

Мейнерцхаген умудренно сказал, что узнает лорда Лоримера.

— А женщина с ним — это та, которая выиграла дело.

— Ах так.

— Я сумел собрать их всех под одной крышей.

Суоффилд произнес это со скромной гордостью третьего секретаря посольства, который убедил арабских и израильских делегатов сесть за стол совещания и не видит в этом никакой своей заслуги. Мейнерцхаген издал благожелательное хмыканье. Выразить удивление он не мог, ибо Суоффилд заранее оповестил его, что вечер устраивается отчасти и с этой целью.

— А тяжба все-таки продолжается. Очень, очень жаль, — сказал Суоффилд. —

И все ведь желали бы, чтобы они пришли к полюбовному соглашению без лишнего шума. Мы сделали что могли. Но этого оказалось недостаточно.

Мейнерцхаген благодарно кивнул. Как один человек доброй воли другому человеку доброй воли. Он не осуждал Суоффилда за эту отредактированную версию прошлых событий. Он привык иметь дело с политическими мужами, которые вели себя так, словно были от природы лишены памяти. Если бы все запечатлевалось на камне, жить было бы куда труднее.

Вскоре квартет приступил к выполнению своих обязанностей. До ушей тех, кто сидел в патио, донеслась музыка Вивальди. Глухой наблюдатель решил бы, что присутствует на обычном и, пожалуй, даже приятном лондонском вечере. Для избранных, любящих музыку (Шиф, Джулиан Андервуд, Симингтоны, Мейнерцхаген, Дженни — примерно половина гостей), он вскоре стал более чем приятным, а для других, для козлиц в противовес агнцам (Лиз, Розалинда Шиф, Клэры — словом, для второй половины), он утратил какую бы то ни было приятность. Агнцы наслаждались. Козлица терпели. И под рассыпающиеся звуки мучились предчувствием, что терпеть им предстоит очень долго. Тут же выявился еще один — правда, довольно прилизительный — признак различия: любители музыки блаженно довольствовались шампанским, прочие же подкреплялись напитками куда более многоградусными. До начала музыки Лиз предусмотрительно запаслась третьим бокалом джина, и теперь он стоял перед ней на столике, обещая хоть какое-то утешение.

Всему приходит конец, в том числе и произведениям Вивальди. Бурные овации — не только рукоплескания, но и восторженные крики. Квартет появился из глубины гостиной и снисходительно раскланялся. Новые восторженные крики.

— Нет, они правда играли божественно, — сказал Джулиан с искренней детской радостью.

— Да? — отозвалась Лиз.

Перерыв. Гости встали из-за столиков. Кое у кого застыли ноги. Джулиан, словно осененный озарением, вновь с детской радостью, хотя далеко не с таким простодушием, сказал:

— Ну а теперь пора представиться миссис Рэстал.

— Нет-нет, — сказала Лиз.

— Да-да, — сказал Джулиан. — Упустить такую возможность?

Лиз не умела предотвращать его злокозненные выходки. Да и не хотела, хотя и стыдилась своей покорности.

Джулиан повел ее в противоположный угол, где Дженни и Лоример по-прежнему сидели за своим столиком. Дженни, хотя и была в платье с короткими рукавами, словно не чувствовала холода. Лоример задрапировался в плед и выглядел, как английский офицер, прикомандированный к партизанскому отряду бедуинов.

— Разрешите представиться. — И Джулиан, сияя безыскусственной улыбкой, с изящной непринужденностью назвал себя и Лиз. Затем, все еще безыскусственно улыбаясь, он добавил: — У нас ведь есть кое-что общее, не так ли?

Его широко распахнутые невинные глаза не дрогнули под пронизательным взглядом Дженни, и, подобно многим другим, она не нашлась, как ответить на его каверзную выходку, для которой они с Лоримером позже отыскивали много куда более хлестких названий.

— Здравствуйте, — сказала Лиз, обращаясь к Дженни.

— Здравствуйте, — сказала Дженни.

Возможно, Лиз старалась как-то извиниться, но у Дженни не было ни малейшего желания что-либо прощать. Она думала, что Лиз — бездушная, наглая женщина и выглядит старше своих лет. А Лиз подумала, что Дженни выглядит хитрой и сварливой, но великодушно признала, что глаза у нее все-таки красивые. До этого вечера они видели друг друга только в суде, и теперь между ними на мгновение возникло... нет, не расположение, не понимание и не симпатия, а то необъяснимое желание узнать друг друга поближе, которое электрической искрой иногда вспыхивает между врагами.

— Все это, право же, недурно, — сказал Джулиан, точно сидя во главе праздничного стола. — А жаль, что они не повторили последнюю вещь.

— Они играли очень хорошо,— ответила Дженни сухо.

— А вам понравилось, лорд Лоример? — Угасить непосредственность Джулиана было не так-то просто.

— Я плохо разбираюсь в серьезной музыке,— ответил Лоример.

— Какой дивный вечер! — сказал Джулиан, снисходительно потрепав по плечу ночное небо.

Но июльский вечер и в самом деле был тих и безмятежен. Только температура опустилась заметно ниже десяти градусов. Впрочем, ветер стих, и холоднее не стало. Сквозь электрический ореол ночного Лондона просвечивали звезды.

Лоример сказал, обращаясь к Дженни:

— Пожалуй, нам следует пойти чего-нибудь выпить.

— Да, конечно,— откликнулась Дженни.

— Ну что же,— сказал Джулиан.— Было очень приятно познакомиться. И в ближайшем будущем мы ведь будем поддерживать некоторые отношения, не правда ли?

Лиз и Дженни сдержанно кивнули друг другу. Но когда Джулиан и Лиз отошли, Лоример не повел Дженни чего-нибудь выпить, а проворчал, что этот тип слишком уж скользок и ему не понравился.

— А мне, вы думаете, понравился? — раздраженно бросила Дженни.

Клавесинист начал играть Перселла. И вновь невидимый водораздел, духовное наслаждение и так далее. Лиз ощущала, что следующий перерыв никогда не наступит. Суоффилд ощущал, что все идет строго по плану. Снова вторгаться в высшие сферы пока не следовало. А потому, не ускоряя событий, он во время следующего перерыва позволил себе поохотиться на дичь помельче.

В эту же минуту наблюдательный Азик Шиф, от чьего внимания не укрылась недавняя атака на Дженни, решил, что ее следует оградить от новых нападений, и направился с женой к ее столику. Гогот Джулиана раздавался где-то неподалеку, а его мать на время осталась одна. Ее-то и наметил в добычу Суоффилд.

— Надеюсь, вы получаете удовольствие,— сказал он, останавливаясь возле нее.

— Огромное, ах, огромное, мистер Суоффилд.

— Мы ведь с вами уже встречались.

— Да, конечно. Ну разумеется.

Суоффилд никогда не забывал, а теперь припомнил особенно живо, как она однажды облила его презрением на званом обеде, хотя, возможно, это было лишь порождением его мнительности, которое затем обрело реальность факта. Но какова бы ни была истина — а установить ее теперь не мог бы никто, — миссис Андервуд давно забыла об этой встрече с Суоффилдом в его не столь блистательные дни. Она не отличалась особой сложностью натуры и готова была оказывать всяческое уважение богатому человеку, и к тому же человеку влиятельному, водящему знакомство с членами кабинета. И, восторгаясь его вечером, она, хотя принадлежала к немусыкальной части гостей, вовсе не кривила душой. С ее точки зрения, общество было самым избранным — она уже много лет не получала подобных приглашений и теперь от души наслаждалась.

Суоффилд сел рядом с ней.

— Как поживает ваш сын?

— Благодарю вас, мистер Суоффилд, прекрасно.

— А когда он думает жениться на этой девице?

Когда Суоффилд включался в полную мощность, мало кто способен был ему противостоять, и миссис Андервуд не составляла исключения.

— О, очень скоро. Так мы все надеемся. Но есть, конечно, некоторые затруднения, они же не дети, вы понимаете...

— Какие затруднения?

— Ну, во-первых, деньги, это ведь так обычно. И...

— И что?

— Как мне порой кажется, они, быть может, не вполне уверены, что подходят друг другу.

— А по-вашему, они подходят?

— Да, я надеюсь. От души надеюсь.

— Вы считаете, что это будет хорошо?

— Могу сказать только: надеюсь, что так. Разумеется, ему пора уже обзавестись семьей. И, конечно, она на редкость волевой человек.

Суоффилд, если только он не буйствовал, бывал пронитательнее многих. За эти несколько минут он узнал то, о чем Лиз лишь смутно подозревала: миссис Андервуд терпеть ее не могла. Бесспорно, миссис Андервуд должна была возненавидеть любую женщину, которая завладела бы ее сыном, хотя по велению долга и совести сама уговаривала его жениться. Так бывает постоянно. Но вдобавок Лиз была противна миссис Андервуд сама по себе. Вероятно, решил Суоффилд, она даже не знает, насколько сильна ее ненависть, или вообще отказывается признаться себе в этом чувстве.

Суоффилду нетерпимо захотелось вмешаться. Эти люди встали ему поперек дороги, они причинили зло Дженни, которой он симпатизировал. А главное, он обо-жал вмешиваться. Как правило, ради того, чтобы обеспечить людям счастье, чаще всего в любви,— так ему казалось. Но он бывал не прочь устроить и нечто сугубо противоположное, а этот треугольник прямо-таки напрашивался, чтобы его расколо-ли. У него, правда, не оставалось лишних сил для таких побочных развлечений, но поспековать эту мысль было приятно.

— Может быть, он заинтересовался кем-то еще? — сказал Суоффилд.

— Полагаю, это могло бы случиться...

Суоффилд встал.

— А почему вы думаете, что этого уже не случилось? — спросил он, как бы остерегая и ободряя ее на прощанье.

Этот перерыв был особенно длинным — он несколько затянулся, потому что музыканты вышли пройтись по патио. Тем временем два очень высокопоставленных лица — даже по сравнению с Мейнерцхагеном — прогуливались между лаврами. Они беседовали о пианисте, которому предстояло играть в заключение, в то время чуть ли не самым знаменитом в мире. Но говорили они не о тонкостях его исполнения, а о том, сколько ему платят, точнее о том, во что, даже помимо гонорара, обошлось Суоффилду привезти его из Нью-Йорка и принять в Лондоне. Они произвели примерные подсчеты и получили весьма высокие цифры, которые, правда, несколько не дотягивали до истинных.

— Должен сказать, — сказал один, — что этот Суоффилд отлично нас принимает.

— Если хотите знать мое мнение, — сказал другой, — это с его стороны очень любезно.

Дженни, услышав их, пришла бы в кощунственный восторг от такой сугубо английской фразы. Однако вскоре она уже снова слушала музыку и испытывала во всем иной восторг. А вернее, совсем иное чувство. В первой половине концерта музыка сладко возбуждала ее, теснее приобщая к милому, смертному, привычному миру. А Бах дарил и это и большее. Одна несказанная радость. Дженни не пыталась определить ее. Она размышляла о том, что, умей она умиленно верить, у нее в жизни случались бы подобные минуты. Она не замечала ни прозрачного ночного неба, ни здесь, на земле, тех, кто сидел вокруг, ни закутанного человека рядом с собой, которого она столько времени дразнила своим равнодушием. Она была отделена от них всех — отделена и слита с ними.

Тем не менее, вспоминая эти мгновения (они длились недолго) как огромное счастье, она вспоминала их неверно. Ей казалось, что решение, которое складывалось у нее в последнее время, а на этом вечере определилось и укрепилось, что оно стало ясным и четким именно тогда, когда на нее нахлынула эта радость. На самом деле все было иначе. Дженни нравилось думать так, и она благодарила судьбу за этот вечер. На самом же деле она с веселой бодростью вспомнила о своем решении, только когда музыка отзвучала. А в те мгновения она (что бывает редко не только с людьми житейски практичными, вроде нее) пребывала где-то, где нет ни выбора, ни решений, где-то вне царства воли. Хотя сама она сочла бы такое выражение вычурным, и, возможно, с полным на то основанием, но про нее можно было ска-зать, что она сбросила оковы времени.

В конце лета доктор Пембертон получал регулярные сводки о состоянии Хилмортона. Их сообщал ему знакомый врач из той больницы, где Хилмортон прошел первое обследование,— вопреки тому, что он говорил Седжвику, вопреки желанию его отвезти именно туда. Впрочем, он почти не возражал: он теперь редко бывал в полном сознании и уже не был способен на чем-нибудь настаивать.

Болезнь после весеннего затишья начала прогрессировать быстрее, чем предполагал Пембертон. Выслушивая сводки, он думал, что конца, по-видимому, ждать уже немало. За развитием болезни Хилмортона он следил теперь так, словно это был просто еще один клинический случай. Все это он уже не раз наблюдал. Имелось, правда, два-три любопытных момента. Опухоль мозга росла необычно быстро. Иногда Пембертон думал, что сам он предпочел бы умереть по-другому, и эта мысль была единственным проблеском более или менее человеческого чувства.

Рассудок, еще ясный в марте, внезапно угас. Как было бы мучительно, если бы существовала черта, на которой пациент был способен осознать, что с ним происходит. Кому понравится постепенно впадать в маразм, думал Пембертон. Паралич захватывал все новые области. Пациент становился все более беспомощным. Он уже не способен был справиться с уткой. И все чаще повторялись периоды затрудненного мочеиспускания. Боль, катетеры, обычные меры, обычный уход. Нарастающие боли в спине и тазе.

Пембертон не знал, можно ли научно определить, действительно ли боль при такого рода смертельных болезнях превосходит, скажем, зубную, но одно было несомненно: страх делает ее гораздо более нестерпимой. Пембертону приходилось слышать, как люди, привыкшие к сдержанности не менее Хилмортона, в подобном состоянии кричали в голос не умолкая. Болеутоляющие каждые четыре часа. Но Хилмортону они плохо помогали, его нервная система оказалась исключительно устойчивой. В конце концов ему дали средство, которое смягчало боль, но под его воздействием он пускал слюни, хихикал и бормотал что-то бессвязное, точно старый пьянчуга в припадке безудержного веселья.

Прежде Хилмортон, вероятно, соблюдал достоинство. Но такая смерть ни с каким достоинством несовместима. Пьяно хихикать на смертном одре! Для себя Пембертон унижительных положений не терпел, но если бы он был лечащим врачом, то и сам предписал бы это средство.

Три-четыре месяца, не больше, решил он. Надо заняться кое-какой бумажной работой. Он не собирался тянуть со вступлением в свои права, пусть они в наши дни немного стоят. Никаких проволочек. Его отец питал страсть к геральдике, как нередко бывает с теми, кто жаждет известности, но может рассчитывать только на знатных предков, действительных или воображаемых. И он рисовал фамильные древа с тщанием человека, мечтающего быть принятым при дворе Габсбургов. Или же обаятельного желанием доказать, что он ведет происхождение от женщины, с которой переспал герцог Веллингтон.

Эти древа Пембертон проверил в геральдической коллегии. Все было абсолютно точно. Старшая линия рода больше не имела представителей мужского пола. Да и Хилмортон, хотя мысль о подобном наследнике была ему противна, в законности его прав не сомневался. Против его фамилии в справочнике «Кто есть кто» значилось, в частности: «Наследник: дальний родственник д-р Томас Пембертон Ч. К. Т. К., Ч. К. Х. К.».

Тем не менее формальности соблюсти было необходимо. Несколько раз по вечерам в августе и сентябре Пембертон, профессионально выслушав сводку из больницы — они поступали обычно раз в неделю,— шел к себе в приемную и садился за бумажную работу. Он не любил бросать деньги на ветер, а потому приемная выполняла еще и функции кабинета, как он сам — функции собственного секретаря. Никакой склонности к литературным упражнениям у него не было, но зато он отличался аккуратностью и методичностью, его громоздкая фигура высилась над столом, а перо нанизывало бисерные буквы. Затем эти черновики перепечатывались на машинке, его могучие боксерские руки ложились на клавиши точно и легко.

Документы были собраны и разложены по папкам: выписки из генеалогических справочников Дебретта и Бэрка, снабженные соответствующими ссылками, с приложением фотокопий семейной переписки, а также метрик его деда, его отца и его самого.

В сентябре все было готово, и однажды вечером (в начале этой недели он услышал, что состояние Хилмортонa остается прежним) он сначала написал, а затем перепечатал письмо, адресованное лорду-канцлеру в его канцелярию. Письмо гласило:

«Любезный лорд-канцлер!

Прилагаю документы, подтверждающие мое право на титул графа Хилмортонa и прочее ввиду кончины последнего его носителя, о каковой было недавно объявлено. Документы эти говорят сами за себя и подтверждают, что: а) я прямой потомок по мужской линии первого носителя хилмортоновских титулов и б) все старшие линии, к нему восходящие, в то или иное время прекратили свое существование. Я был бы весьма обязан, если бы вы утвердили эти доказательства в скорейшее удобное для вас время, с тем чтобы выдать мне Королевский Рескрипт.

Искренне ваш...»

Пембертон перечитал письмо с самодовольством автора, получившего верстку первой своей книги. Точно по форме, деловито по содержанию. Он гордился своей способностью находить наилучшие рекомендации для любого положения, в какое может попасть человек. Но подписался он не сразу. Титул перейдет к нему мгновенно, едва предыдущий лорд Хилмортон испустит дух. Подписать ли «Хилмортон» или лучше поставить просто «Томас Пембертон»? Против обыкновения он не знал, на что решиться. В нем шевельнулось суеверное опасение. Всякий, кто поддался бы подобному чувству, не вызвал бы у него ничего, кроме презрения. Но тем не менее в конце письма он твердой рукой вывел привычную подпись.

Теперь в письме было все, кроме даты. С этим приходилось обождасть.

Бережно, осторожно он уложил письмо, документы в большой конверт и в папку, которую затем спрятал в специальное отделение в глубине картотечного шкафа. Завершив эту операцию, он задвинул панель и с чувством неясного торжества повернул в замочке маленький ключ — дело сделано!

Примерно через три недели после того, как предварительная подготовка была благополучно закончена, его коллега сообщил ему по телефону:

— Финиш, по-видимому, уже близок.

— С такого рода раком никакой уверенности быть не может, — сказал Пембертон.

— Но тут, пожалуй, все уже ясно.

— Какие-нибудь изменения?

— Теперь их уже быть не может, так ведь?

— Он мог бы и не протянуть столько. Редкая жизнеспособность.

Его собеседник сказал:

— Люди нередко борются очень долго. Дольше, чем представляется вероятным.

И вовсе не те, от кого этого ждешь.

— Ну, он борется, а толку-то что?

— Конечно, он ничего теперь не чувствует. Этот последний препарат, как вам известно, довольно-таки сильная штука.

Пембертону это было известно. Врачи сделали все что могли в пределах, допускаемых законом. Они облегчили положение пациента, насколько его можно было облегчить. Хихикать на пути к смерти. Оставаться бесчувственным на пути к смерти. В этом нет никакого величия. Но, быть может, есть человечность. Пембертон верил тому, что говорил ему рассудок, а теперь рассудок сказал ему, что этот заключительный путь был верен.

В этом же сентябре Дженни мучилась досадливым нетерпением и все же чувствовала себя очень счастливой — эти настроения объединялись и сосуществовали потому, что наступало время действовать. Однажды днем, как раз в ту неделю, когда

Пембертон выслушал последний бюллетень о состоянии Хилмортона, она беззаботной походкой юной девушки (и в царстве смерти нас осеняет жизнь, как мог бы заметить какой-нибудь заоблачный доктор Пембертон, которому ведомы все переплетения людских судеб) шла по Филбич-Гарденс, направляясь к одной из своих подопечных. Теперь она посещала их после обеда, закончив утреннюю работу в суоффилдовской конторе. Сегодня ей предстояло навестить любимицу — очень старую даму, которую она всегда почтительно называла мисс Смит.

Мисс Смит привстала, здороваясь с Дженни. Ее единственная комната по размерам была такой же, как у Дженни, но загромождена всевозможными безделушками — открытки на каминной полке, фотографии по всем стенам, миниатюрные соборы святого Марка и святого Петра, Тадж-Махал и Кельнский собор на этажерке. Мисс Смит было далеко за восемьдесят, но спина ее оставалась прямой, а глаза сохраняли живой блеск. В свое время она учительствовала, чем объяснялись почти все фотографии и все открытки. Говорила она высоким внятным голосом с культурными интонациями (они, как улавливал опытный слух Дженни, свидетельствовали скорее об образовании, чем о принадлежности к высшим классам), и слушать ее было приятно.

— Здравствуйте, дорогая моя.

— Вы отлично выглядите,— сказала Дженни.

— А как ваши неприятности?

Мисс Смит не только не искала сочувствия, но всегда сама его предлагала. Дженни, которая постоянно с неодобрением наблюдала, как люди предаются жалости к себе, одобряла подобную независимость и только надеялась, что сумеет сохранить такую твердость духа, если доживет до этих лет. Под «неприятностями» мисс Смит подразумевала апелляционную жалобу. Она с неусыпным вниманием следила за процессом с самого его начала.

— Слушанье наконец назначено. В этом полугодии,— сказала Дженни.

— То есть до рождества, так ведь?

— Совершенно верно.

— Я так за вас рада. Большое облегчение, что все наконец уладится. И, конечно, все будет хорошо.

— Да, наверное,— ответила Дженни. Она совсем недавно узнала, что разбор апелляционной жалобы назначен и ждать уже недолго. Но чувствовала она себя счастливой и готовой к действию совсем не поэтому.

От мисс Смит мало что ускользало, и зная, что у Дженни имеются знакомые в палате лордов, она с удовольствием побеседовала бы о них. По двум совершенно разным причинам Дженни постаралась избежать этого разговора. Во-первых, мисс Смит любила рассуждать о политике, и ее взгляды несколько смущали Дженни, хотя сама она была в достаточной мере консервативна.

Мисс Смит жила на крохотную пенсию, которую выплачивала частная школа (Дженни не осмеливалась спросить, почему она не захотела получать пенсию по старости,— из гордости?). Она была бы в восторге, если бы кучка людей продолжала владеть сказочными богатствами, но при условии, что подавляющее большинство станет еще беднее — предпочтительно намного беднее, чем прежде.

Эти желания мисс Смит умела сопрягать с самой высоконравственной праведностью, и когда она их высказывала, разговаривать с ней было не слишком приятно. Дженни чувствовала себя неловко. Все это было слишком уж близко к ее собственным инстинктивным склонностям. Последние два года она была вынуждена постоянно выслушивать противоположные взгляды. Как-то Симингтон сказал при ней, что лорд Клэр забирает вправо круче самого Николая Первого. И она не могла не признать, что мисс Смит забирает вправо даже круче лорда Клэра. Они с Лоримером ничего изменить не могли да и не хотели, но оказаться попутчиками лорда Клэра? Нет уж, увольте.

Гораздо приятнее отвлечь мисс Смит от щекотливых тем и послушать ее рассказы о бывших учениках. Эти рассказы никакого неловкого чувства не вызывали. Мисс Смит была прекрасным наблюдателем: она живо интересовалась их браками, детьми, разводами, любовными делами. Интерес этот не имел ничего общего с жадным вынюхиванием или смакованием. Слово пришелец с другой планеты, думала Дженни, кото-

рый изучает повадки людей с научным проникновением, но не принимает к сердцу их дразги и ни к чему себя не примысливает. Совсем как Джейн Остин, которая, по мнению Дженни, обладала всей наблюдательностью, какой только может обладать тот, кому сексуальное чувство неизвестно вовсе.

Дженни давно уже решила про себя, что олимпийское спокойствие мисс Смит за всю ее долгую жизнь ни разу не было хотя бы слегка смущено реальным знакомством с сексуальным чувством. Она ни в малейшей степени не была мужененавистницей, а тем более лесбиянкой, как могло бы представиться людям, склонным к поспешным выводам. Просто ей не довелось полюбить мужчину. Каким-то образом она оказалась выше всего этого, вернее, не выше, а в стороне, в безопасности. Но несчастной она не стала. Наоборот, насколько могла судить Дженни, мисс Смит была счастливее многих и многих. Конечно, сама она на ее месте вряд ли ощущала бы себя счастливой, но ведь она не была мисс Смит, а та не раз ей говорила, что хорошо прожить жизнь можно по-разному.

Считать ли, что на долю мисс Смит выпала особая удача? Может быть, подобный темперамент — великий дар судьбы? Когда Дженни вышла с Филбич-Гарденс, где деревья уже роняли желтые листья, она, как много раз прежде, перебирала в уме эти вопросы. Но так продолжалось недолго. На нее нахлынули другие мысли — одни приятные, другие не вполне ясные, но все так или иначе связанные с действиями, которые предстояло предпринять в ближайшем будущем. Никакой риск, никакие разочарования не заставили бы Дженни пожалеть, что она не может поменяться местом с мисс Смит или с любым из тех, кто предпочел держаться в стороне от битвы.

Она возвращалась домой, и Эрлс-Корт-роуд громко шуршала у нее под ногами: и первые осенние листья, но куда больше вездесущей лондонской бумаги — смятые пакеты, газетные листы, клочки и обрывки. Однако для Дженни в этом месяце даже замусоренные улицы были исполнены надежд и обещаний — сквозь острые кухонные запахи пробивался легкий первозданный запах соседнего парка, извечный томительный запах осени. Никто не назвал бы эти улицы прекрасными, но проходя по ним в этот сентябрьский день, она проникалась бодростью и энергией.

Дженни размышляла о замужестве. Ей нравилось верить и тогда и после, что решение она приняла в тот вечер в патио Суоффилда под напоенные радостью звуки Баха. Ей нравилось думать, будто в те минуты она внезапно поняла, что им с Лоримером следует пожениться.

Но само собой разумеется, что это решение, как и все ему подобные, созревало уже давно — может быть, незаметно для нее, а может быть, даже и заметно. Дженни, однако, обладала той мудростью, которая далеко не всегда рабски считается с историческими фактами. Вопрос о замужестве был очень важным, и если некоторая позолота, приукрашивание или редакторская обработка могли сыграть полезную роль — что же, ее память умела приспособиться и к такому варианту.

А кроме того, она обладала еще одним особым чувством, тоже своего рода мудростью, которое подсказывало ей, о чем думать не надо. Она привязалась к Лоримеру — об этом можно было думать. (А что, если ты привязываешься к человеку только потому, что одинока и часто с ним видишься? Это подозрение было немедленно подавлено.) Он абсолютно честен, порядочен, на него можно положиться. (При первом знакомстве он показался ей скучным, почти невыносимо скучным. Из-за него солнце не светило ярче, он не был для нее источником радости. Но чем меньше она будет ворошить это, тем лучше. Только циники, а вовсе не реалисты все двадцать четыре часа в сутки выискивают в жизни самое скверное.)

Куда приятнее бывать в гостях не одной, а с кем-то. Ходить повсюду одной не слишком полезно для самоуважения, особенно если его и без того мало. (Блеска от него ждать нельзя, он будет нем и неприметен в сиянии суоффилдовских звезд. Ну и пусть. Б нем есть своеобразная внушительность, люди относятся к нему с уважением, она сама видела, вот и достаточно.) И носить титул тоже очень приятно: было бы лицемерием делать вид, будто ей это безразлично. (Если апелляционный суд вынесет решение не в ее пользу, они будут бедны, очень бедны — их общий доход, пожалуй, окажется меньше жалованья опытной секретарши. Разве что Суоффилд что-нибудь для них сделает. С другой стороны, она привыкла к бедности, а сидеть на галерее, куда до-

пускаются только супруги пэров, и получать письма, адресованные леди Лоример,— в этом есть своя прелесть, кто бы что ни говорил.)

Надо его подтолкнуть. Сидя в своей аккуратно прибранной комнате, она так себе и сказала. Времени терять нельзя. Все необходимо кончить до заседания апелляционного суда. В этом отношении опасно было не проиграть дело, а выиграть его. Тогда все станет зыбким: в характере Лоримера было слишком много неожиданной застенчивости, гордости, даже высокомерия, и она понимала его вовсе не так хорошо, как ей казалось вначале. Если она получит наследство, ее замужество, несомненно, привлечет внимание газет, и это его отпугнет или послужит ему удобным предлогом вновь замкнуться в одиночестве, в самом себе.

Надо его подтолкнуть. Нет, не на то, чтобы он сделал предложение, как могли бы подумать посторонние. Тут его не нужно было ни улещивать, ни ободрять, ни провозировать. В течение последних месяцев он не раз и не два был уже совсем готов заговорить. Но она из-за... из-за чего? Нерешительности? Своего рода щепетильности? Как бы то ни было, она предупреждала его попытки, уклонялась от объяснения. Теперь время нерешительности прошло. Она хочет выйти за него. Но пойдет она за него, только если будет получать и давать радость в постели.

И опять-таки Дженни инстинктивно знала, о чем думать не следует. Нет, она вовсе не занималась тем, что постоянно рассчитывала в уме эротические шансы, удовольствие это скорее было свойственно Лиз. Она думала об этом ровно столько, сколько требовалось для практических целей, хотя иногда и предавалась чему-то вроде туманных девичьих грез. Она еще не дошла до того, чтобы вступить в брак только ради чьего-то общества, только чтобы было с кем пойти в гости, нет, это пока еще не для нее. Конечно, она не строит особых иллюзий, но и не отказывается от надежд. С какой, собственно, стати?

А потому она намеревалась выйти за Лоримера не раньше, чем они привыкнут друг к другу в постели (с необычной уверенностью она не сомневалась, что тут все будет хорошо). Вся жизнь она страдала от своей застенчивости, но в этом отношении, как ни странно, ощущала себя куда увереннее многих женщин. Для нее в плотской любви не таилось никаких особых трудностей. В подавляющем большинстве мужчины, как бы ни были они, по ее выражению, «скованны», способны испытывать наслаждение. А ей в ее не слишком удачной жизни выпала одна большая удача: она обладала тем особым темпераментом, который позволяет находить наслаждение — реальное, чувственное, действенное,— помогая партнеру обрести его. Быть может, ей повезло даже больше, чем она сознавала. Признанные красавицы нередко бывают полностью лишены этого чувства и сами не понимают, почему они так несчастны. Но как бы то ни было, Дженни знала за собой это свойство. Не могла не знать. И поймала себя на внутренней веселой усмешке: какой бы план действий она ни придумала, в любом случае можно рассчитывать на этот козырь.

Но придумать план действий оказалось далеко не просто. Она не хотела, чтобы Лоример сделал ей предложение — во всяком случае, теперь. Надо было избежать объяснений и споров, которые могли его только отпугнуть. А в роковые соблазнительницы она не годилась. Для этого ей не хватало элементарной расчетливости. К тому же для соблазнения требуются двое, он же безусловно в эту игру играть не умеет. Взять всю предварительную подготовку на себя она не могла, а без этого невозможно было подтолкнуть его на дальнейшее.

Но все устроилось само собой. Произошло что-то вроде недоразумения (собственно, лишь по видимости), и она сумела им воспользоваться. Ей помогло то, что она уже давно дождалась чего-нибудь подобного.

Случилось это как-то вечером недели через две после ее визита к мисс Смит. Сентябрь еще не кончился, и после ненастного лета погода стояла удивительно теплой. Настолько, что, выйдя из пивной на углу Лупес-стрит, куда Дженни выгнала Лоримера выпить, они решили прогуляться вокруг площади Сент-Джордж. В скверике над рекой они сели на скамью неподалеку от статуи Хаскинссона², облаченного — несколько не по эпохе, поскольку его задавил паровоз,— в тогу римского сенатора. Близился

² Английский политический деятель (1770—1830).

закат. В тихом воздухе жужжали насекомые и слышался даже комариный писк — большая редкость для Лондона в любое время года. От реки тянуло обычным запахом гниения и нефти — впрочем, есть люди, которые находят его возбуждающим.

Дженни заметила, что Лоример говорит даже еще более отрывисто, чем обычно, — когда он впадал в такое состояние, клочки его фраз рассыпались без всякого порядка. Внезапно он сообщил ей, что прежде от Темзы пахло много хуже. В середине прошлого века все окна в парламенте как-то пришлось завесить полотенцами, намоченными карболкой, но и это не помогло: пришлось отменить заседания.

Дженни погрузилась в безмятежный покой, ничего не ожидая, наслаждаясь черным светом, который ретушировал их лица. Ей хотелось рассеять его напряженность, чтобы разделить с ним эти минуты бездумной легкости.

— Ну и пусть, Джарви, — сказала она весело.

(Старшим сыновьям в роду Лоримера традиционно давали имя Джервис — произносится Джарвис — в честь адмирала, первого лорда Лоримера. Те, кто по-дружески называл его Питером, первым из его имен, несмотря на всю сердечность тона, допускали некоторую нетактичность. Даже Хилмортон вопреки обычной своей скрупулезности совершал тот же промах.)

— Этого же больше не случится.

— Пожалуй.

— Ну а если бы и случилось, так вам просто представился бы удобный случай пропустить еще несколько речей, верно?

Он невольно усмехнулся, показав неровные зубы. А секунду спустя тем же отрывистым тоном, каким сообщил ей сведения о Темзе в XIX веке, он произнес:

— Я все думал.

Дженни насторожилась.

— Я все думал. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы.. объединить силы.

Она смотрела на него, на мгновение растерявшись.

— Если вы не против. То есть подумайте. Если бы нам объединить силы.

Ее красивые глаза расширились. С раздражением, без всякого умиления и даже не вполне это сознавая, она смигнула нежданную слезу. Ну конечно, как еще он мог бы сделать предложение? Позже ее мучила совесть, потому что она была вынуждена понять его неверно. Но в то мгновение их жизни казалось только естественным и ничуть не стыдным прикинуть, как обратить это на пользу им обоим, что предпринять. Едва она услышала первые запинаящиеся слова, как принялась стремительно думать, а вернее — ведь все уже было обдуманно — стремительно чувствовать.

— Отличная мысль, — сказала она деловито и бодро. — Просто отличная. Если я поселюсь у вас, это позволит нам обоим намного сократить расходы. И чем скорее, тем лучше.

— Я хотел сказать: как вы отнесетесь к тому, чтобы объединить силы?.. Вам надо подумать...

— О чем, собственно, мне раздумывать? Не надо ничего усложнять. Послушайте, мой мальчик (она часто прибегала к этому обращению вместо нежных слов — оно лучше на него действовало), сейчас не время что-нибудь усложнять. У нас нет никакой необходимости торопить события. Ни малейшей. Вы ведь не хотите, чтобы вас торопили? И я тоже. Я перееду, как только соберусь. А тогда мы переведем дух и осмотримся.

Она знала, что рискует, — и окончательно в этом убедилась, когда настояла на своем. Он был упрям. Несмотря на свою косноязычность, а может быть, как раз из-за нее он сопротивлялся всякой опеке. Дженни даже не была уверена, действительно ли она ему нужна. Тем не менее ей удалось найти тон, который хотя бы на этот вечер и несколько следующих дней обеспечил определенную устойчивость и успокоил Лоримера. Домашние хлопоты оказались прекрасным средством от неловкости и напряжения. Он явился помочь ей в Бэрем-Гарденс, составлял списки, по-домашнему обсуждал ее «имущество» — как и у него, две-три вещи были довольно ценными — и помог отнести их в машину. Она с удовольствием заметила, что он гораздо сильнее, чем кажется.

Но одно обстоятельство осталось известным только ей. Она не привыкла опастаться принятых решений. В отличие от Джулиана или Лиз она ничего не боялась слазить и не прибегала к суеверным уловкам. За всю свою жизнь она ни разу не плюнула через левое плечо даже в переносном смысле. Но теперь она совершила нечто подобное. Расходы на ее крохотную квартирку были невелики, но все же очень чувствительны для ее бюджета. Она не собиралась туда возвращаться. И тем не менее, никому в этом не признавшись, она даже не попробовала ее кому-нибудь сдать. А вдруг ей все-таки придется вернуться?

31

Мать и сын Андервуды ехали на такси в контору Скеддинга, как ровно два года назад ехали туда же, чтобы присутствовать при оглашении завещания. Та же самая неделя в октябре, с одной только разницей: теперь было еще утро, а не вторая половина дня, как в тот раз. Джулиан словно бы извлекал из этой параллели неизъяснимое удовольствие.

— Два года! — воскликнул он так, будто величая медлительность английской судебной процедуры делала честь лично ему. — Нет, ты только представь себе! — продолжал он.

Как ни любила миссис Андервуд сына, его несокрушимая беспечность порой выводила ее из себя. День за днем она старалась подметить хоть какие-нибудь признаки того, что предстоящий разбор апелляционной жалобы вызывает у него беспокойство, и не видела ничего. Обычно он сердил ее нелепыми заботами о своем драгоценном здоровье или нелепыми опасениями, что поезд уйдет без него. Теперь же, когда причина была по-настоящему важной и ее снедала тревога, человек, который словно бы и не знал, что это такое, не мог не вызвать у нее раздражения, пусть даже это был Джулиан.

Она надеялась, что их ждут хоть какие-нибудь новости, — любые пустяки были все-таки лучше, чем совсем ничего. А он отмахивался от этой возможности и разговаривал так, словно ожидал какой-то очередной великой удачи, нового доказательства, что все в мире более чем благополучно.

— Как знать, — сказал он, когда они вышли из дому. — Вдруг мы услышим нечто для нас небезвыгодное — ведь старикан Скеддинг выразится именно так, не правда ли?

Он сказал это с блаженным простодушием. Те, кто знал его лучше, чем мать, — например, Лиз — могли бы сообщить ей, что в случаях, когда нужно было действовать, он особым простодушием не отличался. Возможно, миссис Андервуд отчасти сознавала это и в то же время старалась не сознавать.

Оба они получили письма от мистера Скеддинга (одно, адресованное миссис Андервуд, более длинное и сердечное, второе — сухо-официальное) с просьбой заехать к нему, если это их не затруднит. Миссис Андервуд сообщила, какой день и час будет им удобен, и вот теперь они ехали туда. Однако, на какие бы новости они ни рассчитывали, им не пришлось их услышать. Они вошли в кабинет мистера Скеддинга — ту самую комнату, в которой они сидели два года назад, куда более внутреннюю, чем приемная Дэвида Марча по ту сторону Стренда (лепные карнизы над панелями недавно освежены, диванчики возле окон обиты заново), — и миссис Андервуд, не выдержав, спросила, когда они еще не кончили обмениваться рукопожатиями:

— У вас есть для нас новости? Какие же?

— Новости? — переспросил мистер Скеддинг, задерживая ее руку в своей с отеческой манерой приходского священника. — Да как сказать... для вас у меня, боюсь, никаких новостей нет. То есть таких, которые могли бы быть вам интересны.

Он глядел на нее с улыбкой, которой улыбался ей при всех их встречах, начиная с того раза, когда она впервые обратилась к нему за советом, — лицо и губы все такие же яркие, улыбка все такая же профессиональная, хотя трудно было решить, где кончается профессия и начинается человек. Одет он был в черный пиджак и полосатые брюки — костюм, который теперь носил далеко не всегда. Только одно показалось миссис Андервуд не вполне привычным — предлагая им стулья у его стола, он спросил, не хотят ли они выпить рюмочку мадеры. Миссис Андервуд, полагавшая, что этот обычай давно исчез, тотчас согласилась. Джулиан, широко раскрыв глаза, вежливо поблагодарил и отказался.

— Ну что же...— сказал мистер Скеддинг.— Вы оказали мне большую любезность.— Он обратился к миссис Андервуд.— И я приношу свои извинения, что заставил вас приехать.

— Но вы правда не знаете ничего нового? Я имею в виду апелляционный суд.— Миссис Андервуд никак не могла успокоиться.

Его улыбка стала еще более широкой, еще более учтивой.

— Видите ли, я несколько не в курсе. Собственно говоря, об этом я и хотел поставить вас в известность. А потому я не могу сообщить вам ничего нового о вашем деле. Оно, если не ошибаюсь, должно быть назначено к рассмотрению до конца года, но ведь вас же об этом уведомили. Само собой разумеется, я желаю вам всяческого успеха.

— Не понимаю,— сказала миссис Андервуд.

— Уверю вас, тут нет ничего такого, что могло бы причинить вам лишние заботы. Или хотя бы неудобства.

Он говорил со странной мягкостью и с примесью особой витиеватости, какой Джулиан прежде за ним не знал, но миссис Андервуд и теперь ничего не заметила.

— С тех пор как мы виделись в последний раз,— продолжал мистер Скеддинг, подразумевая совещание у Марча,— я посвятил определенное время обдумыванию собственных дел и пришел к выводу, что мне пора сложить с себя руководство фирмой. Правда, я питал некоторую надежду пробыть в седле еще года три-четыре, но, видите ли, в дверь ведь все время стучатся люди помоложе. А потому не следует слишком долго задерживаться на подмостках. С другой стороны, дела некоторых клиентов я веду чуть ли не полвека, и, если позволено будет упомянуть о моих личных чувствах, мне было бы тяжело отказаться и от них — во всяком случае, в настоящее время. Едва ли стоит говорить,— он одарил миссис Андервуд очередной ничего не значащей улыбкой,— что вы принадлежите к числу тех, от ведения чьих дел мне было бы особенно горько отказаться. Мои партнеры с большой любезностью приняли во внимание мои чувства, и потому, если это вас устраивает, я могу по-прежнему остаться вашим поверенным и в наших отношениях ничего не изменится.

— Именно этого я больше всего и хотела бы,— тотчас сказала миссис Андервуд убежденно, прямолинейно. И тотчас продолжала не менее прямолинейно: — Итак, все в порядке, но о чем же тогда мы, собственно, разговариваем?

— А! — сказал мистер Скеддинг.— Видите ли, одно незначительное изменение неизбежно.— Он повернул к Джулиану благожелательное лицо, округлое, как незагадочная луна. Однако никакое самое романтическое лицо не могло быть более непрогнозируемым: лишь первоклассный скеддинолог сумел бы уловить, что оно чутьчку по-суровело.— Вас вряд ли удивит, что наша последняя встреча имела некоторые последствия чисто профессионального характера. Помимо сугубо личного и не столь уж важного вопроса о моем уходе на покой.— Эти последние слова были обращены к миссис Андервуд.— Но суть, разумеется, не в этом. Суть в том, что я почел себя обязанным сообщить о результатах этой встречи моим партнерам. Короче говоря, наше общее мнение сводится к тому, что все понесло бы определенный ущерб, если бы наша фирма на данном этапе отказалась от ведения вашего дела. Возможно, для фирмы это создало бы некоторую незначительную неловкость, но вы как участники процесса, несомненно, оказались бы в двусмысленном положении. Фирмы с солидной репутацией просто так от ведения дел не отказываются, это старинное присловье вам, конечно, известно. Если бы,— он повернулся к Джулиану,— я все еще оставался вашим консультантом или хотя бы поверенным, я, безусловно, рекомендовал бы вам оставить все по-прежнему.

— Мы ничего другого и не хотим,— сказала миссис Андервуд.

— Бурные аплодисменты,— вставил Джулиан.

— Я рад, что вы с этим согласны.

Замечание Джулиана было веселым и дружелюбным, но сиреневый оттенок в лице мистера Скеддинга стал гораздо заметнее. Тем не менее тон его остался ровным, а речь размеренной.

— Несомненно, вы согласитесь также, что при подобных обстоятельствах я никоим образом не могу вести это дело в качестве представителя фирмы. И со всем

тщанием объяснил моим партнерам положение, и мне кажется, у меня есть основания полагать, что они приняли мою точку зрения. Речь, конечно, идет не об этом, но такое обстоятельство не могло не сыграть роли в вопросе о моем уходе. И вы, несомненно, понимаете, что, хотя наша фирма будет по-прежнему представлять вас и сделает все возможное, самому мне приходится отказаться от дальнейшего в этом участия.

— Но почему так вдруг?

— Простите, но вам должно быть ясно почему. Совет мой я вам дал, как вы надеюсь, понимаете, тщательно взвесив все обстоятельства. По моему мнению, чего бы оно ни стоило, это был наилучший совет, какой я мог вам дать. Вы совершенно недвусмысленно показали, что не верите в его разумность. Я же не верю в разумность избранного вами пути. Чем больше я о нем думаю, тем менее — как я считаю себя обязанным сказать вам здесь, за этим столом, — тем менее разумным он мне представляется. Я слишком долго был связан с вашей семьей и особенно с вашей матушкой, чтобы способствовать заведомой катастрофе, к которой не может не привести подобный путь. При всем моем к вам уважении я, как вы, несомненно, понимаете, в этом участия принимать не могу.

— Но может быть, вы еще подумаете? — В голосе миссис Андервуд была растерянность.

— Боюсь, я думал уже достаточно. — Он вновь обращался к ней с той же странной чопорной мягкостью.

— И мы ничего не можем сделать?

— Боюсь, я не в состоянии быть вам полезным в этом деле, если мои советы не вызывают у вас доверия.

— Ну, послушайте, — сказал Джулиан, — вряд ли нам стоит особенно расстраиваться из-за таких пустяков, ведь верно?

— Боюсь, тут вы можете говорить только за себя.

Джулиан широко открыл глаза, передернул плечами и на мгновение вдруг словно стал серьезен. Наступило молчание. Затем старая привычка взяла верх, и Скеддинг вполголоса заговорил о каких-то ценных бумагах миссис Андервуд.

— Вам, пожалуй, придется умерить пыл, — сказал он, потому что ему было приятно вновь принять угрожающий тон.

Джулиан переменял позу.

— Ну, мы как будто зашли в тупик, верно? И, насколько я понимаю, никто ничего другого и не предполагал.

Мистер Скеддинг выждал, чтобы он встал со стула, и тогда сказал:

— Мне остается только пожелать вам успеха с апелляционной жалобой.

Он пожал руку Джулиану. Это было проделано с достоинством, которое выработалось у него за долгие годы, пока он возглавлял фирму. Затем — тут уже такого достоинства не требовалось — он без особых усилий улыбнулся миссис Андервуд и попрощался с ними.

Они вышли из подъезда под ровно сеющий дождь. Походка миссис Андервуд осталась не менее ровной, она даже не ускорила шаг, но Джулиан поглядел на небо и, оценив опасность этого покушения на его здоровье, сказал:

— Пошли, надо побыстрее где-нибудь укрыться.

Он торопливо юркнул в первое же кафе на Чансери-лейн, и там миссис Андервуд, все еще не смирившаяся с тем, что ничего нового о деле они не узнали, мысленно вернулась к разговору с мистером Скеддингом.

— А старик любит напускать на себя важность, — заметила она вслух.

— Ну, у него есть для этого причины, — сказал Джулиан.

— Заставил нас приехать неизвестно почему.

— Так уж и неизвестно?

— Он не сказал ничего такого, чего мы уже не знали бы.

Джулиан ответил небрежно:

— Видишь ли, у него разбито сердце.

— О чем ты говоришь?

— Его отправили на покой. А он не хотел отправляться на покой. У него,

насколько я понимаю, других интересов в жизни нет. Он из тех, кто на покое долго не живет.

Миссис Андервуд внимательно смотрела на сына. Она привыкла доверять его суждениям, когда — что бывало не часто — он говорил с ней о других людях.

— Ты действительно так думаешь?

— Ведь он же нам все это так прямо и сказал. То есть не нам, а тебе.

— Вероятно, ему было неприятно, что ты не согласился с его мнением о деле.

Джулиан загоготал:

— Мягко выражаясь!

Властный нос и губы миссис Андервуд приняли строгое выражение, свидетельствующее о благих намерениях.

— Он всегда делал для меня все, что было в его силах. И мне неприятно думать, что бедному старику плохо. Не могли бы мы как-нибудь ему помочь?

— Приглашай его время от времени на обед. Ему будет приятно. Но по-настоящему ему помогло бы только одно: чтобы я передумал.

— А ты не передумал?

Она заранее знала ответ. Кого-нибудь другого она попробовала бы убедить. Но не Джулиана.

— Конечно, нет.

После некоторых размышлений Джулиан продолжал:

— Бедный старикан! Он невыносимо скучен, но это же не его вина. Интересно, приходило ли ему когда-нибудь в голову, до чего он скучен? По-своему он не так уж плох. И очень жаль, что его отправляют на свалку.— Он раскрыл глаза как мог шире и добавил с видом озабоченности, недоумения и необычайного простодушия: — Знаешь, мамуленька, я уже не раз замечал, что стоит человеку оказаться у меня на дороге — и ему обязательно приходится худо.

— Право же! — Она назидательно нахмурилась.— Неужели ты совсем бесчувствен?

— А как по-твоему?

Но и ее порицание и нахмуренные брови были простой данью долгу. Она так его любила, что неколебимо верила в его сыновнее чувство к ней, а если ко всем другим людям он относился с эгоистическим равнодушием малого ребенка, это, с ее точки зрения, вовсе не свидетельствовало о его душевной черствости, но просто сближало их, точно они были заговорщиками. И потому она тут же задала ему новый вопрос:

— Ты что-нибудь думал о Лиз?

— А есть у меня возможность не думать о ней?

— Я имею в виду: собираешься ли ты все-таки на ней жениться?

— А что ты сделала бы на моем месте?

Он бросил это словно в шутку, но она решила воспользоваться случаем и ответила, как ей казалось, со всей беспристрастностью и непредвзятостью, сохраняя полный нейтралитет:

— Если бы я знала! По правде говоря, мне не удастся прийти ни к какому решению. У нее есть немало прекрасных качеств, мы все это знаем. Она будет жить твоими интересами. По крайней мере, мне так думается. Но, конечно, если ты выиграешь дело, а я хочу верить, что будет именно так, то найдется немало других женщин, из которых ты сможешь выбирать. Молодых девушек, много моложе Лиз. В конце-то концов факт остается фактом: ее молодость позади. Быть может, оттого она так за тебя и цепляется. Не знаю, думал ли ты об этом.

Миссис Андервуд наставляла сына, точно юного мальчика, незнакомого с женскими уловками. А он сидел и смотрел на нее с таким простодушным выражением, точно действительно был невинным мальчиком, впивающим каждое слово мудрых откровений.

— Меня иногда тревожит мысль,— продолжала миссис Андервуд,— какой она станет, если ты все-таки на ней женишься. У нее ведь была длительная связь с Толлендом, не правда ли? А потом она его бросила. И, по-видимому, вовсе не думала, как вся эта история отзовется на жене Толленда. Да и на самом бедняге Тол-

ленде. Замужество способно многое изменить, я понимаю. Но если она собирается хранишь верность тебе, то было бы лучше, если бы она доказала, что способна на верность по отношению к другим.

С точки зрения объективной истины, это была предельно искаженная версия (своего рода попытка поставить историю на голову, доказать голубиную чистоту Ричарда III или маркиза де Сада) единственного большого романа в прежней жизни Лиз, когда она любила и вела себя совершенно так же — роковым образом так же, если бы можно было предвидеть будущее, — как теперь с Джулианом. Миссис Андервуд была по натуре правдива. Она точно излагала сведения, которыми, о чем Джулиан не знал, без всякого нажима и без ведома Джулиана снабдил ее не слишком надежный их поставщик, а точнее говоря, Суоффилд. Причем без какой-либо задней мысли. Прежняя вражда была забыта. Он разговаривал с ней так, между прочим, просто чтобы приложить руку к чужой жизни. Иногда это приносило им пользу, но ему, в сущности, было все равно. Его вполне удовлетворял сам процесс вмешательства. Миссис Андервуд ему теперь даже, пожалуй, нравилась, но и это не имело значения. Угадав — и верно угадав — ее истинные чувства к Лиз, он получил в руки уже начатую партию и не мог не разыграть ее. Времени это заняло совсем немного и не потребовало почти никакой затраты энергии, а результаты его не слишком интересовали.

— Ты правда считаешь, мамуленька, что она будет мне неверна, если я на ней женюсь?

— Мне неприятно это говорить, но можешь ли ты гарантировать, что ничего подобного не произойдет?

Джулиан просиял улыбкой.

— Должен сказать, это было бы занимательно. И, видишь ли, она, мне кажется, вернулась бы, что тоже было бы не лишено занимательности.

Миссис Андервуд растерялась. Картины — по-видимому, приятные, — которые как будто рисовало ему воображение, ей оставались недоступны. Она сказала:

— Так, значит, ты женишься на ней?

— Ты же знаешь, какой я..

— Но ты уже окончательно решил? — спросила она без всякого нажима, очень ласково.

— Ну, на это я никогда не был способен, ведь верно?

Его мать невольно улыбнулась.

— Порой, — сказал он, согнав с лица всякое выражение, — я даже не могу решить, что я, собственно, должен решать.

— Но все-таки — ты женишься на ней? — Она снова говорила ласково.

— Превосходный вопрос, — сказал Джулиан, словно опытный лектор, которого из задних рядов спросили что-то совсем уж нелепое. — Превосходнейший. Могу сказать только одно, мамуленька: я очень внимательно слушал все, что ты говорила. И крайне тебе благодарен. Ты во всех отношениях была образцом непредвзятости. Ты ведь совершенно беспристрастна, правда? По отношению ко мне. По отношению к Лиз. И особенно по отношению к Лиз. Я все это запомню, обещаю тебе. И еще раз — большое спасибо.

32

Если не считать персонала больницы, доктор Пембертон был первым, кто узнал о смерти Хилмортона. Он умер в конце октября, дня через два после начала парламентской сессии. Приятель Пембертона добавил, что Хилмортон уже много дней не приходил в сознание.

Тем лучше, сказал Пембертон, как сказал бы о любом больном в подобном состоянии. Идиотов, которые несут всякие глупости о последних словах, о прощании с близкими, говаривал Пембертон, нужно бы почаще ставить на дежурство у постели умирающих.

Ну, во всяком случае, это конец. Теперь надо действовать. Он поставил дату на своем письме лорду-канцлеру — 27 октября — и в тот же вечер отправил его.

Хилмортон умер в четверг после полудня. Это был конец. Но его мир не позволяет хоронить своих мертвецов, пока не будут исполнены все обязательные и долгие обряды. Утром в пятницу «Таймс» напечатала некролог на три столбца — вполне приличный объем, решили многочисленные знатоки в этом вопросе. Те же знатоки пришли к выводу, что и в остальном покойный не обижен. В некрологе говорилось, что одно время его прочили в премьер-министры очередного консервативного правительства, — быть может, ему не довелось вполне оправдать надежды своих искренних поклонников, но его знаменитая отстраненность не помешала ему и дальше продолжать беззаветное служение общественному благу. Райл подумал, что некрологи придают самым разным людям удивительное сходство друг с другом, обваливая их в тесте бескорыстного благородства. Но, может быть, так оно и лучше.

В том же настроении Райл на дневном заседании палаты во вторник слушал мемориальные речи, которые произносились только в том случае, если скончавшийся пэр был в прошлом членом кабинета. Они начались сразу же, едва истекло время, отведенное для вопросов. Зал был полон, и собравшиеся в благопристойной тишине слушали со вниманием, в которое вплетался живой интерес, подавая чувство облегчения, охватывающее пожилых людей, когда они узнают, что кто-то другой доказал свою смертность. Начало положили лидеры всех трех партий, затем говорили те, кому хотелось воздать дань уважения покойному, поведать анекдоты школьных лет и назвать его Хэллио или же показать, как талантливо они умеют живописать характеры. Седжвик, который кое-как добрался до своего места, говорить не стал. Как не стал и Райл — мрачное настроение еще больше выбивало его из общего тона.

Некто с неколебимой уверенностью заявил, что Хилмортон был природным демократом, — правда, в глубине души не более, чем герцог Сен-Симон, подумал Райл. Несколько упоминаний о знаменитой отстраненности. Они его не знали, они не знали, что маска спадала только для того, чтобы открыть новую маску скептической усмешки, и в конце концов он оставался на той же позиции, какую инстинктивно занял бы самый тупой и бездарный представитель его класса и эпохи, обладатель таких же миллионов. Насколько чужд был ему эгоизм! Он и в самом деле был доброжелателен, ему нравилось, когда люди были счастливы, при условии, что его это ни в чем не ущемляло. Быть может, большего вообще нельзя требовать от видного общественного деятеля, да, впрочем, и от самых невидных частных граждан.

Райл, пожалуй, был привязан к нему сильнее любого из этих людей, чьи лица ярусами поднимались друг над другом. И хотя он внутренне не принимал того, что говорилось, ему тем не менее стало легче оттого, что это все-таки говорилось. Официальное поминовение имеет свой смысл, это то, что умеют делать все: обрядность всегда утешительна, она маскирует пустоту.

И не важно, какие, собственно, слова произносились. Но заключение одной речи доставило Райлу искреннее удовольствие. Речь эту произнес лидер оппозиции, который корректно, убедительно сказал, что «мы, другая сторона, естественно, зачастую оказывались противниками благородного лорда, лорда Хилмортонна, но это не мешает нам в равной степени, совершенно, совершенно в равной, разделять общее горе. Бесспорно, кое-кто из нас нередко оказывался жертвой его остроумия, когда мы, как и он, заседали в той палате (палате общин). Но мы всегда признавали его таланты и прекрасные душевные качества. А главное, мы всегда восхищались его стилем. Среди политических деятелей нашего времени Генри Хилмортон выделялся своим особым стилем. И порой я не могу не желать, чтобы кому-нибудь из нас удалось его повторить».

Все это правда, думал Райл. В том числе и желание. Стыль необходим любому обществу. И когда он исчезает, восстановить его невозможно.

Ближе к вечеру Райл в коридоре нагнал Адама Седжвика, которого поддерживал служитель. Подходя к ним, он услышал у себя за спиной два благодушных сытых голоса. Один говорил, что, пожалуй, можно бы и выпить. Другой соглашался: да, старина Хилмортон в это время всегда отправлялся в буфет. С тем неколебимым убеждением, с каким живые говорят о том, чего могли бы пожелать умершие, они заверили друг друга, что именно это он и посоветовал бы им сделать. Как обычно в таких случаях, уважение к воле покойного не причинило им ни малейших неудобств.

Почему-то они твердо знали, что он ни в коем случае не захотел бы, чтобы они в этот вечер воздержались от крепких напитков.

В Епископском буфете, сидя рядом с Райлом, Седжвик кое-как сумел обеими руками поднести рюмку ко рту. Он тоже думал о Хилмортоне.

— Мне будет его не хватать, — произнес он вслух. — Как и вам, я думаю.

— Да, мне будет его не хватать, — согласился Джеймс Райл.

Больше ничего Седжвик сказать не захотел. Порой Райлу приходило в голову, что аристократы духа умеют выражать свои чувства не лучше старой земельной знати. А ведь он достоверно знал, что Седжвик на редкость счастлив в семейной жизни, что его дети боготворят отца. Бить может, прежде он не стал бы так тщательно скрывать печаль, которую причинила ему утрата друга. Но в этот вечер он признался Райлу, что болезнь оказала на него заметное психологическое воздействие. Он все больше и больше сторонился людей, точно человек, страдающий боязнью толпы. Это тягостное чувство преследовало его даже в лаборатории, и он буквально заставлял себя бывать там. Ум бессилен против тела, заметил он и тут же сердито добавил, что сказал глупость: это ведь одно и то же.

— Впрочем, теперь уже недолго. Либо так, либо эдак, — сказал он затем.

Небольшое помещение наполнялось, из угла доносился раскатистый смех, между столиками прохаживались люди, общительные, потому что они были здоровы и полны жизни. В этот вечер нестройные голоса, внезапные вспышки шума действовали на Райла гнетуще, и потому последние слова показались ему зловещими.

Резко, не стараясь ничего смягчать, он спросил Седжвика, что, собственно, он имеет в виду, и Седжвик без всякой жалости к себе и даже с облегчением описал свое положение. Как он говорил Хилмортону, когда навестил его на Берил-роуд, ему хотелось закончить одну работу. Но теперь он уже сделал все что мог: ничего важного, но все-таки стоит опубликовать. Вообще говоря, его область науки не для стариков, а он и так проработал дольше многих и многих (впервые за все время их знакомства Райл уловил в его голосе тщеславие).

Молодежь продолжит его исследования — тут у них в стране талантов хоть отбавляй. Ну а он — кончил.

Значит, операцию можно больше не откладывать. Райлу он не сказал того, в чем под влиянием минуты признался Хилмортону, — что боится операции, что его стремление закончить работу было (по крайней мере, отчасти) всего лишь маскировкой, предлогом, чтобы оттянуть время.

Теперь, приняв окончательное решение, он был спокоен и деловит, словно никогда не испытывал страха перед операционным столом. Он переписывался с американским хирургом, разработавшим эту операцию. Один из стажеров Ирвинга Кулера, англичанин, считается блестящим специалистом в этой области. Оперировать будет он. А ему, Седжвику, нужна лишь незначительная отсрочка в несколько недель, чтобы подготовить статью к опубликованию (еще один предлог, новое доказательство преданности делу, просто проволочка?). А потом перед рождеством он ляжет в больницу. Либо так, либо эдак, но ждать уже недолго.

Перед рождеством. Как Хилмортон в прошлом году. Случайное совпадение. И все-таки у Райла по коже побежали мурашки. Он спросил тревожно, словно оперироваться предстояло ему, а не Седжвику:

— Ну и каковы шансы?

Седжвик теперь вполне владел собой — гораздо лучше, чем в тот день, когда такой же вопрос задал ему Хилмортон. Он ответил с академическим спокойствием. В случае неудачи последствия будут самые скверные. Возможно, смерть. Возможно, полный паралич и идиотизм, что даже еще менее приемлемо. Для человека его возраста суммарная вероятность указанных исходов составляет около двух процентов.

Райл, удивившись и на мгновение успокоившись, воскликнул:

— Но это же прекрасно! Риск заметно меньше, чем я думал.

— Да? — Седжвик улыбнулся сжатыми губами. — Он заметно больше, чем тот риск, на который мы идем в обычных житейских делах.

В этот вечер не Джеймс Райл подбодрял Седжвика, а Седжвик его. И потому Райл с облегчением помог ему спуститься по лестнице, помог сесть в такси, попрощался

с ним и вернулся назад один. Райлу никак не удавалось взять себя в руки. По законам вероятности с Седжвиком не должно было случиться ничего плохого. Но Райлу не верилось, что все обойдется благополучно. Зловещие предзнаменования не шли у него из головы. Какая нелепость! Не начать ли гадать по полету птиц, как римские авгуры, или штудировать астрологические предсказания в вечерних газетах?

Возможно, он поддается беспричинным страхам потому, что последнее время и у него и у тех, кто ему близок, все идет не так. Хоть бы в мире произошло что-нибудь хорошее! Он прочел телетайпную ленту, но, как и в прошлом месяце, как и полгода назад, в мире не происходило ничего хорошего. Словно вернулись дни войны, когда он, подобно многим из тех, кому хотелось видеть себя стойкими, втайне твердил про себя, точно атеист — молитву: нам нужна победа. Однако когда человек доходит до такого состояния, он верит, что все станет еще хуже, и в этот вечер даже коридоры, по которым он бродил в поисках собеседника, казались ему зловещими.

В этот же вечер Лиз (Райл позволил себе написать ей соболезнующее письмо — первый контакт между ними за много недель) также была угнетена мыслью о будущем, хотя и по-иному. Смерть отца, о которой она узнала только утром, после ночи, проведенной с Джулианом, подействовала на нее самым тягостным образом. Как ни странно, ее терзало раскаяние. А ведь раскаиваться ей было, собственно, не в чем — ну разве в том, что она предавалась радостям предательской плоти в то время, когда он умирал или уже лежал мертвый, в том, что она желала, чтобы он прожил подольше не ради него самого, а из-за дарственной.

Объективно говоря, она любила, как любят те, кому не платят в ответ большей любовью. Быть может, раскаиваться следовало бы ему: ведь его обманчивая ласковость, внешние проявления любви и душевной близости обещали гораздо больше, чем давали, и научили ее не доверять ни ему, ни другим мужчинам. И все-таки она испытывала раскаяние, и, как часто бывает в таких случаях, раскаяние это было пронизано страхом. Она поступала неверно. В чем-то — она не пыталась определять в чем — она могла бы дать отцу гораздо больше. Ведь за всеми его декорациями (а их она видела не менее ясно, чем его друзья) он умер разочарованным и неудовлетворенным. Если бы она попробовала понять его, была к нему внимательнее, это могло бы что-то изменить.

Такое душевное смятение, которое у других женщин она только презирала бы, не вязалось ни с характером, ни с интересами Лиз, столь четкими, столь точно очерченными, столь подчиненными ее типу сексуальной любви. И тем не менее она терзалась раскаянием. И боялась, что ей придется поплатиться за все, что она делала и не делала. Этот страх сплетался с ее страхом потерять Джулиана.

Апелляционная жалоба, по-видимому, должна была рассматриваться в начале декабря. Лиз утратила ясность суждений, она не могла решить, как отзовется на ней выигрыш или проигрыш дела, и не знала, чего ей желать. Мысль о Джулиане была сопряжена почти с таким же раскаянием, какое мучило ее из-за смерти отца; если бы она вела себя иначе, любила бы его не столь эгоистично, требовала бы меньше, тогда бояться было бы нечего, она ни в чем не была бы повинна и судьба послала бы ей счастье.

Это была попытка. Причем с объективной точки зрения такие мучения были даже еще более нелепы, чем раскаяние, с которым она думала об отце. Она любила Джулиана самозабвенно, даже еще сильнее, чем было нужно ей, хотя и не ему. Однако ее раскаяние никак не было связано с реальным положением вещей. Пожалуй, в нем было немало своеобразного тщеславия. Те лоскутки гордости, которые еще оставила ей любовь, требовали иллюзии, будто не перед ней виноваты, а виновата она сама.

Думая об отце и Джулиане, чьи образы мешались словно во сне, она, быть может, ощущала, что будущее окажется не таким жалким, если она возьмет вину на себя.

Но по мере того как выяснялись подробности завещания ее отца, это становилось все труднее — ведь она не утратила ни остроты ума, ни способности рассуждать. Потребуется месяц, если не годы, чтобы установить и выплатить налоги на наследство, объявили юристы, словно гордясь сложностями, которые сумел измыслить столь умный человек, как Хилмортон. Однако, как Лиз сказала Райлу, к которому вновь обратилась за поддержкой, два обстоятельства были достаточно ясны. Во-первых, Хилмортон, это воплощение рационализма, в своем завещании проявил поразительное

его отсутствие. Деньги, недвижимость, картины, всякое другое имущество — назвать общую сумму пока еще не взялся бы никто. И завещая все это, Хилмортон исходил из нелепейшей веры в институт первородства. Даже будь у него сын, он не мог бы сделать больше. (Райл сказал однажды, что именно таким способом английская аристократия сохранила свои богатства, но сейчас он подумал, что эта социологическая истина вряд ли послужит для Лиз особым утешением.)

Суффолкское имение, о чем было известно давно, он передал старшей дочери, но теперь выяснилось, что лишь в пожизненное пользование, что и оно входит в гигантский фонд, в который некоторое время назад было передано все остальное. Его жене и дочерям фонд должен был ежегодно выплачивать определенные суммы — очень небольшие и даже без учета инфляции. В конце концов весь фонд поступал в полное распоряжение первого внука мужского пола после смерти леди Хилмортон или когда означенный внук достигнет двадцатипятилетнего возраста, в зависимости от того, что произойдет раньше.

— Все так размещено,— сказала Лиз,— что никому никакой пользы принести не может.

Его бездушные ей боли не причинило, продолжала она, ведь она его хорошо знала. Райл промолчал. Конечно, ей больно.

— Но это бессмысленная прихоть. Поступок дурака. А он же не был дураком, ведь не был?

— Меньше всего,— сказал Райл, понимая, что в эту минуту ей нужно, чтобы Хилмортон хвалили.

А во-вторых, ту дарственную, которую она у него потребовала, он все-таки оформил. Он сдержал обещание. Но только — в этом и заключалась неожиданность — сумма была меньше, чем он дал ей понять. Всего двадцать тысяч фунтов. Такие деньги не соблазнили бы Джулиана даже до начала их близости, а уж теперь и подавно. Впрочем, говоря с Райлом, про Джулиана она не упомянула. Собственные дела не поглощали ее всецело, как раньше,— быть может, несчастье этих дней обострило ее чуткость, заставило ее считаться с его состоянием.

В любом случае, поскольку Хилмортон не прожил семи лет, от этих двадцати тысяч фунтов после уплаты налогов не останется практически ничего.

— Вот такой итог,— сказала она.— Я осталась совершенно ни при чем, как по-вашему?

— Да, обстоятельства сложились для вас неудачно.

— А для многих ли они складываются удачно?

Она могла предаваться самобичеванию, но ему о своих терзаниях не сказала. Она не подыскивала для себя оправданий, это он мог понять и так. Будь она его женой, он особенно любил бы в ней независимость характера. Они посмотрели друг на друга — он саркастически и тоскливо, она с жалостью. С мимолетной жалостью, не той, из которой рождается любовь, но Лиз было приятно ее ощущать, и она немного воспряла духом.

33

Переехав к Лоримеру, Дженни раз в жизни побоялась искушать судьбу и сохранила свою квартиру. Но так никогда в нее и не вернулась. Этот факт был достаточно красноречив, и большего она не стала бы говорить даже себе. Ее реализм подсказывал ей, когда не следует облекать интимную сторону жизни в слова. Тут вполне подошло бы присловье, которое она запомнила в молодости,— могло быть хуже. Она подхватила его у случайного знакомого в один из самых унылых периодов своей жизни. В этом афоризме ей чудилось нечто суровое, реалистическое, нордическое, и она его любила. Само собой разумеется, что по вкусу он приходился только таким оптимистическим натурам, как она.

И на этот раз могло быть гораздо хуже. У них обоих был счастливый вид. Он гордился тем, как в тот вечер в скверике над рекой принял окончательное решение. Она была довольна, что правильно оценила ситуацию. Пожалуй, кое о чем говорило его радостное, почти беззаботное настроение, какого знакомые за ним прежде не заме-

чали, тогда как Дженни держалась спокойно, но была довольна и внутренне торжествовала.

Она не ожидала чудес и не получила их. Здравый смысл не позволял ей особенно доверять наивным, восторженным легендам о том, как изумительны, как неотразимы бывают застенчивые мужчины, когда они избавляются от своего комплекса. Ей таких встречать не приходилось. И уж конечно Джарви не такой. Однако (в это она твердо верила) люди, как правило, способны обрести радость в любви, если их немного ободрить, — и он, во всяком случае, не явился исключением. Тут счастливым свойством ее натуры сослужило полезную службу им обоим. Оттого, что ему было хорошо, было хорошо и ей.

Она узнала о нем нечто, о чем прежде даже не подозревала, потому что есть вещи, которые можно узнать лишь в минуты полной близости. Не то чтобы он вдруг обрел красноречие или легкое остроумие. Да, пожалуй, он стал говорить свободнее, хотя ненамного. Открыла она другое: у него была удивительная способность радоваться. К страсти это не имело никакого отношения, тут он был достаточно зауряден. Но радоваться он умел. Теперь и он не обделен, теперь и у него есть кто-то, кому он доверяет, кто относится к нему с нежностью, вносит во все бодрость, рассеивает тревогу, так что, наверное, и ему дано узнать семейную жизнь — неужели он был способен извлекать радость из такой будничности, незамысловатой, как хлеб с маслом? Да, отвечала себе Дженни. Он радовался каждой новой ночи, которую им предстояло провести вместе, радовался, когда они засыпали рядом.

Она давно уже поняла, что он всегда чувствовал себя отделенным от остальных людей. Чувствовал это с безмолвной надменностью, с робкой незащищенностью и самоуничижением. И для него было чудом, что он вдруг вернулся в общий поток. Это она понять могла, но ее поражало, что он все время как будто светится. Самоуничижение самоуничижением, но порой он оглядывал ее так, словно был турецким пашой или скромно примеривал себя к Джулиану Андервуду.

Через месяц после ее переселения в Пимлико он потребовал, чтобы они поженились.

— Я ведь с самого начала думал именно об этом, — сказал он. — Ну, в тот вечер, когда я ускорил события. Там, у реки.

— Правда?

— Только ты не поняла. А я этим, как видишь, воспользовался.

Он говорил с самодовольством завязтого соблазнителя. Дженни тактично улыбнулась. Виноватой она себя не чувствовала. Ее хитрость никому вреда не принесла. Ему так лучше, и ей тоже.

Но он не желал просто узаконить их отношения — он настоял на соблюдении полного церемониала.

— Я не хочу, чтобы это выглядело так, будто мы чего-то стыдимся. Сделаем все как положено. Извещение в газете: «В ближайшее время состоится...» И не в бюро регистрации, а в парламентской часовне. Видишь ли, так принято.

Он вновь ее удивил, но ей было приятно. Церковный обряд? Она не сомневалась, что он неверующий, как и она. Может быть, он ради нее? Нет, это нужно ему самому. Но она только еще больше обрадовалась.

Извещение о помолвке появилось в «Таймс» через неделю после смерти Хилмортона. «Извещается о помолвке лорда Лоримера, кавалера Военного креста (Лондон, Лупес-стрит, 127), и миссис Дженнифер Рэстал (Лондон, Бзрем-Гарденс, 42). Бракосочетание состоится в ближайшее время». Очень мило, думала Дженни, читая газету. Но она недаром была дочерью своего класса, а потому весело, хотя и не совсем весело, подумала то же самое, что они с Лоримером сочли необходимым сказать друг другу, когда в первый раз обедали вместе, — что районы эти не слишком фешенебельны.

Поздравления по телефону, ворох писем, за которыми ей пришлось съездить в покинутую квартиру. Никогда в жизни она еще не получала столько поздравлений. Это было приятно. И было приятно получать приглашения вместе с Лоримером. На одном таком вечере благодаря своему острому радарному слуху (тут между ней и Суоффилдом было несомненное сходство) она уловила разговор двух молодых

женщин: они обсуждали помолвку и, к большому ее удовольствию, употребили ту же нелепую фразу, которую пустил в ход Лоример, делая ей предложение.

- Я бы сказала: двое пожилых людей решили объединить силы, как по-вашему?
- Совершенно верно.
- Просто чтобы рядом кто-то был.
- Ну конечно.

На этот раз Джени стало весело без всяких «хотя», и, к большому недоумению своего собеседника, она вдруг улыбнулась широкой, до ушей, улыбкой.

Но тут в начале ноября возникло некоторое затруднение. Пусть Лоример тешил себя мыслью, что на браке настоял он, зато уж Суоффилд действительно настоял на том, чтобы устройство свадьбы было предоставлено ему. Джени пришлось прибегнуть к домашней дипломатии. Лоример не выносил Суоффилда, говорил, что презирает его, ревновал к нему. Его бесила мысль, что их свадьба станет развлечением для богача. И он решительно заявил Джени, что не желает этого. Но Джени столь же решительно не желала терять Суоффилда. Она была благоразумней Лоримера, а Суоффилд мог еще пригодиться, если им будет нужна работа. Она больше, чем Лоример, думала о деньгах, которых у них не было. А Суоффилд собирался заплатить за все сам.

Но воздействовать на Лоримера практическими доводами было бесполезно. А потому она объяснила ему (не слишком отклоняясь от истины), что считает себя обязанной Суоффилду, что не может обидеть его именно теперь, когда ей улыбнулось счастье, что простая порядочность требует платить долги. И так ли уж важно, если никто не заметит, что главные виновники торжества, собственно говоря, они, а не Суоффилд. Когда она представила дело таким образом, Лоример уже ничего не мог возразить. Ей пришлось сыграть на его понятиях о порядочности (и вряд ли в последний раз — достало у нее честности сказать себе).

И вот 1 декабря в одиннадцать часов утра Суоффилд с гвоздикой в петлице, похожий во фраке на мартишку, явился в Подземную часовню, чтобы сыграть роль посаженного отца. И Суоффилд же позаботился о свадебном приеме после церемонии.

Часовня, приютившаяся под старым Вестминстерским дворцом, была невелика. Кроме того, она была овеяна дыханием старины — многие из присутствовавших привыкли думать, что их страна, а также здания, которые они видели вокруг, овеяны дыханием старины. Но они тешили себя иллюзиями. В Лондоне почти не осталось зданий, построенных до XVIII века. Однако эта часть Вестминстера составляет исключение — аббатство по ту сторону улицы и церковь святой Маргариты (относительно не такая уж древняя). Зато здание парламента было возведено в XIX веке после пожара — самоуверенная громоздкая фантазия на модную тогда готическую тему. Из того, на чем, например, мог остановиться ледяной взгляд Питта Младшего, сохранилось очень мало — только темный, холодный Вестминстер-Холл, столь подходящий для процессов о государственных преступлениях, несколько подвалов да эта маленькая часовня.

В это утро к сводчатому потолку тянулись огненные язычки свечей, напоминая кадр из фильма «Иван Грозный», отражаясь золотыми бликами от столбов, от Иуды Искариота на западной стене, — очень напоминает Кремль, говорили просвещенные пэры к большому недоумению русских туристов.

В былые времена, пока до часовни не добрались инженеры-отопители, в ней царил арктическая стужа. В это утро в ней было не просто тепло, а невыносимо жарко отчасти из-за невыносимой тесноты. Глядя на толпу гостей, Джени не верила своим глазам и не находила объяснения, хотя оно было очевидным, но она оставалась все такой же застенчиво-скромной и даже не подозревала, что внушает симпатию немалому числу людей. Несмотря на дальность расстояния, ее подопечные добрались сюда — одни на метро, а те, кто был совсем уж дряхл, вроде ее мисс Смит, выкроили деньги на такси. Теперь мисс Смит по крайней мере неделю придется во многом себе отказывать, зато сейчас она вся сияла и одобрительно кивала, как будто приехала оказать честь какой-нибудь своей протееже. Явились почти все суоффилдовские придворные и сотрудники благотворительного общества.

Лоример, конечно, был незаметным завсегдатаем задних скамей, но как мы не забываем почтить небольшим знаком внимания смерть малознакомых людей, так мы отмечаем и их свадьбы. Принадлежность к тесному кругу обязывает. И всем становит-

ся теплее, когда ряды сплачиваются. В часовне присутствовали члены его партии, которые знали Лоримера только по виду и изредка раскланивались с ним в кулуарах. Тут были и парламентские организаторы его партии — любезные, эlegantные, сияющие улыбками. Они весело переговаривались с пэрами, принадлежащими к оппозиции. Те тоже пришли, хотя и в меньшем числе, — кто по доброте душевной (одна-две пары наблюдательных глаз много лет замечали грустного молчаливого человека, который чаще всего сидел в буфете совсем один), кто из-за привычки быть на людях, а кто просто чтобы выпить на приеме.

Венчал епископ Болтвуд. Он принадлежал к высокой англиканской церкви, но его церковь смотрела сквозь пальцы на то, что и жених и невеста вступают во второй брак и что оба они были в свое время разведены. Во всяком случае, епископ этому значения не придавал. Пусть внешне он смахивал на ланкаширца из веселого фарса, но он был умен и составил об этой паре свое мнение. Судьба обошлась с ними сурово. Он верил в супружеское счастье. Если от него что-то зависит, он готов это сделать. И вот теперь коротконогий, плотный, внушительный епископ твердым, но не очень величественным голосом произносил древние и очень величественные слова.

Скоре обряд завершился. Мюриэль Калверт, сидевшая рядом с матерью и отчимом, возможно, отметила про себя, что с точки зрения композиции неразрывные узы связали их слишком рано. Впрочем, епископ еще не кончил. Снова величественные слова службы, а затем он решил добавить кое-что от себя.

— Дженнифер и Джарвис, — сказал он, — многие из нас тут знают вас обоих, и мы хотим, чтобы вы верили, как верим мы: лучшее в жизни у вас еще впереди. Вы отправляетесь в увлекательное путешествие...

Епископ при всей своей душевности был многословен. Он принялся развивать метафору. Как говорили, направляясь на прием, люди сардонического склада и не склонные к чувствительности — а таких среди присутствующих было немало, — епископ напутствовал новобранцев так, словно они отправлялись исследовать неизвестные притоки Амазонки.

Дженни, презиравшая чувствительность и чуравшаяся слез, досадливо ощутила, что у нее защипало глаза. В первый и единственный раз с той минуты, когда она решила выйти замуж. Так же досадливо она поймала себя на нелепой мысли, что, в сущности, всегда жила без отца и что лучше бы ей было родиться дочерью этого чудачковатого коротышки-епископа, который был моложе ее на несколько лет.

Затем она справилась с собой, и как раз вовремя. Они поднялись в зал на первом этаже — накрытые столы, тент, натянутый над террасой, клубы тумана за распахнутыми дверями. Для декабря утро было даже теплым. А туман несколько не походил на знаменитые угольные туманы старого Лондона, которые исчезли безвозвратно. Этот густой серый туман, принесенный антициклоном, ничему не мешал, кроме уличного движения, он надежно укрывал их, и они чувствовали себя уютно и спокойно, как дети, которые смотрят из окна и знают, что им не надо выходить в промозглую зимнюю сырость.

Стены длинного зала были обшиты панелями, и теперь, когда тут собралось около ста человек, в ушах звенело от громкого эха. Официанты разносили подносы с шампанским. Двое-трое пэров с бокалами в руках направились на террасу — сказала привычка к принудительным прогулкам, которую неизбежно приобретают все, кому часто доводится гостить в английских поместьях.

Едва Лоример и Дженни вошли в зал, ими завладел Суоффилд.

— Прошло на высшем уровне, — сказал он так, словно все проделал сам.

— Да, конечно, — сказала Дженни.

— А насчет следующей недели не волнуйтесь. — Он подразумевал заседание апелляционного суда, которое было назначено на ближайший четверг.

— Мы ни на что не рассчитываем, — сказала она.

— И правильно делаете. (Даже бровью не повел, подумала она, припоминая некий свирепый совет.) Как-нибудь перебьетесь.

Лоример успел выпить два бокала шампанского, и его отвлечение к Суоффилду поутихло.

— Я уговорил ее выйти за меня, верно? — Им овладел дух противоречия. — А стал бы я это делать, если бы мы не могли перебиться, верно?

— Значит, не стали бы? — Суоффилд поглядел на него без особого интереса. Потом сказал: — Медового месяца у вас не получится.

Суоффилд имел в виду, что до заседания апелляционного суда они никуда не могут уехать. Он не удержался (да и не пытался удерживаться) и впал в фамильярный тон — хозяйский, выпрашивающий, упоенно-сальный.

— Ну, времени еще много, — сказала Дженни, которая давно уже стала столь же неуязвима к этим его подкусываниям, как Симинитоны.

Затем Суоффилд обнял ее за плечи и увел от мужа.

— Все как надо? — спросил он.

— Конечно.

— Я рад, моя милая, что у вас сладилось. Рад, что вам немножко повезло. Вы этого заслуживаете.

На мгновение его голос стал по-настоящему ласковым. И одновременно — или ей показалось? — в нем мелькнуло сожаление, даже грусть. У Суоффилда было все, о чем другие лишь завистливо мечтали, — власть, деньги, насыщенная событиями жизнь, а кроме того, большой выбор ночных подружек. Она и сама ему завидовала. Но в эту минуту он, казалось, позавидовал их скромному счастью.

Она вернулась к Лоримеру и под руку с ним вышла на середину зала. К ним, пожевывая крошечные бутерброды, подходили взбодренные шампанским мужчины. Пэры, с которыми она разговаривала в гостиной палаты лордов, все выглядели пожилыми и степенными. Но здесь многие из них казались совсем молодыми и далеко не степенными. Поздравления. Лестные слова.

— Леди Лоример, вы его преобразили, ну совершенно.

— А у него отличный вид, вы согласны, леди Лоример?

Они непринужденно говорили о нем так, словно его тут не было. Лоример выскочил рядом с ней — смущенный, но полный достоинства, с неподвижной улыбкой, временно пристыженной и гордой. К ней подошел какой-то человек, настолько лысый, что она не сумела определить его возраст. Он назвался, но его имя ей ничего не сказало, и только позже она узнала, что это был знаменитый врач. Его маленькие блестящие глазки, казалось, могли пробуравить человека насквозь.

— Позвольте сказать вам, что я очень доволен. Меня беспокоил ваш муж. Достаточно было посмотреть на него. Жить в подобном одиночестве очень рискованно.

Ее поражало, насколько развязны бывают некоторые мужчины да и насколько любопытны — как они ее оглядывают, а может быть, они видят в ней свою.

Но ей надо было поговорить со своими подопечными, которых явно подавляли шум, непринужденные разговоры вокруг, голоса, привыкшие звучать в парламенте, сам зал, и, оставив Лоримера, она направилась к ним. По обыкновению ей было с ними легко и спокойно — она уговорила их выпить еще по бокалу (у двух-трех почтенных старушек голова явно кружилась уже от первого), рассказала им, как, в первый раз получив приглашение сюда, была уверена, что ее вот-вот выставят вон, но, вернувшись в свою тесную квартирку, с удовольствием вспоминала этот вечер. То же будет и с ними.

Даже мисс Смит лишь с усилием сохраняла обычный покровительственный тон. И чтобы скрыть это, пустилась в расспросы. Не может ли милая Дженни, милая леди Лоример, сказать ей, кто тут присутствует из титулованной аристократии? Дженни назвала тех, кого знала, но таких набралось немного, потому что круг знакомых Лоримера был неширок. А где лорд Клэр, о котором мисс Смит как-то слышала от нее? Его тут нет. (Недостаточно шикарно для него, отметил про себя Суоффилд и завязал еще один узелок в своей долгой, как у слона, памяти. По некоторым соображениям он снял этот зал для приема не через Клэра, а через Азика Шифа.) Тут по счастливой случайности Дженни увидела титулованного аристократа, с которым была знакома. Один из парламентских организаторов, незаменимый гость на званых вечерах, фамилия достаточно историческая, хотя не столь громкая, как у Клэра. Она улыбнулась ему и повела его к мисс Смит. И та совсем расцвела.

А чуть позднее Дженни вдруг испытала странное, чуждое ей чувство, отречься

от которого не могла, хотя потом и стыдилась его. Она была радостно возбуждена, огни в зале словно сверкали ярче оттого, что туман густел — взглянув в окно, она не увидела того берега Темзы, не увидела Ламбета: ничего, кроме перламутровой, уютной, колышущейся завесы. И вдруг ей стало страшно, что апелляционный суд вынесет решение не в ее пользу, — никогда еще подобная возможность так ее не пугала. В этом пряталась какая-то грубая алчность, словно теперь, когда у нее появилось что-то, она возжаждала получить больше, гораздо больше, получить все. В честь нее устроен праздник, она благополучно вышла замуж, принята как своя, довольна — и тут она вдруг обнаружила, что стоит одному страху рассеяться, как сразу же новый страх заполняет образовавшуюся пустоту (в чем Райл достаточно убедился за последние месяцы), и точно так же бывает с желаниями. Она не считала себя ни жадной, ни тем более корыстной, и все же теперь ей хотелось получить все, что отняло у нее последнее завещание, она хотела денег, хотела быть богатой. Правда, если апелляционный суд вынесет решение в ее пользу, она все равно не будет такой богатой, как многие здесь в зале. Но они с Лоримером смогут тогда жить вполне прилично. Вот чего ей хотелось.

Ее поразила острота этого желания. Она словно увидела себя в первый раз. И она себе не понравилась. Но ничего не могла с собой поделать. И принялась перебирать в памяти разговор с Суоффилдом. Он посоветовал не волноваться насчет следующей недели, но когда она сказала, что они не рассчитывают на успех, он ответил, что они правильно делают. Неужели он что-то разведает и скрывает от нее? Нет, не может быть, просто ей начинают мерещиться всякие глупости. Так что же это — предположение? Или прогноз? Нет, скорее всего он решил ее подковырнуть. Суоффилд любил действовать словно какой-то эмоциональный термостат. Если человек парит в вышине, как она в день ее свадьбы, его надо сбросить вниз. А если бы она свалилась вниз, Суоффилд постарался бы втащить ее наверх. Ну и хватит о деньгах. Надо взять себя в руки и снова радоваться этому утру. У нее хватило воли, чтобы подавить точившие ее мысли, но совсем в покое они ее не оставили. Через некоторое время они опять набрали силу — правда, причина была достаточно веская.

Тот самый парламентский организатор, который улаживал мисс Смит, лавировал теперь между гостями словно без всякой цели, хотя в действительности разыскивал Дженни. Она все еще стояла у окна, и он увидел ее на фоне полосы теплого света, который люстра отбрасывала на серую мглу снаружи. Он сказал:

— Я знаю, что сейчас не слишком подходящее время, леди Л. Но мне хотелось бы шепнуть вам кое-что на ушко.

— Я слушаю. — У нее была слабость к этому приятному розовому человеку, который, возможно, был таким же розовым, каким выглядел, но далеко не таким приятным.

— Так вот. Нам хотелось бы привлечь Джарвиса к более активной деятельности. Но вам придется его подталкивать.

И словно опытный учитель неопытной родительнице, он начал излагать ей исполненный благожелательности план. Джарвис вряд ли когда-нибудь твердо встанет на ноги (то есть как оратор), но он все-таки должен произнести свою первую речь, и пусть даже прочитает ее всю по бумажке — палата всегда снисходительна к первой речи, особенно когда ее произносит тот, кому все симпатизируют (мягкий и заботливый, прямо родной сын Джарвиса). Затем еще одна-две речи и время от времени какой-нибудь вопрос. А после того как он исполнит этот минимальный долг по отношению к палате, для такого человека, как Джарвис, всегда найдется много дела, которым он будет заниматься с большой пользой. Они выдвинули его в какие-нибудь комитеты. Им всегда нужны люди, не стремящиеся к политической карьере, но готовые жертвовать своим временем.

Дженни полагала, что этот приятный розовый человек вряд ли получил бы высшую отметку за откровенность, но его план как будто не маскировал никакой задней мысли, за ним не скрывалось ничего, кроме искреннего доброжелательства. И для Джарвиса это было бы прекрасно. Но этот план строится на предположении, что ему не нужно зарабатывать деньги. Подобная работа в палате никак не оплачивалась — в отличие от обязанностей ее собеседника, чей пост входил в систему правительственных должностей и, следовательно, оплачивался. Ее собеседник, несмотря на свою проницательность, вероятно, решил, что у нее есть деньги. Конечно, если она выиграет дело

на будущей неделе... вот тут-то резервуар тревоги и начал снова наполняться — капля за каплей. Но это ее не раздражало. Розовый человек лучился добродушием, потому что ему представился случай что-нибудь устроить. Вреда никому никакого, а польза может выйти, хотя и небольшая. Плыть, безмятежно плыть по течению.

Если бы Райл был в зале и услышал этот разговор (он отказался от приглашения совсем не из побуждений типа клэровских, а потому, что в это утро у него было заседание правления, — вот так он второй раз по воле случая не познакомился с Дженни), то его дурные предчувствия усугубились бы. Люди, наделенные способностями, энергией, силой духа, безмятежно плыли по течению. Нет дурмана сильнее привычки. Или непрерывной преемственности. Вот и это приятное утро, венчание, свадебное торжество, надежно укрытое за пологом тумана в этом светлом зале, внушали им уверенность, что все как было, так и будет. Люди не заглядывают далеко вперед.

Однако Райлу пришлось бы сделать скидку на свой пессимизм. Возможно, он видел все не более объективно, чем эти люди, живущие настоящей минутой. Дженни всегда вела жизнь, почти по всем меркам лишенную эгоизма. Парламентарий был исполнен благодарности, потому что старался оказать услугу трудному человеку. Все эти люди не причиняли никакого вреда, разве что, как заявили бы недоброжелатели, просто фактом своего существования, существования самой страны и их тесного круга внутри нее.

Райл, конечно, одним из первых указал бы, что мало найдется людей, которых заставил бы отречься от всех своих привилегий просто факт их существования. Эти двое у окна были слишком здоровы и счастливы для подобного решения. Они занимались тем, что было под рукой, и не мучились совестью из-за того, что делают ровно столько и не больше.

34

В среду на следующей неделе после свадьбы Дженни, то есть как раз накануне заседания апелляционного суда, доктор Пембертон (он решил оставить эту фамилию на своей дверной табличке) сидел в палате лордов на одной из задних скамей правящей партии. Это было второе вечернее заседание, на котором он присутствовал, и он взирал на происходящее со злобной обидой, а также с густеющим презрением — сочетание для него не столь уж редкое. Он был обижен, потому что накануне, впервые занимая свое место в палате, он ожидал торжественного спектакля и видел себя в главной роли. Ничего подобного. Он расписался в книге у стола, подошел к мешку с шерстью, предъявил королевский рескрипт, который был ему прислан с казенной точностью, без сопроводительного письма, и обменялся положенными рукопожатиями. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Никто, по-видимому, не полюбостествовал спросить, кто этот крупный мужчина, черноволосый и бледный, который уселся рядом с совершенно незнакомыми людьми в ту минуту, когда какой-то пэр задал первый вопрос по повестке заседания.

И вот теперь он давал этой кунсткамере возможность заглядить вчерашнее. Единственный след своего появления в палате он обнаружил на листе зеленоватой бумаги, который взял в кулаках. Протокол предыдущего заседания. Датирован по-латыни. «Die Martis 5^e Decembris³ 1972». Балаган, подумал Пембертон. «Молитва произнесена епископом Чичестерским». И в следующей строке: «Граф Хилмортон Заседал в Палате Впервые после смерти своего родича».

И все.

Но по воле случая на этот раз Пембертону, а ныне Хилмортону, довелось-таки лицезреть торжественный спектакль. В палату был введен пожизненный пэр, только что получивший этот титул. Балаган, опять подумал Пембертон, наливаясь презрением. Это была исконная английская церемония, а англичане все еще умеют их устраивать. Пембертон в принципе не одобрял церемоний. Герольдмейстер ордена Подвязки в полном облачении шествовал перед тремя пэрами в баронских мантиях (напрокат взял, решил Пембертон) — двое поручителей и неофит в середине. Торжественным шагом процессия спустилась по проходу, поднялась на возвышение к лорду-канцлеру, которому был затем вручен королевский рескрипт, — все то, что Пембертон накануне проде-

³ Вторник 5 декабря.

лад без всякой мишуры, как назвал он это про себя теперь. Монаршее повеление о пожаловании в пэры, принесение присяги. И опять — торжественное шествование по палате, снимаются и надеваются шляпы, головы чуть наклоняются в гордых поклонах. Затем новоиспеченный пэр вновь направляется к лорду-канцлеру — рукопожатие и исчезновение под приветственные возгласы.

А Пембертона продолжает язвить мысль о мишуре и балагане — о том, чего не полагалось наследникам уже существующих титулов. Он ведь чуть не прошмыгнул на свое место. Но все церемонии — только зряшная трата времени, ими его не прельстишь и не подкупишь. Есть у людей эта страстишка к маскарадным костюмам. Путного занятия себе найти не могут.

Обряды, общий тон, сила традиций воздействуют почти на любого человека даже против его воли и убеждений. Все предки Адама Седжвика и все его друзья с трезвым логичным рационализмом отрицали самую идею верхней палаты. И когда он попал туда, полностью сохранив свой трезвый рационализм, он ощущал себя, как неверующий в церкви, ощущал неясную, почти мистическую грусть, от которой он, неверующий ученый, не мог отмахнуться. Но доктор Пембертон был из другого теста. Ему все это представлялось удивительно глупым.

Он оглядывал лица вокруг себя и ярусы лиц напротив. Пожилые лица, старческие лица. Врач привыкает оценивать человека по его лицу. Несколько умных, а больше — Пембертон не был склонен к снисходительности — не таких уж умных. Заурядные лица. Практикуя в умеренно богатом районе, такие видишь на каждом шагу. Неподалеку кто-то дышал с присвистом. Будь это его пациент, он заставил бы его принять меры предосторожности. И вон этот и те двое. Нагрузка на сердце великовата. Пембертон как-то наблюдал с галереи заседание палаты общин — нагрузка еще больше, еще больше признаков стресса. Образ жизни профессиональных политиков, на взгляд Пембертона, был очень нездоровым.

Профессиональных политиков Пембертон уважал даже меньше, чем всех прочих людей. По его мнению, они не годились для того, чтобы управлять страной. Но он не считал нужным придумывать что-нибудь получше. Он не был Райлом, историком, пытающимся представить себе будущее. Будущее его заботило мало, а тягостные предчувствия в отличие от Райла его не мучили. Пембертон не был ни дальновидным человеком, ни пессимистом. Он редко предавался тому, что пренебрежительно назвал бы переливанием из пустого в порожнее. Правда, ему не слишком нравились его соотечественники — не больше, чем все прочее человечество, а может быть, и того меньше. Сплошные бездельники. Рабочие не работают, управляющие не управляют. Но тем не менее в нем жило твердое убеждение, что все будет и дальше идти, как идет. Он не верил, что могут произойти заметные перемены. Ну а произойдут, так пусть: ему бояться нечего — приличный врач никогда с голоду не умрет.

Вошел новый пэр, уже без мантии (еще один заурядный человечиска, подумал Пембертон), и занял скромное место на одной из центральных скамей. Вопросы. Парламентский пинг-понг, решил Пембертон, и палата лордов не упала в его мнению еще ниже только потому, что падать дальше ей было некуда. Полчаса вопросов. Зряшная трата времени.

Парламентский клерк объявил: лорд такой-то — и начались дебаты. Обычные дебаты, точно такие же, как вечером в ту среду, почти год назад, когда Райл решил спросить Хилмортона, что у него с ногой. В этот день тема казалась не слишком увлекательной: мировые энергетические запасы. Но очень скоро Пембертон вопреки себе обнаружил, что слушает без прежнего пренебрежения. До этой минуты его согревало ощущение превосходства над окружающими, но он был честен; что толку гордиться своим превосходством, если другие делают то, чего ты сделать не смог бы.

Выступающий знал свой предмет. Кроме того, он привык говорить публично. Пембертон ни разу в жизни не участвовал в дебатах — его публичные выступления ограничивались сообщениями на заседаниях медийских обществ. Но тут было другое. И, пожалуй, потруднее. Скамьи, обтянутые красной кожей, сверкающая позолота, мишура, старики, прижимающие к уху слуховые аппараты, мишура. Но нет. Пембертон против воли следил за тем, что произносит внятный профессиональный голос. Нет, выступавший не был никчемностью. Как и тот, кто его сменил, — правда, меньше профессиона-

лизма, чуть больше устремления в будущее. Если хочешь произвести тут впечатление, надо изучить их приемы. Эти люди как будто умеют рассуждать на трибуне. Пембертон не знал ничего, кроме медицины. Пожалуй, стоило бы произнести речь на какую-нибудь медицинскую тему. Он погрузился в раздумье.

Сознание собственного превосходства вернулось к нему, едва он вышел из зала заседаний, чтобы изучить остальные помещения. Практичный человек, приступая к работе в новой больнице, сразу выясняет, где находятся туалеты и где можно перекусить. Пембертон был практичный человек. С архитектурной точки зрения Вестминстерский дворец показался ему малоудачным. Он не признавал величественной пышности. Алые дорожки, избыток красных тонов, гобелены, портреты давно забытых пэров — ну как тут отличить один коридор от другого? С точки зрения функциональности — сплошное раздражение. Функциональная бессмысленность и роскошь — Пембертон не находил в этом сочетании ничего хорошего. Он бы все тут устроил по-иному.

Пембертон зашел в библиотеку — никакой медицинской литературы, ему тут делать нечего. Потом в гостиную и буфеты — человеку вроде него, непьющему, тут, по-видимому, тоже делать нечего. Разве что назначать здесь деловые встречи: на посторонних это место может произвести впечатление. Ну, он сумеет извлечь из него всю пользу, какую возможно. Однако Пембертон вовсе не чувствовал той уверенности, которую на себя напускал — он был чужаком среди людей, которые все, казалось, близко знали друг друга. Если всем вокруг, кроме тебя, уютно, тебе становится очень неудобно. И Пембертон принялся думать о прошлых обидах. Кое за какие уже можно начать отплачивать. Завтра надо выбрать время и зайти в апелляционный суд (он не забыл узнать, на какой день будет назначен разбор жалобы). Пора дочке Хилмортона и всему их семейству признать его существование.

Доктор Пембертон шел по коридору. Он ступал мягко, как бывший футболист, и размышлял о том, что, пожалуй, надо дать этому месту испытательный срок. Именно эта фраза сложилась у него в уме, и она не показалась ему странной. А если бы он задумался над ней, то решил бы, что она очень удачна. Вскоре он признал про себя, что хотя бы одно достоинство у этого места все-таки есть — тут можно узнать немало новостей. Он уже обнаружил чайную комнату и теперь направился туда. Опять портреты лордов-канцлеров, опять свидетельства (хотя Пембертон этого не знал) того, какие интерьеры нравились супругу королевы Виктории. Вкус у принца-консорта был по-своему недурной, однако Пембертона это вряд ли заинтересовало бы, да и вообще он был недостаточно осведомлен в таких вопросах, чтобы судить. Во второй комнате Пембертон увидел длинный стол — садиться, по-видимому, можно было на ближайшее свободное место, по обычаю, принятому в клубах, где культивируется дружеская непринужденность. Около десяти мужчин и две-три женщины негоропливо попивали чай — по-видимому, они не принадлежали к страстным любителям дебатов. Пембертон сел рядом с добродушным старцем, чья лысая голова поблескивала так глянцево, что казалось, будто слова отскакивают от его высокого лба. Он держался с дружеской простотой и не стеснялся задавать вопросы. Не прошло и минуты, как он уже повернулся к Пембертону:

— Простите, но, по-моему, я вас тут прежде не видел.

— Вполне естественно.

— Так, значит, вы появились тут недавно?

— Вчера, — сказал Пембертон.

— Ах, вот что. — Недолгие размышления. — Могу ли я спросить, кто вы?

Он представился, и Пембертон сказал, как накануне должностным лицам, что он Хилмортон.

— А! Понимаю, понимаю. Но вы не сын Хэлли, ведь верно? У него же сыновей не было. Ну конечно, ваш дядя. Я с ним был знаком очень близко. Мы вместе учились. Я знал его всю жизнь. Хэлли. Мне незачем говорить вам, каким на редкость добрым человеком он был. Принимал к сердцу любую чужую беду. И делал все, что было в его силах, лишь бы помочь. Даже когда день и ночь трудился на своем посту.

Против обыкновения Пембертон растерялся. И промывчал что-то нечленораздель-

ное. Откуда ему было знать, что его собеседник выработал привычку прямо-таки профессиональную говорить о всех людях только приятное. По мнению некоторых скучных скептиков, с течением времени он сам уверовал во многое из того, что говорил.

— Мне вспоминается, как он, то есть Хэллио, ваш дядя,— объявил благодушный старец,— помогал своему другу Седжвику закурить сигарету. Я имею в виду Седжвика, известного ученого. Украшение палаты, разумеется. Но он страдает нервным заболеванием, и Хэллио просто трогательно о нем заботился. И если бы Хэллио еще был с нами, то он безусловно сделал бы для Седжвика все, что в его силах, чтобы помочь ему с предстоящей операцией. Но, конечно, он точно так же бросился бы на помощь любому человеку, а не только близкому другу.

Пембертон не испытывал ни малейшего желания слушать, как этот старый хрыч, этот слюнтявый доброхот, этот слащавый лысун (Пембертон подписался бы под любым из этих определений) бубнит о редкостной душевности его предшественника. Однако при упоминании о Седжвике он наострил уши. Седжвик как ученый был ему известен. А при всем своем принципиальном неуважении к людям именитых ученых Пембертон уважал. И он тотчас стал вежливым и даже в какой-то мере обаятельным. Ему хотелось узнать медицинские подробности о болезни Седжвика.

К удивлению Пембертона, старый хрыч, хоть и источал христианское благоволение, отчего претил ему еще больше, оказался просто кладезем точных сведений. Старая, люди начинают живо интересоваться чужими болезнями. Для Пембертона это не было новостью, но лысый старец отличался еще и особой дотошностью. Он знал диагноз. Он знал фамилию хирурга, который должен был оперировать Седжвика. Знал, в какой клинике. Правда, точно назвать день операции он не смог, но знал, что она назначена где-то на самый конец года.

— Очень любопытно,— сказал Пембертон и объяснил, что он тоже врач.— Надо будет узнать, не смогу ли я быть ему полезен.

Это было произнесено с сокрушающей внушительностью. Ему не нравилось ощущать себя чужаком, не нравилось признаваться даже себе, что он не способен говорить так, как эти краснобаи в палате. Но теперь он почувствовал под ногами твердую почву и обвел сидящих вокруг взглядом, полным умягченного презрения. Правда, профессионально они его раздражали: слишком много пирожных поедалось у него на глазах. Что он думает об этом месте, то и думает, а впрочем, не важно: он может использовать его — и использует,— чтобы добраться до Седжвика. В этом, во всяком случае, есть смысл.

35

Здания суда не были старинными и все-таки производили впечатление старинности. Джени и Лиз были современными женщинами, но тут, в зале апелляционного суда, они ждали столь важного для них решения с соблюдением ритуала, древнего, как сам закон. И та и другая ждали судебного решения — официального акта, который должен был отразиться на их судьбе, но ждали они, как в самой седой древности, лицом к лицу с теми, кто должен был вынести это решение. И никаких механических приспособлений — одно лишь устное слово.

На возвышении сидели трое лордов-судей в париках — Фоук, Шинглер и Гимсон. Фоук, председатель, походил на язвительного арабского мудреца — замечания его были изысканно вежливыми, но задевали глубоко. Шинглер, сложенный более плотно, держался внимательнее и мягче. Гимсон, круглый толстячок, казалось, дремал с открытыми глазами, как сурок. (Их титул лорд-судья был словно специально придуман для того, чтобы сбивать с толку иностранцев. Лордами они не были — их должность приравнивалась лишь к рыцарскому сану. Они стояли ниже лордов — апелляционных судей, которые, хотя и носили не столь всеобъемлющий титул, были настоящими лордами и заседали в палате.) Зал суда был не столько длиннее, сколько широк, и напоминал университетские комнаты Седжвика, только сильно увеличенные, с готическими сводами, под которыми поблескивали стекла узких окон, — обшитые панелями стены, книжные шкафы с рядами глянцево-книжных корешков, величественная люстра в центре и шесть бра за возвышением. В отличие от зала, где слушал дело

судья Бозанкет, тут для зрителей стояло всего три ряда скамей, но это значения не имело, так как, кроме адвокатов, Лиз, миссис Андервуд, Джулиана, Дженни и Лори-мера, в зале никого не было. Правда, через полчаса после начала утреннего заседания в четверг пришел Райл и сел позади Лиз.

Ей не могло прийти в голову, что ни ему, ни ее отцу ни разу в жизни не приходилось вот так ждать решения их личной судьбы. И тем не менее это было близко к истине. Да, конечно, они не раз со жгучим нетерпением ожидали известий о повышениях, о новых постах. Но прибывали эти известия вне личных контактов — по телеграфу, по телетайпу, по телефонным проводам: добрые вести мчатся быстро, со скоростью электронных импульсов. Отцу Лиз звонили из дома номер десять по Даунинг-стрит. Это означало — он в списке. (Как-то в 1935 году он сидел у телефона и ждал звонка, который так и не раздался. Это означало, что его в списке нет.) Об успехах Райла, о росте его состояния возвещали деловые звонки из Нью-Йорка. Ну а Адаму Седжвику в течение его ровной и спокойной научной карьеры выпал только один такой случай — звонок из Стокгольма, шведский журналист сообщил, что ему присуждена Нобелевская премия. Рано поутру — так рано, что еще нельзя пойти в лабораторию и устроить небольшое празднование. Все это были мужчины, которые подвизались на общественной арене и жили в современном темпе.

Дженни и Лиз, женщины, на общественной арене не подвизавшиеся, вынуждены были смириться со старомодным темпом. Впрочем, пока они сидели в зале суда и нервы их были так натянуты, что, казалось, вот-вот зазвенят, подобные философские размышления им на ум не шли.

И все далеко не исчерпывалось только старомодностью процедуры — им никак не удавалось уловить смысл происходящего, хотя обе были умны и успели к этому времени приобрести немалый судебный опыт. Как ни внимательно следили они за ходом разбирательства, ни та, ни другая не могла понять, в чью сторону склоняется чаша весов. Лэндер со вкусом и явным увлечением рассуждал о «влиянии» — о том, как это понятие было определено в решении Высокого суда тридцать лет назад. Марч извлек из своей электронной памяти точные выдержки из решений 1891, 1903 и 1920 годов. Дженни и Лиз не верилось, что все это имеет хоть какое-то отношение к ним — к тому, что происходило с живыми людьми из плоти и крови в доме старого Мэсси, к тому, что Дженни помнила о своем отце.

Адвокаты и трое судей, казалось, наслаждались интеллектуальным спором. Толстые тома со множеством закладок раскрывались на нужном месте, и оно зачитывалось вслух, словно еще не было изобретено ксерокопирование. На человека со стороны все это могло произвести впечатление беспомощной любительщины. Судьи трудолюбиво писали, не прибегая к помощи стенографии. Внушительно повторялись имена Харвуд и Бейкер, Харгрейвс и Грей, которые ничего не говорили Дженни. Адвокаты по очереди приводили цитаты из давних решений. Словно велся богословский спор между людьми, верующими в истину, явленную свыше. Кальвинисты, сокрушающие друг друга текстами из священного писания. Разбирательство прерывалось интерлюдиями, во время которых судьи и адвокаты, подобно участникам съезда современных философов, копались в семантических, а то и в грамматических тонкостях.

Позже, вне стен суда, Дженни, возможно, осознала, что чем выше инстанция, тем закон приобретает большую абстрактность. В безвестных судах первой инстанции (в которых ей не довелось побывать) перед мировыми судьями предстают живые люди и излагаются конкретные факты. Суды присяжных или — как в ее собственном деле — судья Бозанкет все еще занимаются живыми людьми и рассматривают конкретные факты. Но в апелляциянном суде люди и факты каким-то образом отфильтровываются.

Позже Дженни, возможно, осознала, что все это неотъемлемая часть процедуры правосудия. Но не сейчас, не в суде. Она с большим напряжением воспринимала их многоступенчатые фразы, суть которых от нее тотчас ускользала. Ее одновременно томили тревога, гораздо более мучительная, чем на первом процессе, и тягостная скука. Тревога и скука — не слишком завидное сочетание. И любой повод отвлечься был ей приятен, хотя в то же время казался чем-то неуместным, почти неприличным.

Правда, таких поводов было немного, но на исходе утра незадолго до перерыва в заседании ее заинтересовало появление очень крупного мужчины, который, грузно ступая, прошел к скамье позади андервудской группы. Кто бы это мог быть? Разговора, который начался там, едва судьи поднялись, чтобы уйти на перерыв, она, естественно, не слышала, а иначе он сильно ее развлек бы.

Мужчиной этим был доктор Пембертон. Он потрогал Лиз за плечо и спросил:

— Вы ведь Элизабет Фокс-Милнс?

Она обернулась и взглянула на широкое властное лицо.

— Да.

— Мне, наверное, надо представиться. Арчибальд Пембертон.

— Простите,— сказала она с недоумением и без малейшего интереса.

— Я только что занял в палате лордов место вашего отца.

— Ах так.— Тут она наконец поняла.

— Таким образом, я теперь в некотором роде глава семьи. И я решил, что нам следует познакомиться.

— Ах так.

И Лиз, сказав то, что полагается говорить в таких случаях, представила его миссис Андервуд и Джулиану как лорда Хилмортон.

— Как, дело продвигается? — спросил Пембертон с сокрушающей самоуверенностью, необычной даже для него.

— Об этом я знаю не больше, чем вы.

— Я ей говорю, что все будет хорошо,— сказал Джулиан небрежно-хозяйским тоном.

Пембертон, словно не замечая его, продолжал давить на Лиз:

— Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Каким образом? Ну разве что подкупите судей,— ответила Лиз.

— Я мог бы посоветовать вам, как снять напряжение.

— Мне кажется, с этим мы справляемся сами,— сказала Лиз.— Джулиан, мы пойдем куда-нибудь пообедать? Благодарю вас за то, что вы пришли,— обернулась она к Пембертону.— Полагаю, мы еще увидимся.

У Пембертона в глазах потемнело от бешенства и, как в молодости, зачесались руки: с каким удовольствием он бы дал ей в зубы! Он чувствовал, что его облили презрением (что было верно), облили презрением как ничтожество и выскочку (что было неверно). Пусть Лиз и не придавала большого значения своему аристократизму, но он был в ней достаточно силен и она не разделяла милых старых буржуазных иллюзий, будто истинным аристократам чужд всякий снобизм,— ей он был далеко не чужд. Но она не могла смотреть сверху вниз на человека, унаследовавшего титул ее отца, откуда бы он ни взялся (это она представляла себе очень смутно) и каким бы он ни был.

С Пембертоном же она обошлась так по совсем иной причине, довольно странной и неожиданной. Ее оттолкнула его мужская агрессивность. Да, ей нравились мужчины, но мужчины совсем другого типа — обольстительные, уклончивые, плетущие из страсти кружева, а не грубое прямолинейное воплощение мужского начала. Сама она себе в этом не признавалась, но во всем, что касалось мужчин, ее вкус (по крайней мере, по мнению окружающих) оставлял желать лучшего. Она, как однажды вечером заметил ее отец, принадлежала к тем женщинам, которые неизбежно делают дурной выбор. Даже будь Пембертон единственным мужчиной на свете, она его все равно никогда не выбрала бы.

Пембертон смотрел им вслед. Без малейшего лицемерия, ничего не умея прощать, он от души пожелал, чтобы «эта шайка» проиграла дело.

Дженни не пришлось долго томиться тревогой и скукой в этой смутной мгле словопрений. В тот же день в половине пятого лорд-судья Фоук самым будничным брюзгливым тоном объявил, что они выслушали уже достаточно. Любезный кивок Шинглера справа от него, невыразительный кивок Гимсона слева. Им потребуется время, сказал Фоук, для того, чтобы написать свои заключения, а потому они объявят их на следующий день в одиннадцать тридцать.

Следующий день, когда он наконец настал, начался сверкающим декабрьским

утром. В зале суда, как обычно, горела люстра, иначе он утонул бы в сумеречных тенях. Кроме тех, кто присутствовал накануне, никого. Даже Райл не пришел: он не сомневался, что угадал, каким будет решение, и предпочел узнать о нем из юридического бюллетеня. На первой скамье — адвокаты, на второй скамье слева — Андервуды и Лиз, справа — Дженни и Лоример. Две последние пусты, словно в захиревшем частном театрике. Никого из тех, кто часами просиживал на первом разбирательстве. Любопытство к чужим делам неспособно сохраняться так долго, а о терпении, не подогреваемом интересом, и говорить нечего.

Ровно в одиннадцать тридцать лорд-судья Фоук, обрамленный двумя своими коллегам, начал читать. Читал он без всякой выразительности, монотонно, сухим, еле слышным голосом. Опытные парламентарии могли бы процитировать старый афоризм, которому, правда, не следовали: самая скверная речь, произнесенная без бумажки, лучше самой лучшей, которую читают по бумажке. Начал лорд-судья Фоук так:

— Из многих глубоких замечаний, включенных судьей Бозанкетом в его решение, я хотел бы остановиться на двух.

С точки зрения Лэндера и Марча, он мог бы на этом и кончить. Они уже поняли, какое он вынес решение. Но только они.

А лорд-судья Фоук продолжал:

— Я согласен с судьей Бозанкетом в том, что дела подобного рода желательно, чтобы не сказать сильнее, улаживать, не прибегая к помощи закона. Сторонам следовало бы прийти к дружескому соглашению сразу после того, как завещание было оглашено. Это рекомендуют и будут рекомендовать все юристы.

Затем лорд-судья Фоук согласился с Бозанкетом в том, что вопрос о «неправомерном влиянии» разработан в законе недостаточно четко. Среди всех дел, которые ему приходилось разбирать, такие дела всегда оставляют ощущение неудовлетворенности.

— Но я обязан руководствоваться существующим законом в том его виде, в каком он существует. Я рассмотрел прецеденты, на которые ссылались ученые представители сторон, и пришел к выводу, что существует лишь один более или менее веский критерий, который может служить основой для заключения. Этот критерий я определил бы как степень податливости завещателя постороннему влиянию. Я убежден, что область неясного, которая и так уже непомерно велика, возрастет до совсем уж недопустимых пределов, если мы будем обращать излишнее внимание на привходящие обстоятельства и на личность тех, кто окружал завещателя. Один человек может физически и духовно находиться в таком состоянии, что поддастся влиянию даже случайного знакомого. Другой же будет неподатлив влиянию и самых близких ему людей, какими бы волевыми и сильными натурами они ни были, то есть неподатлив в том смысле, какой может быть признан и определен законом. И вот тут я, к большому моему сожалению, расхожусь с судьей Бозанкетом. В его решении относительно мало внимания уделено характеру мистера Мэсси и состоянию, в котором он находился, хотя приводится много интересных сведений о том, кто окружал его в последние годы жизни. Я не сомневаюсь, что мы сможем решить вопрос о том, подвергался ли мистер Мэсси влиянию, если изучим степень его податливости посторонним влияниям.

Слова монотонно следовали друг за другом, а Дженни уже смирилась (почти равнодушно, словно оглушенная) с тем, что это заключение направлено против нее. Совещались ли судьи между собой до заседания? Знает ли он, что намерены сказать остальные двое? Можно ли еще надеяться?

А лорд-судья Фоук продолжал анализировать сведения о старом Мэсси (миссис Андервуд почти не упоминалась, и позже Марч сказал, что Фоук глубок, остер и узок, любит конкретные факты, в которые можно запустить зубы, и бозанкетовская интуиция для него — пустое место). Ничто не свидетельствует о том, будто он был податлив посторонним влияниям более, чем это бывает обычно, зато многое указывает, что он поддавался ему меньше других людей. Он допустил, чтобы компетентная женщина устроила в его доме все по-новому. Это вполне может быть поступок совершенно нормального человека, который заботится о своих удобствах. Об утрате дееспособности речи вообще не возникало, и никаких доказательств такой утраты представлено не было. Человек в здравом рассудке и, как показывают материалы дела, не склонный

поддерживать родственные связи, несмотря на всю необычность этого, тем не менее может без всякого внешнего воздействия обойти в своем завещании дочь, которую он не видел и — что опять-таки вытекает из материалов дела — не желал видеть в течение многих лет. Это ни в коем случае не бросает тени на леди Лоример, бывшую миссис Рэстал. В обстоятельствах, которые не могли не быть для нее чрезвычайно тяжелыми, она вела себя безупречно. Однако позиция мистера Мэсси настолько ясна, насколько ее могут сделать ясной материалы дела. Все считали его человеком с сильным характером и устойчивыми мнениями. Нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что дряхлость оказала значительное воздействие на его характер и устойчивость мнений — во всяком случае, настолько, чтобы он не отдавал себе отчета в собственных желаниях или стал послушным орудием в чьих-то руках. Мистер Мэсси, как ясно показывают материалы дела, был менее податлив чужим влияниям, чем большинство людей, и это единственный твердый критерий для вынесения решения в соответствии с законом.

Лорд-судья Фоук поглядел поверх очков, хотя эти слова были тоже написаны на листе, и сказал бесцветным тоном:

— На этих основаниях я считаю, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению.

Лорд-судья Шинглер прочел звучным ласковым голосом:

— «Я могу лишь кратко выразить мое согласие с тем, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению».

Для Джени все было кончено. Они, конечно, совещались накануне, подумала она, и без всякого выражения посмотрела на Лоримера, который молча похлопывал ее по руке.

Она была совсем оглушена и не понимала даже, что Шинглер хвалит ее, до последней секунды стараясь сохранять благожелательность («Она должна уйти из суда в твердой уверенности, что на ее доброе имя и репутацию не брошено ни малейшей тени. Ни о чем подобном и речи нет»). Противостоять Фоуку, если бы они — тогда ли или в любой другой раз — разошлись во мнениях даже по частностям, Шинглер явно был не в силах. Но никто не мог помешать ему хотя бы немного смягчить удар, и, как выяснилось позже, не только на словах.

Третий лорд-судья, Гимсон, снял очки, утратил сходство с дремлющим сурком и прочитал:

— «Я вынужден не согласиться с изложенными ранее выводами».

Незаинтересованный наблюдатель вроде Мюриэль Калверт, несомненно, посетовал бы на слабую режиссуру — выступил Гимсон вторым, ей выпало бы несколько лишних минут приятного напряжения. Но в любом случае Мюриэль в зале не было и она давным-давно забыла про эту тяжбу — собственно говоря, она была занята очередным молодым человеком, притом заметно более молодым, чем она сама.

Гимсон почти не коснулся вопроса о влиянии и неподатливости влиянию. Его точка зрения была проста и изложена с четкостью и авторитетностью, в которых не было ничего сурчиного.

— Каждый из нас, рассматривая это дело, может прийти к иному заключению, но этого еще мало. Необходимо, чтобы в деле имелось много такого материала, который позволял бы сделать вывод, что решение судьи необоснованно. Подобного материала я тут не нахожу. Материал по делу сложен и поддается различному толкованию. Судья истолковал его не так, как, возможно, сделали бы это мы, но его решение достаточно обоснованно. Я считаю, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Двое за удовлетворение. Итак — конец. Нет, не конец. Лорд-судья Фоук снова сухо забормotal:

— Остается вопрос о судебных издержках. При нормальных обстоятельствах апеллирующая сторона должна была бы быть полностью освобождена от их уплаты. Учитывая несколько необычные и излишне усложненные обстоятельства данного дела, их следует распределить по-иному. Возражения ученых представителей сторон я выслушивать не буду. Постановлено, что половина издержек будет удержана из наследственной массы. Вторую половину покрывает проигравшая сторона.

Дженни слышала только бессвязные звуки. Лишь много позднее она осознала, что речь шла о компромиссе, даже о сочувствии, хотя и выраженном эзоповским языком. По-видимому, как предположили между собой адвокаты, на этом настоял Гимсон, а лорд-судья Шинглер был зажат между ним и Фоуком словно в тисках. Когда судьи поклонились и направились к двери, Дженни, все еще ничего не воспринимая, повернулась к мужу и прошептала:

— Ну, вот и все.

Ее глаза блеснули, но сказала она это спокойно, потому что еще не очнулась. Потом она встала, держась очень прямо, и тронула сидевшего впереди Симингтона за плечо:

— Лесли! Я хочу поблагодарить вас за все.

— Мне очень жаль, Дженни,— сказал Симингтон.— Очень.

Это было сказано от души. Симингтон давно уже испытывал к ней искреннее уважение и симпатию. Суоффилда он возьмет на себя. А потом увидится с ней в самое ближайшее время. Но Симингтон был профессионалом, а профессионалам человеческое сочувствие в какой-то мере противопоказано. И даже в эту минуту Симингтон думал о том, что дело велось добросовестно, но не блестяще... его оценка была верной с начала и до конца... надо было, как он настаивал, добиться соглашения... не ясно только, не следовало ли принять то первое и единственное предложение противной стороны.

Тем же твердым и спокойным тоном Дженни обратилась к Лэндеру, который вполголоса разговаривал с Дэвидом Марчем. Когда она поблагодарила его, он неожиданно для себя улыбнулся ей, потому что улыбалась она.

— До чего обидно,— сказал он.— До чего же обидно! — Но тут же взял себя в руки.— Должен сказать, все висело на волоске.

— Но оборвалось, не так ли? — сказала Дженни.

Он был сердечным человеком, на редкость добрым, но это бестактное утешение ранило ее гораздо больше, чем нечаянная ответная улыбка, и, выходя из зала под руку с Лоримером, она чуть-чуть горбилась.

Теперь адвокаты остались одни. Марч, сняв парик, бросил его на скамью, и они продолжали разговор.

— Неплохое финансовое подспорье,— сказал Дэвид Марч.

— И по заслугам,— заметил его друг.

— Нет, нет!

Выиграть дело было приятно, но когда речь шла о его успехах, Марч был взыскателен к себе. Постоянно преуспевая, он мог позволить себе быть честным в оценке, насколько заслужен этот успех. Он продолжал:

— Это ведь был просто подарок: старикан принял решение, когда мы еще рта не успели раскрыть.

— Раз это говоришь ты,— сказал Лэндер,— я возражать не стану. Однако вот что интересно: почему тебе достается куда больше таких подарков, чем мне?

Это было сказано простодушно, без малейшей зависти, чему никто, кроме Марча, не поверил бы. Но Марч поверил, неторопливо ухмыльнулся и сказал, что нынче в их традиционный клубный вечер за обед платит он. Пересекая огромный вестибюль суда, они рассуждали, долго ли продержится доктрина Фоука о неподатливости влияния: она сформулирована четко, несомненно, обдумывалась давно — по совсем другим причинам (как всегда, Лэндер говорил все, что ему взбрело на ум) — и есть в ней некая жесткая логичность.

— И возразить на это нечего,— заметил Марч,— кроме того, что в реальной жизни так не бывает.

Пока эти двое вели свою беседу, Дженни и Лоример возвращались на автобусе в Пимлико. Хотя они и сидели рядом, она всю дорогу домой молчала. Но едва затворив за собой дверь гостиной, Дженни не выдержала:

— Я так зла, что дальше некуда.

— Ничего.

— Зачем ты это говоришь? — И она расплакалась.

Лоример не раз видел, как она плачет, но только над сентиментальными теле-

фильмами, а в этих случаях, к их взаимному удовольствию, он и сам был не прочь всплакнуть. Однако теперь она рыдала по-настоящему — горько, от разочарования, от бессилия. Лоример поглаживал ее по голове, словно собаку, а потом пошел и налил ей виски.

— Ну вот, разревелась,— сказала она, залпом выпив рюмку.

— Ничего. На твоём месте каждый...— Он добавил с вызывающей смущенно: — Я тобой гордился. В суде. Ты держалась молодцом.

— Спасибо, Джарви.— Похвала была очень кстати. Пусть он смущается и робеет, но с ней он другой, совсем не такой неловкий. И неискренне хвалить он не стал бы. Как и она сама.— Видишь ли, это было нетрудно. Я просто еще не восприняла. Знаешь, когда я вдруг осознала? На автобусной остановке.

(На самом деле это произошло чуть раньше, но она не стала уточнять.)

— Ничего,— сказал Лоример.

— Так скверно! Я не смогу сделать того, что хотела. Для нас. Никогда не смогу. Её лицо напряглось, словно она опять собиралась заплакать.

Лоример сказал:

— Ну, может быть, для нас так лучше.

Вот теперь он был неловок. Она огрызнулась:

— Ах, избавь меня от таких рассуждений! Ну почему вдруг лучше?

И тут он пробормотал:

— Очень мне этот Фоук не понравился. Что-то там нечисто.

Как ни странно, это помогло. Ей расхотелось плакать. Её лицо порозовело, ожилося, по нему разбежались морщинки. И как двое простаков в беде, они преобразились в заговорщиков, впали в своего рода воинственную манию преследования. Да, Фоук явно действовал против нее. Какие-то личные причины (совершенно безосновательное обвинение, но их ничто не переубедило бы, они находили в этой мысли поддержку). С кем он знаком? Лоример взял старый справочник «Кто есть кто». Кто стоит за всем этим? Где прячется враг?

Примерно тогда же, в два часа дня, когда Дженни постепенно приходила в себя, еще один юрист в отличие от обоих адвокатов никак не мог обрести спокойствия. Это был Скелдинг. Его отстранили от дел куда более решительно, чем он дал понять Андервудам, и теперь он посещал контору не чаще одного-двух раз в неделю. В эту пятницу он привык к новому образу жизни у себя дома в Уимблдоне. Далеко не то, что давать мудрые стариковские советы любимым клиентам, предпочтительно из хороших семей, но все-таки привычка уже кое-что, все-таки привычка лучше, чем ничего.

Он давно овдовел, и его хозяйство вела старенькая экономка, которая кормила его сугубо по-английски и не слишком обильно, а в ту меру, какой придерживаются пожилые люди, если они заботятся о своем здоровье. Завтрак в девять — позже, чем бывало. Штудирование «Таймс», которое можно растянуть часа на два. Потом какая-нибудь книга, хотя прежде у него никогда не хватало времени на подобное чтение и он совершенно утратил к нему вкус. А в эту пятницу он пригласил ко второму завтраку приходского священника. Скелдинг был теперь церковным старостой, и эти обязанности на час-другой создавали желанное ощущение занятости. Священник ушел, и Скелдинг как раз собрался вздремнуть (еще одна новая привычка), как вдруг зазужжал телефон. Ему звонили из конторы — Джулиан Андервуд выиграл дело.

Никто из клиентов Скелдинга, привыкших к его профессиональной манере держаться, не мог бы представить себе его состояние в ту минуту. Он негодовал даже больше Дженни, испытывал такую же опустошенность и еще острее ощущал себя преданным. Он дал наилучший совет, какой подсказывали юридический опыт и разумная осторожность. Они пренебрегли советом и продолжали действовать по-своему. И вот теперь они выиграли дело!

Скелдинг был не похож на Суоффилда во многих отношениях (в том числе и таких, какие благовоспитанность не позволила бы Скелдингу упомянуть вслух). Так, у него не было привычки выкрикивать негодующие тирады в пустой комнате. Но на этот раз — совсем как Суоффилд после того, как ему изящно пригрозили,— Скелдинг не удержался и объявил своей обитой веселеньким ситцем мебели:

— Нет в этом мире справедливости.— И повторил: — Нет в этом мире справедливости.

Тут в нем властно заговорила старая привычка — гораздо более старая, чем ритуалы, которыми он утешался теперь. Он пошел в кабинет и написал миссис Андервуд величественное поздравительное послание, как писал клиентам все время, пока возглавлял свою фирму. Письмо было очень величественным — фразы, отточенные давным-давно, сами возникали под его пером, их незачем было менять. Он написал на конверте адрес и приклеил марку. Письмо можно будет опустить на прогулке после чая — еще один новый ритуал. Тут он заколебался. Следует ли написать и Джулиану? Привычка, самодисциплина, правила приличия вдруг утратили всякую власть над ним. Да будь он проклят, если напишет.

Мистер Скеддинг исполнил свой долг, хотя и с этим небольшим упущением.

Как раз в эту минуту Дженни исполняла свой — готовила Лоримеру омлет. Они по-прежнему жили очень просто. И, как заметила она уже с прежней веселой стойкостью, будут так жить всегда — к чему закрывать глаза на правду? Она бодрилась отчасти ради него, но главным образом потому, что долго унывать было не в ее натуре. В конце концов, тут она чрезмерных надежд не питала: и теперь, как и тогда, когда она переехала к Лоримеру, для перестраховки не отказавшись от своей квартиры (операция совершенно в духе министерства финансов), у нее в запасе были кое-какие — ну, конечно, самые скромные — планы на будущее. В понедельник надо обязательно поговорить с Суоффилдом. Вероятно, исход дела ему уже известен. Но он не позвонил. Ни он и ни кто другой. Она отпускала веселые, но злые шуточки, стараясь дать выход своим чувствам. Когда проигрываешь, телефон не звонит. Если бы они выиграли дело, телефон звонил бы не умолкая. (Сама того не зная, Дженни повторила один из политических афоризмов покойного Хилмортона: если ты не у дел, значит, ты не у дел и никому больше не интересен.) Лоример промолчал, но улыбался ей угрюмой одобрительной улыбкой. Он ведь любил ее и за то, что она понимала самую суть неудачи, ее атмосферу и последствия, — ему в его жизни всего этого досталось сверх меры.

На следующей неделе Дженни пришлось вновь подвергнуть свою стойкость испытанию: в понедельник она попыталась увидеть Суоффилда и получила ответ, что он весь день будет занят. И вряд ли освободится во вторник. Дженни подумала (а людям, трезво смотрящим на жизнь, такие истины не более приятны, чем нам всем), что тот, кто попытался оказать вам услугу и только испортил, неизбежно винит во всем вас и не желает больше иметь с вами ничего общего. Однако когда Суоффилд наконец соизволил ее принять, он держался хотя и не дружески, но вполне спокойно и деловито, словно беседовал со служащим, несколько обманувшим его ожидания и тем не менее не лишенным некоторых достоинств. Он предоставит ей место с полным рабочим днем (итак, конец обходам, которые доставляли ей столько радости). Жалованье, конечно, будет небольшое, примерно как у чиновника средней руки, но достаточное, чтобы жить. А Лоример? Этот вопрос входил в запасной план на будущее и не терпел отлагательств. Она во что бы то ни стало хотела освободить его от жалкого прозябания в школе. Она уже пыталась убедить Суоффилда, что Лоример может быть очень полезен в таком благотворительном начинании, как оказание помощи отставным офицерам. Ведь он и сам такой. Конечно, у него нет никакого опыта, но он приложит все усилия. (Если бы она получила отцовские деньги, то сразу же тайне пожертвовала бы необходимую сумму для создания такого благотворительного фонда и совсем уже тайне добилась бы, чтобы заведование фондом было поручено ему.) Когда она еще была в фаворе у Суоффилда, то даже пыталась сыграть на его слабой струнке, утверждая, что это поднимет дух Лоримера, укрепит его уважение к себе. Но ей тогда же стало ясно, что тут она допустила ошибку. Лоример не нравился Суоффилду, так как Суоффилд своим обостренным чутьем сразу же уловил, что не нравится Лоримеру. Тем не менее Суоффилд продолжал питать симпатию к Дженни — симпатию, смешанную с раздражением. Хорошо, он сделает что сможет. Но пусть Лоример на большие деньги не рассчитывает. Впрочем, любая малость в хозяйстве лишней не будет.

И наконец, он поможет им купить дом.

— Жить в этой труппе, моя милая, вам больше никак нельзя!

Впервые в этом разговоре в среду он вернулся к своему прежнему грубому, хозяйскому, чуть-чуть скабрзному тону. Суоффилд ни разу не бывал в квартире на Лупес-стрит, но тайком выяснил, что она собой представляет,— это в его духе. Может быть, через кого-то из своих соглядатаев, а может быть, и сам во время своих ночных рысканий. Он подыщет для них что-нибудь.

— Не дворец, конечно, а так, что-нибудь вроде тех домов, в каких я жила прежде. Чтобы вам было по карману.

Этим исчерпывалось все, что Суоффилд готов был сделать для Лоримеров.

Не слишком щедро, но прилично. Даже немножко больше, чем рассчитывала Дженни, и гораздо больше, чем она опасалась. Собственно, она упустила из виду, что Суоффилд при всей своей злокозненности и прихотях никогда не забывал о практической стороне дела и не был игрушкой минутных капризов. Она прекрасно справлялась со своими обязанностями, и он был готов использовать ее деловые качества. Да и его собственным планам не повредит, если в его свите будут состоять скромные и достаточно надежные лорд и леди. К тому же у него была еще одна своеобразная причина для благодушия. Если бы ему пришлось уплатить судебные издержки целиком, настроение его было бы совсем иным. Но подобно большинству богачей он обожал экономить деньги, а постановление апелляционного суда сберегло ему немало тысяч фунтов. И хотя он это скрывал, Дженни отнюдь не утратила его расположения. А может быть, его переменчивость где-то сочеталась со своего рода порядочностью, и даже если бы дело обернулось много хуже, на произвол судьбы он Дженни не бросил бы.

Все это было улажено в среду утром. А в предыдущую пятницу сразу после того, как апелляционный суд вынес свое решение, когда Дженни еще строила планы, как им жить дальше, и не знала, на что она может рассчитывать, в другой части Лондона праздновалась победа. Празднование это было своеобразным, так как из троих его участников один думал о будущем, тревожась не меньше, чем Дженни. Миссис Андервуд не решилась искушать судьбу и не распорядилась об обеде заранее, а потому кухарка еще должна была его приготовить. Однако у себя на Виктория-роуд миссис Андервуд жила в скромной роскоши и для подобных случаев всегда имела в запасе какие-нибудь деликатесы вроде паштета из гусиной печенки или икры. Но, конечно, ничего равного этому случаю еще не бывало, заметила она весело, когда они, сидя в гостиной, намазывали паштет на поджаренный хлеб и пили шампанское.

— Ведь ничего, что нам придется подождать с обедом? — сказала миссис Андервуд, которая, как большинство здоровых пожилых женщин, любила вкусно поесть и выпить. — Мы подождем, пока все будет готово, — какое это теперь имеет значение?

Лиз много пила и почти не ела. Джулиан соблаговолил отступить от обычной воздержанности и выпил полбокала шампанского, но от паштета отказался: паштет плохо действовал ему на печень. С ангельской безмятежностью, без малейшего оттенка торжества он сказал:

— Я всегда знал, что все будет хорошо.

— Как ты мог знать? — спросила Лиз резко, с трудом сдерживая дрожь в голосе.

— Малая толика ясновидения. И немножко здравого смысла.

— Ты ничего не мог знать. Никто же не знал.

— Но я ведь все время это утверждал, разве не так? — проворковал он нежно. И продолжал: — Я говорил тебе это с самого начала. И этим дуракам-стряпчим. И хорошо, что я настоял на своем.

Возразить на это было нечего. Он бесспорно поставил рекорд по оптимизму.

— Я бы не выдержала, — сказала его мать с любовью, почти с благоговением. — Твоя твердость поразительна.

— По-моему, ее я унаследовал от тебя. — Он пустил в ход все свое обаяние, словно чаруя одну из своих женщин при первом знакомстве.

«Словно меня, — подумала Лиз, — когда мы только познакомились».

Он лежал на диване: теперь это стало одним из его правил — при всяком удобном случае лежать на диване, когда он бывал у матери или у себя дома.

Его лицо помрачнело.

— Вот только это решение о судебных издержках. Чудовищно! Если бы Марч хоть на что-то годился, он бы этого так не оставил. И не должен был оставлять. Не должен.

— Не надо портить такой день,— сказала его мать.

У нее хватило духу побранить его. Он состроил гримасу, сначала нахальную, потом покаянную.

— Ну, хорошо, хорошо. Не буду.— И добавил: — Я с самого начала знал, что все будет хорошо. Так оно и есть, мамуленька.

Обе пристально следили за выражением его лица, как следили с той самой минуты, когда вышли из здания суда. Обе искали в нем одного и того же — первая со страхом, вторая с боязливой надеждой. Но теперь страх шел на убыль и надежда тоже. Обе ждали, что он заговорит (шутливо, обиняком, небрежно, как султан,— Лиз была готова к чему угодно) о браке. Этого не произошло. Ни малейшего намека не проскользнуло даже в интонации. Он, казалось, нарочно старался не оставаться с ней вдвоем. Когда, например, его мать вышла в столовую, чтобы дать указания экономке, он попросил Лиз (ласково, словно без всякой задней мысли) пойти и помыть.

Мать следила за ним с обожанием, с жадностью, с нарастающим торжеством. Враждебность готова была вот-вот прорваться наружу. Миссис Андервуд даже осмелилась спросить:

— Ну и с чего ты начнешь, когда получишь деньги?

— Мамуленька, я тебе уже говорил.

— Когда же?

— Давным-давно.

— Ну и с чего же ты начнешь?

— Куплю окорок.

— Что-что? — вскрикнула Лиз.

— Окорок.

Комнату переполняла ненависть. Лиз уже давно признала про себя, что миссис Андервуд ее ненавидит, и теперь, когда та торжествовала, с лихвой платила ей тем же. Она глядела на младенчески счастливое лицо на диванной подушке и томилась жаждущей, ненасытной любовью, которая в чем-то смыкалась с ненавистью. Однажды Джеймс Райл в очередном припадке пессимизма сказал ей, что счастье достается людям не за их достоинства, не за их старания и уж конечно не потому, что они его заслужили,— это милость судьбы, и только.

Если это так, с горькой тоской думала Лиз, то милость эта дарована Джулиану, и через стол, уставленный дорогими угощениями, она смотрела на него с любовью, полной ненависти.

36

Пока те, кого доктор Пембертон старался выбросить из головы, упивались результатами разбора апелляционной жалобы или старались к ним присоединиться, его самого занимало совсем другое. К его большому удивлению и чуть ли не испугу, ему никак не удавалось с профессиональным хладнокровием думать об операции, к которой он даже не имел прямого отношения. Настоящий врач — это был его давний девиз — не волнуется из-за предстоящей операции. Что толку? Шансы известны заранее. И хирургу. И пациенту. Такое волнение — всего лишь признак слабости. И все-таки он волновался из-за операции, которая предстояла Адаму Седжвику.

Сразу же после беседы в чайной комнате на второй день своего пребывания в палате лордов Пембертон написал письмо. Он долго корпел над каждой фразой и выдержал тон, для него на редкость вежливый. Подписался он своим новым именем. Он объяснил Седжвику, что унаследовал титул Хилмортона и на днях занял свое место в палате лордов. Он практикующий врач, добавил он затем и сообщил подробности о своей квалификации. Это он сделал не без задней мысли, а в первом варианте упомянул даже, что членом Королевского колледжа стал, едва достигнув установленного минимального возраста. Затем он ощутил непривычное смущение и переписал письмо. Он слышал, что Седжвик болен. Нельзя ли ему навесить его и (Пембертон смирил свою гордость) возобновить семейное знакомство?

В ответе, полученном из Кембриджа, было сказано, что операция назначена на вторник 2 января. Седжвик ложится в Национальную клинику нервных заболеваний на Куин-сквер за неделю до операции и будет рад, если Пембертон навестит его там.

И вот через два дня после рождества Пембертон подъехал к клинике на Куин-сквер. Он бывал тут не раз и хорошо знал площадь, хотя на облетевшие платаны, на фасады XVIII века, на весь этот зимний лондонский пейзаж, обнаженный, но не угрюмый, он смотрел невидящими глазами. В отличие от Джеймса Райла Пембертон игнорировал зловещие предзнаменования. Год назад на рождество он в бумажном колпаке выслушал известие о болезни Хилмортона, которое, впрочем, на него никак не действовало. А на это рождество, снова в бумажном колпаке, он предвкушал визит к Седжвику. Для убежденного рационалиста тут не было и не могло быть никакой связи. Но одно оставалось неизменным — обычное его презрение к соотечественникам. Проклятые лентяи. Вся страна на десять дней погружается в оцепенение точно так же, как год назад. Пембертон заранее навел справки. Он узнал фамилию хирурга и позвонил ему (вновь ради практической цели смилив гордость). Операцию лучше бы провести на этой неделе, но из-за праздников ее пришлось отложить до начала следующего года.

Размышляя о безделье и бездельниках, Пембертон поднялся на верхний этаж старого больничного здания, и его проводили в палату Седжвика. Пембертон был невосприимчив к больничным запахам, к атмосфере тайной тревоги и человеческой беды вокруг. Это ощущают простые посетители. Он был равнодушен, словно летчик, который проходит через салон воздушного лайнера, летящего в тумане. Больница — это больница. И отдельная палата Седжвика была просто отдельной палатой, не больше и не меньше: комод, два стула, стол, вазы с хризантемами, тарелки с фруктами.

Пембертон видел столько точно таких же палат, что попросту не заметил ее обстановки. Зато он сразу же заметил Седжвика, который сидел на стуле. На нем был новый серый костюм, неуместно новый для больного. Но искусство мужских портных Пембертона тоже не интересовало. Он вглядывался в лицо Седжвика, выискивая симптомы, — на первый взгляд это было красивое умное лицо с орлиным профилем, однако оно несло явную печать болезни Паркинсона, обычной ее формы, но очень запущенной. Седжвик теперь получал лекарство в сниженных дозах и потому гримасничал меньше, но время от времени его лицевые мышцы все же внезапно сокращались, и казалось, будто он скалит зубы в веселой улыбке, словно японец, сообщающий вам о кончине своего брата. Руки он держал на коленях, пальцы были сплетены, и по ним Пембертон определить ничего не смог.

Не вставая, Седжвик спросил:

— Лорд Хилмортон?

— Лорд Седжвик?

Ни у того, ни у другого не возникло при этом ассоциации со встречей Стенли и Ливингстона в Уджиджи. Седжвик всю жизнь прожил между крайностями английской чопорности и английской непринужденности, а Пембертон, хотя и был груб, начинал свыкаться со своей новой ролью.

— Я близко знал вашего покойного родственника, — сказал Седжвик.

— А я его почти совсем не знал.

Седжвик, всегда очень чуткий, сразу оставил эту тему и заговорил о другом. Однако следующая его фраза опять вызвала у Пембертона только досаду. Седжвик усомнился, насколько допустимо такое положение, когда богатые люди вроде него получают в больнице отдельную палату потому, что могут ее оплатить. Он рассуждал спокойно, решив, по-видимому, что его гость придерживается ортодоксально левых взглядов или задается злободневными ортодоксально левыми вопросами, как, например, Симингтон.

— Чушь! — сказал Пембертон.

— Простите?

— Абсолютная чушь, — объявил Пембертон. — Такому человеку, как вы, необходим весь комфорт, который только возможен. А те, кто возражает, просто были бы рады свести все и вся к одинаковым порциям каши.

— Вы, кажется, шагаете немножко не в ногу с современными идеями?

Вопрос был задан слишком в лоб — Седжвик не привык к подобной бесцеремонности, столь не похожей на манеры прежнего лорда Хилмортон. Пембертон, хотя Седжвик знать этого не мог, попросту не умел держаться с больными тактично, и это нередко вменялось ему в упрек. Но Седжвик был болен, ему хотелось поговорить о своей болезни, а это был врач, и лучше уж поговорить с грубым врачом, чем прятать все в себе. К тому же Пембертон начал задавать вполне уместные вопросы.

Какие дозы препарата ему давали?

Седжвик назвал дозу.

Порядочно-таки. Речь должна была стать чище (Пембертон с первых же слов уловил запинки, хотя Седжвик говорил теперь много лучше, чем год назад), однако при этом неизбежны судорожные сокращения лицевых мышц. И Пембертон, обожавший объяснять, тут же сообщил, что врачам приходится поддерживать равновесие между двумя видами воздействия, положительным и отрицательным. А операция — даже при самом оптимальном исходе — речи не исправит: воздействовать на центр речи еще не научились.

— Как же, как же. Я, видите ли, набрался кое-каких дилетантских познаний об этом предмете.

Пембертон утробно хохотнул. Он наставлял, Седжвик иронически отмахивался, но тем не менее они нашли общий язык.

— Ну а движения? — спросил Пембертон. — Ходить, наверное, трудно.

...— И уже много месяцев? *Marche à petit pas*⁴, верно?

Совершенно верно, и очень *petit pas*. Седжвику понравился этот специальный термин — все-таки менее унижительно, чем то, что с ним происходит в действительности. Его удивило, что французские слова Пембертон произнес гораздо более по-французски, чем он сам. Какая сторона поражена? Правая.

— Попробуйте дотронуться правой рукой до моей руки.

Пембертон, совершенно тут посторонний, позволял себе много лишнего. Но все получалось очень естественно. Седжвику даже в голову не пришло, что для простого практикующего врача Пембертон знает об этой болезни слишком уж много. Однако Пембертон, ничего, кроме медицинской литературы, не читавший, на нее времени не жалел.

Правая рука Седжвика поднялась над его коленями, кисть задрожала, задвигалась — в первую секунду с небольшой амплитудой, затем свирепо, не с медлительной и бесцельной плавностью, точно ложноножки амебы или пальчики младенца, а бешено жестикулируя словно в отъединенной от тела ярости. Она метнулась к руке Пембертона, промахнулась, рванулась вбок, снова промахнулась. Прекрасный безмятежный лоб Седжвика сморщился от напряжения. На висках выступили бусинки пота — возможно, от смущения.

— Тремор довольно-таки силен, — сказал Пембертон, когда рука вернулась на колени. В отличие от простого зеваки он не находил в этом зрелище ничего смешного, ничего гротескного.

— Да, я и сам замечал, — согласился Седжвик.

— Вам следовало бы оперироваться гораздо раньше.

— Вы не первый высказываете такое мнение.

— Ладно, — сказал Пембертон. — А теперь проверим левую. Потрогайте меня.

И здесь выдержка изменила Седжвику.

— Но эта рука нормальная.

— Неважно. Я хочу посмотреть.

У Седжвика был тот настороженно-бодрый вид, который Пембертон постоянно замечал у людей, боящихся любого врачебного осмотра. Левая рука с неохотой приподнялась. По сравнению с правой она двигалась ровно. Растопыренные пальцы прикоснулись к пальцам Пембертона — подушечка к подушечке. Дрожь была не сильнее, чем у умеренного алкоголика во время тяжелого похмелья.

Пембертон оцупал пальцы Седжвика, согнул кисть в запястье, выпустил ее и на мгновение задумался. Его широкое лицо ничего не выражало. Потом он сказал:

⁴ Семенящий шаг (франц.).

— Ну, я, конечно, не специалист, но, по-моему, операция должна восстановить практически все, что вам требуется. При благополучном исходе вы будете ходить почти нормально и ваша рабочая рука начнет действовать вполне удовлетворительно.

— Очень приятная перспектива,— сказал Седжвик уже совсем спокойно.

— Ничего, прожить можно. Не знаю только, говорил ли вам ваш врач, но, насколько я могу судить, вам в не слишком далеком будущем придется подумать о второй операции, чтобы привести в порядок левую сторону.

Седжвику, совершенно несомненно, говорили что-то подобное, и он явно не желал больше об этом слышать. Пембертон подбодрил его по-своему:

— Ну, у вас еще будет время подумать.

— Вот и мне так кажется.

— На следующей неделе вы получите полное представление об этой операции. Особенно сложной ее назвать нельзя. Но есть в ней свои особенности. Полагаю, вам кое-что объяснили.

Пембертоновские прямолинейность и безапелляционность у многих могли бы вызвать раздражение или разбередить страх. Но Седжвик отнесся к ним иначе. Такое обезличивание ему скорее импонировало. Он ответил:

— Я и сам предпринял кое-какие исследования. Простудировал работу Купера.— Лево́й рукой он указал на комод.— «Непроизвольные движения при некоторых заболеваниях». Крайне интересно. И, наверное, мне было бы еще интереснее, если бы это не имело слишком уж прямого отношения ко мне. Так сказать, в страдательном смысле.

— Вы этого Купера знаете лично?

— Да. Производит самое внушительное впечатление. По-моему, ему следовало бы родиться англичанином. (Иностранные коллеги Седжвика, вероятно, были бы изумлены, услышав такие слова из уст ученого, который пользовался признанием во всем мире и никогда шовинистом не слыл. Слово английски́й рыцарь высказал свое мнение о Жанне д'Арк.)

— А почему вы оперируете не у него?

— Почему? — Внезапно этот безобидный вопрос задел нерв, который не отозвался на профессиональное зондирование.— А разве Томпкин плох? О нем что-нибудь известно?

Пембертон все так же сухо решил, что настало время подбодрить больного. С тех пор как американский хирург разработал свой метод, операция стала рутинной, ее делают по всему миру, Томпкин — первоклассный хирург и операцию освоил, можно сказать, из первых рук, в Европе он никому не уступит. Пембертон сам с ним разговаривал.

— Я тоже.

— Ну и какое у вас сложилось впечатление?

— Насколько я понимаю, он держался строго в границах. Предупредил о чем следует и особых гарантий не давал.

— Неужели вы не понимаете,— сказал Пембертон самым категорическим своим тоном,— в каком он напряжении? Уж никак не меньше вас, а может, и больше.

— Вы полагаете, это должно вдохнуть в меня бодрость?

— По двум причинам,— продолжал Пембертон, словно не слыша.— Прежде всего во время операции вы остаетесь в полном сознании, как вам, вероятно, известно.

— Конечно известно.

— А это дополнительная нагрузка для вас обоих. Он молодой человек, а вы — старый и знаменитый. В процессе операции ему придется все время задавать вам вопросы. Черт знает какая ответственность для тридцатилетнего врача.

— Мне, конечно, будет интересно следить за происходящим,— сказал Седжвик.— Я ведь в свое время ставил немало экспериментов.

Пембертон непочтительно хохотнул:

— Кому приятно оперировать таких, как вы. Потому что вы — это вы. Вот вам и вторая причина, отчего он не в своей тарелке. Представьте себе, что-нибудь пойдет не так. Скажем, случится наихудшее. Если вас отсюда вынесут ногами вперед, это вряд ли послужит ему на пользу, а? Ведь если вас прикончить, это незамеченным не пройдет.

— Не могу сказать, чтобы и такая мысль очень меня ободряла.

— Да ничего подобного не будет. Один шанс против ста. Вы же, конечно, заинтересовались статистикой.

Безусловно. Вот почему все эти зловещие расспросы, сарказмы, ответные реплики обретали особую резкость. Но Пембертон продолжал давить:

— Тогда вам известно, каковы шансы, что после операции ваше состояние ухудшится,— один против пятидесяти. На такой риск мы в нашей жизни идем постоянно. Скажем, у человека, который двадцать лет водит машину, шансов остаться калекой куда больше. Тем не менее я каждый день преспокойно сажусь за руль.

— Статистические данные выглядят как-то более убедительно, когда прилагаются к другим людям. Вы еще молоды и вряд ли помните, как один старый знаток теории вероятности говорил, что во время воздушных налетов он прячется под кривой Гаусса. Быть может, быть может, но, признаться, мне лично это никогда не удавалось.

— Операция пройдет отлично. Меня она нисколько не тревожит...

— Ну уж это ли не причина для бодрости! — Но сарказм прозвучал почти дружески.

Пембертон продолжал:

— Операция пройдет отлично...

Он хотел было добавить «Адам», но в последнюю долю секунды по непонятной причине развязность вдруг ему изменила. И говоря, что операция его нисколько не тревожит, он лгал — по столь же непонятной причине он тревожился. Ему изменила не только развязность, но и холодная логика. Но у него оставалась еще опора — профессиональные навыки.

— Говорю же вам — все будет отлично.

Профессиональные навыки не подвели. Пембертон начал расспрашивать Седжвика об общем состоянии его здоровья. Для человека его возраста — просто хорошее. Конечно, все обычные анализы сделаны? Давление? Скорее пониженное. Вес? Сто пятьдесят фунтов.

— Ну, вы проживете куда дольше меня. (Пембертон весил чуть ли не в полтора раза больше, но все это были мышцы, а не жир.) Крупные мужчины недолговечны. То есть статистически говоря.— Потом он сказал: — Операция пройдет как по маслу, можете мне поверить. Да, кстати, должен вас предупредить: я там буду.

— Простите, но где «там»?

— Ну, там. В операционной. Все договорено. Томпкин разрешил. Я таких операций ни разу не видал. Ну, и хочу восполнить пробел. Может, буду вести для него кое-какие записи. Или держать рентгенограммы — лишняя пара рук тут не помешает.

— Это ведь не совсем обычно? — сказал Седжвик.

— А, так постоянно делается! — Пембертон предпочел не объяснять, что провалился на операцию, пустив в ход свой титул.— Я сказал, что Томпкин разрешил. Но о вашем согласии я еще не спрашивал. Ну так как же?

Седжвик нахмурился, но потом его губы медленно сложились в лукавую мальчишескую усмешку.

— Мне почему-то кажется, что вы все равно там появитесь, даже если я скажу «нет», верно? И, насколько понимаю, я буду не в том положении, чтобы успешно воспротивиться.

Разговор на этом не окончился. Пембертон пришел с двумя целями. Осуществив одну, он занялся другой — тут дело касалось его лично. Ему нужен совет, объяснил он Седжвику. Он всегда стремился к научной работе и не хотел бы остаться навсегда просто лечащим врачом. Так на что он может рассчитывать? И он получил совет — хотя и вежливый, но столь же сухой и прямолинейный, какие давал сам. Практически ни на что, ответил Седжвик. Нет денег? Главная беда не в этом. Возраст — вот причина. Сколько ему лет? Сорок семь. Слишком поздно, чтобы сделать что-нибудь выдающееся или хотя бы стоящее. Не исключено, что он мог бы стать хорошим исследователем, если бы начал в молодости. А теперь поздно. Ну, может быть, клинические наблюдения. Конечно, ничего по-настоящему интересного это не даст, разве что по чистой случайности. Но все-таки лучше, чем ничего.

Пембертон умел принимать даже горькую правду. Сила воли и несокрушимое упрямство, возможно, помогут ему чего-то добиться, но тут требуется советчик не с

такими высокими требованиями. Уже выходя из палаты, Пембертон сказал, что еще вернется к этой теме на следующей неделе, как только Седжвик оправится после операции. Опять профессиональный прием — тонкий намек, что будущее не таит никаких неожиданностей. Пембертон хотел успокоить Седжвика, но успокаивал и себя.

К его большому недоумению, эта операция вызывала у него не просто отвлеченный интерес. И ведь он уже больше не лелеял надежды, что Седжвик поможет ему в достижении его давней честолюбивой мечты стать ученым — в сущности, он никогда на это и не надеялся (Пембертон пришел бы в дикую ярость, если бы узнал, что у Седжвика его мечта не вызвала ничего, кроме жалости). Нуждайся он в Седжвике, у него была бы весомая, практическая, эгоистическая причина принимать к сердцу состояние его здоровья. Это бы Пембертон понял в себе и одобрил. Но такой причины не было, а тревога оставалась. Ну, он уважает Седжвика, но ведь этого еще мало, верно? В конце-то концов Седжвик — старик и все, что он мог сделать для науки, он уже сделал. Его творческая жизнь уже прожита. И по законам природы физическая его жизнь в любом случае тоже на исходе. Пембертон презирал слюнявые ахи и охи по поводу неизбежности смерти. Признаки слюнявой сентиментальности в самом себе его только раздражали. И тем не менее тревога оставалась.

В восемь часов сорок пять минут утра во вторник 2 января 1973 года голова Седжвика, выбритая и протертая до блеска, сияла под лампами операционной. По ее сторонам сверкали миниатюрные зажимы, которые обеспечивали полную неподвижность, так что пациент мог смотреть только прямо вверх, на рентгеновский аппарат в потолке. Полная беспомощность при полном сознании.

Все вокруг были заняты своим делом, и никто не замечал, как красива эта голова. Густая седая шевелюра Седжвика всегда была всклокочена по студенческой моде двадцатых годов. Оказалось, что она скрывает благородный череп, не слишком большой, ровно закругляющийся к макушке, которая теперь была обращена к Томпкину. Хирург после очередной ритуальной обработки рук только что занял свое место между операционной сестрой справа и ассистентом слева.

Седжвик был по шею укрыт зелеными одеялами. Просторная операционная со стерильно чистым плиточным полом казалась тесной из-за громоздкой установки возле стола. Никому из присутствующих не надо было объяснять, что это за установка, — Томпкин пользовался не только методикой своего учителя, но и его стандартной аппаратурой. Блестящая консоль, четко выделяющиеся на ровной белизне циферблаты, контролирующие подачу жидкого азота, рентгеновские аппараты в потолке и стенах, нацеленные на голову пациента. Слово научно-исследовательская лаборатория, решающая одну какую-то задачу, исключаящая все лишнее и побочное, кроме главного и единственного. Или же пыточный застенок, к которому такое определение тоже вполне приложимо.

Посторонний наблюдатель, возможно, удивился бы, увидев в операционной такое количество людей — обычное явление в любых функциональных процессах, как технических, так и бюрократических. Например, на юридических совещаниях у Дэвида Марча, в министерских кабинетах или при полицейских расследованиях — всюду можно заметить более или менее безликих людей с неясными обязанностями. Так было и тут в это утро. Одинаковая одежда: длинные халаты, шапочки, маски, закрывающие рот и подбородок, пижамного типа брюки. И все это того же зеленого цвета, как одеяла, прикрывающие пациента. Хирург, его ассистент, рентгенолог, техник, следящий за подачей жидкого азота, операционная сестра, просто сестра, анестезиолог (на всякий случай). И доктор Пембертон.

Со стены кричали внушительные буквы: «Полная тишина, пациент в сознании». И за последние четверть часа никто, кроме Томпкина и пациента, не произнес ни слова. Шапочки и маски скрывали лица вокруг стола, но закамouflировать массивную фигуру Пембертона было не так-то просто.

Перед началом Седжвик сказал:

— А, так вы все-таки пришли. Ну, здравствуйте.

Томпкин услышал эти слова, понял, что Седжвик старается говорить так, словно происходящее к нему отношения не имеет, и немедленно приняв этот же академи-

ческий тон, стал объяснять Седжвику еще одну подробность операции так, словно оба они обсуждали интересный эксперимент. Томпкин был впечатлительным и чутким человеком — вернее, впечатлительным он действительно был, а чутким хотел быть. У своего учителя он перенял не только хирургические приемы, но и стремился чувствовать не менее глубоко.

Конечно, перед операцией он испытывал огромное напряжение. Крикетисты называют это ощущение «пик» и утверждают, что без него не может быть первоклассного игрока. Теперь он понимал слова Купера, что, сделав сотни таких операций, узнаешь наконец, когда на смену тревоге и мучительному ощущению ответственности должна прийти привычка и профессиональная сноровка. Ответ был — никогда.

То есть, во всяком случае, для человека вроде него. Но, быть может, он все-таки хладнокровней, чем ему кажется? Безусловно, он изображает неколебимое хладнокровие — так надо, этого требует профессиональная этика. Может быть, это проще, чем ему казалось, но далеко не все так легко. Необходимо помнить, что этот беспомощный неподвижный человек на операционном столе, почти неодушевленный предмет, приобщается сейчас к одиночеству — к предельному одиночеству, почти к одиночеству смерти. А помнить об этом способен только тот, кто умеет глубоко чувствовать. Ему надо помнить и о другом — не столь гнетущем, но много более уродливым — о своего рода нравственном бессилии, которое свойственно всем нам. Его учили, что сочувствие режет сильнее ножа. Инстинкт превосходства в нас настолько беспощаден, что мы прячем его от себя, однако живые ощущают свое превосходство над мертвыми, здоровые — над больными. Вот пройдитесь по больнице, чутко настроив все нервы. Будь тут застенок, а не операционная, палач чувствовал бы свое превосходство над жертвой — нравственное превосходство, которое помогает человеку творить гнусности. Хирург ощущает свое превосходство над объектом операции. Томпкина учили: это ощущение надо преодолеть, если мы хотим сохранить человечность.

Для молодого человека вроде Томпкина такое требование было трудным, чуждым его натуре. Смирение давалось ему тяжело, зато чувство долга было у него развито очень сильно. И он пытался (смешно или старательно — это уж зависит от точки зрения) найти соответствующую манеру. И, в частности, задолго до этой операции он обдумывал, как ему следует держаться. Седжвик — знаменитость, а он нет, и необходимо сохранять правильный тон, когда он будет разговаривать с Седжвиком во время операции. Как к нему обращаться? «Лорд Седжвик»? Слишком длинно. Пожалуй, «сэр»... Впрочем, нет. Когда он еще был студентом Кембриджа, Седжвик, находившийся в то время на гребне славы, как раз получил Нобелевскую премию, а также профессорское звание, и по английскому обычаю его всегда называли «профессор». Отлично. Это сохранит между ними надлежащую дистанцию.

И вот ровно в девять часов по часам в операционной Томпкин сказал бодро, внятным голосом:

— Профессор, я начинаю.

Томпкин уже сосредоточился на операции, отключившись от всего остального. Доктор Пембертон, стоявший слева от Седжвика, одобрил бы это, а вернее, счел бы естественным и единственно возможным. Для него нравственных проблем тут не существовало. Есть работа, ее надо сделать. Он был увлечен мыслью, что сейчас увидит эту операцию, и его обычная напористость и самоуверенность несколько сошли на нет. Ему было жаль только, что для него не нашлось никакого дела. Он обрадовался бы любому поручению, даже самому простому.

— Профессор, я начинаю местную анестезию. Вы почувствуете легкий укол, и больше ничего.— Секунду спустя Томпкин добавил: — Больше вы ничего чувствовать не будете. Мозг боли не ощущает.

— Я знаю.— Ответ Седжвика прозвучал очень громко и резко.

Пембертона особенно интересовала методика, и он жаждал следить за всеми этапами операции, но первого из них он со своего места видеть не мог. Томпкин делал надрез кожи слева. Пембертон смотрел, как опытная сестра в нужный момент подала хирургу маленький блестящий предмет. Наверное, расширитель, чтобы края разреза не смыкались. Теперь хирург (Пембертон об этом только догадывался) обнажил кость.

— Мы просверлим отверстие,— сказал он.— Крохотное. Это займет лишь несколько секунд. Но треск будет довольно громкий.

Седжвик давно выучил весь ход операции наизусть.

— Резьба по кости,— подал он голос.

Седжвик, размышлявший о кладбищенских шутках после того, как он навестил больного Хилмортона, произнес эту острогу с гордостью. Была ли она приготовлена заранее? Присутствующих это вряд ли интересовало, а может быть, они и вовсе пропустили ее мимо ушей. Раздалось жужжание сверла. Тишина.

— Отлично,— сказал Томпкин.

Девять часов четырнадцать минут. Двигутся только руки Томпкина и руки сестры — ровно и уверенно. И больше нигде никакого движения. Ни звука. Пембертон вспоминает строение больших полушарий. Крючок в левой руке Томпкина, скальпель в правой. Мягкое движение руки. Наверное, прошел оболочку. Пинцет. Снова скальпель.

— Ну вот,— сказал Томпкин.— Как вы, профессор?

— Еще тут.

Девять девятнадцать. Пембертон знал, что должно последовать теперь. Для человека с его пристрастием ко всяческим механическим приспособлениям этот момент операции был особенно интересным. В прокол ввели резиновую трубочку и откачали жидкость. Ее место занял воздух. На рентгенограмме воздух даст тень, и она поможет Томпкину ориентироваться внутри мозга.

Тем временем ассистент закрепил у изголовья еще один инструмент. Пембертон залюбовался им — изящнейшее приспособление, перемещает держатель в трех измерениях и ведет зонд к цели. Зонд, металлический, сверкающий, уже в нужном месте, нацелен, ждет своей очереди. Ждали и они все.

Томпкин сказал:

— Вот тут нам придется сделать перерыв для рентгенограммы. Остальные много времени не отнимут, а эта потребует нескольких минут.

Голос Седжвика:

— Я начинаю находить это несколько однообразным.

Не только однообразным, напомнил себе Томпкин.

Вторая сестра еще раньше разместила рентгеновские пленки под головой Седжвика и по ее сторонам. Вся операционная бригада за протекшие минуты перешла в дальний конец операционной к негатоскопу, словно группа кристаллографов во время эксперимента. Надо бы поручить кому-нибудь разговаривать пока с Седжвиком. Хотя некоторые больные предпочитают, чтобы их оставили в покое. Ну да все равно теперь уже поздно отражать к нему собеседника.

Хирург изучал рентгенограмму. Пембертон решил, что он определяет цель — тут требуется невероятная точность, отклониться можно разве что на миллиметр-другой. Никто ничего не говорил, и все в той же глухой тишине Томпкин шепотом назвал координаты. Потом он вернулся уточнить положение зонда.

Девять тридцать две.

— Все идет точно по плану, профессор,— сказал он.

Остальные заняли свои места, и Томпкин попросил Седжвика поднять правую руку. Она тряслась словно сама по себе — как никогда прежде.

— Достаточно? — спросил Седжвик.

— Да, вполне.

Томпкин говорил спокойно. И так же спокойно он начал вводить зонд в мозг. Очень медленно. По всем расчетам, зонд, несомненно, уже должен был достичь нужного места. И опять совершенно спокойно Томпкин попросил Седжвика сказать что-нибудь. Молчание. Хирурга пронзила тревога. Но Седжвик просто не знал, что сказать, — так непривычные люди теряются перед микрофоном.

— Вильгельм Первый: тысяча шестьдесят шестой — тысяча восемьдесят седьмой. Вильгельм Рыжий: тысяча восемьдесят седьмой — тысяча сотый,— раздался голос Седжвика.

— Отлично. Отлично.— В первый раз Томпкин заговорил излишне бодро.

— Насколько я понимаю,— Седжвик сделал еще одно усилие,— вам не хотелось бы разрушить центр речи.

— Поэтому я и не дал вам наркоза. Чтобы слышать, как вы говорите, сэр.

— Это было бы неприятно. Разучиться говорить.

Новые рентгенограммы. На этот раз ожидание было очень коротким. Томпкин кивнул — координаты оказались точными.

Седжвик опять поднимает руку. Она дрожит еще сильнее.

Девять сорок три. Томпкин отдает распоряжение. В зонд начинает поступать жидкий азот. Температура, спрашивает Томпкин. Минус десять. Он снова просит Седжвика сказать что-нибудь.

— Генрих Первый: тысяча сто десятый — тысяча сто тридцать пятый. Стефан и Матильда: тысяча сто тридцать пятый — тысяча сто пятьдесят четвертый.

Чистота речи такая же, как накануне.

— Еще раз поднимите руку, профессор.

Сильнейшая дрожь, все по-прежнему.

— Значит, так,— пробормотал Седжвик в полной тишине.

Не меняя тона, Томпкин сказал:

— Минус сорок.

И тут на мгновение решительность изменила ему. Он как будто снова хотел попросить, чтобы Седжвик поднял руку, но промолчал, встал с табурета и прошел к правой стороне операционного стола. Молча сжал правое запястье Седжвика и приказал:

— Минус пятьдесят.

Пауза. Никто ничего не говорит. Пальцы хирурга щупают, щупают. Опять пауза. Более длинная.

Девять пятьдесят три. Минус восемьдесят. Очень длинная пауза. Томпкин сжимает пальцы, расслабляет их, снова сжимает и наконец выпускает руку Седжвика. Он обменивается быстрым взглядом с ассистентом и сестрой. Для посторонних вроде Пембертона глаза на замаскированных лицах не выражают ничего.

Томпкин сказал голосом, также ничего не выражающим:

— Профессор, поднимите, пожалуйста, руку еще раз.

Рука поднялась, словно преодолевая усталость, словно против воли. Пальцы не дрожали. Рука поднялась выше. Те, кто смотрел на нее, не замечали ни малейшей дрожи. Кисть и вся рука сохраняли неподвижность. Тем, кто смотрел, хотелось отвести взгляд, пока дрожь не вернулась.

— Профессор, пожалуйста, отогните указательный палец.

Палец отделился от остальных.

— Теперь коснитесь этим пальцем кончика носа.

Кисть медленно описала прямо-таки изящную дугу, и указательный палец без заминки выполнил заданную ему задачу.

Пембертон был поражен этим зрелищем, поражен чувством, которое оно у него вызвало. Он словно задохнулся, и это было приятно.

— Господи! — сказал Седжвик громко.— Уж не помню, когда это у меня в последний раз получалось.

— Я так и думал, что все в порядке,— сказал Томпкин.

Эти слова вырвались у него почти произвольно — первые такие слова с того момента, как он вошел в операционную. То же самое минуту назад сказал его взгляд тем, кто был с ним знаком особенно близко. Тогда он улыбался под маской, как и они. Теперь же улыбались все, и хотя лица были по-прежнему спрятаны, каждый знал, что остальные испытывают такую же радость. Бескорыстную радость, которая объединяла и облагораживала. Чтобы ощутить это, совсем не требовалось быть высокого мнения о людях — даже такое презрительное мнение о них, как мнение доктора Пембертона, не меняло ровно ничего. Эта радость была чистой, ничем не замутненной. Позже, возможно, Томпкин будет радоваться уже эгоистично — еще одна блестящая операция на его счету, а ассистент, наоборот, задумается о том, что пора бы и ему самому сделать какую-нибудь редкую операцию. Потом, но не теперь. Пока же их всех объединяла принадлежность к одному биологическому виду. Умом, чувствами, всеми внутренностями.

ми они ощущали это единство. Больному человеку возвращено здоровье. Что-то сделано, что-то достигнуто. Жизнь была прекрасна, они были счастливы.

Никому из них не были известны мрачные размышления стареющего Райла о том, что людям бывает нужна победа. Быть может, это и была победа. Пусть маленькая. Пожилой человек (не важно, что он был видным ученым, — когда речь идет о жизни и смерти, все люди равны) избавлен от мучительного недуга. Возможно, лишь временно. Вскоре хирург должен будет напомнить ему о вероятности рецидивов, о том, что может потребоваться операция левой стороны.

И тем не менее это была победа. Даже убежденные пессимисты могли почерпнуть в ней надежду. Они могли бы сказать, не так уж ошибаясь при этом, что ложнооптимистический взгляд на людей породил немало зла и уж во всяком случае очень много страданий. И более горький взгляд, пожалуй, надежнее — тогда воздвигнутое вами может устоять. Но для того чтобы воздвигать, основа есть, хотя бы и небольшая. Люди — великие умельцы. Здесь, в этой операционной, они в течение часа были свидетелями и участниками чуда, творимого человеческими руками. Они познали высокую бескорыстную радость. Они приобщились верности виду. Вот на что способны люди. И еще уменье, главное — уменье (или разум, если вас прельщает более пышное наименование). Вот что дает несокрушимую основу, чтобы воздвигать на ней. И если сорвать все покрывала, то покойный Хилмортон перед смертью, Райл, сам Седжвик (который прожил жизнь лучше, чем они) согласились бы с этим, хотя на их глазах многое гибло и разрушалось. Пусть это немного, но это открывает путь и позволяет сохранить надежду.

37

На другое утро после операции Пембертон за завтраком вскрыл письмо от человека, которого знал только понаслышке. Человеком этим был Суоффилд, а письмо почти слово в слово повторяло то, которое более двух лет назад было послано Джени, положило начало тяжбе и повлияло на жизнь многих людей. В том, что Суоффилд рассылал подобные письма, ничего странного, в сущности, не было. Он привык вызывать к себе тех, кого хотел видеть. Прерогатива большого богатства.

И Пембертон, читая письмо, не нашел в этом ничего странного. Играя на бирже, как играл он, не соприкоснуться с Суоффилдом было невозможно. Пембертон решил, что это приглашение как-то связано с деньгами. Он даже подумал, что магнат его прощупывает. В нем жило глубокое убеждение, что стоит ему получить титул, как его наперебой начнут приглашать в советы директоров крупных компаний. К большому его разочарованию, до сих пор никто как будто не заметил такой заманчивой возможности. Весьма вероятно, что этот «третий лишний» (Пембертону доводилось читать о Суоффилде в журналах) намерен проторить дорожку.

Всегда интересно познакомиться со знатоком денежного рынка. Быть может, человек более тонкий или увлекающийся ощутил бы после всего пережитого накануне какой-то диссонанс, испытал бы неприятное разочарование. Пембертон был устроен по-иному. Исцеление больного, бескорыстное восхищение — это одно, а деньги — совсем другое. Пембертон переключился без малейшего труда, даже не заметив, что переключается. На соседней улице жил врач, который замещал его, когда он раз в году — с большой несотой — уезжал отдохнуть на две недели. Можно будет договориться, чтобы он заменил его завтра на вечернем приеме. И вот в четверг Пембертон отправился в своей машине на Хилл-стрит.

Когда он вошел в большую гостиную под голос дворецкого, возвещающего: «Лорд Хилмортон», он разглядел куда меньше, чем Джени во время первого своего визита, но даже он поддался ощущению неимоверного богатства и, хотя не склонен был бросаться любезностями, невольно сказал внушительному коротышке, который шагнул ему навстречу:

— Отличный у вас дом, отличный.

И Суоффилд получил случай пустить в ход свой любимый ответ:

— Ничего, уютный.

Они пожали друг другу руки. Пембертон смотрел на Суоффилда, который едва доставал ему до плеча, привычно профессиональным взглядом: широкая грудная клет-

ка, короткий торс — телосложение, которое часто встречается у регбистов. Для шестидесятилетнего очень энергичен и подвижен.

— А, выбрались-таки? — спросил Суоффилд, возмещая напором полную риторичность вопроса.

Пембертон несколько опешил.

— Выпейте шампанского, — сказал Суоффилд и объяснил, как когда-то Дженни, что всегда выпивает перед обедом два бокала — не меньше и не больше.

Пембертон сказал, что выпьет самую чуточку — ведь его могут вызвать даже ночью.

Суоффилд не спросил куда (его разведывательная служба доставляла ему все необходимые сведения) и заметил только:

— Собачья жизни!

Пембертон не привык иметь дело с людьми столь же самоуверенными и развязными, как он сам. Впрочем, его ожидало приятное мгновение. Они сидели на диване перед столиком с бокалами. Суоффилд обрушил на Пембертона всю мощь своего взгляда и сказал:

— Рад, что вы пришли. Я послал за вами потому, что хочу обсудить один финансовый вопрос.

Пембертон уже готов был мысленно себя поздравить. Вот оно! Но мгновение длилось недолго. Следующие слова Суоффилда были совсем не теми, каких он ждал.

— Про завещание Мэсси вы, конечно, все знаете, — сказал Суоффилд.

— С какой, собственно, стати?

— А, бросьте! Это же прямо касается вашей племянницы или кем она там вам доводится — дочка старика Хилмортона, — и вы куда больше в курсе, чем я. Она спуталась с этим бабником Андервудом, а он заграбастал денежки. Ну так внушите ей, что надо все-таки соблюсти порядочность.

— Я не имею никакого отношения ни к ней, ни к ее семье.

— Подите скажите это своей бабушке.

— Говорю вам, я никакого отношения к ним не имею.

То ли против обыкновения разведывательная служба недостаточно информировала Суоффилда, то ли никто не сумел выяснить, каковы были отношения между Пембертоном и его предшественником. Однако Суоффилд разбираться не стал, а заявил просто, что исход дела возмутителен и Пембертону это прекрасно известно. Пембертон, гневно обороняясь, принялся защищать законность судебного решения, а заодно, к немалому своему удивлению, безупречную честность Лиз и всей хилмортоновской семьи. Суоффилд, в отличие от него набивший руку во всяких переговорах, объявил, что, таким образом, он признает свою ответственность, а затем из тактических соображений проговорился о намерении, о котором его собеседник и сам мог бы без труда догадаться. Он, Суоффилд, с удовольствием подал бы апелляционную жалобу в палату лордов (то есть в высшую судебную инстанцию, ничего общего с палатой лордов как верхней палатой не имеющую) от имени своего уважаемого друга Дженни, леди Лоример, но это сопряжено с определенными трудностями. А потому он требует джентльменского соглашения. Надо заставить Джулиана и Лиз выделить Дженни ее долю.

— Я бы этого не сделал, даже если бы мог, — отрезал Пембертон.

— Конечно, джентльменского соглашения добиться легче, — сказал Суоффилд с широкой лягушачьей улыбкой, — когда имеешь дело с джентльменами.

— Как я слышал, вы в этом вопросе известный авторитет.

— В таком случае вы, возможно, про меня и еще кое-что слышали. Например, что Редж Суоффилд не тот человек, с которым стоит ссориться. Пусть даже это сопряжено с некоторыми хлопотами. Предупреждаю: дело для кое-кого из вас может кончиться неприятностями.

— Вы что, угрожаете мне? Ну так предупреждаю: я не люблю, чтобы мне угрожали.

— И не любите себе на здоровье.

Они по-прежнему сидели на диване совсем рядом. Вопреки театральной традиции они не вскочили и не продолжали ссориться, повернувшись спиной друг к другу. Глаза Суоффилда смотрели тем рассеянным взглядом, который Дженни хорошо знала. Обшир-

ные пространства пембертоновского лица, всегда бледные, оставались такими же бледными.

Оба они всегда ощущали себя чужаками и упивались этим ощущением, даже когда никаких оснований для него не было. Почти все время они находились в состоянии подавленной, но бодрящей ярости. Ни тот, ни другой не питал уважения к окружающему миру. И что бы каждый из них ни думал о себе, обо всех прочих людях он придерживался куда более низкого мнения, которое с течением времени только крепло. Можно было бы предположить, что сама природа сделала их союзниками. Однако едва эти прирожденные союзники встретились, как в первые же десять минут между ними проскочила искра. Искра взаимной жаркой ненависти. Когда Суоффилд ставил перед собой какую-то цель, он обычно умел справляться с бешенством, вечно тлевшим в его душе,— так, например, он сумел сдержаться в беседе с Мейнерцхагеном и прочими,— но теперь вся его энергия была обращена на то, чтобы осадить этого ражего детину. Оба они словно сошли со старой французской карикатуры *deux enragés*⁵.

У Пембертона же, который, подобно всем, кто неколебимо верит в собственный опыт, столь же безоговорочно доверял народной мудрости, в голове крутилось старинное присловье, что нахалы всегда трусы. Он не замечал, что являет собой живое опровержение этой истины: многие с полным основанием думали, что сам он законченный нахал, но приписывать ему еще и трусость было бы нелепо.

А потому он принялся угрожать в свою очередь. И, не замечая очередной нелепости, упомянул о палате лордов. Отдает ли себе Суоффилд отчет в том, что там можно задавать вопросы? О чем угодно. О деловых сделках. Любые вопросы, не ограниченные никакими законами о клевете или диффамации? В которых все позволено? Тон Пембертона был ледяным и зловещим.

— О господи, и ничего пострашнее вы не придумали? Этот склеп! Мы скоро положим конец всей этой ерунде.— Суоффилд яростно фыркнул.— Вы бы подумали — если у вас есть чем думать,— с какой, собственно, стати вы там заседаете, а те, кто хоть что-то сделал, не заседают.

— То есть вы не заседаете?

— Вот именно.

И Пембертону пришлось встать грудью на защиту палаты лордов и, главное, института наследственных пэров — тех самых, которых во плоти он оглядывал без особого восхищения. Суоффилд, обратившись к своему былому радикализму особого толка, выступил со здоровой радикальной критикой, какую вполне одобрил бы отец Адама Седжвика и его соратники в Тринити-колледже перед первой мировой войной. Пренебрежение не способствует проницательности, и Пембертон даже не заподозрил, что Суоффилд не жалел ни усилий, ни денег, чтобы самому попасть в палату лордов, и все еще не оставил надежды там оказаться.

— Будем говорить прямо,— заявил Суоффилд.— Ну пусть у нас есть вторая палата, но по какому, черт подери, праву там заседают люди вроде вас, а я нет!

— Будем говорить прямо,— сказал Пембертон.— По какому, черт побери, праву у вас столько денег, а у меня нет!

Он злобным, но невыразительным взглядом сверлил лицо гораздо более выразительное, хотя и непроницаемое.

— То есть,— продолжал Пембертон,— если хоть это-то правда, а не одна видимость, вас можно назвать миллионером.

— Можете назвать меня мультимиллионером.

— Нет уж, я лучше назову вас как-нибудь иначе. Какое, по-вашему, у вас есть право наживать такие деньги?

— Я-то наживу деньги хоть на Северном полюсе. И пусть страна спасибо скажет, что хоть кто-то в ней это умеет.

— Чушь. Тут уметь нечего, если, конечно, ни о чем другом не думать.

— А вы, по-вашему, сумеете? От жилетки рукава — и полный расчет.

Как ни странно, эта уничижительная фраза, которую Суоффилд, возможно, подхватил у заводских рабочих в дни своей юности, заставила Пембертона замолчать.

⁵ Двое взбешенных (фр.нц.).

А может быть, ссора просто исчерпала себя. Суоффилд так, словно верх остался за ним, предложил еще шампанского. Пембертон грубо отказался. Он встал, но на прощанье сумел сказать только:

— Послушайте моего совета как врача и попросите-ка своего доктора заняться вами как следует. Мне что-то не нравится, как у вас дрожат руки. Да и для своего возраста вы что-то слишком уж беспокойны.

По дороге домой Пембертон вспоминал свою заключительную реплику без особого удовольствия. Какой смысл притворяться — последнее слово осталось не за ним. Конечно, угрозы и предостережения Суоффилда — сплошная ерунда. Десять против одного, что это чистый блеф. А нет, так ему-то все равно. Но на самом деле Пембертону было не все равно. Исполни Суоффилд свои угрозы, его это скорее устроило бы, поскольку любые неприятности у Лиз и ее близких шли в зачет — пусть маленький, но все-таки зачет — тех обид, колоссальный список которых он бережно лелеял в памяти.

Тем не менее Пембертон чувствовал себя скверно. Нет, его вовсе не трогало, что они с Суоффилдом вели себя не слишком достойно. Кое у кого из тех, за кем он с таким почтением следил накануне, их кухонная перебранка в гостиной, возможно, вызвала бы брезгливость, но Пембертон ни к своему, ни к чужому поведению столь высоких требований не предъявлял. Он по-прежнему не ощущал несовместимости между своим вчерашним днем и нынешним. Сор человеческой жизни его нисколько не смущал.

И все-таки он чувствовал себя скверно. Он ехал к Суоффилду с надеждой — пусть слабой, но радостной — на получение директорского кресла. А получил только презрительную усмешку — ему было отказано даже в обычном уважении. Над ним взяли верх. Его вновь грыз давний тягостный страх. Над ним не просто взяли верх — его унизили. А это ощущение было для него даже еще более невыносимым, чем в молодости.

Тем временем Суоффилд продолжал один сидеть в своей гостиной. Он не испытывал особого торжества. Ему было не внове портить настроение людям, но на этот раз оно было испорчено и у него самого. Как догадался Пембертон, его угрозы были блефом. Но расстраивало его не это. Убытки списываются, и все тут. Ему и это было не внове. Реальным оружием против Андервудов он не располагал. Испробовать такой ход имело смысл, но, в сущности, он на него не рассчитывал, не то держался бы с Пембертоном иначе. Ну что же, эта игра кончена. И бог с ней.

Тем не менее настроение у него было испорчено. Он чувствовал себя старым и одиноким. Пембертону стало бы легче, узнай он, что произвел на Суоффилда впечатление и даже пробудил в нем зависть. Пожалуй, зависть даже следовало бы поставить на первое место. Позавидовал Суоффилд чисто животной силе, могучему упорству.

Суоффилд вытянул руку и начал разглядывать пальцы. Они что, дрожат больше, чем положено в его возрасте? Сам он твердо верил, что никогда не бывает совершенно здоров, пусть и не болеет по-настоящему. Может быть, длительное путешествие пойдет на пользу его астме...

Его томило ощущение одиночества. В этот вечер он никого не ждал. И его охватила сентиментальная жалость к себе. Редж Суоффилд катается, как сухая горошина в стручке. Надо свистнуть Джени — приятная женщина, и он не зря взял ее под свое крыло. С делом покончено, но с ней — нет. Придется пригласить и этого дурака — ее мужа. Приедут, посидят с ним после обеда, он немножко выпьет и, может быть, сумеет уснуть.

Год 1973.

Райл все больше и больше времени проводил в палате. Он был по-прежнему общителен и редко оставался без собеседников. Но порой он вдруг вспоминал, как три года назад он, Седжвик и Хилмортон сживали вместе в Епископском буфете. Потребовалось бы поистине сверхчеловеческое предвиденье, чтобы верно предсказать, что произойдет с ними в не столь отдаленном будущем. Хилмортон, казалось, отличался завидным здоровьем — и вот он умер. Седжвик, чье состояние так их тогда огорчало, разгуливает по коридорам как ни в чем не бывало. А вот с ним, Райлом, не произошло ничего — только миновало еще три года, и теперь уже, видимо, ничего произойти не

может. Райл был слишком большим стойком, чтобы, подобно Скелдингу, вопиять об отсутствии справедливости в мире. Но как бы то ни было, судьбы этих троих людей не смог бы предсказать никто.

Однако другие люди были не прочь посетовать на отсутствие справедливости в нашем мире, особенно когда видели, как благоденствует Джулиан. Миссис Андервуд по-прежнему торжествовала, но ей все чаще становилось не по себе. Джулиан раздражался оттого, что никак не находил способа обезопасить свои деньги. Все западные биржи, акции и ценные бумаги ненадежны, любые капиталовложения рискованны — может быть, скупать драгоценные камни, картины, серебро? Но все это необходимо было обдумывать с той же тщательностью, с какой он заботился о своем здоровье. Он купил небольшой дом в Кэмпден-хилл (пожалуй, наиболее безопасное помещение денег) и разрешил Лиз переехать к нему. Они почти не принимали гостей, так как Джулиан пришел к выводу, что нет никакого смысла бросать деньги на ветер. Райл побывал там один раз, но больше приглашения не повторялись. Он решил про себя, что Лиз заметно похудела и стала очень молчаливой. Другие, более равнодушные, указывали, что хотя бы отчасти, но она получила то, чего хотела.

Джулиан с неопровержимой логикой доказал Лиз, что одного из доводов в пользу их брака более не существует. Великий финансовый соблазн исчез, поскольку ее младшая сестра (та, которая ухаживала за Хилмортоном во время его последней болезни) недавно произвела на свет мальчика. А потому если деньги и впредь будут что-то значить (что Джулиан ставил под сомнение), хилмортоновское состояние в конце концов достанется этому младенцу. Даже если они с Лиз поженятся и у них родится сын, эту возможность они уже упустили. Но матери он порой задумчиво говорил, что, пожалуй, для него настало время окончательно устроить свою жизнь.

Дженни тоже не получила всего, чего хотела, но она была счастлива и тем, что вышло на ее долю. С помощью Суоффилда (хотя у Лоримера мелькали мрачные подозрения, что часть выплат по закладной возвращается в суоффилдовский карман) они приобрели дом в конце Фулем-роуд — по чистой случайности неподалеку от дома доктора Пембертона. Возвращаясь из конторы, Дженни с неуемной энергией, охотой и хозяйственными талантами, которые так долго оставались втуне, все вечера отдавала тому, чтобы сделать свой домашний очаг уютным и элегантным, и, несмотря на весьма значительную разницу в средствах, они с Лоримером вели куда более приятную жизнь, чем Джулиан и Лиз. Дом их был открыт для гостей, и знакомые Лоримера по палате лордов, включая и тех, которых завела там Дженни, навещали их с большим удовольствием. Поговаривали даже, что Лоримера думают сделать младшим парламентским организатором, но он все еще никак не мог собраться с духом и произнести свою первую речь, а потому тайный договор Дженни с приятным розовым собеседником на ее свадьбе так пока и не дал результатов.

В мае Суоффилд получил письмо с Даунинг-стрит, гласившее, что премьер-министр «Предполагает» включить его в списки награждаемых к дню рождения королевы и представить его к возведению в сан рыцаря, «если у него нет возражений». Несмотря на разочарование и ярость, Суоффилд не утратил расчетливости и был способен прислушиваться к советам. В его возрасте он не может рассчитывать ни на какие другие предложения, хотя, конечно, платят ему по самым низким расценкам. А потому возражать он не стал. И на следующий день после опубликования наградных списков почтовый ящик дома на Хилл-стрит был набит письмами, адресованными сэру Реджинальду Суоффилду. Самые теплые поздравления от Мейнерцхагена, Хейдон-Смита и прочих. В уединении своего кабинета Суоффилд произнес ряд выразительных слов. И сел писать подобающие случаю благодарственные письма — надежда умирает нелегко. Но одно удовольствие он себе позволил. На той же неделе он вызвал лорда Клэра к себе в контору. Когда Клэр вошел, он, не предлагая ему сесть, еще некоторое время продолжал читать деловые бумаги. Потом сказал:

- Эдвард, я убираю вас из совета директоров.
- Могу я узнать, почему?
- От вас нет никакой пользы. Все понятно? Ну, с богом.

А в июне Дэвид Марч был назначен судьей Высокого суда. Особенно это никого не удивило, но такое назначение в его годы сулило впереди еще многое. Лэндер неистовствовал от восторга и весь вечер угощал, что обошлось ему не так уж дешево, поскольку угощал он Дэвида Марча. Под несокрушимой флегматичностью Марч прятал не только торжество победившего честолюбца, но еще и тайную тревогу за друга: последнее время Лэндер давал своему языку волю, чрезмерную даже по его собственным меркам. Марч начинал опасаться, что ему угощать Лэндера по сходному поводу не придется никогда.

В палате лордов Райл все чаще убеждался, что его прошлогодние черные мысли разделяются очень многими. И в частных разговорах (не во время дебатов, не в печати) кое-кто уже высказывал их вслух. Райл находил в этом какое-то тайное утешение. В дверях его обогнал видный мужчина с бодрым лицом.

— Вы знавали такое время, чтобы никто нигде не имел ни единой конструктивной идеи? Или хоть капли надежды?

Его друзья, как правило, были более умеренны. Но люди старше него тихо скорбели и на тех же скамьях, что и он, и на скамьях оппозиции. Никогда прежде ему не доводилось слышать тут столько прозрений и самообвинений.

Азик Шиф, столь долго пребывавший над схваткой и склонный думать, что политики вообще не способны чему-нибудь научиться, скорбел не меньше других. Новая война на Ближнем Востоке сторбила его, точно болезнь или подкрашавшаяся дряхлость. Много лет назад он потерял единственного сына. Он исполнил свой долг по отношению к приютившей его стране, но Израиль был единственным предметом его привязанности, единственным, что у него осталось. С необычной для него откровенностью он как-то вечером признался Райлу, с которым почти не был знаком, что с самого детства, прошедшего в Польше, он нюхом чует антисемитизм — а теперь антисемитизм вновь поднимает голову по всему западному миру.

Такие тревоги и беды не были личными. В большинстве эти люди оставались довольны жизнью по-прежнему, некоторые были счастливы, как Дженни и Лоример, а главное, как Джулиан Андервуд (к сожалению — считали те, кто не входил в число его близких). Некоторые обрели то, что в их кругу считалось успехом, — например, Дэвид Марч. Епископа Болтвуда, чуть ли не самого умного и стойкого духом среди них, прочли в архиепископы кентерберийские, и по сравнению с другими кандидатами шансы его оценивались очень высоко. Однако специалист по статистике сказал бы, что среди людей, взятых наугад, с кем-то — независимо от неличных бед и несчастий — обязательно должна случиться личная беда. Вот тут кривая Гаусса перестает служить бомбоубежищем. Так и произошло. И беда случилась с тем, кого люди, так или иначе причастные к делу о завещании Мэсси, сочли бы наиболее несокрушимым. Летом у Симингтона на сороковом году жизни произошло кровоизлияние в мозговую оболочку. Смертельный исход был более чем вероятен, утверждали доктора, но крепкий организм выдержал, а Элисон боролась за его жизнь столь же упорно, как и он сам. К концу года появилась надежда, что он сможет вернуться к работе. «Кара за гордыню, — сказал он твердо. — Я верил, что могу добиться чего угодно». Но было маловероятно, чтобы он когда-нибудь смог работать, как раньше. Его блестящая оболочка скрывала ненасытность. Но теперь приходилось смириться с неизбежным. Он ставил себе целью одним из первых людей своей профессии занять такое же судейское кресло, как Дэвид Марч. Но теперь он знал, что цель эта никогда достигнута не будет, — и принял это.

На исходе года Райл поджидал Седжвика в Епископском буфете. Теперь они разговаривали значительно реже, ибо в дни заседаний весь вечерний перерыв от Седжвика ни на шаг не отходил доктор Пембертон. Друзья Седжвика никак не могли этого понять. Пембертон — или Арчи Хилмортон, как скоро начали называть его в палате лордов, — отнюдь не стал там популярной фигурой. Лоример, памятуя, что они почти соседи, попробовал завести с ним разговор, но потом сказал Дженни, что он прощелыга. Другие были более терпимы, но как-то само собой разумелось, что Пембертона можно

разве что терпеть. Тем более что он отказывался пить сам и никогда никого не приглашал выпить. Двое-трое, ознакомившись с его взглядами на государственную политику, на англичан и на людей вообще, вполне с ним согласились, но как раз они вызывали у него даже меньше уважения, чем прочие члены палаты. Вообще с возрастом его способность уважать кого-либо словно все больше отмирала. А способности имитировать уважение у него никогда не было. Он презирал палату и тех, кто в ней заседал, точно так же, как в свой первый день в ее стенах. В течение года он произнес две речи. Одна — его первая, о выделении средств для Научно-исследовательского медицинского совета — вызвала те одобрения и поздравления, с какими положено принимать все первые речи. Вторая — о студенческих стипендиях (по его мнению, по меньшей мере половину студентов в стране следовало лишить права на стипендию) — энтузиазма отнюдь не вызвала. Палата лордов ему не нравилась, и он не скрывал, что никогда своего мнения о ней не переменит. Он приходил к началу вечернего перерыва и уходил так же, чтобы успеть домой на вечерний прием. И все-таки Седжвик, разборчивый, утонченно культурный Седжвик, терпел его общество. Райл, который считал, что лучше умеет справляться с грубиянами, однажды спросил его, в чем тут дело. Седжвик ответил с мальчишеской улыбкой, стершей строгость с его лица, что людям на склоне лет слепое поклонение бывает очень полезно. Он добавил, что Пембертон — безнадежный филистер, необразованный, грубый, но обладает умом, который при других условиях мог бы стать незаурядным. И очень интересно знакомиться с незаурядным умом, который не был ни одомашнен, ни выдрессирован.

Но в этот декабрьский вечер, ожидая Седжвика в буфете, Райл думал вовсе не о Пембертоне, который интересовал его не так уж сильно. Он только что услышал, что его сын Фрэнсис получил назначение в Европейскую комиссию в Брюсселе. Фрэнсис тоже интересовал его не так уж сильно, но он задумался о своих внуках. Как сложится их жизнь? В сферах интеллигентных профессий в Англии? В других странах? Эти дети унаследовали какие-то его гены. Если они найдут свое призвание, тем лучше для них. Если же нет, если они окажутся похожими на него — в меру умелыми, в меру настойчивыми, — то вряд ли их жизнь будет такой же свободной и интересной, как у него. Правда, они с рождения находятся в более привилегированном положении. Но истинная привилегия заключается в том, чтобы родиться в нужной стране в нужную эпоху. А этого-то им и не дано.

Он задумался над тем, как будущий историк, историк его типа, оценит общество, в котором он прожил жизнь, и людей, составлявших это общество. Возможно, даже вероятно, что этот будущий историк в восторг не придет. Период сумятицы между двумя великими эпохами — в истории такие периоды ярко не сияют. Но если грядущие историки сочтут нужным заняться нами, они, конечно, будут анализировать наше недовольство, наши тревоги, те силы, которые нами движут, даже наши попытки заглянуть в будущее и наши надежды совсем не так, как это старались сделать мы. И они будут правы — во всяком случае, более правы, чем были мы. Вот урок, который выучивает каждый историк.

Но историки выучивают и другой урок: тот, будущий историк истолкует наши чувства, наш жизненный опыт совсем по-другому, чем их воспринимали и переживали мы. Настоящее не способно представлять себе идеи будущего — это бесспорный факт. Но из того, что Райл знал об истории, он извлек еще один бесспорный факт: будущее не способно прожить заново то, из чего складывается настоящее. Каким бы ни было настоящее, оно наше. Мы знали мало, но знать это могли только мы.

Утешение? Нет. Просто мы занимаем свое место в общей цепи жизней, и это учит смирению. Но, подумал Райл, того, кто жил в наше время, вряд ли нужно учить смирению.

Перевели с английского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СИЛЬВА КАПУТИКЯН



МЕРИДИАНЫ КАРТЫ И ДУШИ*

28 мая. Егвард

Новый год я встречала в Нью-Йорке. Странное это было ощущение! Случалось, конечно, что под Новый год я бывала далеко от Еревана. Моя жизнь прошла, можно сказать, на колесах, и эти странствия иногда совпадали с днями, когда каждый, кто застревал в пути, торопился домой — встретить Новый год с женой, мужем, детьми, чтобы, согласно поверью, весь следующий год быть вместе с ними — с женой, мужем, детьми. Я не особенно спешила домой, дома меня не ждали муж, гурьба детей, а мать и сын свыклись с моими отлучками. Хороша или плоха эта свобода, не знаю, но так уж оно сложилось.

И все-таки этот Новый год особенный. В эту ночь я не только не под одной крышей со своими, но не в том же городе, не в той же стране, не на том же материке и даже — страшно подумать — не в том же полушарии. Только пред- ставить: наш двор, улица, наш Ереван уже восемь — десять часов назад прошли под этим околотком вселенной, чокнулись с этими звездами, поздравили друг друга с праздником и, вращаясь, отправились дальше, а я вот только сейчас отправляюсь встречать Новый год!

Едем вместе со здешним армянским писателем Акопом Асатуряном и его женой. Около восьми часов вечера наша машина останавливается у дверей зала «Гавукчян». Однако стоящий у входа дородный мужчина в модном клетчатом костюме запрещающим жестом останавливает нас. Начинается диалог по-английски, но я все же кое-как догадываюсь, что мы, точнее, я не могу войти внутрь. Акоп Асатурян старательно объясняет, кто я и откуда, — не помогает.

— Это армянин? — спрашиваю у госпожи Асатурян.

— Конечно.

— Неужели?

Как я поняла, для новогоднего торжества нужно было заранее купить билет, но пригласившие меня, вероятно, рассчитывали на традиционное армянское гостеприимство. Увы! Опять я сталкиваюсь с тем, что «дело есть дело», даже в этот вечер...

Асатурян пошел искать главного распорядителя, а я наблюдала за входящими: это все были представители «высшего круга» нью-йоркских армян, большей частью люди средних лет. Лица убогатворенные, безмятежные, на устах — английский. Мужчины в официальных темных или в яркую клетку костюмах,

* О н о ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

женщины в длинных платьях, которые вверх от талии давали неисчислимые варианты: тугие стоячие воротники, длинные и короткие рукава, смелые декольте, более чем смелые вырезы от шеи до пояса... Словом, респектабельные гости зала «Гавукчян» ни в чем не отставали от приглашенных на дипломатический прием на самом высоком уровне.

Асатурян вернулся, и мы все-таки вошли в зал. Как решился вопрос с моим билетом, я постеснялась спросить.

Наш стол был довольно многолюдным: артисты, художники, писатели — неутомимые приверженцы родной культуры, чьи упорные усилия и стойкость воли ощущаешь в полную меру, когда сама, пусть хоть однажды, лично столкнешься с многоэтажной бетонной стеной, которая каждую минуту и на каждом шагу встает на их пути.

Просторный зал, построенный на средства американского богача Гавукчяна, в эту ночь был в праздничном убранстве: высоченная елка, свисающие с потолка бумажные, нейлоновые елочные игрушки. На столах поблескивали светлячками веселые огоньки новогодних свечей. На сцене два оркестра, один американский, другой назывался армянским, поскольку и исполнители и песни были армянскими. Музыка, вдвойне усиленная стереоустановками, оглушающая, хоть уши затыкай. «Массовые танцы» в поте лица. То твист, то кочари. По правде говоря, между твистом и нашим кочари была небольшая разница. Время от времени кой у кого проскальзывает арабская, «извивающаяся» манера танца. Значит, танцующий переселился сюда с Ближнего Востока.

Наш стол походил на маленький островок, о чьи берега со всех четырех сторон ударяли грохочущие морские волны, — буйство звуков, топот танцующих ног и заполнивший все английский. И психологически все это тоже напоминало остров... Говорящий по-армянски стол, пишущие по-армянски писатели, уже немолодые, со своими никак не старящимися воспоминаниями об отчем крае, о скалистых кручах Сасуна, о Мушской долине, со своей постоянно горящей болью и тлеющей надеждой, а вокруг — все совсем другое, далекое. Далекое не только по языку, но и по образу жизни, взглядам, нравам, по состоянию души.

— Мы вообще не ходим на такие сборища, сегодня пришли из-за вас, — словно чувствуя мое настроение, объясняет Акоп Асатурян.

А настроение у меня какое-то смутное. Провозглашаю тосты, пробую петь, уговариваю себя радоваться кочари, улыбаюсь подходящим к нашему столу, но в душе какая-то тяжесть. Почему так? Может, началось с неприятной истории у входа? Может, из-за незнания английского? Откуда это острое чувство расстояния, эта отчужденность, отдаленность?..

Вспомнила такой же новогодний вечер в Москве, в Доме литераторов. Так же тесно сдвинутые столы, такое же многолюдье. Мы, несколько армянских писателей, Акоп Салахян, Рачия Ованисян и другие, сидели за столиком. Это был, пожалуй, один из самых непринужденных, самых веселых вечеров в моей жизни, хотя я тоже была далеко от дома и вокруг столько самых разных людей, говорящих на самых разных языках. И наш стол тоже был своеобразным островком. Мы были армяне, пели, говорили по-армянски, кроме общих, у нас были свои темы, свой Ереван, свои заботы — словом, свой мир. Вокруг не знали нашего языка, не вникали в эти наши заботы, и все равно не было этого чувства островка. Мы были частью материка. Мы включались в беседу за соседним столом, подпевали русским песням, вовлекали соседей в армянские танцы, и все было естественно. Мы шли друг к другу через иные века и дороги. Здесь же, в этом зале, все вверх тормашками. Соотечественники, однако у каждого внутри свое отечество. Армяне, а по-армянски друг друга не понимаем. И вообще друг друга не понимаем, не понимаем, и, увы, это тоже, наверное, естественно...

Та часть Бродвея, где улица подобно реке расходится на два рукава, бусует подобно реке. Красные, синие, желтые, зеленые куртки и шапки, картонные колпачки и короны, русые, рыжие спадающие на плечи волосы, черные как

смоль мелкокурчавые головы накатывают волной, наплывают, снуют туда-сюда, вперед и назад, останавливаются, вновь двигаются. Все — молодые: парни и девушки, белые и чернокожие, маленькие и высокие, большей частью парами, группами, но есть и в одиночку.

Над Бродвеем сеется мелкий дождь. Дождь и огни образовали тонкую дымку. Под ней крикливые краски рекламы обрели нежность акварели. Все вокруг — огни, лица — красное, синее, желтое, зеленое, все наполнено дождем, смехом, голосами.

В ту часть Бродвея, где улица делится надвое, вклинивается старое многоэтажное здание — редакция газеты «Таймс», и хотя давно газета не здесь, название сохранилось, и площадь называется Таймс-сквер.

— Если хочешь встретить Новый год по-американски, нужно сходить в Таймс-сквер, — еще днем раньше сказал мне мой друг художник-фотограф Арутюн Чолагян. — Ровно в одиннадцать я приду в зал Гавукчяна, чтобы свести тебя туда. Узнаешь еще одну интересную традицию Нью-Йорка. Каждый Новый год молодежь собирается там, а ровно в двенадцать с крыши Таймс-хауз раздается залп, будет фейерверк, а потом...

Что было потом, я увидела сама. После праздничного залпа, многоцветного буйства разбежавшихся по краям старого здания огоньков сверху вниз и снизу вверх над Бродвеем пролился ливень молодых ликующих голосов. Сотни маленьких пестрых рожков возвестили приход Нового года. Как молекулы инстинктивно притягиваются друг к другу, так инстинктивно тянулись друг к другу руки, глаза, губы, голоса — красные, синие, желтые, зеленые голоса:

— Хеппи нью еар...

— Хеппи нью еар...

— Хеппи нью еар...

И у меня в руке рожок, и я возвещаю приход Нового года. И я, как и все в толпе, обнимаюсь, целуюсь, и я пью из протянутых мне маленьких фляжек. Какое мне дело, что под ногами хлюпает вода, что туфли мои и длинное платье промокли, что растрепались мои празднично уложенные волосы. Я иду, смешавшись со всеми, с незнакомыми и такими близкими этими ясноглазыми лохматыми девушками, длинноволосыми парнями в запатанных джинсах, белозубыми чернокожими юношами, и в моей душе те же голоса — красные, синие, желтые, зеленые, и на устах моих то же, что у них: Бахтовор Нор тари! С Новым годом! Хеппи нью еар!

Рядом со мной Арутюн, он ликует, он рад моей радости. В эти минуты он и сценарист, и постановщик, и дирижер, он счастлив, что и фильм, и постановка, и партитура получились такими, как он задумал.

— Вот видишь, я же тебе говорил!

Он в своей стихии — находить прекрасное, дарить прекрасное, дарить праздник. Он покупает мне разноцветные рожки, блестящий бумажный колпак. Останавливает приглянувшихся мне людей, объясняет, кто я и откуда, бойко переводит. Возле нас сгруднились захмелевшие парни и девушки, они охотно вступают в разговор, смеются, острят. Вероятно, увидев это скопление, к нам прорывается сквозь толпу какой-то репортер. Не теряя времени подносит к моим губам микрофон.

— Что скажете в связи с Новым годом?

Я отвечаю, и Арутюн синхронно переводит.

— Пятьдесят четыре года Новый год встречала в восточном полушарии и вот пятьдесят пятый год моей жизни встречаю в западном, — начинаю я и по обычаям «старого света» нацеливаюсь обстоятельно изложить все нюансы моих новогодних ощущений. Но... репортер отрывает микрофон от моих губ и подносит его к чьим-то другим.

Кто-то отходит от нашей группы, кто-то подходит, но ядро ее неизменно. Среди неизменных — симпатичная пара: девушка с распущенными по плечам белокурыми волосами и ее спутник — юноша едва восемнадцати — двадцати лет,

в синей куртке, с по-детски открытым взглядом (жаль, не помню их имен). Он уже навеселе и со мной очень мил и предупредителен. Время от времени он поднимает флягу, в знак особого уважения уступает мне право первой вкусить драгоценный нектар и только потом прикладывается сам. Среди неизменных также одна негритянская пара. Высокий, с небольшими усами муж и низенькая, запеленатая в меховую шубку жена. И у них такое же настроение — сияют доброжелательством и охотно отвечают на мои вопросы. Макартур Девис работает в министерстве образования, жена его Лоретта Дейзен — в какой-то компании, имеющей отношение к американскому экспорту.

Арутюн сразу догадывается, что я хочу как-то закрепить этот неповторимый вечер, чтобы он не стерся из памяти. И вот откуда ни возьмись появляется фотограф. Мгновенная вспышка — и через одну-две минуты цветной снимок в моих руках.

Я привезла домой, наверное, целый чемодан фотографий — заветные дорогие памятки. Этот снимок мне особенно дорог, он сразу вызывает в душе голоса того вечера — красные, синие, желтые, зеленые, на всех языках понятные чувства:

— Хеппи нью еар...

— Хеппи нью еар...

— Хеппи нью еар..

По возвращении в гостиницу перебираю накопившиеся за долгий день впечатления: значит, случается, что «чужие» бывают тебе ближе, чем, казалось бы, «свои», но ставшие чужими, всеми делами, помыслами полностью укоренившиеся в чуждом мире. Однако это заключение лишь одна часть моего душевного опыта за эти сутки, самое простое умозаключение. Это я понимала и дома. Что же сегодня в сутолоке на Бродвее заговорило в моей душе? А вот что.

Сложна человеческая душа. Иногда хочется выйти не только из себя, своей семьи, своего дома и города, но и из своей привычной национальной оболочки, на миг сорваться со своего якоря и выйти на морские просторы, широко вдохнуть хлынувший издали свежий, незнакомый воздух, почувствовать, что ты частица этого могучего целого, что твои и Бродвей, и Парфенон, и Чаплин, и Микеланджело, и Бетховен, и Толстой, что радиоприемник твоей души настроен на опоясывающую земной шар волну радостей и тревог, что и ты в ответе за все хорошее и плохое в мире, что и ты причастен усилиям созидающего и страдающего человечества хотя бы тем, что в эту минуту ты — со всеми, среди всех, что и твое сердце с его болью и радостью вносит в мир свою долю света и тепла, от чего миру становится чуточку светлее, чуточку теплее...

Точно такое же чувство я испытала в другой день, в другом месте. Это было в Монреале, в концертном зале комплекса, именуемого «Площадь искусства». Громадный зал был наполнен до отказа. Выступал гастролировавший в Канаде греческий ансамбль. Все его участники — греки, покинувшие Грецию «черных полковников» и, вероятно, поэтому ставшие, если можно так сказать, еще более греками, еще крепче и еще больше любящие свою землю. Пел исполинского вида мужчина, усталый, с озабоченным лицом, сутуловатой спиной. На нем черная простая блуза с высоким воротником. Казалось, что он пришел сюда, в этот зал, не петь, а выполнять ежедневную трудную работу. Однако стоило ему начать, как и он сам, и его товарищи, и все вокруг преобразилось. Что бы они ни исполняли, будь это греческие народные мелодии, или песни на слова Гарсиа Лорки и Пабло Неруды, или баллада, посвященная убитому в те дни Альенде, или грустные напевы любви, все это как-то объединялось, различные оттенки сливались, становились одним цветом, одним голосом, служили одной-единственной цели — освобождению Греции.

Концерт нельзя было назвать концертом в обычном смысле. Это был бунт и мятеж против тирании, десант мстителей. от действий которого взлетают в воздух не воинские склады и железные дороги, а рушатся устои вражеской морали, исчезает душевная леность тех, кто до поры до времени воздерживался от самоопределения, тех, кто был не против, но и не за.

Воистину трудно было сохранить спокойствие перед этой взрывчатой силой искусства. Зал рукоплескал так, будто от подземного толчка сам заколебался, загрохотал и в каких-то местах дал трещины. Вокруг извергались возгласы на греческом, топот ног, восклицания «браво», «бис», «вива».

Один из таких «очагов извержения» находился рядом со мной. То были молодые греки, местные или приехавшие — не знаю, я видела лишь, как откликались их лица на каждое несущееся со сцены слово, на каждый звук, как они вскакивали с места, хлопали, выкрикивали какие-то слова, всем телом устремившись к сцене, словно хотели перепрыгнуть передние ряды, достичь подмостков, смешаться с артистами, пойти за ними на штурм... И я тоже почти не отставала от сидящих рядом. Я не понимала слов, но больше, чем перевод, во мне работала интуиция. Помогло то, что здесь, в зале, звучали имена Лорки, Неруды, которые уже давно были для меня своими, а больше всего — то волнение, которое несло со сцены, сгушалось в воздухе, заполняло зал, сплавляло всех воедино. И хотя справа от меня сидели мои спутники из армянского клуба, сдержанные и застегнутые на все пуговицы, я непроизвольно клонилась к сидящим слева молодым грекам, была с ними, со всеми «очагами извержения», со всем залом.

Занавес опустился, но люди не уходили. В пространстве, в воздухе, на лицах еще жила песня, жила нетерпеливая жажда общения. Я стояла в многолюдье и понимала все, о чем говорили эти лица. А меж тем несколько дней назад, когда здесь же выступала известная французская певица Мирей Матье, я, выходя из зала, ощутила внезапное чувство одиночества, острее до страха. А сегодня — сегодня все, кажется, знают армянский, а я — греческий, английский, французский.

К нам приближается высокий мужчина средних лет. На лице его та же нетерпеливая жажда обрести кого-то, к чему-то припасть, причаститься. Это наверняка армянин, и я уже готовлюсь протянуть руку. Он подходит, взволнованно произносит какие-то слова, и выясняется, что нет, он канадец, ищет грека, чтобы обнять его, чтобы выразить свое сочувствие и признательность, а поскольку мы, как и греки, смуглые, чем-то смахиваем на них, он подошел к нам. Тем не менее мы пожимаем друг другу руки, и канадец идет отыскивать грека. Идет, чтобы учащенным биением своего сердца с его болью и радостью внести в мир свою долю света и тепла, отчего миру станет чуточку светлее, чуточку теплее...

30 мая. Егвард

Отец мой небесный не дремлет,
 Меня неусыпно хранит
 И печется о благе моем,
 Путь великой любви
 Открывает он мне неустанно —
 Путь, который ведет в небеса.
 И даже орлиный полет
 Осенен той любовью...
 О, я знаю, я знаю,
 Отец мой небесный меня не оставит,
 Он хранит неусыпно меня
 И печется о благе моем.

Эту духовную песнь спела одна из сестер в маленькой церкви в Атланте во время литургии на панихиде по Мартину Лютеру Кингу. В траурной тишине встала она, стройная, темнолицая, и строго, без слез спела любимую его песнь: «Отец мой небесный не дремлет, меня неусыпно хранит...»

Вчера вечером эта песнь прозвучала в Ереванской филармонии, и закаменевший зал внимал ее уносящимся ввысь переливам. Пела Одетта, знаменитая негритянская певица, приехавшая из Лос-Анджелеса, высокая, крупная, с гладкой оливковой кожей, с крутыми мелкими завитушками волос. Что-то жесткое, сильное, будто вырубленное из скалы было в ее широком лице, осанке, низком

голосе. А потом пошли спиричуэлс — знаменитые негритянские духовные песнопения, эти веками сгущенные надежда и горечь, что мощными волнами выплеснулись из души народа и сейчас захлестнули зал. Но, наверное, и чернокожий бог так же глух и недосягаем, как и наш...

Горе чернокожего человека впервые пришло ко мне из «Хижины дяди Тома» и слилось, смешалось с первыми моими детскими печальми, рожденными «Григором», «Мужичком с ноготок», «Муму», «Тилем Уленшпигелем». А потом, в зрелости, это трепетное детское отношение к старому доброму дяде Тому сменилось холодным словом «проблема», превратилось в отвлеченный, где-то там существующий вопрос. Об этой проблеме напоминали плакаты, митинги, газеты, призывающие негров к борьбе.

В Канаде, тем более в Америке встречи с неграми на каждом шагу — обычное дело, но в памяти моей накрепко осталась одна, казалось бы, мимолетная встреча. Это было в городе Ниагара-Фолс. В тот день я была совсем одна. В незнакомом мире, среди незнакомых людей, предоставленная сама себе, я медленно прохаживалась по набережной у водопада. Навстречу шел чернокожий отец семейства с тремя детьми. Он держал за руки двоих, а тот, что постарше, бежал впереди. Отец был в темном костюме, белой рубашке с галстуком. Лицо спокойное, обыкновенное лицо, и дети как дети: черненькие, с на редкость живыми мордашками. Держа за руку отца, они то и дело зыркали по сторонам глазенками, задавали ему какие-то вопросы. Мне показалось, что до сих пор я не видела такой благой негритянской семьи, такой умиротворенности, без бунтующего взгляда, без напряженных мускулов. Они поравнялись, прошли мимо. Не знаю почему, я обернулась, взглянула им вслед. Вижу, у одного, самого маленького, кривые ножки, точь-в-точь как у мальчика моей деревенской соседки. Что-то стронулось во мне, какая-то ниточка протянулась между мной и ними, натягивалась и не рвалась. Кривые ножки, точь-в-точь как у мальчика моей деревенской соседки... Как похожи люди друг на друга. Отцы на отцов. Дети на детей. Я особенно ощутила это в тот миг. И «проблема» снова уступила место живому, трепетному чувству...

Горничные в гостиницах по большей части были негритянки. Входили в номер почти всегда хмурые, замкнутые, делали свое дело и такие же хмурые уходили. Они не пытались перекинуться со мной словом, хотя едва ли догадывались, что я не говорю по-английски. Для них я была белой. А белое в их глазах не только цвет — отгораживающая стена, красный глаз светофора, настораживающий, предупреждающий. Целая система восприятия...

Известный современный негритянский писатель Джеймс Болдуин говорит: «Нужно помнить, что когда я называю «белый человек», я необязательно имею в виду цвет его кожи, я имею в виду тех, которые считают себя белыми, которые живут по определенным ценностям, точнее, при отсутствии ценностей...»

И вот получается так, что для чернокожего эпитет «белый» так же многозначен, как и для белых «черный» — черная душа, черные дни, черная жизнь и бесчисленное множество такого «черного»... Иногда мне хотелось сказать молчаливой негритянке, вытирающей пыль в номере: «Не гляди на меня так неприязненно, ведь у меня душа не такая белая, как тебе кажется, я не виновата в ваших белых днях, и я тоже хочу, чтобы изменилась эта белая жизнь»... Но как, на каком языке все это сказать?..

Особенно мрачно смотрела на меня горничная в нью-йоркской гостинице «Хилтон». У нее было скуластое одутловатое лицо, толстые потрескавшиеся губы. Она входила сменить полотенце или мыло, но даже от такого короткого ее пребывания у меня захватывало дыхание. В то же время я злилась на себя за то, что так нетерпима к другому человеческому созданию. Решила перебороть себя и ее. Каждое ее хмурое появление встречала радужным приветствием и улыбкой, сама убирала постель, по каждому маленькому поводу благодарила. Жесткость лица негритянки смягчалась с истошающей медлительностью, однако все же заметно. Настолько заметно, что однажды я рискнула угостить ее армянским коньяком и сладостями. Вопреки ожиданию она подошла

к столу. Я налила в рюмку коньяк, протянула ей, она не взяла, поднесла руку к левой стороне груди, жестом показала, что у нее больное сердце, пить вредно. Но взяла армянскую сигарету, виноградную чучхелу. Я кое-как объяснила, что из Армении, из Советского Союза. Твердость ее лица начала таять. Вижу — у женщины красивые глаза, огромные, добрые глаза. Вижу — улыбка хорошая. Потом каждый раз, когда она приходила, во мне возникало то же чувство, что и при встрече с негритянской семьей в Ниагара-Фолс. Мы улыбались друг другу, только улыбались, но произошло нечто большее: мы обе, и она и я, где-то в вековой глубине, внутри нас одержали победу над «черным» и «белым».

Я очень хотела, чтобы эта победа была всегда со мной, чтобы я ни на малую толику невольно не поддалась беспрерывно звучащему вокруг: «черные», «страх перед черными», «из-за черных».

В Нью-Йорке я настояла, чтобы меня проводили в Гарлем, познакомили с его обитателями. Вызвалась помочь мне в этом Алис, Алис Шагинян. Мало сказать вызвалась — сама подлила масла в огонь, радуясь тому, что гостя из Армении интересует такими проблемами.

— Знаешь, мне удивительно, — на своем ломаном армянском объясняла Алис, — что ты хочешь туда. Есть люди, спрашивают: «Алис, какое тебе дело, зачем ты лезешь в политику? Из-за Вьетнама ходишь на демонстрации». Как же?! Вьетнам может и моих сыновей слопать! Знаешь, мне удивительно!

Занятная личность эта Алис, родившаяся в Америке. Она из семьи активных деятелей «Армянского прогрессивного союза». Сейчас — жена фабриканта, хозяйка большого двухэтажного дома. Постоянные гости, приемы — и при всем этом скромная одежда, без всяких там коле и колец, недорогая шубка, простые туфли. Было ли это вызовом своему кругу, своей семье и своей вилле или такой она родилась и такой вот и осталась?

Алис. В моей памяти у нее особое место. Светловолосая, синеглазая, она оторвалась от американских армян и пришла, прикинула к пуэрториканцам, Гарлему, негритянской поэтессе Лу Ла-Тур, художнице Валери Мейнард, но при этом осталась армянкой со своими мучительными усилиями прочесть и начертать напип трудно поддающиеся буковки, со своею детской любовью к далекой родине. В мои нью-йоркские дни мы подружились. Я чувствовала, что ее беспокойная душа искала во мне ответ на многие тревожащие ее вопросы.

Алис мне очень помогла своими многочисленными связями, никак не мониторирующимися с положением ее нынешней семьи.

— Я уже сказала о тебе. Моя подруга-пуэрториканка говорит на телевидении для своих, хочет, чтобы они развивались. Вечером в следующую пятницу мы должны к ней домой пойти. Там будет много-много людей, тебе у них понравится...

В условленный день Алис остановила свою автомашину в паркинге у моей гостиницы и, взяв такси, повезла меня и Ваана Казаряна, редактора армянской прогрессивной газеты «Лрабер», в знаменитый негритянский квартал Нью-Йорка. Таксист нашел дом, и мы, поднявшись на несколько ступенек, вошли в нужную нам квартиру.

Собственно, это трудно было назвать квартирой: нечто вроде длинного и высоченного коридора, разделенного самодельными книжными полками надвое. Не знаю как днем, но при вечернем освещении все это было похоже на бетонированное дупло, колодец с маленьким, еле заметным оконцем. Несмотря на это, хозяйка дома, та, что, по словам Алис, «говорит на телевидении», была счастлива этим уголком, и сегодняшнее собрание у нее — по случаю новоселья.

Нас ждали, встретили приветливо, особенно хозяйка Дульсия Байкан. Тоненькая, коричнево-смуглая, с умными глазами, она сотрудничала в той редакции телевидения, что вела передачи для Пуэрто-Рико.

В Соединенных Штатах около полутора миллионов пуэрториканцев, большинство из которых пребывает на самой нижней ступеньке социальной лестницы — чернорабочие. Их родина — Пуэрто-Рико, первый из островов Вест-

Индии, куда ступила нога испанцев, но который, однако, с начала нашего века живет под эгидой Соединенных Штатов. На этом острове смешались пришельцы и аборигены, коренное население постепенно исчезало, видоизменились и испанцы и привезенные из колоний рабы-африканцы. И сейчас жители острова называются пуэрториканцами, язык у них испанский, кожа — смесь черного, белого и красного, черты лица — тоже, а душа?..

Какая она, я ощутила явственно в квартире Дульсии Байкан, куда люди все приходили и приходили. Они стояли уже впритык друг к другу, сплошняком; это душельное душло с каждой минутой все больше и больше забивалось крепко сколоченными парнями и ярногубыми девушками с черными и коричневыми лицами, угольно-смоляными глазами, где белки — как острие клинка. И с каждым входящим в воздухе что-то сгушалось, везде и во всем — в звуках, вылетающих из магнитофона, как из жерла пушки, в яростном топоте танцующих, в судорожных бросках рук и ног, в беседе стоявших по стенкам людей. И в том, как они стояли, и в том, как они молчали, — во всем этом было нечто большее, чем то, что обозначается такими известными словами, как «ненависть», «вражда», «бунт», всеми такого рода словами из словаря белых. В лексиконе чернокожих, наверное, есть особое слово, которое непереводаемо и в котором заключено то, что было в этих глазах, душах, воздухе...

Сказать, что с нами, «белыми воронами», не были любезны, было бы неправдой. Наоборот, нас окружили, на наши вопросы с готовностью отвечали, обменивались адресами. Кто-то снимал, предлагал обменную выставку с армянскими фотографиями. Другой, который оказался поэтом, подарил мне свою книжку, третий прочел свои стихи: «Не продавай свой остров, если даже тебе дадут за него все сокровища мира. Знай, продашь свой остров — продашь свою жизнь, себя продашь... Не продавай свой остров».

Молоденькая девушка с экзотическим именем Фигероа сказала:

— Я не знаю испанского, в школе тех, кто говорил по-испански, наказывали. А мать моя не знает английского, мы с ней через сестру разговариваем. Я ненавижу английский, он разлучил меня с матерью.

Хозяйка подарила мне маленькую глиняную маску работы народного мастера-гончара, пригласила в телестудию посмотреть документальные фильмы из жизни пуэрториканцев. Жаль, что это было через несколько дней, уже накануне моего отъезда, я не смогла пойти. Но мне кажется, что бы я ни увидела на тех лентах: историю Пуэрто-Рико, памятники старины, тяжкие будни, смещение народа, потерявшего свою землю и независимость, — все равно в мою память сильнее всего впечатался бы этот вечер.

Было два часа ночи, но гости все прибывали и прибывали, даже стоять уже было негде, и нам показалось вполне естественным, что не вмещающаяся в сосуд масса в первую очередь должна «вытеснить» то, что было лишь физическим соединением, а не растворилось «химически» в основной массе.

По поручению хозяйки какой-то бородатый молодой человек, немногословный и сосредоточенный, проводил нас до такси. Вокруг притих опустевший ночной Гарлем, улицы были не такие, какими я их себе представляла, — широкие, прямые, четко спланированные. Обычные четырех-пятиэтажные дома, не лагуги. Освещен Гарлем был больше, чем некоторые улицы в центре, и это, наверное, не от хорошей жизни...

Через два дня я увидела и дневной Гарлем. К прежнему впечатлению прибавилась подвеченная солнцем дряхлость обветшавших домов, закопченные фасады с облупившейся штукатуркой, окна с разбитыми стеклами, кое-как заделанные фанерой и жестью. На тротуарах смешались снег и мусор. Сравнительно цельным и крепким было здание школы, старое, добротное строение. Побывать в этой школе входило в мою программу того дня.

— Туда придет одна очень великая женщина, очень известная среди черных поэтесса. У нее много книг, она почетный профессор девяти университетов мира. И она сама покажет нам эту школу, — с утра оповестила Алис.

Когда мы вошли в школу, нас встретила та самая, по словам Алис, «очень великая женщина» поэтесса Лу Ла-Тур. Она и впрямь была выдающейся общественной деятельницей, автором многих поэтических сборников, создателем организации «Центр ресурсов поэтов мира» и, как написано на обратной стороне открытки с ее портретом, «посвятила жизнь истории Африки».

Лу Ла-Тур, немолодая, худощавая, нервная, с первых же минут знакомства включила нас в свой ритм, невольно заражая его напряженностью.

Школа носила имя Гарриет Табмен, рабыни-негритянки, родившейся в прошлом веке в городе Мэриленд и ставшей легендой. Вместе с повстанцами она сражалась против рабовладельцев, равно пуская в ход и немилосердное ружье и сумку сестры милосердия. Дух этой легендарной женщины живет во всей атмосфере школы, в учителях и учениках, во всем этом старом здании с полутемными классами.

Вместе с педагогами мы обошли учительскую и классы. Школа, по-видимому, усвоила методы преподавания известного итальянского педагога Монтеessori. Всюду, в какой бы класс мы ни вошли, малыши были поглощены своим делом: кто рисовал, кто был занят с игрушками, кто лепил из пластилина фигурки под наблюдением, но не под командованием учителей.

Госпожа Лу Ла-Тур что-то говорила, и десятки черных головок поворачивались ко мне. Многое хотелось мне им сказать, хотелось, чтобы эти ясные, широко открытые глаза всегда оставались такими, чтобы души их не заливали темные волны ярости, ненависти, чтобы... Говорят, дети инстинктивно чувствуют настроение человека. Может быть, поэтому они так тесно окружили меня, а какая-то девочка подарила нарисованную ею картинку. На ней две громадные большеголовые ромашки, раскрашенные ярко-желтым и оранжевым. Обе без стеблей, как два солнца.

Я привезла эту картинку с собой вместе с другими — подарками армянских детей Детройта, Филадельфии, Бостона. Правда, почти на всех тех картинках изображен Арарат, но как знать, может быть, девочка, выросшая в Гарлеме, в свои две ромашки вложила такую же тоску и мечту, как те — в Арарат?

В учительской со стены смотрит цветная фотография Мартина Лютера Кинга. Я видела много портретов Мартина Лютера Кинга, этого современного негритянского Христа, распятого расистами в Мемфисе. Здесь, в Гарлеме, в негритянской школе имени Гарриет Табмен, эта фотография приобретала особый смысл. Он был снят молодым, полным сил, но глаза у него были грустными, и в грусти его была та же удивительная сила, как и в спиричуэлс, спетых Одеттой.

Жизнь и смерть этого чернокожего мученика — вечное клеймо на лбу «белого мира». Белое клеймо... Выпущенная 4 апреля 1968 года в Мемфисе пуля была выпущена не только в Мартина Лютера Кинга, а в веру чернокожих людей, что можно мирным путем, взывая к чести и совести государств и сенаторов, добиться истинного равноправия. После этой пули в Америке еще нестоее стала черная ненависть, в ста пятидесяти трех городах вспыхнули негритянские мятежи, ничто не могло остановить ярость людей, бросившихся на баррикады...

С того дня прошли годы. Теперь на улицах баррикад больше нет, но они остались в душе каждого негра, и эти баррикады разрушить труднее. Многовековое угнетение, безнаказанное унижение, белый «эмоциональный расизм» — все эти действия вызвали противодействие. Если раньше слово «чернокожий» воспринималось как оскорбление, теперь, наоборот, черный цвет стал для черных своего рода девизом, вызовом, кличем. Они учат своих детей гордиться тем, что они черные. Тот же Джеймс Болдуин свою книгу «Имени его не будет на площади», это страстное обвинение Америке, кончает следующими словами: «В то время как черный гордится своим новообретенным цветом, который наконец-то стал его собственным, и утверждает (не всегда с чрезмерной деликатностью) значимость и силу своего «я» — даже на краю гибели, белый нередко чувствует себя оскорбленным и очень часто насмерть перепуганным... Рано или поздно черные и белые должны были достичь этих невероятных высот напряже-

ния. И только когда мы проживем этот момент, нам станет ясно, чем нас сделала наша история».

Несомненно, что писатель крайне пессимистично оценивает возможности человеческого разума, его способность противостоять хаосу и разрушению. Крайне пессимистично смотрит он и на существующие в Америке прогрессивные силы, на деятельность американских коммунистов, последовательно борющихся за окончательное и действенное осуществление гражданских свобод негров. Однако вышеприведенные слова Болдуина свидетельствуют и о том, что взгляды тех американских политиков, которые стараются уверить публику, что чем дальше, тем быстрее происходит интеграция негритянского населения, столь же безосновательно свехоптимистичны.

Когда я была в Америке, книгу Болдуина я еще не прочла. Я свободно, легко ходила в негритянские кварталы, и мне казалось, что я, воспитанная по-другому, чуждая этому злополучному расовому неприятию, смогу хоть и без языка, но своим открытым дружелюбием проложить к ним дорогу, отпереть двери к векам не отпирающимся сердцам. Но американские века сделали свое: так долго скапливалась недоверчивость к белому человеку, что развеять ее — дело долгое и трудное. Трудное, но не безнадежное. И я, как громоотвод тому напряжению, дошедшему, по словам Болдуина, до невероятных высот, вспоминаю улыбки детей в школе Гарриет Табмен, вспоминаю их учителя, высокого, по-детски яснолицего Френсиса, вспоминаю радушие пуэрториканки Дульсии Байкан, вспоминаю мою подругу по перу поэтессу Лу Ла-Тур, которая твердо верит в то, что людей можно объединить вокруг идей добра, любви, мира.

...Когда мы вышли из школы в Гарлеме, на улице было холодно и шел снег. Замерзшие, мы втиснулись в машину. Я забыла перчатки дома и сразу же сунула застывшие руки в карманы. Вдруг вижу, Лу Ла-Тур снимает перчатки и протягивает мне. Говорю, что у меня есть, что эти мне велики. Не помогло. И теперь у меня на столе также и эти большие, из крепчайшей черной кожи перчатки. Кажется, что ничто другое не могло бы напомнить мне о наших встречах вещественнее и символичнее, чем эти перчатки: они словно две черные большие руки, протянутые для рукопожатия...

«Руки, глаза, сердце, мысль» — эти четыре слова написаны на той желтоватой визитной карточке, которую дала мне художница Валери Мейнард. Я познакомилась с ней в двухэтажном кирпичном здании Дома культуры Гарлема, где была выставка негритянских художников; Валери обучала там рисованию чернокудрых детей. Девушка рассказала мне о судьбе своего брата. В ночь на 3 апреля 1967 года в Нью-Йорке в районе Гринич-Вилледж неизвестные люди убили некоего капитана, «героя» Вьетнама. Двести человек были допрошены по этому делу, и виновным был признан журналист Вильям Мейнард. Множество фактов, опровергающих обвинение, не было принято во внимание судом. Мейнарда приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Тогда был создан «Комитет по освобождению Мейнарда». Прошло уже семь лет, однако борьба не прекращалась и теперь «Комитет» добился того, что дело обещали пересмотреть. Валери вручает мне плакат с портретом брата и призывом: «Свободу Вильяму Мейнард!»; а также листок, где подписавшийся присоединяется к петиции протеста, направленной суду. Валери знала: та, что пришла в Гарлем вместе с Алис, не могла не сочувствовать юноше, глядящему с плаката. Чистое, вдумчивое лицо, горький взгляд глубоких глаз. Нет, этот не мог быть убийцей... История, рассказанная Валери, — в моем стихотворении «Нью-Йорк».

Несколько дней назад в Ереване меня навестила одна из моих американских знакомых. Еще в коридоре она поспешила сообщить:

— Алис велела передать тебе, что брата той черной девушки освободили!

Кроме радости за Мейнарда, я пережила и другое чувство. Мне показалось, что в этой победе над несправедливостью есть и моя, пусть крошечная, доля. Правда, будучи гостьей, я не могла подписать тогда воззвание «Комитета», но строки моих стихов, мое сострадание и боль — это тоже участие моих, белого человека, рук, глаз, сердца, мыслей...

2 июня. Ереван

Все газеты и журналы заполнены Пушкиным — стосемидесятипятiletие со дня его рождения. Всюду в пушкинских местах — Михайловском, Ленинграде, Москве, Одессе, Кишиневе — литературные вечера и празднества, на которые съезжаются поэты со всей нашей разноязычной огромной страны.

Путь великого поэта пролегал и по Армении, поэтому и к нам приехали гости и у нас тоже пушкинские дни.

Началось все с Ленинакана. Когда-то по дороге в Эрзерум Пушкин на несколько дней остановился в старом городишке Гюмри. В маленьком чернокаменном домике хлебосольные гюмрийцы тепло приняли поэта, угощали лавашем, стеснительные девушки по дороге к роднику наливали ему воды из глиняных кувшинов. И вот Гюмри наших дней — Ленинакан артистично воплотил все это в установленном на центральной площади обелиске. Когда на городском митинге объявили об открытии памятника и была разрезана ленточка, неожиданно для всех забил скрытый в постаменте родничок, и прибывшие на праздник гости пригубили воду — ту же, что текла и в пушкинские времена.

Вода! Символ жизни, чистоты, справедливости, вечности. «Пусть жизнь твоя будет долгой, как вода», — говорят в Армении. Вот жизнь, которая вечна, как вода, как вода, насущна, — это Пушкин. Поэзия Пушкина. Я не знаю, есть ли в мире другой поэт, который был бы для своего народа тем, чем стал Пушкин для России.

Приходят новые поэты, стареют, становятся историей. Пушкин же всегда молод, он на устах каждого ребенка, присутствует за семейным столом, в письмах влюбленных. В Москве у своих друзей я с удивлением и восхищением вижу, как любое новое слово о Пушкине, статья, публикация переходят из рук в руки, обсуждаются по телефону, становятся предметом беседы так живо, будто лишь вчера графиня Воронцова крадучись спешила на тайное свидание с влюбленным поэтом или только сегодня утром Дантес выпустил свою роковую пулю. Может, именно поэтому юбилейные даты Пушкина и не носят той академической торжественности, какой окрашены иные литературные годовщины, призванные всего лишь еще раз напомнить об авторе. Пушкин не нуждается в напоминаниях, потому что он никогда не забывается...

После Ленинакана наш автобус двинулся к тому перевалу по дороге на Тифлис, где когда-то Пушкин встретил телегу с телом Грибоедова. Сейчас перевал остался наверху, под ним прорыли тоннель, и нет нужды больше подниматься над пропастью по крутым извилинам, а потом спускаться в Степанаван. Тоннель сократил не только дорогу, но и возможность аварий.

У этого тоннеля в ущелье тоже собрался народ, там в память о трагической встрече поэтов открыт мемориальный камень — плита из черного мрамора. Хозяева и гости произносили речи, читали стихи Пушкина, дети из соседних сел пели, звучали зурна и дудук. А сверху, усевшись в ряд на краю обрыва, крестьяне-лорийцы в папах, чабаны, спустившиеся с Алпинских вершин, внимали пророческим словам поэта.

Пушкинские дни в Ереване закончились торжественным вечером в оперном театре, потом банкетом в ресторане «Ани».

— Я не знал, что в Армении такие каменные горы, такие бесплодные, пустынные земли, — изумляется кабардинский поэт Максим Геттуев, вспоминая наш путь от Аштарака до Ленинакана.

— Вот, Сильва Барунаковна, наш подарок Армении к юбилею Пушкина. — И сидящий напротив латвийский поэт Имант Аузинь протягивает только что изданный в Риге сборник произведений армянских поэтов на латышском.

Меня провожает домой украинский поэт Иван Драч. Невысокий молчаливый Драч, по-видимому, лишь в тишине малолюдья может разговориться:

— Прочел Нарекаци в русском переводе и во что бы то ни стало решил повидать Армению. И вот я сегодня здесь... Как это хорошо, что Пушкин стал посредником между нами... Удивительная страна у вас, какой-то концентрат земли,

камня и духа. Нужно время, чтобы понять ее. Я непременно снова приеду сюда, поживу подольше...

Возвращаюсь домой после двухдневной поездки, и во мне — новый заряд бодрости не только от как бы заново увиденной родной стороны и ее людей, но и от общения с друзьями, такими разными, казалось бы, бог знает из каких мест, но ставших частицей и моей жизни.

На протяжении веков человечество складывалось из пестрой мозаики больших и малых наций и рас. На протяжении веков в этих нациях и расах утверждались отношения покорителя и покоренного, угнетателя и угнетенного, в лучшем случае спасителя и спасенного. Это все вызвало в душах людей, с одной стороны, национальный эгоизм, надменность, порочное чувство расового превосходства, с другой — рабство, страх, затаенную злобу угнетенного. Так было веками, и «великие мира сего» в великих книгах, полотнах, скульптурах, памятниках и симфониях пытались уравновесить полярность, умерить эти столкновения в человеческой душе, вселяя в нее чувства любви, понимания, братства.

И сейчас за рубежом много таких людей, которые стремятся поставить культуру, литературу и искусство на службу духовному сближению людей, стиранию преград между нациями и расами. Но с кардинальным решением этих проблем мы все-таки, несмотря на все сложности, порой нелегко преодолимые, встречаемся у себя дома. Все эти наши декады, конференции, симпозиумы, встречи, огромный размах переводов и изданий — все это стало привычным, обиходным, введено в государственное русло. Это моральная позиция страны, ритм ее новой духовной жизни.

Если каждый из нас попробует нарисовать карту своих дружб, то увидит, как невольно день ото дня на ней обозначаются все новые места, появляются все новые краски и рельефы, новые люди, новые языки. Это не только география, не простое прибавление людей. Это оказывает прямое воздействие на наш душевный мир, расширяет его меридианы, накладывает на него свои цвета, незаметно отликает новый духовный сплав. Я это особенно чувствую, когда и дома и за границей встречаюсь со своими зарубежными сокровниками, с людьми искусства.

Разговариваем обо всем — вновь переживаем прошлые беды нашего народа, невзгоды спюрка, радость возрождения Армении. Но наступает момент — и я чувствую, как между нами образуется какой-то водораздел. Мои сородичи остаются на берегах Арака, у подножья Арарата, у стен Эчмиадзина. А у меня в душе, кроме этого, еще другие, им непонятные, ими не воспринимаемые краски и оттенки. В моей душе живет Москва с ее исполинским дыханием и в то же время такая домашняя, привычная. Живет мой друг поэт Мария Петровых, которая для меня не только переводчик моих стихов, но и мерило честности, человечности; я радуюсь новой книге Кайсына Кулиева, его чудесным стихам об Армении, в которую он влюблен, как юноша; меня живо интересуют сроки окончания строительства преобразующей таджикскую землю Нурекской ГЭС, где я недавно была; я рада, что белорусские зодчие сумели создать такой поразительный памятник народной трагедии, как Хатынский мемориал; словом, кроме того, что я частица Армении, я — частица нашего могучего сообщества.

Становится ли меньше от этого во мне «армянская доля»? Расчленяется моя душа или раздваивается? Нет, она становится еще более целостной. В то время как в спюрке констатация факта, что тот или иной человек «не скрывает, что он армянин», вменяется ему в заслугу, для советских армян наша национальная гордость — естественное состояние. С детства воспитываясь в атмосфере общения с другими нациями и культурами, душа приучается воспринимать и другие культуры как родственные. И это создает такую крепость души, такую стойкость, которой не грозит напор нахлынувшей стихии более мощной культуры, ничто не может оторвать эту душу от своих берегов. А именно такое как раз зачастую происходит в спюрке. Стремясь сохранить свое «армянство», родители стараются изолировать детей, оградить их от мира, где они живут, и когда эти дети в конце концов выходят из норы на свет, он слепит их непривыкшие глаза. Не от этого

ли там такие крайности: либо скерлупа национальной ограниченности, либо полнейший отрыв от корней, забвение того, что, кроме Пикассо, есть средневековая армянская миниатюра, кроме небоскребов — храм Рипсимэ?

Все эти мысли одолевали меня после новой встречи с друзьями в пушкинские дни. Когда я писала о Гарлеме, то привела распространенный термин «эмоциональный расизм», а сейчас мне хочется сказать об «эмоциональном интернационализме». Правда, формулировка не очень научная, но окраска, думаю, точная.

Так рушатся ограды, разделяющие людей, и создается эмоциональная общность сердец. Создается... Еще долгий путь должен пройти человек, чтобы окончательно победить в себе века и полностью принадлежать новому веку.

27 июня. Ереван

Старое ущелье, все изрезанное, изборожденное... Утром от края утеса отвалился громадный кусок скалы, сорвался и грохнулся на дорогу. Моя бабушка то ли пешком, то ли на тележке добиралась сюда помолиться и поставить свечу, чтобы отогнать беды. Когда я попала сюда впервые — не помню, только помню, что дорога была каменной и голой. И сама дорога и все вокруг было цвета глины, и называлось это место Гарни-Гегард. И, как на киноэкране, когда едва заметная вдали точка постепенно приближается, приближается и, увеличиваясь с каждой следующей секундой, становится наконец зданием с колоннадой и встает перед тобой, так и Гарни и Гегард, начинаясь где-то в глубине прожитых мною лет, шли и шли вместе со мною и чем дальше, тем больше наполнялись мыслями, чувствами, воспоминаниями.

Гарни и Гегард. Два храма, совсем близко друг от друга. Гарни — еще языческий, двухтысячелетний, весь в желтовато-дымчатой пыли развалин. Из них мачтами тонущего корабля тянутся ввысь полуразрушенные колонны, словно взывая о спасении. Гегард — христианский, лет на тысячу помоложе, высеченный в ущелье в скале, в жестком обожженном ее склоне, уходящий все вглубь и вглубь, но как будто все выше и выше вздымающийся к небу.

Сегодня, как, впрочем, и всегда, у храма Гегард многолюдно. На просторной площадке, на подступах к ней — автобусы, разномастные легковые машины. Люди приходят, приезжают изо всех уголков Армении, со всех концов страны, со всего света — приезжают причаститься к таинству Гегарда, к его древнему дыханию. И само ущелье с его каменными, стремящимися ввысь склонами тоже словно рукотворный храм, и невольно, еще не войдя внутрь, ты охвачен молчанием благоговения.

Гегард — скальные врата в Армению, в душу Армении. Построен он в XIII веке, хотя слово «построен» тут явно не подходит. Здесь не рыли фундамент, не воздвигали колонн, не закладывали стен и не «брали их под крышу». Все высечено из одного камня, вернее, в одном камне, а еще точнее, на одном дыхании. Иначе невозможно представить, как люди в те незапамятные времена пробили, высекали сбоку в горе отверстие величиной с окошко и стали вгрызаться вглубь и вглубь, стали расширять его и руками в течение многих лет превратили в конце концов скалу в огромный монастырь, вернее в несколько монастырей, с высокими круглыми сводами, стройно-гладкими колоннами, с нишами и ризницами, с венчающей все филигранной резьбой на карнизах и капителях.

Стоим под этими величавыми сводами и молчим. Но кажется, у молчания здесь есть эхо, исполненное звуков, шепота.

У подножия закопченных хачкаров — резных каменных крестов — дрожащие желтоватые язычки горящих свечей.

Я приехала сюда сегодня с молодым поэтом Кариком Пасмачяном. Карик с Ближнего Востока, учился в Ереване, окончил филологический факультет нашего университета, а сейчас живет в Париже. Мы выходим из ворот Гегарда, чтобы ехать дальше, в Гарни, и вдруг откуда ни возьмись перед нами возникает деревенского вида человек, предлагающий пакетики американской жвачки.

— Удивительный мы народ.— в сердцах говорю я,— так просто соединяем жвачку и ладан...

— Ладана все-таки больше,— задумчиво говорит Карик и, отойдя на несколько шагов, уже у машины продолжает: — Недавно был в Нью-Йорке. Ездил гостить к брату, но еле вынес эти несколько недель. А впрочем, я благодарен этому городу, он помог мне еще больше полюбить Париж. Первые два-три года после Еревана я ведь места себе не находил. Когда сейчас снова приехал сюда, показалось, что никуда и не отлучался. Опять студент, опять живу в общежитии в Зейтуне. Знаете, что меня особенно радует? Встречаю знакомых ребят, девушек, здороваются и, между прочим, спрашивают: «Слушай, где это ты пропал? Почему это тебя не было видно?» Удивительно, когда я учился здесь, никак не предполагал, что настанет день — и буду радоваться тому, что я частичка этой вот обычной уличной толпы, всех этих куда-то спешащих, простых, даже грубоватых людей. Нет, не предполагал...

По узким улочкам села Гарни, затененным рязросшимся старым орешником, приближаемся к полуразрушенным воротам. Я подхожу к фанерке, воткнутой в землю слева, уже внутри крепости: «Работы по восстановлению храма Гарни производятся специальной научно-производственной мастерской по реставрации памятников при Госстрое АрмССР». За последние годы я много раз проходила мимо этой таблички, но даже не читала ее. Лишь теперь сообразила, что потускневшая фанерка с на скорую руку, простыми белилами написанными словами, наверно, должна храниться в местном музее. По сути, она возвещала о событии века, о том, что армянская земля, которая тысячелетиями привыкла к тому, что ее разрушали, к тому, что все воздвигнутое рушится, а порушенное сравнивается с землей, стала свидетелем иного, до неверия собственным глазам необычайного явления. Античный языческий храм, который во всех книгах по истории искусства, во всех альбомах и справочниках был изображен в своем, казалось, присущем ему от века полуразрушенном виде, вдруг является миру первозданным, по-юношески стройным, сияющим.

В первую минуту кажется, что здесь что-то не так. В моем воображении первоначальный образ храма был грандиознее и мощнее. Казалось, что в те давние времена колонны упирались прямо в небо. Казалось, что храм всей своей каменной громадой царил над окрестными ущельями и горами, подчиняя их своей языческой стихии.

Сейчас же удивительно маленьким, почти уместающимся на ладони выглядит это воссозданное сооружение и удивительно живым, зовущим, приветливым. И ущелья и скалы вокруг тоже посветлели, смягчились, будто вместе с ним помолодели на две тысячи лет, вернулись к своей юности. Ведь на склонах этих же самых ущелий и скал резвилась детская тень тогдашнего новорожденного храма, лишь они видели его изначальный облик.

Минуты, действительно исполненные величия. Я вхожу в те же двери, куда двадцать веков назад входили наши длиннородые прапраотцы, где всевластные жрецы зажигали огни на алтаре, поклоняясь богине любви и плодородия.

— Видел бы это Варужан¹, — тихо говорит Карик, — какие песни написал бы.

— Ничего, напишет мой друг Ваагн Давтян, он у нас тоже язычник, — посмеиваюсь я.

И все же в эти минуты я не в прошедших веках. Я гляжу на карнизы и потолок, ищу знакомые мне камни. Вот капитель в греческом стиле, а вот камень с орнаментом — гроздь винограда, а это куски карниза с высеченными на нем гранатами. Я знала место, где эти обломки всегда лежали. Все годы моего детства, юности, зрелости они были на земле и вот теперь вознеслись наверх.

Я знала также одного паренька, который жил в низеньком покосившемся домике на окраине Еревана. Вместе с родителями приехал он сюда из Лори, из села Вардаблур. Был, как и мы, студентом, окончил институт, стал архитекто-

¹ Западноармянский поэт, автор книги «Языческие песни» (1912).

ром. У него были большие карие глаза, волнистые волосы. Девушки засматривались на него, а он не поднимал головы, не замечал их. Глаза его прикованы были к страницам книг Стрижковского и Тораманяна, к репродукциям базилики Касаха и полуразрушенного храма Гарни. Не с тех ли дней возникла в нем дерзкая мечта поднять валявшиеся на земле капители и снова водрузить на колонны?

Он подходит к нам в рабочем комбинезоне, весь в пыли от обтесываемых камней, с уже совсем седыми, но по-прежнему густыми волнистыми волосами. Друг нашей трудной молодости, выросший с нами, застенчивый и немногословный Алекси, Александр Саинян, руководитель восстановительных работ в храме Гарни. Вот уже сколько лет он живет здесь, неподалеку от своего «объекта». С рассвета он на строительной площадке вместе с надежными друзьями — мастерами-каменотесами Саргисом, Цолаком, Багдасаром.

Идея восстановления Гарни возникла еще сто лет назад, в 80-е годы прошлого столетия. Известный археолог граф Алексей Уваров, председатель Кавказского археологического общества, предложил перевезти обломки храма в Тбилиси и восстановить его возле дворца царского наместника. Затем в последующие годы было разработано несколько проектов реставрации, но подлинную реальность эта идея обрела лишь в 1966 году, когда правительство Армении государственной гербовой печатью скрепило и утвердило последний проект и выделило для работ необходимые средства.

Академик Бабкен Аракелян возглавил раскопки в Гарни. Археологи и мастера-каменщики два года отыскивали в ущелье поблизости от храма рухнувшие туда после землетрясения обломки стен и колонн, чтобы потом, подняв их наверх, восемь лет подряд тщательно, со скрупулезностью ювелира соединять с новыми кусками базальта, добытого в том же ущелье, из того же двухтысячелетнего карьера. Искали и собирали остатки древних камней и пионеры села Гарни, обшарившие буквально все окрестности.

Удивительный покой в лице Саиняна, во всем его облике. Покой землепашца, который, невзирая на все тревоги мира, бушующие вокруг, упорно пашет и засеивает свою землю, и упорство это не только его личное, оно в нем от этой земли, от этих гор и ущелий, от народа.

В то время, когда скопившихся в арсеналах мира бомб хватает на то, чтобы вдребезги разрушить земной шар, превратить его в дым и пепел, когда достаточно одного нажатия кнопки, чтобы укрытые в засаде бомбы выскочили из своих тайников, — маленький, выстрадавший свою нынешнюю жизнь народ поднимает из руин, вызывает почти из небытия свои храмы и продолжает свой путь в века. Сколько еще тысячелетий собирается жить этот народ, земля этого языческого Гарни, этого чуда человеческих рук — Гегарда, земля космической обсерватории «Орион»?

Словно по какому-то велению свыше все это находится рядом, на одном пятачке, на каменной кромке ущелья над рекой Азат. И мне чудится, что астрофизик Григор Гурзадян, пятидесятилетний человек, голубоглазый, с взъерошенными огненными волосами и порывистыми движениями, нетерпеливо принимает из рук Александра Саиняна факел, передающуюся из века в век эстафету, эту современную Лампаду Просветителя, Лампаду легендарного Лусаворича, и уносит в свои владения.

Мы во владениях Гурзадяна. Здесь неподалеку его лаборатория.

— Взгляните, взгляните, какая красотища, какая игра красок на этой горе, — говорит хозяин, — будто она только затем и явилась на свет, чтобы позировать художнику. Наверное, раз сто я ее писал.

И хотя наш с Кариком собеседник не профессиональный художник, а исследователь космоса, живописи он отдает много времени и на всех его полотнах — Армения и ее горы.

— На этом камне над обрывом, где вы сидите, — улыбается Гурзадян, — сидела Терешкова. Сюда приезжали наши космонавты.

Я оглядываюсь по сторонам: эта краснокаменная, вся в извечной виноградной лозе гора, эта кувыркаяющаяся вниз речушка, болтающая на гарнийском диалекте, эти ржаво-пергаментные холмы, где, подобно полустершейся строке летописца, еще прочерчивается старая-престарая стежка, ведущая из древней столицы Арташата в Гарни, — и космонавты!

— Значит, они бывали здесь, в Армении?— спрашиваю я.

— Да, почти все. Перед полетом приезжают, чтобы свыкнуться с повадками нашего «Ориона». В семьдесят первом году тут был Волков. Он впервые должен был взять в космос «Орион-1». Прощаясь, сказал: «Григор Арамович, до чего же здорово у вас. После полета приеду сюда работать, примете?» Я был потом на полигоне в Казахстане. Снизу, из Центра, мы прямо не дыша следили за полетом. После официальных сообщений Волков оттуда, с космического корабля, обещал: «Первый полет «Ориона» отметим армянским коньяком. Готовьте свои звездочки, а мы прихватим вам небесные. Звездочка за звездочку! Словом, Григор, за ваше здоровье!» А спустя минуту крикнул: «Ребята, какая там погода?» Был сильный дождь с ветром, так ударял в стекла, что, казалось, они сейчас разлетятся. «Льет как из ведра», — пожаловались мы. «Эх, — застонал из космической пустоты Волков, — как бы мне хотелось сейчас под дождем!» Через несколько дней его не стало. С того дня всегда, когда идет дождь, здесь, в Ереване, или в Москве, где бы я ни был, хоть минуту да постою под дождем.

— А «Орион»?

— Все приборы «Ориона» отлично работали, все записанные ленты в целости и сохранности вернулись на землю... На полигоне, — помолчав, продолжает он, — я целыми днями не говорю по-армянски, да, впрочем, и по-русски разговаривать некогда. Но тогда, когда из огня и грохота вдруг вырвался корабль, я, сам не знаю почему, крикнул по-армянски: «Аствац им!» («Боже мой!»).

С таким жаром произносит он это «по-армянски», что я невольно вырываю эти два слова из общего потока и думаю: вот ведь человек! Все время общается с бездонностью Вселенной — и так привязан к этой горсти родной земли, к ее горам, ущельям, к ее языку!

Мать Григора из села Манджелех в Себастии, Западная Армения. В 1915 году она с толпой таких же изгнанников дошла до сирийской пустыни, до Тер-Зора. Тот же стон «аствац им!» стоял в воздухе. Позже, в Багдаде, курдская семья удочерила осиротевшую девочку. Там она потом встретила Арама, единственного оставшегося в живых юношу из села Деврик. В Багдаде же родился Григор. В 1924 году до Багдада дошли хорошие вести об Армении, и шесть семей решили во что бы то ни стало уйти туда. Шли всю дальнюю дорогу пешком и добрались до Еревана. Саргис, теперь известный архитектор, появился на свет уже здесь, в Ереване. Отец Григора и Саргиса был бетонщиком. В стенах Ереванского политехнического института есть и замешанный им цементный раствор. «Ах, Мариам, только одного я хочу, — говорил он, придя с работы, — увидеть своих сынов среди студентов этого института». Жаль, не пришлось ему порадоваться славе своих сыновей.

Все это рассказывает нам с Кариком мать Григора, еще бодрая, с ясными глазами, и я словно вижу корни этой семьи, которые тянутся то назад по дорогам беженства к Багдаду и Тер-Зору, то проникают вглубь, в толщу времени, и доходят до Гарни-Гегарда, то, подобно лозе винограда, закручиваются, карабкаются по горным террасам вверх, обвиваясь вокруг каждого камня, цепляясь за каждый кустик. Эти корни — и в Григоре, и сила этих корней тянет его сюда из бездонности Вселенной, питает его и снова устремляет высь.

Карик Пасмаян молчит. В эти минуты он совсем по-иному приобретает к Армении, ее истокам, которые уже не только прошлое, но и прорыв в будущее.

Да, изменился классический облик нашей родины. И теперь человек, приехавший сюда, вместе с островерхими куполами Эчмиадзина и Рипсимэ уносит с собой и строгие контуры Бюраканской обсерватории с ее самым большим в Европе телескопом, и непривычный силуэт армянской атомной станции. После спуска в скальный храм Гегард он опускается в подземные залы кольцевого

ускорителя, после Матенадарана идет в лаборатории электронных счетных машин. И теперь для него Армения — не только воспетый в старинных напевах тоскующий в небе журавль-крук, но и космическая обсерватория «Орион», несущая вести из неведомых пространств мироздания.

Входим в столовую. Не дожидаясь обеда, Григор берет с блюда кусок хрустящего лаваша.

— До чего же вкусная вещь лаваш! Когда еду на полигон, мать уже знает, кладет мне в сумку четыре лепешки. Хватает на всю неделю, сбрызгиваю водой и ем.

Могли ли представить наши предки, что традиционный армянский хлеб лаваш, тонкий, похожий на лист древнего пергамента, придуманный ими для долгой глухой средневековой зимы, для осажденных врагами сел и крепостей, для длинной дороги скитальца в дальние края в поисках заработка, — что вот этот хлеб, хрупкий, но выносливый, как и руки, что пекли его, когда-нибудь пригодится их далекому правнуку, отправляющемуся в командировку по делам космоса...

Наша машина несется вниз по извилистой дороге. Мелькают новые добротные крестьянские дома, прозрачная зелень молодых саженцев. Возвращаемся в Ереван в сумерках. Кажется, будто возвращаемся не из окрестностей его, а из самых разных времен и мест. Из первого века, из тринадцатого, двадцатого, двадцать первого. Из монастыря, вонзившегося в скалу, с горных вершин, беседующих с небом, из далей Вселенной, из Тер-Зора, Багдада, Вана — из перепутья мыслей и чувств, из концов и начал...

И вдруг он — Арарат. Белый, сверкающий. Словно только что выпростал свои вершины из отбушевавших здесь библейских вод.

Смотрим долго, в безмолвии, и, кажется, никогда еще наша душа не общалась так к его вечности, к его неустанному бдению над этой беспокойной землей.

Авторизованный перевод с армянского Т. СМОЛЯНСКОЙ.



ПУБЛИЦИСТИКА

АНАТОЛИЙ ИВАНСКИЙ



ТРИ ДНЯ В АПРЕЛЕ

ПОЕЗД ИДЕТ В ПЕТРОГРАД

Втром 2(15) апреля 1917 года Ленин с группой большевиков прибыл в Хапаранду — шведский рыбацкий городок на границе с Финляндией. Позади остались долгие годы эмиграции, взбудоражившая весть о Февральской революции, нетерпеливые попытки найти способ скорее перебраться на родину, нервное напряжение во время проезда через Германию...

Впереди была революционная Россия!

Как встретит Временное правительство вождя пролетариата?

Швейцарский социалист-интернационалист Фриц Платтен, сопровождавший Ленина в поездке, рассказывает, что общение с ним в дороге дало возможность глубже заглянуть в его политическую психологию. По словам Платтена, Ленин учитывал то, что всех проехавших через Германию революционеров (32 человека) легко могут арестовать, как только они ступят на русскую землю, и что их, возможно, предадут суду. Он рисовал картину того, что произойдет в этом случае, намечал, каков, по его мнению, будет ход событий.

Возвращение Ленина в Россию вызвало замешательство в стане буржуазии. И отечественной и зарубежной.

Документы, обнаруженные в дипломатических архивах, подтверждают это.

— Вчера приехал и здесь остановился Ленин, — доносил 1 апреля из Стокгольма в министерство иностранных дел русский посланник Неклюдов.

С нескрываемой тревогой сообщает он своему начальству, что Ленин выступает за скорейшее прекращение войны и мирные переговоры. Об этом твердят все, с кем Неклюдов встречается. «...Ленин обладает большим красноречием и замечательной ораторской способностью, почему они боятся его влияния на союз рабочих и солдатских депутатов в пораженческом смысле».

Заволновались послы Франции и Англии в Петрограде.

Французский посол Морис Палеолог заносит в свой дневник известие о приезде «апостола интернационального марксизма». В связи с этим он направляет специальный меморандум в русское министерство иностранных дел.

Английский посол Джордж Бьюкенен также посылает меморандум, в котором сообщает Временному правительству, что Владимир Ильич «оставил Стокгольм в последнюю пятницу вечером, направляясь в Петроград с целью принять самую энергичную пропаганду мира».

— Ленин — хороший организатор и крайне опасный человек, — предупреждает Бьюкенен, — и весьма возможно, что он будет иметь многочисленных последователей в Петрограде.

Как бороться с таким серьезным противником?

Иудин совет дает шведский правый социал-демократ барон Эрик Пальмшерне. Узнав, что Ленин направляется в Россию, он связывается по телефону с лидером своей партии Брантингом и, не стесняясь в выражениях, уговаривает его:

— Ты же знаешь Керенского. Скажи ему, что Ленин прибывает следующим поездом и должен быть застрелен или посажен в тюрьму при переезде границы. Телеграфируй ему.

Когда Брантинг возражает Пальмшерне, заявляя, что «так не делают», тот не может сдержать своего раздражения.

— Ты устаревший либерал восьмидесятых годов,— в сердцах говорит он Брантингу,— а сейчас нужны люди, которые могут действовать.

В 1958 году в Стокгольме издаются мемуары Эрика Пальмшерны, в которых шведский социал-демократ без тени смущения поведал миру, как он в апреле 1917 года хотел «спасти» Россию от Ленина.

— Подумайте,— восклицает он,— если бы Брантинг последовал моему совету!

2 апреля, послав письма Карпинскому в Женеву и Ганецкому в Стокгольм, выполнив некоторые формальности в русском консульстве, Ленин завершил свои заграничные дела и был готов продолжать путь.

Для того чтобы пересечь границу, надо было преодолеть два рукава реки Торнео, в это время еще скованные льдом. А за ними находился финский городок Торнео, и на здании вокзала виднелся красный флаг.

Флаг революции! Сердца Ленина и его товарищей радостно забились... «Мы молчали от волнения, устремив на него глаза,— вспоминает ехавшая вместе с Владимиром Ильичем Е. Ф. Усиевич, дочь польского революционера Феликса Нона.— Конечно, впереди еще борьба, еще много жертв, много всего, но все же вот оно, развевается красное знамя, сзывая борцов. Россия, с которой мы столько времени разлучены, Россия, куда так мучительно рвались...»

Елена Феликсовна рассказывает, что к крыльечку подъехало десятка полтора саней с впряженными в них маленькими мохнатыми лошадками. Стали попарно рассаживаться. Усиевич достала из чемодана красный платочек, привязала к альпийской палке и подняла его как знамя. «В это время сани Владимира Ильича объезжали наши, чтобы стать впереди процессии. Владимир Ильич не глядя протянул руку, я вложила в нее свой флаг. Все сани сразу тронулись. Владимир Ильич высоко поднял над головой красный флаг, и через несколько минут со звоном бубенчиков, с поднятым над головой Ленина маленьким флажком мы въехали в Торнео».

Недавно стали известны воспоминания ветерана финского рабочего движения Каарло Брусилы. В них говорится, что о прибытии Ленина в Торнео знали заранее и народ собрался на вокзал, чтобы встретить и горячо приветствовать «этого замечательного революционера».

По-иному отнеслись к приезду Ленина пограничные чины.

Существовал официальный порядок пропуска в Россию политических эмигрантов, согласно которому достаточно было устно назвать коменданту станции свое имя, фамилию и принадлежность к политической эмиграции, чтобы тот, «не входя в проверку этих данных», предоставил прибывшим «места в первом же курьерском поезде».

В прямое нарушение этого порядка Ленину и его товарищам предложили заполнить специальный «Опросный лист». В нем, кроме имени, отчества, фамилии, возраста, национальности и вероисповедания, надо было подробно сообщить, откуда он едет, с какой целью ездил за границу, указать город, адрес и причины предполагаемых остановок в Финляндии, назвать точный адрес в городе, в котором собирается жить, свою профессию, род занятий.

После заполнения «Опросного листа» начались процедуры иного рода. «Наше неожиданно быстрое появление у порога революции, на границе Фин-

ляндии, — рассказывает спутник Ленина М. Г. Цхакая, — обеспокоило агентов Антанты. Не скрывая своей злобы, но не решаясь задержать нас, английские жандармы отвели душу на том, что подвергли нас унижительному обыску в отдельных комнатах».

Ильич, по словам того же мемуариста, сохранял полное спокойствие. Заметив разочарование жандармов, когда они, ничего не обнаружив, вынуждены были нас отпустить, Ильич весело расхохотался. Обняв Михаила Григорьевича, он проговорил:

— Наши испытания, товарищ Миха, окончились... мы им покажем, — тут он погрозил кулаком, — что мы достойные хозяева будущего.

Придя на вокзал, Владимир Ильич отправил сестрам в Петроград телеграмму: «Приезжаем понедельник, ночью, 11. Сообщите «Правде». У л ь я н о в».

У перрона стоял скорый поезд. Все вышли на платформу. Здесь собрались солдаты, рабочие. По свидетельству Каарло Брусилы, Ленин приветствовал их краткой речью:

— Революция произошла, но революция эта — буржуазная. Сейчас нужно пролетариату взять власть в свои руки.

Это было первое общение вождя с восставшим народом.

Поезд трогается, постепенно набирает скорость. «Когда мы уже сидели в поезде, мчавшем нас к революционному Петрограду, — рассказывает Д. С. Сулиашвили, — Ленин все время улыбался от счастья. Он не мог сдержать свою радость, глаза его блестели...»

Но деятельной натуре Владимира Ильича чуждо состояние безмятежности. Десять лет спустя, 16 апреля 1927 года, «Правда» опубликовала статью «В Россию с Ильичем», автор которой Миха Цхакая вспоминал: «Мы попали в вагон, сплошь переполненный военными... Ильич немедленно принялся за свое дело: заставил открыть двери вагонов и устроил грандиозный оригинальный митинг во время движения поезда».

Выступал Ленин. За ним Цхакая. Они объясняли, кто такие политически: эмигранты, за что борются большевики. Затем стали выступать солдаты — они говорили о наболевшем...

По свидетельству другого спутника Ильича, А. Е. Абрамовича-Четуева, по пути в Петроград Ленин переходил из вагона в вагон. Вокруг него образовывались кружки слушателей. Один из матросов, чигавший большевистскую газету «Волна», по напечатанному в ней портрету Владимира Ильича узнал в собеседнике Ленина. Разговоры значительно оживились. Ильич отвечал на все вопросы, говорил о том, как покончить с войной, как крестьянам получить землю.

Н. К. Крупская вспоминает: «Речь Ильича не походила на обычную речь пропагандиста или агитатора. Он говорил о том, что его самого так волновало, о необходимости дальнейшей борьбы, борьбы за мир, борьбы против грабительской войны. Ему возражал побледневший поручик-оборонец. Солдаты напряженно слушали, придвигались, влезали на полки, чтобы лучше уловить каждое слово того, кто так просто, понятно говорил с ними, волновался тем, чем они волновались».

Историку Ю. А. Ахапкину удалось недавно не только установить фамилию «побледневшего поручика», о котором упоминает Надежда Константиновна, но и обнаружить его письмо к Ленину, написанное в октябре 1918 года. Оказывается, оппонентом Ильича был комендант поезда поручик А. С. Савицкий, сын помещика Петроградской губернии. «Мы с Вами, — пишет Владимиру Ильичу Савицкий, — вели разговор относительно коммун и помещиков... и Вы еще шутя предлагали совместно организовать коммуну». Впоследствии Савицкий работал в советских учреждениях, служил начальником округа пограничной охраны.

Владимир Ильич, конечно, не мог запомнить своего собеседника — слишком их было много в переполненном поезде. Но ему отчетливо врезались в память общий смысл бесед и споров, настроения массы. В одной из своих речей уже в советское время Ленин вспоминал: «Когда мы вернулись в Россию и по-

говорили с крестьянами и рабочими, мы увидели, что они все стоят за защиту отечества, но, конечно, совсем в другом смысле, чем меньшевики, и мы не могли этих простых рабочих и крестьян называть негодьями и предателями. Мы охарактеризовали это как «добросовестное оборончество»...»

Предстояла большая разъяснительная работа, и Владимир Ильич, только переступив границу, целиком отдался ей...

Поезд с вождем революции шел к Петрограду.

Вечером 2 апреля остановка в Улеборге. Утром 3 апреля прибыли на станцию Тампере. «На каждой станции — рассказывает Е. Ф. Усиевич, — рабочие демонстрации. На каждой станции Владимира Ильича рабочие прямо из вагона с триумфом несли на руках к какой-нибудь импровизированной трибуне. Митинг продолжался и в вагоне, где народ часами толпился около каждого из нас».

В середине дня получасовая остановка на узловой станции Риихимяки. Здесь Ленину и его спутникам предстояло пересечь в другой поезд.

На станцию Риихимяки встречать Ленина приехали представители Гельсингфорского комитета РСДРП(б), большая делегация матросов, солдат и рабочих свеаборгского порта. Над толпой встречающих плакаты, флаги.

Матрос Николай Ховрин протолкался вперед, к самому поезду. Ленин стоял на ступеньках. Сияющий от радости Борис Жемчужин, один из руководителей Свеаборгской организации большевиков, начал приветственную речь. Он очень волновался и поэтому говорил торопливо, иногда сбиваясь. Ленин слушал внимательно, чуть-чуть наклонив голову в сторону, глаза его поблескивали, как показалось Ховрину, задорно и даже лукаво. Еще поразило матроса, что Владимир Ильич выглядит так просто, обыденно. «Когда он заговорил, — продолжает Ховрин, — я обратил внимание на его характерное, слегка картавое произношение. Но не прошло и минуты, как меня увлекло другое — смысл того, о чем повел речь Ленин, его логика, четкие и ясные формулировки. Он очень доступно объяснял то, что нам трудно было уловить, к чему до сих пор шли ощупью».

Следующая остановка — станция Лахти. Вагон третьего класса, в котором ехал Ильич, был набит людьми до отказа. Сюда стремились попасть пассажиры со всего поезда. Пробрался в этот вагон, правда с большим трудом, и севший в Лахти скромный помощник лекаря В. И. Таллерчик. Он запомнил, что разговор с Лениным велся о тяжелом положении солдат и рабочих, о виновниках войны. Запомнилось ему и то, как Владимир Ильич прислушивался к, казалось бы, самым простым и однообразным вестям с фронта. Он говорил, что во всем виноваты помещики, капиталисты, что Временное правительство все только обещает, а на деле обманывает народ, страну довели до полной разрухи. Поэтому солдату надо крепко держать винтовку в руках. Будут большие стычки. Они принесут победу трудящимся.

Таллерчик невольно кивнул головой. Но один из солдат, указывая на него, сказал с усмешкой:

— Да он и винтовки в руках держать не умеет. Он ведь помлек.

Ленин, прищурив глаза, улынулся. Потом пристально посмотрел на Таллерчика, положил руку ему на плечо и произнес:

— Это прекрасное! Нам нужно будет много, очень много врачей. Пролетарии крайне нуждаются в медицине, она будет бесплатной.

На одной из станций в поезд сел едущий по делам в Военку (так называли тогда Военную организацию при Петербургском комитете партии) старший унтер-офицер 423-го Лужского полка Александр Чернышев, только в марте ставший большевиком. Он тоже почти сразу же оказался рядом с Лениным, и через несколько минут они беседовали как давние знакомые.

Владимира Ильича, по свидетельству Чернышева, интересовало буквально все: как живет армия, чем она дышит, каковы настроения солдат.

3 апреля в 9 часов вечера поезд, в котором ехали Ленин и его спутники, прибыл на станцию Белоостров — первую станцию на русской территории.

Вот теперь это была уже по-настоящему родная земля!

Встречать вождя на станцию Белоостров приехали делегация петроградских рабочих, члены Центрального и Петербургского комитетов РСДРП(б), Военной организации большевиков, редакции газеты «Правда», М. И. Ульянова, А. М. Коллонтай и другие.

Из Сестрорецка специальным поездом приехали около 400 рабочих, среди них были секретарь Сестрорецкой партийной организации В. И. Зоф, а также Н. А. Емельянов, Л. Н. Сталь. «При тусклом свете вокзальных фонарей, — вспоминает сестрорецкий рабочий, член партии с 1905 года А. М. Афанасьев, — я не сразу узнал Владимира Ильича, когда он появился на площадке вагона... Но это был он, наш родной Ильич. Не знаю, что со мной тогда было».

Охваченный восторгом, Афанасьев закричал: «Ленин! Ленин!» Рабочие ринулись к площадке, подхватили Ильича на руки и высоко подняли над головами. Ильич не ожидал такой бурной встречи и взволнованно восклицал:

— Товарищи, тише, что вы, товарищи!

Афанасьев рассказывает, что он и его друзья на руках внесли Ильича в здание вокзала. Рабочие тесным кольцом окружили Ильича, чтобы никто из посторонней публики не смог пробраться к нему.

По словам М. Г. Цхакая, делегации питерских, сестрорецких и других рабочих глядели на Ленина как на своего человека, как на друга, учителя, бойца и вождя.

Кто-то из рабочих, говорит Афанасьев, стал приветствовать Владимира Ильича от имени делегаций. Ильич внимательно слушал. «Потом он произнес небольшую ответную речь. Я уже не помню всего содержания речи, но помню, что он говорил о дальнейшей борьбе, о необходимости кончать империалистическую бойню. Мы все стояли кругом и радовались, как дети. Каждый почувствовал новый прилив сил и энергии. Ведь Ильич, наш Ильич, испытанный, непоколебимый вождь и учитель партии большевиков, снова был с нами!»

Более часа простоял поезд в Белоострове, а всем показалось, что прошло несколько минут.

Некоторые из встречавших сели в поезд вместе с Лениным. Владимир Ильич спросил, арестуют ли вернувшихся эмигрантов по приезде. Встречавшие вместо ответа загадочно улыбались.

А. М. Коллонтай села в купе, в котором ехал Ленин.

«В коридорчике снова толпятся питерские товарищи, хотят поговорить с Ильичем. И он, сбросив пальто и шапку, точно сбросил и усталость, сам ставит вопросы, внимательно слушает рассказы товарищей, только морщит брови, когда Л. Каменев перебивает их своими репликами и вставками.

— Что у вас пишется в «Правде»? — недовольно обращается Ильич к Каменеву. — Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали...»

В вагоне было шумно, вспоминает Л. Н. Сталь, двери всех купе открыты. Ленин, взволнованный, переходит из одного купе в другое.

Вот он остановился в коридорчике, задумался. Эта поза Владимира Ильича хорошо запомнилась возвращавшемуся с ним из эмиграции большевику с 1911 года М. Л. Гоберману: «Владимир Ильич стоял у вагонного окна неподвижно, засунув руки глубоко в карманы, прислонившись лбом к стеклу. И смотрел. Смотрел, как за окном мчалась назад туманная равнина, смотрел на голые, черные и такие до боли, до слез родные леса».

«ДА, ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ!»

Утро 3 апреля. В бывшем дворце фаворитки последнего царя Кшесинской, где разместились руководящие органы партии большевиков, дежурит председатель Военной организации профессиональный революционер Николай Ильич Подвойский.

Резкий звонок. В комнату входит запыхавшаяся, взволнованная Мария Ильинична Ульянова.

— Что случилось?— спрашивает Подвойский.

— Сегодня вечером приезжает брат, Владимир Ильич. Вот телеграмма, только что получила от него из Торнео.

В своих мемуарах Подвойский признается, что ему трудно передать словами охватившую его радость. Приезжает Ленин! Сколько неясных вопросов, выдвинутых за этот бурный месяц огромными массами рабочих и солдат, вопросов, на которые они, петроградские большевики, зачастую не могли найти верный ответ, будет теперь разрешено!

«Но как оповестить рабочих, солдат, матросов о приезде Владимира Ильича? Ведь сегодня пасха. Предприятия не работают, газеты не выходят, а многие солдаты и матросы отпущены на праздник из казарм... Надо использовать живую связь. Дворец Кшесинской охраняют солдаты броневое дивизиона... Среди них наибольшим авторитетом пользуется Георгий Васильевич Елин, председатель большевистской ячейки броневое дивизиона, он же комендант дворца. Срочно вызываю его».

Вскоре появляется богатырского роста, черноглазый, черноусый солдат в молодецки заломленной папаше. Подвойский показывает ему телеграмму, и этот обычно сдержанный человек также не может скрыть своего волнения. «Немедленно, разбудите,— говорит Подвойский Елину,— всех членов большевистской ячейки бронедивизиона и направьте их на квартиры членов Центрального и Петербургского комитетов большевиков с извещением о предстоящем приезде Ленина. Как можно скорее дайте об этом знать в рабочие общежития, на военные корабли, в солдатские казармы». С минуту Подвойский молчит, раздумывая о том, что еще надо сделать для того, чтобы организовать Ленину достойную встречу, потом продолжает: «Давайте выведем к вокзалу боевые машины! Надо показать Владимиру Ильичу, какой боевой силой уже обладает большевистская организация Питера».

Николай Ильич видит, как Елин вздрагивает. Лицо его отражает внутреннее волнение.

«— За вывод боевой машины — военно-полевой суд,— тихо говорит он.

— Надо пойти на это».

Воспоминания Подвойского дополняет другой руководящий работник Военной организации при ЦК РСДРП(б), Петр Васильевич Дашкевич:

«Как только о приезде Ленина стало известно в особняке Кшесинской... Е. Д. Стасова возложила на ПК и на нас, «военщиков», все хлопоты по устройству массовой революционной встречи... Затрещали телефонные звонки, побежали нарочные связисты, добровольцы в пролетарские районы, в клубы, по большевистским ячейкам гвардейских, армейских полков и частей революционного гарнизона».

Получив от Подвойского задание, Г. В. Елин, по его же словам, тотчас из ЦК позвонил по телефону в казарму на Большом проспекте и предложил дежурному по казарме объявить оставшимся солдатам, что возвращается из-за границы вождь большевистской партии Ленин, которого они будут встречать на броневиках, и чтобы все немедленно шли в помещение мастерских. И сам направился туда же.

О том, что сегодня в Петроград приезжает Ленин, рабочий и секретарь парторганизации Металлического завода Василий Петрович Виноградов узнал на районном партийном собрании. Здесь же всесторонне, по-деловому обсудили, как лучше и организованнее его встретить.

Виноградов вспоминает, как, распределив между собой район по участкам, участники собрания группами и поодиночке отправились на предприятия и квартиры рабочих. На его долю как члена Выборгского райкома партии выпало поручение организовать колонну из рабочих Металлического завода. Если и были какие сомнения в успехе выполнения задания, то они быстро рассеялись. Все сложилось как нельзя лучше. «И дело тут было не в моей оперативности и организаторских способностях, а в энтузиазме рабочих... Задолго до назначенного

срока сотни людей заполнили заводской двор и прилегающую к заводу часть Безбороднинского проспекта».

На экстренном заседании Выборгского райкома РСДРП(б) возник вопрос, что район может подарить Владимиру Ильичу. Виноградов сообщает подробности обсуждения этого вопроса. Рабочий завода «Новый Лесснер» внес предложение вручить Ленину партийный билет члена Выборгской организации большевиков. Предложение это было дружно поддержано всеми.

Радостное возбуждение царило на всех заводах Петрограда.

Рабочие завода «Сименс и Шуккерт», по словам работницы этого завода А. Ф. Ассаре, решили собраться пораньше, с тем чтобы первыми быть на вокзале. «Но где там! Со всех улиц, из переулков толпы людей направлялись на Выборгскую сторону. Шли как на праздник, с песнями, с музыкой. Красные полотнища знамен и транспарантов с приветствиями реяли над колоннами».

Путиловец И. Ф. Еремеев вспоминает, что в колонне Путиловского завода были и кадровые рабочие, знавшие Ильича по подпольным марксистским кружкам, и молодые товарищи. Узнав о приезде вождя, все они почувствовали себя увереннее: «Раз Ленин приезжает — буржуазии несдобровать!»

Двухтысячную колонну путиловцев возглавила заводская красногвардейская дружина. На пути к Финляндскому вокзалу к ним присоединились рабочие химического завода, «Треугольника» и тысячи рабочих других заводов и фабрик Петрограда.

Опасения Подвойского, что не удастся своевременно оповестить рабочих, солдат и матросов о приезде Владимира Ильича, оказались напрасными. Он сам удивился, с какой быстротой весть о возвращении Ленина облетела все рабочие районы и солдатские казармы Петрограда. Узнал об этом и Кронштадт.

Наступил вечер. Подвойский вспоминает, что через некоторое время площадь перед Финляндским вокзалом заполнилась до отказа. Те, кому не хватило места, занимают прилегающие улицы. Все радостно взволнованы. Над головами — море красных знамен. На плакатах — приветствия вождю пролетариата, боевые лозунги дня:

- Да здравствует Ленин!
- Да здравствует революция!
- Да здравствует восьмичасовой рабочий день!
- Земля крестьянам!
- Долой войну!

Неожиданно звучат резкие звуки сирены. Народ расступается, и, пронизывая гущу людей лучами фар, на площадь въезжают броневые машины. Их появление встречают громовым «ура». Машины разворачиваются и, как закованные в железо часовые, занимают места у входа в павильон, через который пройдет Ленин. Подходят грузовики с прожекторами. «При свете прожекторов, — говорит Подвойский, — площадь с колоннами народа, вокзал, колышущиеся знамена, сверкающие штывы Красной гвардии и солдат создают незабываемую картину».

До прибытия поезда оставалось еще довольно много времени, а на перроне уже собралась большая группа руководящих работников партии, представителей заводов, воинских частей. Выстроился почетный караул из вооруженных матросов. Томительно тянутся минуты ожидания...

Но вот раздается гудок паровоза, из-за поворота показываются его огни. В 11 часов 10 минут вечера поезд подходит к перрону, останавливается. Матросы берут «на караул», оркестр играет «Марсельезу».

«Наша делегация, — рассказывает Дашкевич, — оказалась у самого вагона, в котором приехали Владимир Ильич, Надежда Константиновна... Машем фуражками, шляпами, руками, кричим «ура!»... И наше приветствие сливается с мощным «ура» десятков тысяч пролетариев на площади».

Из вагона выходит Ленин.

Это мгновение хорошо запечатлелось в памяти многих участников встречи. В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает: «Мгновенно затихли голоса, только слышны были трубы оркестров, и потом вдруг сразу как бы все заколебалось, встрепнулось и грянуло такое мощное, такое потрясающее, такое сердечное «ура!», которого я никогда не слыхивал».

Бонч-Бруевичу вторит петроградский рабочий, токарь-инструментальщик Ф. А. Поленов: «Ни до того, ни после мне не приходилось видеть такого потрясающего народного волнения. Слово ураган, неудержимый восторг охватил массы, когда Ленин вышел из вагона. Многократное тысячеголосое «ура» прокатилось над толпой, вдруг всколыхнувшейся подобно живому океану».

Приветствия, рукопожатия, радостные возгласы... Некоторые видят Ленина впервые. Со многими своими друзьями Владимир Ильич не встречался почти десять лет. Приветливо и радостно поздоровавшись с ними, он, по словам Бонч-Бруевича, двинулся было своей торопливой походкой, но, когда грянуло «ура», приостановился и спросил:

— Что это?

— Это приветствуют вас революционные войска и рабочие.

Бонч-Бруевич шепнул Ленину, что матросы просят сказать им несколько слов. Выслушав рапорт командира почетного караула, Владимир Ильич, обращаясь к воинам, произнес:

— Матросы, товарищи, приветствуя вас, я еще не знаю, верите ли вы всем посулам Временного правительства. Но я твердо знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, когда вам многое обещают, — вас обманывают, как обманывают и весь русский народ... Нам нужно бороться за революцию, бороться до конца, до полной победы пролетариата.

Когда Ленин закончил говорить, к нему подошел Чугурин. В 1911 году он являлся слушателем ленинской партийной школы в Лонжюмо. Там он близко познакомился с Лениным.

— Я товарищ Петр, — сказал он. — Выборгским районным комитетом партии мне поручено вручить вам партийный билет и просить вас быть членом нашей районной партийной организации.

Присутствовавший при этом Виноградов говорит, что Владимир Ильич, принимая партийный билет, сразу же узнал товарища Петра, крепко пожал руку, обнял и расцеловал Чугурину. Потом спросил его:

— Выставленный караул наш?

Чугурин ответил:

— Все вооруженные наши, а за вокзалом и броневик наш.

В бывшем царском павильоне Ленина ожидала делегация Петроградского Совета во главе с его председателем меньшевиком Н. С. Чхеидзе.

Подвойский отмечает, что Чхеидзе рассчитывал склонить Ленина к участию в намечавшемся союзе «левых сил» и в этом плане и построил свою «приветственную речь». Во время этой речи вся фигура Владимира Ильича выражала крайнее нетерпение и раздражение, а когда Чхеидзе заговорил об образовании «демократического блока», Ленин окинул оратора таким презрительным взглядом, что тот, не ожидая уже ничего хорошего, смущенно замолчал.

Нащупав глазами место, где было больше рабочих, солдат и матросов, Владимир Ильич ласково улынулся им, подошел поближе и сказал:

— Завязалась смертельная борьба. Самую гнусную роль в этой схватке пролетариата с буржуазией играют всевозможные социал-предатели... Рабочему классу не по пути с ними! Никакого «единого фронта» с партиями, идущими на поводу у капиталистов!

Чхеидзе не оставалось ничего иного, как торопливо направиться к выходу.

Ленин вышел на крыльцо вокзала. Взору его предстала величественная, незабываемая картина.

Темного весеннего вечера, рассказывает большевик-правдист К. С. Еремеев, разрывал трепещущий свет факелов, и в нем ярко рдели знамена революции.

Вся площадь была тесно запружена вооруженными организациями, батальонами Красной гвардии и воинских частей. Могучие машины броневого дивизиона с реющими на них красными флагами словно символизировали стальную мощь восставшего рабочего класса. Еремеев был вблизи Владимира Ильича и видел, как он приостановился, оглядел разлившееся перед ним людское море.

— Да, это революция! — сказал он.

Н. К. Крупская подтверждает: «В этот момент Ильич почувствовал, что его заветная мечта о социалистической революции близка к воплощению».

Между тем собравшиеся на площади тысячи рабочих и солдат увидели Ленина. Человека, который учил их жизни, борьбе, чей светлый разум, чье великое сердце были отданы им, простым людям. «По площади прокатился гул, — вспоминает П. К. Игнатов, тогда, в 1917-м, работавший на одном из заводов Петрограда, — словно тысячи человеческих грудей одновременно вздохнули радостно и облегченно. И тотчас загремело, загрохотало, перекатываясь из края в край, могучее, многоголосое «ура». Казалось, от этого крика затрепетали тяжелые складки знамен и ярче вспыхнули факелы».

Другой рабочий, токарь Металлического завода Н. Ф. Рябов, так передает свои впечатления: «Как горный обвал, грохотала площадь от восторга. Музыка, возгласы приветствий, пение революционных песен — все слилось в единое волнуемое ликование. Владимир Ильич попал прямо в гущу народа, он радостно улыбался и махал рукой. Куда-либо пройти было невозможно, народ плотным кольцом окружил Ильича».

Звучали возгласы:

— Да здравствует Ленин!

— Просим выступить!

Тут же, со ступенек крыльца, Владимир Ильич произнес несколько ответственных слов — о мире, о хлебе, о земле, о необходимости борьбы за то, чтобы трудящиеся все это получили.

Затем Ленина усадили в автомобиль, но народ, по словам Подвойского, был так взбудоражен, что нечего было и пытаться проехать: все хотели видеть и слышать Ильича. Став на мотор, он произнес короткую речь. Но это не пошло. Шеренги рабочих, солдат, матросов плотным кольцом окружили автомобиль. Подвойский попросил Владимира Ильича перебраться на броневую машину, находившуюся рядом.

В. П. Виноградов замечает: «Это была самая подходящая трибуна для той речи, которую мы услышали минуту спустя. Ничто не могло точнее выразить весь смысл разворачивающихся на наших глазах событий, чем полная энергии, какой-то несокрушимой духовной мощи фигура Ленина на броневике».

Работница Военной организации ПК, член партии с 1905 года М. Л. Сулимова рассказывает, что на броневик был направлен луч прожектора. Он осветил вдохновенное лицо вождя. В левой руке Владимир Ильич держал две красные розы, которые ему кто-то вручил, а правую поднял вверх, призывая к спокойствию. Через некоторое время все стихло. Ленин начал свою историческую речь. Корреспондент «Правды» так передал ее содержание: «...стоя на броневом автомобиле, тов. Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию, сумевших не только Россию освободить от царского деспотизма, но и положивших начало социальной революции в международном масштабе, указав, что пролетариат всего мира с надеждой смотрит на смелые шаги русского пролетариата».

Но эта сжатая информация не исчерпывала содержания ленинской речи. Ее дополняют воспоминания тех, кто имел великое счастье слышать эту речь.

По словам А. Ф. Ассаре, Ленин говорил о том, что волновало всех: о войне, голоде, земле, свободе. А когда он в конце речи провозгласил исторический лозунг: «Да здравствует социалистическая революция!» — то ликование народа, казалось, не будет конца.

Для старого партийца рабочего С. Я. Аллилуева звучало, словно набат, каждое слово этой речи, «удивительной по своей силе, по содержанию, по логической неотразимости доводов... Каждый из нас, слушавших, испытывал тогда на себе такое огромное влияние личности Ленина, что, казалось, скажи он: «Вперед, товарищи, на штурм Временного правительства!» — и тут же и двинулась бы вся эта масса людей выполнять его призыв».

К. С. Еремеев стоял довольно близко от броневика и ясно слышал каждое слово.

— Да здравствует социалистическая революция! — закончил свою речь Ленин.

И Еремеев и тысячи стоявших на площади людей поняли, что пришла не буржуазная революция, не революция меньшевиков, соглашателей, а настоящая великая рабочая революция, вождь которой командует им боевой сбор.

Ленин, впервые вступивший на русскую землю после долгого изгнания, говорит вооруженному рабочему классу, стоя на броневике, о свержении буржуазного строя.

«Это был момент мировой важности,— заключает К. С. Еремеев,— ибо здесь мгновенно практика пролетарской революции осветила теоретические выводы марксизма, и гений Ленина сразу поставил точку на все бывшие колебания и сомнения».

«Перед нами выросла фигура Елина. Он сказал, что Владимир Ильич поедет во дворец Кшесинской — штаб большевиков — и что повезем его мы. За рулем будет Мирон Огоньян».

Это из рассказа Иона Михайловича Лещенкова, старшего мастера по ремонту броневиков.

А вот запись воспоминаний того, кто вел броневик,— Мирона Сергеевича Огоньяна, так же, как и Лещенков, работника мастерских бронедивизиона, депутата Петроградского Совета.

Огоньян уже сидел за рулем, когда к дверце броневика с Елиным в окружении рабочих, солдат и матросов подошел Ленин. В пальто нараспашку, еще разгоряченный выступлением, сказал Мирону энергично:

— Здравствуйте, товарищ!

Владимир Ильич сел на командирское место, рядом с Миромом.

— Ну-с, поехали? — весело спросил он, обращаясь к Огоньяну и Елину.

Броневик медленно тронулся. Лобовой щиток был открыт полностью. И Ленин, опираясь левой рукой на приборную доску, глядел в широкий проем, радушно кивая людям. А солдаты, рабочие, матросы, красногвардейцы приветственно махали Ильичу, кричали дружеские слова.

Так они медленно двигались, словно плыли в живом людском потоке. Как запомнилось М. И. Ульяновой, во главе рабочей толпы шла заводская и районная вооруженная милиция. По краям рабочие образовали цепь из своих рядов. Справа вплотную к машине шел Подвойский. Слева — Елин, Сзади Лещенков и еще двое солдат из экипажа броневика.

В памяти Огоньяна осталось, что бронемашину несколько раз останавливали — на Нижегородской улице, на Боткинской, у Сампсониевского моста, на Петроградской набережной, на Большой Дворянской улице. И Владимир Ильич снова и снова обращался к народу.

Полтора часа двигался броневик, пока добрался наконец до особняка Кшесинской. Многие из партийцев, шедшие с вокзала лешком, прибыли раньше его. А у входа во дворец его уже ждала новая огромная толпа. Она тоже хотела видеть и слышать Ленина.

Вышедшего из машины Владимира Ильича окружили работники ЦК и ПК партии. Бонч-Бруевич заметил, что Ленин устал и растроган встречей. Но он про-

должал беседовать со знакомыми и незнакомыми, расспрашивать их о событиях, о работе, об организации, с большим вниманием прислушиваясь ко всему, что сообщали ему товарищи.

И вот Владимир Ильич в большевистском штабе.

Наскоро выпив предложенный ему стакан чая, он сказал Подвойскому, что должен снова идти к народу, который его ожидает, или же надо ввести всех сюда.

— Там стоит несколько тысяч,— ответили ему,— а сюда можно ввести только несколько сот.

«Ленин,— пишет Подвойский,— вышел на балкон, сказал небольшую речь— рабочие опять не расходятся, а стоят все на месте».

Тогда, по словам того же мемуариста, на балкон стали выходить другие товарищи из ЦК партии. Собравшимся было сказано, что Ленин завтра опять будет говорить и вообще теперь он постоянно будет с народом.

С интересным эпизодом, раскрывающим одну из характерных черт внутреннего облика Владимира Ильича, знакомит нас Бонч-Бруевич.

Чтобы лучше слышать, с чем обращаются к народу агитаторы, Ленин сел у открытой двери на балкон. Слушал речи очень внимательно, иногда одобрял, иногда, улыбаясь, произносил свое любимое «гм! гм!», что означало, что это неверно или сомнительно. Но когда выступил один крайне нервный, почти истерически настроенный товарищ и стал призывать толпу к немедленному восстанию, произнося бесконечные анархические фразы, Владимир Ильич спросил:

— Кто это выступает?

Ему сказали.

— И это тоже большевик?— с усмешкой спросил он.

А выступавший, увлекшись, еще сильнее продолжал размахивать руками, громил, уничтожал, призывал немедленно ринуться в бой.

— Нет, это невозможно,— сказал Владимир Ильич,— его надо сейчас же остановить... Это какая-то левая чушь.

Оратора, как пишет Бонч-Бруевич, с трудом наконец остановили, и он, изнемогающий, вошел в комнату, надеясь, очевидно, получить одобрение Ленина. Но тот молчал, и вокруг воцарилась неловкая тишина.

Вытирая обильно струившийся пот, незадачливый агитатор первым обратился к Владимиру Ильичу:

— Ужасно много работы... Вот в день раз по двадцать приходится так выступать.

— Раз по двадцать! Гм... — медленно произнес Владимир Ильич и улыбнулся.— Нет, товарищ, напрасно вы так себя мучаете... Не надо. Совсем заболаете... Поберегите лучше себя... Да и не нужно все это... фразы, крик...

— Позвольте,— снова заволновался агитатор,— да ведь это и есть самый настоящий большевизм, а вот они...— и он показал на стоящих здесь же товарищей,— не соглашаются со мной, даже ругают.

Владимир Ильич весело, заразительно засмеялся.

— Ругают, говорят... Ну, ругаться не надо. Зачем? Не соглашаются, говорят... Очень хорошо... Товарищи,— вдруг деловым тоном обратился он к работникам комитета,— чем ругать его, надо ему дать немного отдохнуть и перевести на другую работу, обязательно перевести...

И снова и снова выходил Ленин на балкон и обращался к народу. А толпа на проспекте все росла. Подходили все новые колонны, слышались крики:

— Ленин уже здесь!

— Ленин прибыл!

— Просим выйти к нам товарища Ленина!

Почти бегом прибежали матросы-кронштадтцы, возглавляемые Семеном Рошалем. Узнав о приезде вождя, они отправились из Кронштадта в Петроград

по льду Финского залива, который из-за неожиданно наступившей оттепели стал таять. Поэтому они и опоздали.

Семену Рошалю только недавно исполнился двадцать один год. Но он уже был одним из популярнейших ораторов партии, любимцем матросов. Поднявшись на балкон, он горячо приветствовал Ленина и заявил, что матросы Кронштадта полностью отдают себя в распоряжение революции и ее вождя. В ответной речи Владимир Ильич благодарил матросов за их стремление бороться до конца и снова провозгласил здравицу в честь социалистической революции.

Пришел черед более подробных, обстоятельных бесед с руководящими партийными работниками. Е. Д. Стасова вспоминает: «Владимир Ильич расспрашивал, что происходит в Петрограде, что делается в России, мы в свою очередь засыпали его вопросами о том, что он думает, и т. д. Разговоры были длительными... Впервые после долгого перерыва услышали мы слегка картавый голос Ильича и новые установки, новые директивы».

Как свидетельствует один из секретарей Петроградского ВРК Ф. И. Драбкина, Владимир Ильич был в радостно-возбужденном состоянии: познакомился с теми, кого прежде не знал, дружески приветствовал тех, кого встречал раньше. «Надежда Константиновна была как-то ошеломлена массой неожиданных и радостных впечатлений и говорила мне, что по дороге они с Владимиром Ильичем задавались вопросом: а удастся ли ночью достать на Финляндском вокзале извозчика? И вдруг такая встреча...»

Сначала беседа происходила в комнате на втором этаже. По свидетельству знакомого нам уже В. П. Виноградова, вокруг Ленина сидело и стояло около 60 человек. От Выборгского района, кроме него, были секретарь райкома Женя Егорова, Иван Чугурин, Николай Комаров, Мартын Лацис. Лацису и Подвойскому было поручено следить за порядком, и они больше всех волновались: то выходили, то входили, что-то говорили Ильичу.

Подвойский видел, что в соседних комнатах встречи с Ильичем ожидают большевики, приехавшие в Петроград из различных губерний на Всероссийскую конференцию Советов рабочих и солдатских депутатов; они тоже жаждут услышать Ленина. Поэтому было предложено перейти в большой зал, где еще недавно бывшая хозяйка дворца закатывала роскошные приемы.

Вместе с Лениным, так и не успевшим поужинать, говорит Николай Ильич, все входят в облицованный белым мрамором зал. Для беседы выбирается один его угол. Приносят простой стол, стулья и большие кухонные скамейки. За столом Владимир Ильич, Крупская, сестры Ленина. Остальные рассаживаются полукругом.

О содержании беседы мы узнаем из обстоятельных записей того же Подвойского. Она начинается с рассказа Владимира Ильича о трудностях, которые пришлось преодолеть, чтобы выбраться из Швейцарии.

По словам Николая Ильича, вспомнив что-то, видимо очень интересное, Ленин улыбался, глаза его загорались. Он рассказал о встречах с солдатами во время следования по Финляндии.

«— Один из солдат,— говорил Ленин,— наглядно показал, как надо окончить войну. Он сделал очень энергичное движение рукой, словно вбивая что-то глубоко в пол. Потом сказал: «Штык в землю — вот как окончится война!» И тут же прибавил: «Но мы не выпустим винтовок из рук, пока не получим землю». А когда я заметил, что без перехода власти к рабочим и крестьянам невозможно ни прекратить войну, ни наделить крестьян землю, солдаты полностью со мной согласились!»

Владимира Ильича очень интересовало положение в Петрограде и на периферии. По воспоминаниям Подвойского, питерские большевики рассказывали о героической борьбе рабочих во время Февральской революции, о том, что в настоящее время на улицах, площадях, вокзалах, везде, где собираются рабочие и солдаты, сразу же возникают митинги. Участники их распадаются на два лагеря. Одни стоят за поддержку Советов, за немедленное прекращение войны, конфис-

кацию помещичьих земель, за рабочий контроль над производством. Другие отстаивают Временное правительство, продолжение войны, натравливают солдат на рабочих.

У большевиков отношение к митингам двоякое. Часть партийцев считает, что на митингах могут быть решены все основные проблемы революции. Другие полагают, что помочь массам разобраться в сложных вопросах может расширяющаяся сеть кружков по типу тех, которые существовали во время дореволюционного подполья.

«Рассуждения о роли митингов и кружков,— продолжает Подвойский,— Ленин слушал с большим нетерпением. Чувствовалось, что ему хочется прервать этих товарищей. Зато с каким огромным интересом и вниманием слушал Владимир Ильич сообщения, в которых говорилось, как большевики завоевывают рабочие и солдатские массы, проводя планомерную работу на предприятиях и в казармах!»

Николай Ильич был поражен, с каким возбуждением Ленин обрушился на сторонников митингования и на защитников старых форм работы, свойственных подпольному периоду существования партии.

— Там, на площадях и улицах,— говорил Владимир Ильич,— миллионные массы мучительно ищут правильных путей к решению вопросов о войне, о земле, о новом устройстве жизни. А большевики в это время целыми днями митингуют и думают овладеть массами при помощи кружков!

Тут же Ленин высказывает свой взгляд на революцию:

— Революция не праздник, и мы не керенские, которые только и делают, что приветствуют друг друга. Революция — это тяжелый труд и кропотливая повседневная работа по воспитанию, сплочению и организации широчайших масс.

Что же, по мнению Ильича, надо предпринять?

— В корне необходимо перестроить агитацию и пропаганду. У рабочих станков, в казармах и на военных кораблях следует терпеливо, настойчиво и упорно разъяснять — по группам и каждому в отдельности — необходимость дальнейшей героической борьбы за прекращение войны, за землю, за рабочий контроль над производством, за выполнение других требований трудящихся масс.

Все с жадностью ловили каждое ленинское слово. Подвойский замечает: «Это не был доклад. Не было это и выступлением. Шла задушевная беседа Ленина со старой партийной гвардией, с боевыми друзьями, стосковавшимися о своем вожде... Владимир Ильич не оставил без разбора ни одного вопроса, поднятого присутствующими».

Какова же была реакция слушателей?

Член партии с 1900 года, работник Выборгской районной думы Д. И. Лещенко, слушавший тогда Владимира Ильича, суммирует свои впечатления кратко: «Его речь... никогда не изгладится из памяти. Я скажу без колебаний, что это было совершенно новое понимание, новый взгляд на все происходящее».

Такого же мнения и А. А. Андреев: «Все это было так ново, необыкновенно, свежо, захватывающе, величественно, так ясно и убедительно, что, насколько я помню, ни у кого из участников совещания даже не было никаких вопросов к Владимиру Ильичу. Можно представить, как мы все себя чувствовали в эту памятную ночь. Как будто у нас выросли крылья».

Н. И. Подвойский полагает, что некоторых из присутствующих новизна ленинских мыслей даже ошеломила. Конечно, заявляет он, для многих мысли Ленина были их мыслями. Владимир Ильич собрал эти мысли в стройную систему, облек в точную форму, придал им действенный, боевой характер — «стало ясно, что теперь надо делать».

Но встречались и такие, которые, по словам Подвойского, считали, что предлагаемая Владимиром Ильичем тактика может поставить пролетариат вне общедемократического фронта и привести к изоляции партии. Страшила их ленинская нетерпимость к соглашателям и перспектива немедленного и полного

разрыва с ними. Смущало их требование Ленина бороться за переход власти в руки Советов.

Политическая расстановка сил отличалась чрезвычайной сложностью, и надо было обладать гениальной прозорливостью, чтобы в этих условиях разглядеть единственно верный путь, обеспечивающий победу социалистической революции.

Такой гениальной прозорливостью в полной мере обладал Ленин. Он не только в совершенстве постиг теоретические выводы марксизма, но и умел их мастерски применить в новой, ранее никогда не встречавшейся обстановке. Эти его качества ярко проявились в первый же день, а точнее, в первую же ночь пребывания в революционной России.

Наступило раннее утро 4 апреля. Делегаты Всероссийской конференции Советов, по словам Подвойского, попросили Владимира Ильича выступить сегодня же на социал-демократическом совещании этой конференции. Узнав о том, что на нем будет обсуждаться вопрос о создании блока социал-демократических течений, Ленин тотчас же согласился прийти, но предложил предварительно создать большевистскую фракцию.

Потом, когда деловая часть встречи закончилась, Владимир Ильич попросил:

— Давайте споем.

Ленин любил хоровое пение. Как вспоминает Е. Д. Стасова, пели революционные песни «Варшавянку» и другие, а затем кто-то затянул «Марсельезу». Владимир Ильич предложил:

— Давайте лучше споем «Интернационал».

В пятом часу утра, прощаясь с Бонч-Бруевичем, Владимир Ильич сказал:

— Сегодня хочу съездить на могилу матери. Нельзя ли достать автомобиль?

УВЕРТЮРА ОКТЯБРЯ

Утром 4 апреля одиннадцатилетний Гора, приемный сын А. И. и М. Т. Елизаровых, проснувшись, услышал в коридоре незнакомый веселый мужской голос. Мальчик быстро вскочил с постели, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. «Как раз напротив моей комнаты стоял коренастый, небольшого роста, широкоплечий человек в каком-то полувоенном зеленом суконном костюме вроде френча, с тисненными кожаными пуговицами... На ногах у него были простые ботинки с толстенными подошвами».

Гора сразу же догадался, что это и был Владимир Ильич. Вчера в это же время пришла телеграмма, сообщающая о его приезде, и Гора поразился, какое оживление и веселый переполох вызвало это известие среди взрослых. Мария Ильинична, прихватив с собой телеграмму, сразу же куда-то уехала, а Анна Ильинична вместе с Марком Тимофеевичем стали готовить для приезжающих комнату...

Гора вышел в коридор и лицом к лицу встретился с Владимиром Ильичем. Он только что умылся и стоял у открытой двери в ванную, вытирая полотенцем лицо.

— Ага-а. Вот и Гора наконец появился! — проговорил Владимир Ильич. — Ну, здравствуй, здравствуй, давай поближе познакомимся. Анюта нам уже успела рассказать про тебя. — И он дружеским жестом протянул мальчику свою прохладную руку, привлек к себе и ласково-шутливо потрепал по волосам.

Г. Я. Лозгачев-Елизаров вспоминает, что, немного смущенный, он поздоровался с Владимиром Ильичем, разговаривавшим с ним с такой подкупающей простотой, и не знал в первое мгновение, что отвечать.

— Володя, Надя, Марк, Аня! Завтракать! — донесся из столовой голос Марии Ильиничны, звеневшей посудой.

По словам Георгия Яковлевича, давно уже не было так шумно и весело за их столом. Владимир Ильич без умолку рассказывал о своем путешествии, временами громко и заразительно хохотал, откидываясь на спинку стула, отчего невольно смеялись и остальные.

Но недолго Владимир Ильич отдыхал в кругу семьи.

У входной двери прозвучал звонок. Гора бросился открывать. Ленин тотчас поднялся из-за стола, поздоровался с пришедшим и попросил подождать несколько минут, пока он оденется...

Бонч-Бруевич утверждает, что первой поездкой Владимира Ильича в этот день была поездка на Волково кладбище. Некоторые исследователи полагают, что хотя Ленин и собирался поехать на могилу матери утром, но из-за того, что нельзя было отложить некоторые партийные дела, он смог побывать там только днем.

Всегда сдержанный, всегда владевший собой, Владимир Ильич, как свидетельствуют все, близко знавшие его, не проявлял никогда, особенно при посторонних, своих чувств. «Но мы все знали,— говорит Бонч-Бруевич,— как нежно и чутко относился он к своей матери, и понимали, что тропинка на Волковом кладбище к маленькому могильному холмику была одной из тяжелых дорог для Владимира Ильича».

В тот же день утром Ленин приехал на Херсонскую улицу, в дом № 5, где жил Бонч-Бруевич. Первым делом он попросил хозяина квартиры подобрать комплекты всех газет, вышедших после Февральской революции. И тут же стал расспрашивать о событиях тех дней. Его интересовали малейшие подробности и, конечно же, в первую очередь то, как действовали питерские рабочие.

Здесь же, на квартире Бонч-Бруевича, состоялось заседание, в котором приняла участие руководящие работники большевистской партии. Ленин хотел как можно скорее войти в курс всех дел. Около 12 часов дня он уже был на Шпалерной улице, в Таврическом дворце, где собирались участники Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов.

Делегат с Урала, вступивший в партию еще перед первой русской революцией, председатель Екатеринбургского Совета Павел Михайлович Быков вспоминает: известие о том, что сегодня на совещании выступит вернувшийся из-за границы Ленин, его очень взволновало и обрадовало. Он поспешил на хоры Таврического дворца, где обычно заседала большевистская фракция Петроградского Совета. «То там, то тут группами и по двое стояли и ходили люди, горячо обсуждая вчерашние выступления Ленина на площади у Финляндского вокзала и во дворце Кшесинской. Все говорили о том, что Ленин по-новому поставил вопрос о революции, что Ленин очень недоволен примиренческой тактикой некоторых руководителей...»

Владимир Ильич пришел с некоторым опозданием. Кто-то выразил недовольство по этому поводу, заявив, что его приходится ждать. Ильич усмехнулся и ответил:

— Совершенно верно, товарищ. Я извиняюсь, но все же я не виноват в опоздании. Дело в том, что посланный за мной автомобиль в дороге испортился и пришлось идти пешком.

Приводя эти слова Ленина, один из участников совещания замечает: «Мне понравились и усмешка и тон ответа: не обиделся, не растерялся, ответил твердо и по-товарищески».

П. М. Быков говорит, что в дни Всероссийского совещания Советов ему довелось слушать многих меньшевистских, эсеровских лидеров. Все они имели высокомерный, неприступный вид, кичились своим положением. Ильич был совершенно другой. Не было у него и тени высокомерия. «Вот он вошел... поздоровался с нами, простой, сразу располагающий к себе. Лицо его освещено чудесной улыбкой. Видно, он доволен тем, что наконец-то в России, дома, среди своих».

Н. К. Крупской запомнилась встреча Владимира Ильича с московским рабочим-кожевником И. В. Присягиным, бывшим в 1911 году редактором нелегального журнала «Посадчик» и в том же году слушателем ленинской партийной школы в Лонжюмо. «Страшно застенчивый вначале,— говорит о Присягине Надежда Константиновна,— он потом стал одним из наиболее близких Ильичу учеников парижской школы. Было какое-то понимание с полуслова. Присягин хорошо знал жизнь самых отсталых слоев рабочих, рассказывал о ней Ильичу»

Сейчас здесь, в Таврическом, Присягин смотрел на Ленина сияющими лучистыми глазами. И Владимиру Ильичу, как заметила Крупская, так же радостно было перекинуться с ним взглядом.

На лестнице, ведущей на второй этаж, Ленин встретился с другим рабочим, текстильщиком, большевиком с 1903 года Федором Никитичем Самойловым. Он являлся депутатом IV Государственной думы, в 1914 году был арестован, сослан в Туруханский край и только недавно вернулся в родной Иваново-Вознесенск.

В зале несколько десятков большевиков.

— Ленин... — проносится шепотом по рядам.

А. М. Коллонтай вспоминает, что Владимир Ильич не пошел на ораторскую трибуну, а не спеша подошел к самому краю эстрады, точно хотел быть ближе к делегатам, точно собирался разговаривать с ними, как говорил на собраниях политэмигрантов в Женеве или Париже. Внимательные, ожидающие глаза старых и молодых партийцев, рабочих, солдат впились в Ильича. Он начал говорить ровным, спокойным голосом... «Но как же он говорил! — восклицает один из участников совещания. — Он не говорил речь, он не убеждал, не настаивал, не доказывал длительно свои мысли—он только их р а з ъ я с н я л... Убедительность являлась сама собой у каждого слушателя от хода своих мыслей. Казалось, что все, что он говорил, нам само очевидно, мы сами подумали бы то же самое, вот разве только что он впервые это сформулировал и проговорил».

Большевик В. Толстов, которому принадлежит это высказывание, в своих «впечатлениях очевидца», напечатанных в 1926 году в № 3 журнала «Красная летопись», заявляет, что ход мыслей Ленина «был и ход наших мыслей... Ясно ощутил я тогда, что этот человек исключительно велик силой своей логики и что равного ему я никогда не встречал».

Речь Ленина, страстная и убедительная, понятная и доступная простому человеку, по словам П. М. Быкова, сразу же приковала к себе внимание присутствующих.

— Я наметил несколько тезисов, — начал Владимир Ильич, — которые снабжу некоторыми комментариями. Я не мог за недостатком времени представить обстоятельный, систематический доклад.

Первоначальный набросок тезисов, о которых упоминает Ленин, был сделан им на одном листке бумаги 3 апреля еще в вагоне поезда на пути в Петроград. Даже трудно себе представить, как он мог в сумятице непрекращавшихся встреч с рабочими, солдатами, матросами выкроить время, сосредоточиться, чтобы обдумать и составить документ такого огромного, всемирно-исторического значения.

Этот первоначальный набросок Апрельских тезисов, по-видимому, лег в основу его выступления на собрании партийных работников Петрограда во дворце Кшесинской.

На совещание в Таврическом дворце Ленин пришел уже с на п и с а н н ы м и тезисами. Об этом он сам сообщает и в известной статье «О задачах пролетариата в данной революции», опубликованной 7 апреля в «Правде», и в «Письмах о тактике», и позже, спустя полтора года, в работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский».

И опять же возникает вопрос: когда Владимир Ильич успел написать их? В ночь с 3 на 4 апреля, когда Ленин находился в особняке Кшесинской, существовал только краткий набросок, письменных тезисов еще не было. На квартиру Елизаровых он уехал на рассвете. Около 12 часов дня 4 апреля Владимир Ильич уже был на собрании большевистской фракции Всероссийского совещания Советов. До этого он успел провести заседание руководящих партийных работников на квартире Бонч-Бруевича и, возможно, побывал на Волковом кладбище.

Остается только предположить, что «изготовление п и с ь м е н н ы х тезисов» (выражение Владимира Ильича) состоялось в те короткие часы, в которые, как считали, он отдыхал в комнате матери у Елизаровых. После длительного и утомительного пути по железной дороге, после волнующей встречи на Финляндском

вокзале, езды на броневике, после многочасовых бесед в штабе большевиков Ленин садится и выработывает документ, который на многие месяцы будет определять политику партии, явится стратегическим планом революции.

Поистине не знают границ энергия и энтузиазм этого человека!

И в докладе на собрании большевистской фракции Всероссийского совещания Советов, и в упомянутой статье в «Правде» Ленин оговаривается относительно «недостаточной подготовленности» составленных им тезисов. Однако скромность Владимира Ильича хорошо известна.

Ленинские тезисы давали ответы на все вопросы, которые волновали народ, на все проблемы, стоявшие перед революцией, перед партией большевиков.

— Основной вопрос, — говорил Владимир Ильич большевикам, участникам Всероссийского совещания Советов, — отношение к войне. Основное, что выдвигается на первый план, когда читаешь о России и видишь здесь, это — победа оборончества, победа изменников социализму, обман масс буржуазией. Оборончество, «защита отечества» проповедуются не только в России, но и в других воюющих странах. Разница заключается в том, что нигде нет такой свободы, как у нас, и поэтому на нас ложится особая ответственность перед всем международным пролетариатом.

Каковы задачи большевиков в этих условиях?

— Ввиду несомненного наличия оборонческого настроения в широких массах, признающих войну только по необходимости, а не ради завоеваний, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им, что кончить войну не насильническим миром нельзя без свержения капитала. Эту мысль необходимо развивать широко, в самых широких размерах.

И Владимир Ильич добавляет, имея в виду практическую сторону дела:

— Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей армии.

Второй вопрос — о дальнейшем развитии революции.

— Своеобразие текущего момента в России, — заявляет Ленин, — состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.

«Чудовищный факт», как его называет Ильич, состоит в том, что материальная сила в руках пролетариата, а власть тем не менее у буржуазии.

Что характерно для данного периода, что составляет его своеобразие?

Три обстоятельства.

С одной стороны, максимум легальности (Россия, еще раз подчеркивает Ленин, с ей час самая свободная страна в мире из всех воюющих стран), с другой стороны, отсутствие насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательное отношение их к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма.

Такое своеобразие требует от большевиков умения приспособиться к особым условиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснувшихся к политической жизни масс пролетариата.

Из вышесказанного вытекает и отношение партии к Временному правительству.

— Никакой поддержки Временному правительству, — решительно настаивает Ленин, — разъяснение полной лживости всех его обещаний... Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии «требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистским.

Такие «требования» Ильич язвительно называет «чепухой», «вопиющей издевкой». Пора признать ошибку, говорит он. Довольно приветствий, резолюций, пора начать дело.

Надо разъяснить массам, что единственно возможной формой революционного правительства являются Советы рабочих депутатов. Такого правительства за исключением Парижской коммуны мир еще не видел. В условиях России это наилучшая политическая форма диктатуры пролетариата. Вместе с тем, как отмечают современники, Ленин неоднократно разъяснял: переход от капитализма к коммунизму в различных странах не может не дать разнообразия политических форм, однако сущность их будет неизбежно одна — диктатура пролетариата.

Среди партийных задач Владимир Ильич назвал необходимость немедленно созыва съезда партии, изменение ее программы и названия.

— Лично от себя, — сказал он, — предлагаю переменить название партии, назвать Коммунистической партией. Название «коммунистическая» народ поймет... Хотите строить новую партию... и к вам придут все угнетенные.

Н. К. Крупская свидетельствует: «Ленин в десятке тезисов изложил свой взгляд на то, что надо делать сейчас. Он дал в этих тезисах оценку положения, ясно, четко наметил те цели, к которым надо стремиться, и пути, по которым надо идти, чтобы добиться этих целей. Публика наша как-то растерялась в первую минуту. Многим показалось, что очень уж резко ставит вопрос Ильич, что говорить о социалистической революции еще рано».

Внизу, в главном зале Таврического дворца, шло заседание меньшевиков. Владимир Ильич уже заканчивал свой доклад, когда оттуда появился посланец и стал просить, чтобы он выступил и перед ними, так как они сегодня же должны были разъехаться по своим губерниям. Большевистская фракция постановила, чтобы Ленин повторил свой доклад на общем собрании всех социал-демократических делегатов.

«Как ни трудно мне было повторять немедленно мой доклад, — вспоминал Ленин, — я не считал себя вправе отказаться, раз этого требовали и мои единомышленники и меньшевики, которые из-за отъезда действительно не могли дать мне отсрочки».

Когда Ильич и сопровождавшие его большевики спустились в нижний зал, А. М. Коллонтай почувствовала, что атмосфера в нем царит недружелюбная. В этом огромном светлом, как его называли, полуциркульном зале часто звучали пустопорожние, но цветистые речи меньшевиков и эсеров. Здесь выступали такие завязые краснобаи, как адвокатшишка Керенский, сладкопевучий Церетели. Сейчас руководящие деятели мелкобуржуазных партий со снисходительным недоверием приготовились выслушать «утопии» Ленина.

Председательствовал Н. С. Чхеидзе. Он хорошо помнил свой вчерашний конфуз в павильоне Финляндского вокзала и сейчас изменил тактику. Как бы представляя собравшимся Владимира Ильича, он начал с того, что Ленин долго не был в России, только что приехал в страну, еще не знаком с нынешней русской действительностью. Поэтому, надо полагать, сейчас ему все рисуется в несколько ином свете, чем это есть на самом деле.

— Но Ленин побудет среди нас, увидит обстановку, поймет желания и чаяния народа и армии, и тогда, мы надеемся, — говорил Чхеидзе, — что он откажется от некоторых своих крайних позиций, которые он со времени своего приезда, может быть, несколько поспешно выдвигал и защищал.

Таково было содержание речи Чхеидзе, как его запомнил большевик с 1908 года, командир отрядов Красной гвардии Николай Александрович Милютин.

Затем выступил Владимир Ильич. Он, по свидетельству Ф. И. Драбкиной, повторил свои тезисы, только что изложенные им на собрании большевиков, предпослав им оговорку, что говорит от своего имени, так как не успел еще обменяться мнениями со своими товарищами по фракции.

Знакомый уже нам уральский делегат Павел Быков вспоминает: «Как сейчас вижу Ильича на трибуне в этот день: полная едкой насмешки над нашими политическими противниками... лилась речь Владимира Ильича, вызывая бессиль-

ную злобу с одной стороны зала и уверенность в себе, уверенность в будущей победе — с нашей».

Не так давно работникам Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС удалось реставрировать фотоснимок, на котором запечатлены Ленин, выступающий с речью, и часть президиума собрания. А совсем недавно, в ноябре 1976 года, из воспоминаний бывшего путиловца, а ныне генерал-лейтенанта Василия Ефимовича Васильева мы узнали, что в президиуме, кроме руководящих деятелей обеих партий, заняли места со специальной целью охранять Владимира Ильича от возможных эксцессов рабочие, солдаты, красногвардейцы.

Такая мера предосторожности, как показали дальнейшие события, была лишней.

В. Д. Бонч-Бруевич рассказывает об эпизоде, происшедшем, когда Ленин произнес слово «братание», адресованное к солдатам, находившимся на фронте. Кто-то из особо взвинченных делегатов с фронта, почувствовав себя, очевидно, уязвленным в своих патриотических чувствах, вскочил с места, подбежал к трибуне и стал ругаться самым отчаянным образом. В зале зашумели. Председатель пытался водворить порядок. Один Владимир Ильич спокойно, улыбаясь, выжидал, пока улягутся страсти.

— Сейчас только товарищ, — сказал он, — взволнованный и негодующий, излил свою душу в возмущенном протесте против меня, и я так хорошо понимаю его... Он только что из окопов, он там сидел, он там сражался уже несколько лет, дважды ранен, и таких, как он, там тысячи. У него возник вопрос: за что же он проливал свою кровь... Ему все время внушали, его учили, и он поверил, что он проливает свою кровь за отечество, за народ, а на самом деле оказалось, что его все время жестоко обманывали, что он страдал... за совершенно чуждые и безусловно враждебные ему интересы капиталистов... Как же ему не высказывать свое негодование? Да ведь тут просто с ума можно сойти! И поэтому еще настоятельней мы все должны требовать прекращения войны, пропагандировать братание войск враждующих государств как одно из средств к достижению намеченной цели в нашей борьбе за мир, за хлеб, за землю.

Василий Ефимович Васильев вспоминает, что он, тогда девятнадцатилетний красногвардеец, а также солдаты Семенюк и Волокушин подскочили к разбушевавшемуся фронтовику, еле уговорили его и усадили рядом с собой в президиуме.

Показательна дальнейшая судьба этого фронтовика — кавалера трех Георгиев, унтер-офицера Кравченко. Убеденный словами Ленина, он перешел на сторону большевиков, в октябре штурмовал Зимний и участвовал в работе II съезда Советов, затем вступил в партию, героически сражался в гражданскую войну и осенью 1921 года в должности командира батальона погиб на Алтае при подавлении кулацкого мятежа.

А. М. Коллонтай свидетельствует, что нельзя было не заметить, как быстро менялось настроение присутствующих, по мере того как развивалась логическая цепь великих положений Ленина. У меньшевистских лидеров выражение лиц сталоivilось сначала растерянным, потом полным страха и злобы.

«Неистовым воем и ревом, — пишет Н. И. Подвойский, — было встречено заявление Ленина о том, что между большевиками и соглашателями-меньшевиками не может быть никакого единства, так как соглашатели стоят за продолжение империалистической бойни и за поддержку буржуазного Временного правительства».

В такое же неистовство, по словам мемуариста, пришли меньшевики, когда Владимир Ильич заклеил измену вождей II Интернационала.

В написанной в тот же или на следующий день статье «О задачах пролетариата в данной революции» Владимир Ильич сам дал оценку происшедшего: «Я итировал слова Розы Люксембург, назвавшей 4 августа 1914 г. германскую социал-демократию «смердящим трупом». А гг. Плехановы, Гольденберги и Ко обижаются... за кого? — за германских шовинистов, названных шовинистами!»

Подвойский рассказывает, что в зале стоял невообразимый шум. Часть социал-предателей бросилась было к трибуне с кулаками, чтобы расправиться с Лениным, но большевики преградили им путь. Не было ни одного человека на этом совещании, кроме самого Ленина, который соблюдал бы выдержку и хладнокровие. «Владимир Ильич стоял невозмутимо среди этой разбушевавшейся стихии. Надо было видеть, какой силой и спокойствием дышало его лицо, вся его фигура, чтобы понять значение и истинную роль Ленина в этот переломный момент, когда из отживающей фазы революции надо было могучей рукой перевести ее в новую фазу».

Гольденберг, Войтинский, Дан и другие меньшевики в своих речах называли Владимира Ильича «бунтарем», «анархистом», заявляли, что им «водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии». А. М. Коллонтай вспоминает, что она так была возмущена, что, выступив в защиту позиции Ленина, даже не волновалась, как обычно, когда ей приходилось говорить с трибуны.

Но и она, как и Подвойский, обратила внимание на то, что Владимир Ильич слушал ораторов со спокойствием и равнодушием. Его, по-видимому, больше интересовал состав собрания. Он изучал делегатов, присматривался к ним. Неоднократно подзывал к себе товарищей из большевистской фракции и заинтересованно расспрашивал их о людях и настроениях. «Он должен был почувствовать, что его тезисы поколебали незыблемость меньшевистских авторитетов и заставили многих призадуматься. Это было именно то, чего Ленин и добивался».

Вскоре он вообще покинул зал. Покинул так незаметно, что меньшевики еще продолжали полемизировать с ним, по-видимому, не замечая, что его уже нет.

Один за другим все большевики ушли с совещания. В центральном органе большевиков появилось сообщение «К сведению товарищей». В нем отмечалось: «Сторонники «Правды» на собрании 4 апреля, посвященном вопросу об объединении с.-д., в голосовании не участвовали. От имени ЦК РСДРП было сделано заявление, что большевики никакого участия в этих попытках не принимают».

Меньшевистская затея с объединением партий провалилась.

День 4 апреля близился к концу. Но сколько важных дел еще успел сделать Владимир Ильич после ухода с Всероссийского совещания Советов!

Провел совещание с большевиками по поводу участия в заседании Исполнительного комитета Петроградского Совета.

Написал статью «Как мы доехали».

В восемь часов вечера он снова был в Таврическом дворце и принял участие в заседании Исполкома Петросовета, на котором обсуждалось положение русской эмиграции в Швейцарии.

Выступил на этом заседании с речью, в которой отстаивал резолюцию, одобряющую обмен политэмигрантов на интернированных в России немцев и австрийцев.

Приехал в редакцию «Правды», где детально знакомился с работой партийных журналистов и рабочих типографии.

Готовил к публикации статью «О задачах пролетариата в данной революции» с изложением тезисов и пояснительных примечаний к ним.

Однако день 4 апреля 1917 года навсегда останется в истории Великой Октябрьской социалистической революции, в истории большевистской партии и Советского государства именно потому, что в этот день Ленин провозгласил свои Апрельские тезисы.

С этого исторического выступления Владимира Ильича, утверждает В. Д. Бонч-Бруевич, собственно, и начинается преддверие, подготовка Октябрьской революции. Именно в этот исторический момент был заложен первый основательный камень великого здания Октября.

Многие современники пишут, что им даже трудно подыскать слова, которые раскрывали бы величие, гениальность политической мысли Ленина, нашедшее свое воплощение в Апрельских тезисах, ее воздействие на дела и судьбы милли

нов людей. «С наших глаз как бы спала пелена, и мы прозрели», — признается член партии с 1895 года, член Петербургского комитета РСДРП(б) Петр Иванович Стучка. «Апрельские тезисы В. И. Ленина, — говорит А. А. Андреев, — прозвучали как набат. Его идеи всколыхнули до основания все общество, все классы и партии».

А. М. Коллонтай сравнивает ленинские тезисы с ударом грома. «Они внесли смятение в ряды эсеров и меньшевиков и напугали министров-капиталистов, желавших верить, что революция позади. Рабочие массы и солдаты поняли, восприняли мысли Ленина и повернули дальнейший путь революции под твердым водительством нашей партии».

Для участницы революции большевички Марии Николаевны Свешниковой Апрельские тезисы явились великим откровением. «Будто сквозь темную завесу прорвался сноп света и озарил дорогу вперед. В апреле семнадцатого года, — пишет она, — мне и многим другим питерским рабочим и работницам довелось впервые услышать ленинские слова, в которых отлились всенародное горе, муки и гнев трудящихся и их решимость самоотверженно бороться за свое освобождение от капиталистического ига».

Знаменитая речь Ленина, по словам Н. И. Подвойского, разнеслась по всей стране. Не было в России такого завода, такой казармы, где бы она не обсуждалась.

Народ услышал то, что он хотел услышать. Ленинские думы, ленинские идеи, учитывающие все потребности трудящихся, стали его думами, его идеями. Превратившись в великую материальную силу, они через несколько месяцев круто повернули ход истории, открыли новую страницу в жизни нашей страны, в жизни всего человечества.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ОТЧУЖДЕНИЕ ЮНОСТИ

США

Это лишь одна из множества публикаций, в которых склоняется на все лады имя Муна. О нем как явлении социальном часто пишет западная пресса, броско подавая, его как «феномен Муна». Буржуазные социологи уже создают труды, пытаясь ответить на вопрос: почему же молодежь, отвергая нормы буржуазной морали, попадает в религиозные сети этого шарлатана? А в это время преподобный Мун умудряется неоднократно опубликовать на целый разворот в той же «Вашингтон пост» текст своего религиозного кредо. Ни много ни мало как в десятки тысяч долларов обходится этот прорыв в «большую печать» церковнику-рекламодателю. Откуда такие капиталы у этого монаха? кто такой этот пророк сегодняшнего дня? — интересуются дотошные журналисты.

Однажды, раскрыв колорадскую «Денвер пост», двадцатичетырехлетняя студентка Остинского университета Синтия Слотер увидела довольно странное объявление: «Честная, совестливая душа, интересующаяся тем, как можно улучшить мир, может позвонить по телефону...» Далее шел номер телефона. Синтия позвонила из любопытства. Молодой женский голос объяснил, что она попала в организацию, схожую своими целями с Корпусом мира. Любой желающий может зайти и ознакомиться с ее работой.

Ее принял молодой человек, представившийся австрийцем Лоренцем Верером. Он пригласил девушку прослушать курс лекций. С этого и началось безудержное падение девушки в религиозно-мистическую бездну, из которой она чудом вырвалась.

В субботу весь день шли лекции. Они продолжались всю ночь. Пятнадцати молодым американцам вдалбливали в голову, что вот-вот наступит конец света. Но перед этим к людям снизойдет второй мессия. Об этом якобы поведал землянам кореец Мун Сон Мен. Каждый день начинался и кончался молитвой во славу новоявленного «святого отца».

— С этого момента ты должен очиститься и начать новую жизнь. Забудь свою прошлую семью, друзей, соседей, родственников. Если ты вновь согрешишь, тебе лучше убить себя, чем остаться в живых. Мы должны вновь и вновь молиться, спасая человечество от дьявола, — говорили слушателям.

Так продолжалось целую неделю. Уже не в городе, а на затерянной в Оклахоме ферме.

— Я чувствовала, что они забросили мне в голову психологическую бомбу и, если я не уйду, она моментально взорвется, — говорит Синтия.

Лекции, песни, батрачество на пророка в саду. Когда девушка вернулась в подготовительный центр, ей разрешили войти в молитвенный зал и увидеть портрет Муна. Синтия жила там еще несколько недель. И снова ежедневная психологическая муштра: подъем в 6.30, молитвы, завтрак с молитвами, прогулки по городу с гимнами и песня-

«Так называемый новоявленный «пророк» Мун Сон Мен создал организацию своих последователей со строгой военной дисциплиной. Он требует от них ведения пуританского образа жизни и беспрекословного подчинения. Трудом своих прихожан Муну удалось создать громадный экономический, политический и религиозный конгломерат, который сейчас оценивается в 72 миллиона долларов. Подавляющее большинство членов его «объединенной церкви» — молодые люди, переживающие кризис отчужденности» («Вашингтон пост», 23 сентября 1976 года).

★

ми, прославляющими второго мессию, сбор подаяния, продажа цветов и снова молитвы. И так до одурения изо дня в день.

— Через две недели после такой жизни, когда я вставала с кровати утром, меня бросало от усталости на пол. Подумать только, за пять недель я собрала в фонд организации три тысячи долларов.

Однажды она зашла домой к обеспокоенным родителям. Там ее уже ждал Тед Патрик, человек, у которого сын пропал в какой-то религиозной секте. Патрик поставил целью своей жизни спасение «заблудших овец» и с горячностью принялся за «лечение» Синтии. Несколько часов шла его атака.

— Ты могла бы убить человека, если бы Мун приказал тебе это?

— Да, да, да!.. — истерически кричала девушка.

Патрик пытался образумить ее, ознакомив с биографией новоявленного мессии. А она весьма примечательна.

...«Пророк» родился в Корее в 1920 году в пресвитерианской семье. Шестнадцатилетним парнем он провозгласил, что к нему спускается Христос и возлагает на его плечи тяжелую ношу второго мессии. С этого дня начинается, как он рассказывает, его хождение по грешной земле. В 1948 году за подрывную пропаганду его арестовывают северокорейские власти. Попутно оказывается, что «пророк» практиковал в своей секте групповой секс. Бросив беременную жену, Мун бежал в Южную Корею и официально создал свою «объединенную церковь».

Здесь, а затем и в других странах он начинает производство огнестрельного оружия. На его заводах со строгой военной дисциплиной «миряне» собирают винтовки и автоматы, вооружаясь против сатаны.

Расцвет «объединенной церкви» наступил после того, когда к власти в Южной Корее пришел диктатор Пак Чжон Хи. Муну были разрешены официальные сборища. Многие государственные чиновники обязаны были посещать его семинары, на которых «проповедник» неустанно призывал к крестовому походу против коммунизма.

Потом состоялся международный дебют. Сначала в Японии и странах Юго-Восточной Азии. Затем Европа, Америка. Сегодня у него 400 тысяч последователей в Южной Корее, 260 тысяч в Японии, 30 тысяч в США, более десятка тысяч во Франции, Западной Германии, Англии, Голландии... И, как он полагает, это только начало. «Бог всегда был благосклонен ко мне», — не без самодовольства любит повторять этот шарлатан.

По теологическим догматам Мун Сон Мена, бог завещал ему в числе других задач наиглавнейшую для исправления рода человеческого — изгнание сатанинских сил коммунизма.

Вот тут-то и следует искать ответ на вопрос об истоках колоссального бюджета муновской секты. 90 процентов более чем десятиллионного бюджета «объединенной церкви» — пожертвования лиц, пожелавших остаться неизвестными. В номере за 23 сентября «Вашингтон пост», называя приблизительный бюджет, не сообщает о конкретных долларовых покровителях секты Муна. Однако в последнее время стало известно, что за спиной мессии стоят реакционнейшие круги — в Америке бэрчисты, в Японии лидер ультраправых, в прошлом военный преступник Иссио Кодама. Именно он стал связующим звеном незаконных махинаций представителя военно-промышленного комплекса США корпорации «Локхид» и японской военщины. И кто знает, быть может, за «объединенной церковью» стоят не только винтовки Муна, но и самолеты и бомбы заокеанских ястребов.

Как-то в интервью с корреспондентами «Ньюсуика» он разоткровенничался:

— Почему новый мессия выходец из Южной Кореи? У себя на родине мы должны бороться против коммунизма. Но это не только задача южнокорейцев. Я приехал сюда, чтобы объединить наши усилия, потому что Америка отстывает от своих обязательств. Вспомним хотя бы Вьетнам... Задача Америки — бороться с коммунизмом на всех фронтах и до конца.

Корреспонденты задали «бестактный» вопрос: не кажется ли Муну, что первый мессия жил намного скромнее второго? Речь шла о роскошном особняке в одном из живописнейших пригородов Нью-Йорка, купленном Муном за 615 тысяч долларов. При этом журналисты располагают информацией, что Мун и его «апостолы» незаконно приарманивают деньги своих мирян.

— Я стал мировой фигурой и должен принимать гостей с достоинством. Я также нуждаюсь в защите от коммунистических агентов, которые пытаются покончить со мной.

Ныне Мун Сон Мен обрабатывает в духе своих идей американский конгресс. Ежегодно его организация щедро отсчитывает 50 тысяч долларов на лоббирование своих идей в конгрессе США и грозит в скором будущем посадить в Капитолий своих людей. Замахивается он и на Организацию Объединенных Наций... Главная же ставка Муна — молодежь.

Мода на различные религиозные течения довольно устойчива в Америке. Молодые последователи Будды, приверженцы сатаны... Всего не перечислишь. Сотни тысяч молодых американцев ищут забвение в наркотическом, религиозно-мистическом дурмане.

Вьетнамская война, пожарища негритянских гетто были социальным катализатором бунта молодых. Политические взгляды хиппи охватывали широкий диапазон от сознательного отказа от политической деятельности, характерного для потребителей наркотиков, до бурной деятельности активистов «новых левых» и партии иппи — так называемых выразителей «политики абсурда». Молодая Америка бурлила, часто подосознательно, протестуя против социальных язв капиталистического общества. Достаточно вспомнить, к чему призывали в своем шумевшем манифесте к действию вожаки иппи Джэрри Рубин и Эбби Хоффман:

— Прежде чем читать, обалдейте от наркотиков!

И молодые парни, девушки балдели от героина, различных «прелестей» сексуальной революции, книжной отравы своих пророков. В марихуанном чаду многим казалось, что вот оно, наконец пришло долгожданное отчуждение и забвение. Иллюзорно, на часок-другой, но пришло!

Когда же дело дошло до настоящего боя, особенно после расстрела студентов в Кенте, и Рубин и Хоффман затихли, трусливо поджав хвосты. Где же сейчас эти молодежные кумиры, использовавшиеся в свое время буржуазной пропагандой для отвращения юного поколения от истинной политической борьбы? Где-то в Лос-Анджелесе взялся за издание какой-то газетенки Джэрри Рубин, пописывающий нечто о «социалистическом тоталитаризме». Его соавтор по «манифесту» Хоффман скрывается от полиции, а заодно и от своей семьи. Преобразился и Элридж Кливер, возглавлявший левостремистское крыло организации «Черные пантеры» и призывавший к расовой войне в США. Вернувшись в Америку после многолетнего изгнания, он призвал... крепить военную мощь Соединенных Штатов, не скупясь при этом на злобные выпады против Советского Союза и Кубы.

Но у молодой Америки были и есть честные молодые люди, которые продолжают вести борьбу с социальным неравенством. И прежде всего это ребята из «Союза молодых рабочих за освобождение» (американский комсомол). В 60-х годах в Соединенных Штатах зрели условия для создания общенациональной коммунистической организации молодежи. К объединению всех молодежных марксистских групп готовились прогрессивные студенческие союзы, представители рабочей молодежи. «Мы стремимся добиться союза рабочей молодежи и студенчества», — подчеркивал Дж. Тайнер, руководитель молодежной организации «Клуб Дюбуа», которая стала впоследствии костяком американского комсомола. Руководство компартии США активно помогало созданию новой молодежной организации, учредительный съезд которой состоялся в феврале 1970 года.

В декабре 1974 года в Филадельфии проходил третий съезд американского комсомола. За годы своего существования «Союз» стал самой боевой и ударной силой прогрессивной молодежи США. Американские комсомольцы, хотя еще не очень многочисленные, — в гуще забастовок сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии и Аризоне, на стачках автомобилестроителей на заводах Детройта, работают в созданных ими воскресных школах для рабочих в черных гетто, помогают строительству школ и больниц в освобожденных районах Южного Вьетнама, первые в рядах демонстрантов, противущихся режиму фашистского террора в Чили.

В последнее время буржуазная печать, ученые, политические деятели часто говорят о значительном снижении политической активности юного поколения американцев. Пытаются даже убедить публику, что сегодня рождается новое поколение послевьетнамской молодежи, у которого, мол, «отсутствует идеализм» и есть только желание «хорошо проводить время».

Американский комсомол разоблачает несостоятельность такого подхода. В своих тезисах к съезду «Союз» отмечал: «Среди всех групп молодежи идеологическая радикализация выразилась в более глубоком понимании роли монополистического капитала в деятельности правительства, в новом движении в сторону политической независимости». Американские комсомольцы констатируют, что многие молодежные организации одними из первых поддержали курс на разрядку международной напряженности, развернули широкую кампанию против увеличения военных ассигнований, за установление более широких связей с молодежью социалистических и развивающихся стран. Каждый из членов нашей советской молодежной делегации, которая побывала за океаном, общаясь с парнями и девушками из «Союза молодых рабочих за освобождение», чувствовал в них не просто друзей, но и единомышленников...

Сегодня заокеанские социологи продолжают писать о мучительном переходе молодых от юности к взрослому состоянию, ищут пути смягчения конфликтных ситуаций. Большая пресса, подобно «Вашингтон пост», в одних публикациях поносит, в других же за звонкую монету рекламирует новоявленных духовных спасителей юного поколения, пытающихся отвлечь молодежь от политической борьбы. Телевидение, газеты констатируют развал движения хиппи. В Сан-Франциско состоялись шуточные похороны этого движения, самые популярные его центры стали местами паломничества туристов. Но где же тысячные толпы хиппи конца 60-х — начала 70-х?

Многие вернулись к родному очагу. Поиграли дети, как будто успокоились и родители. Но отнюдь не все спокойно. Бесконечный поиск работы для одних, отчуждение от процесса труда для других, неспособность уже выплачивать повышенную плату за учебу для третьих, апатия и неприязнь к политической системе и стремление отдать свои силы каким-то абстрактным чистым идеалам — вот чем живет сегодня значительная часть молодой Америки. Тут-то и появляется Мун с его фарисейскими проповедями, приправленными значительной дозой мистицизма. Оказавшись на распутье, не видя выхода из тупика, потянулась к новоявленному идолу часть молодежи Америки, та, что, по словам «Вашингтон пост», переживает ныне кризис отчужденности.

В подтексте этой формулы — современная жизнь американской молодежи. Почти половина безработных в сегодняшней Америке — юноши и девушки до двадцати пяти лет. «Затяжная безработица провоцирует рост преступности, злоупотребление наркотиками и другие формы поведения, которые разрушают шансы людей достигнуть продуктивной жизнедеятельности в будущем», — предупреждает доклад объединенной экономической комиссии конгресса США.

Положение с трудоустройством американцев, оканчивающих вузы, становится критическим. Более миллиона выпускников 1976 года обивали пороги бирж труда в различных уголках Америки. И это лишь выпускники 1976 года!

Нет худа без добра, восклицают с цинизмом иные заокеанские экономисты: поработав годик-другой на «черной» работе, дипломированные американцы лучше-де познают жизнь и быстрее адаптируются в сегодняшнем американском обществе. Но эти оптимисты не отвечают на другой вопрос: как быть тем, без высшего образования, чьи рабочие места занимают их дипломированные конкуренты?

«Новое отчужденное молодое поколение безработных черных» — так озаглавлена статья, опубликованная в журнале «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт». В ней рассказывается о безысходном положении молодых черных американцев «от Бостона до Лос-Анджелеса, преданных забвению в тисках городских гетто».

В 1955 году безработица среди молодых негров составляла 15,6 процента. Через десять лет она достигла 26,5 процента. Сегодня уже 40,3 процента юных обитателей варгалов нищеты обивают пороги биржи труда. В Детройте, в Окленде только лишь каждый четвертый из них имеет работу. Если двадцатилетний черный детройтец не удел, то в лучшем случае он получит работу только через пять лет.

Сотням тысяч молодых негров, сообщает журнал, уготована бесцельная жизнь, постоянный спутник которой — наркотики и преступления, отчуждение не только от производственных процессов, но и от внешнего мира.

Недавно на книжных прилавках Америки появилась книга известного публициста Стадса Теркела «Работа». В ней собрано более ста бесед с американцами, рассказывающими о работе, которую они выполняют. Самое большое место Теркел уделяет работе — непосредственному производителю материальных благ, его взаимоотношению с машинами, окружающей его техникой. В основном это молодые люди.

Извечная проблема машины и человека. Еще два века назад легендарный Нед Лудда разбил вдребезги свой вязальный станок. Тогда по Британским островам шагала промышленная революция. Прошло почти два столетия с тех пор. По мнению заокеанских ученых мужей, наступление технотронно-потребительской эры вместе с новой техникой освобождает человека от тяжелого труда. Многие социологи доказывают, что технические новшества, мол, стирают все грани классовых противоречий. Так, в одном из докладов Гарвардского университета научно обосновывается мысль о том, что благодаря развитию технических новшеств «большинство американцев обладают сейчас большими возможностями для свободного выбора, большим опытом и более развитым чувством собственной ценности, чем когда-либо прежде».

Итак, если верить ученым-«технотронщикам», новые машины, скоростные конвейеры, освобождающие человека от изнурительного труда, несут счастье и блага большинству нации — как предпринимателям, так и рабочим, примиряя их между собой. Согласны ли с этим реальные молодые герои в промасленных рабочих спецовках Стадса Теркела?

— Всю смену я стою на одном и том же месте, выполняя одну и ту же операцию, — рассказывает двадцатисемилетний Фил Сталлингз, рабочий сборочного завода «Форд». — Чувствуешь себя частью конвейера: можно остановиться лишь вместе с ним. Но линия конвейера бесконечна подобно огромной извивающейся змее. Ты видишь ее тело, но хвоста никогда нельзя увидеть. Она опутывает тебя, как удав, и ты не можешь вырваться из ее тисков. Хозяин заботится лишь об этом железном удаве. Если он сломается, его быстро починят. Если сломаюсь я, то меня выкинут, как изношенную деталь, заменят новой — еще сильным, способным работать парнем. Почему так? Предпринимателей волнует лишь прибыль. А для этого линия должна функционировать беспрерывно.

Сталлингз и его товарищи понимают, что рабочие должны стоять за себя. Однажды мастер ударил соседа Фила, негра Джима Грейсона. Рабочие в знак протеста остановили линию. Всего лишь на двадцать минут. «Форд» расплатился за это тысячами долларов.

— Администрация «Форда» с гордостью восклицает: «У нас самые лучшие идеи!» Да? Идеи, как выжимать все соки из рабочих, у них превосходные, — говорит Джим Грейсон. — Однажды один из наших парней ударился головой о сварочный аппарат. Он упал на колени. Из раны фонтаном била кровь. Я остановил на секунду линию и побежал ему помочь. Мастер, перешагнув через раненого, вновь включил конвейер. Они даже не вызвали «скорую помощь». Парень, шатаясь, пошел сам в медицинский кабинет — это около полумили. Там ему наложили на голову пять швов. Молодые, особенно черные, у нас выполняют самую тяжелую работу. Пожилых сюда уже не поставишь. Год назад работал один такой. Не выдержал — третий инфаркт. Администрация выгнала его на улицу. Ему было около сорока. Для нашей компании сорок — это уже старик. Таковы лучшие идеи «Форда».

Как и в годы промышленной революции в Англии, в сегодняшних Соединенных Штатах, самой развитой промышленной стране капиталистического мира, машины сегодняшних дней вновь приносят лишь беды пролетариату, делая из него, по словам американского сварщика Фила Сталлингза, лишь «придаток этой бездушной техники». Происходит отчуждение человека от процесса труда, а вместе с ним от всего окружающего мира. Конвейер конвейеру рознь. Капиталист в погоне за сверхприбылью ускоряет бег конвейера до пределов, превышающих физические возможности человека.

Анализ этого процесса дал еще Карл Маркс в бессмертном «Капитале»: «При капиталистической системе все методы повышения общественной производительной сил

труда осуществляются за счет индивидуального рабочего; все средства для развития производства превращаются в средства подчинения и эксплуатации производителя, они уродуют рабочего, делая из него неполного человека... принижают его до роли придатка машины, превращая его труд в муки, лишают этот труд содержательности, отчуждают от рабочего духовные силы процесса труда».

В сегодняшней Америке усиливается борьба за влияние на умы и души юного поколения. В последние годы сильно активизировались официальные религиозные круги, которые пытаются привлечь к себе молодую паству, действуя через «Ассоциацию молодых христиан» (ИМКА) и «Ассоциацию молодых христианок» (ИВКА).

— Наши организации в общей сложности объединяют около десяти миллионов молодых американцев,— рассказывал мне в Вашингтоне один из функционеров ИМКА.— У нас свои отели, спортивные сооружения, бассейны, лагеря отдыха, информационные центры, клубы, печатные органы. Организуя приятный досуг, мы пытаемся отвлечь молодежь от пагубных явлений — наркомании, преступности, отчужденности.

За этой видимостью благородных намерений та же цель — отвлечь от политической борьбы, захватить молодых в религиозные сети. Влияние церкви в США за последние годы заметно возросло. Так, если в 1957 году лишь 14 процентов американцев полагали, что «возрастает влияние религии на американское общество», то сегодня эта цифра подскочила до 37 процентов. Финансово-экономическая мощь и участие в деловой жизни являются одной из отличительных черт американских церковных кругов. Капиталы религиозных организаций концентрируются в недвижимой собственности, инвестициях, ценных бумагах и т. д. Большие суммы накапливаются из пожертвований крупных монополий и прихожан. Так, один меценат от большого бизнеса, пожелавший остаться неизвестным, вложил свои доллары в постройку шикарного храма вблизи Нью-Йорка, где импортированные монахи проповедуют религию дзэн, основная догма которой — созерцательный процесс отчуждения.

Однако для различных ветвей обширного религиозного комплекса нужен человеческий материал. И этот материал — сотни тысяч американцев, наивно верящих, что уход в религию может спасти их от проблем насущных. «Подобно шелкопряду или же другому паразиту-размножителю, религиозный энтузиазм вновь завладевает нами. Один из последних опросов Гэллапа сообщает, что 94 процента американцев верят в бога... Несмотря ни на что, в нас продолжают жить старые моральные нормы», — констатирует «Вашингтон пост». Буржуазные социологи говорят о своеобразном религиозном возрождении как ответе на экономические неурядицы, на духовные законы общества потребления, где уже никто не протянет руку споткнувшемуся. «Может быть, лишь религия?» — думает иной. И не поэтому ли в последнее время стали так модны исследования о существовании души и высшего духа?

Понятно, что, предоставляя лишь помещения, официальная религия не может отвлечь и оградить прихожан от тех пагубных явлений, о которых говорил автору этих строк вашингтонский церковный функционер. Ведь то, что остается за церковным порогом после молитв, это уже за пределом возможности духовных пастырей: нескончаемый поиск работы, безудержный рост цен, отчуждение от производственных процессов и т. д.

«По Америке шагает морально-религиозное очищение, перевооружение». Кто же в этой атмосфере вооружается? Самое удивительное, отмечает заокеанская пресса, это новый подъем деятельности американских фашистов, объединенных в так называемое «Общество Джона Бэрча», которое, как полагали, выродилось с прекращением «холодной войны». Но несмотря на продолжающийся процесс разрядки международной напряженности, сегодня это общество насчитывает от 60 до 100 тысяч членов, в основном молодежи, и с ежегодным бюджетом в 8 миллионов долларов. Радиопрограмма фашистов передается 115 радиостанциями страны, 140 газет перепечатывают «Журнал Бэрча» — дневник общества. В прошлом году правые впервые организовали свой собственный молодежный лагерь для пропаганды своих идей. Заокеанские фашисты уже заглядывают в будущее: на 1979 год намечено открытие университета имени Джона Бэрча.

Американская печать накануне выборов тридцать девятого президента США была вынуждена признать, что оба претендента на Овальдный кабинет Белого дома стимулировали религиозные настроения, с помощью которых многие американцы рассчитывают очиститься от грязи вьетнамской войны, уотергейтского скандала, многочисленных преступлений ЦРУ и ФБР и вернуться к пуританским тенденциям, глубоко укоренившимся в американской истории и издавна влиявшим на социальную и политическую атмосферу страны. Вспомним, что «Вашингтон пост» пишет о пуританском образе жизни и строгом подчинении «апостолам», насаждаемом в муновском братстве.

И вот уже духовный союзник бэрчистов преподобный Мун, с которого мы и начали рассказ, протягивает шупальца к старшему поколению, родителям одурманенных им детей. Недавно была организована так называемая Национальная ассоциация родителей и друзей «объединенной церкви». Неисповедимы пути господни... Сыновья и дочери, которым удалось-таки вырваться из муновских сетей, борются за своих родителей — последователей этого шарлатана от религии.

Иллюзорность «семьи» братства и дружбы, стремление обособиться от неприветливого и безрадостного мира кидает многих на Западе сегодня в различные религиозные «общины». Однако нетрудно понять, что за внешним фасадом «духовного самоочищения» секта Муна и ей подобные таят намерения, далекие от идей братства и дружбы. Не залечивая ни одну из социальных язв капиталистического общества, впрыскивая яд антикоммунизма, подобные «общины» на нарастающей волне отчужденности сбивают молодежь с реальной дороги борьбы с социальными несправедливостями.

Андрей ТОЛКУНОВ.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. УРНОВ



ОГОНЬ ТАЛАНТА

Реальные лица — особые приметы быстротекущего времени. Индивидуальная память хранит их заботливо. Они легко возникают в сознании, и прошлое оживает в наглядных формах. Реальные лица театрализируют былое, позволяя увидеть его в отрывочных сценах и целых действиях. «Театрализируют» употреблено здесь отчасти потому, что Михаил Михайлович Морозов, о котором пойдет речь в этих заметках, многие годы был связан с театром и сам обладал актерским темпераментом. «Мощная строка Марло» — он произносил эти слова с таким вдохновением, с такой страстью в голове, что не приходилось сомневаться в мощи стиха прославленного английского драматурга, современника Шекспира. Я до сих пор слышу звучание этих слов, будто отлетающих от воодушевленного лица Михаила Михайловича: «The Mighty eme of Marloy».

Когда думаешь о М. Морозове, вспоминается многое, но прежде всего жизнь Шекспира в нашей стране в 30-е и 40-е годы и причастность к этой жизни М. Морозова: шумные шекспировские конференции в переполненном зале Всероссийского театрального общества, организатором которых был профессор Морозов; неповторимые шекспировские спектакли, которые он консультировал и рецензировал; шекспировские сборники под его редакцией; неожиданные переводы Шекспира, выполненные им самим, при его участии или консультации; круг лиц, объединенных именем Шекспира и связанных с выдающимся советским шекспироведом творческими и деловыми заботами: режиссеры, поэты, знатоки театрального искусства и молодые люди, увлеченные Шекспиром, величием его творчества, фейерверком ярких слов и пестрой толпой, расцвеченной знаменитостями. Живо вспоминаются полемические схватки в паузах между докладами. Ревнив или доверчив Отелло? Автоматизм зла, как он изображен Шекспиром? Как передать знаменитую строку: «The time is ont og Joint»? Жаль расставаться с привычным: «Распалась связь времен». Не совсем точно, но удачно, так естественно. Михаил Михайлович одобрил творческую находку Анны Радловой: «Век вывихнут». Образ у Шекспира конкретен и материален. Этот образ строится на «вывихе». За материальным образом — реальность истории, трагизм исторического движения, трагическое мироощущение Шекспира, «быть или не быть?». А вот и сама переводчица. В Шекспировском кабинете, на фоне окна, выходящего на улицу Горького, рядом и почти вровень с рослым Михаилом Михайловичем Анна Радлова. Прическа и платье — такие в 30-е годы можно было видеть только на сцене. «Весь мир — театр». Тогда мне показалось: Морозов — Гамлет, Радлова — Гертруда. Она спокойна, холодна, торжественно изящна. Он возбужден, взлохмачен, плечист, высок и полноват. Но как у Шекспира выглядит Гамлет? Что он, «чекан изящества»? Почему же тогда «тучен»? Шекспировский Пьерезухов, как скажет о Гамлете Борис Пастернак.

Профессор Морозов вышел в коридор, увидев меня, спросил: «Как мое выступление? Хорошо, да? Скажите». Это был не единственный случай, когда после доклада или краткой речи Михаила Михайловича я попадался ему на глаза и он спрашивал, ожи-

дая одобрения. Я чувствовал, что он относится ко мне со вниманием и доверием, но зачем была ему нужна моральная поддержка молодого человека, начинающего литератора? Прямой ответ один: «Мика Морозов»...

Серовский портрет «Мика Морозов» широко известен. Его образ — воплощенная увлеченность и восторженность. Те же черты и в облике профессора Морозова. Энтузиазм как душевный строй часто беззащитен и легко раним. Даже пустяковые ссадины бывают мучительны. Это нетрудно было заметить, наблюдая профессора Морозова. Михаил Михайлович всю жизнь оставался Микой Морозовым, каким его изобразил Серов. До седых волос — и все Мика! Теперь об этом вспоминают без иронии, с улыбкой или со вздохом умиления.

Увлеченность, отзывчивость, деятельный энтузиазм М. Морозова не просто индивидуальные его черты, но и фамильные. «Я родился в семье богатых промышленников Морозовых 18 февраля 1897 года, — писал он в автобиографии. — Мой отец, Михаил Абрамович, мало занимался коммерческими делами. Интересы его были в области истории и искусства. В свое время он написал книжку о Карле V. Он собрал большую коллекцию картин, которую моя мать после его смерти пожертвовала в Третьяковскую галерею (ценность дара, если не ошибаюсь, была определена чуть ли не в миллион рублей золотом), а также в ряд провинциальных музеев. Моя мать — Маргарита Кирилловна Морозова, по рождению Мамонтова... В свое время она была видной общественной деятельницей, главным образом в области искусства (в частности, была директором Музыкального общества)... Она была близким другом композитора Скрябина...» «Бабушка М. М. Морозова, — сказано в примечании к автобиографии, — известная общественная деятельница Варвара Алексеевна Морозова, издательница газеты «Русские ведомости». Большую часть своего состояния (пай Тверской мануфактуры) она завещала рабочим этой фабрики»¹. Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы, Хлудовы — вот среда, в которой формировался Мика Морозов. У этой среды были тесные связи с передовой русской культурой. Эта среда оставила по себе добрую память в организации Художественного театра и Третьяковской галереи. Здесь находили поддержку Чехов, Горький, Шаляпин, Репин, Серов, Короленко. В этой среде сочувствовали революции и стремились поддержать ее. Савва Морозов на собственную фабрику в Орехово-Зуеве возил прокламации, призывавшие рабочих к борьбе против хозяев-капиталистов. Факт паразитный и парадоксальный. Революционные порывы в этой среде не могли быть последовательны. Они обостряли душевный разлад, владевший лучшими людьми этого круга. Внутренние противоречия доходили до предела, и трагический исход оказывался неизбежным: С. Т. Морозов застрелился, С. И. Мамонтов помешался. М. Горький близко знал эту среду и людей этого склада. Они возбуждали у него живой и острый интерес. Он пристально присматривался к ним и показал их душевный разлад и драму (в очерке о Савве Морозове, в письмах и произведениях, где действуют Гордеевы, Артамоновы, Зыковы, наконец, Булычовы).

В мемуарах В. И. Немировича-Данченко содержатся конкретные и точные психологические наблюдения над теми же реальными явлениями: «Человеческая природа не выносит двух равносильных противоположных страстей. Купец не смеет увлекаться. Он должен быть верен своей стихии — стихии выдержки и расчета. Измена неминуемо поведет к трагическому конфликту, а Савва Морозов мог страстно увлекаться... Не женщиной — это у него большой роли не играло, а личностью, идеей, общественностью. Он с увлечением отдавался роли представителя московского купечества, придавая этой роли широкое общественное значение. Года два увлекался мною, потом Станиславским Увлекаясь, отдавал свою сильную волю в полное распоряжение того, кем он был увлечен; когда говорил, то его быстрые глаза точно искали одобрения, сверкали беспощадностью, сознанием капиталистической мощи и влюбленным желанием угодить предмету его настоящего увлечения... Но самым громадным, всепоглощающим увлечением его бы Максим Горький и в дальнейшем — революционное движение...»².

Горящие глаза Михаила Михайловича Морозова тоже искали одобрения. В них было блеска беспощадности и тем более сознания своего особого положения, спосо

¹ М. Морозов. Шекспир, Бернс, Шоу... М. «Искусство». 1967, стр. 306.

² В. И. Немирович-Данченко. Из прошлого. М. «Academia». 1936, стр. 136.

ного поддержать и волю и своеволие. В них был блеск личности, таланта, поэтического темперамента.

«Синее небо, белые птицы...— вспоминал Михаил Михайлович,— для меня это — самый яркий оттенок памяти, хотя я и не помню, где и когда видел это небо и этих птиц. Лет семнадцати я написал стихотворение, которое начиналось следующей строфой:

Над озерами, над рыжими холмами,
Над широкой топью мартовских полей,
Над сквозными, светлыми лесами
Пролетала стая белых лебедей.

Хорошо это или плохо — не знаю, но лучших стихов я не написал и не напишу.

Помню также, что совсем в раннем детстве — мне было тогда семь лет — я, стоя на самом берегу Женевского озера, вдруг увидел выплывающих из-за кустов лебедей. Мне показалось, что я вспомнил что-то, и я заплакал от радости и счастья.

Не многие знали, лишь узкий круг лиц, что Михаил Михайлович пишет стихи. Он их не печатал. Потребность поэтического самовыражения была у него изначальной, как и восторженная впечатлительность, тревожащая душу и легко ранимая. Устойчивым образом-символом его переживаний в детстве и юности было «синее небо, белые птицы» — белые лебеди. А в зрелые годы «эйвонский лебедь» — Вильям Шекспир, на котором с начала 30-х годов сосредоточиваются его творческие усилия, поэтическое вдохновение, исследовательская страсть и мысль.

«В тридцатых годах Шекспир,— по справедливому словам М. М. Морозова,— приобретает в Советском Союзе огромную всенародную популярность». Всенародный характер популярности Шекспира подтвердили и годы Великой Отечественной войны. «Отрывки и «монтажи» из произведений Шекспира исполнялись и на самой линии фронта (так, например, свой «монтаж» «За родину!», составленный целиком из произведений Шекспира, мастер художественного слова С. А. Кочарян читал бойцам непосредственно перед их выходом на выполнение боевого задания)». «Гамлет провел неслыханную, ошеломляющую зиму на фронте и в лазаретах, у постелей умирающих и в обстоятельствах вынужденных переселений...» (из письма Б. Пастернака). «Наряду с этим советский театр непрерывно в течение всей войны продолжал создавать шекспировские спектакли» (М. Морозов).

Всенародная популярность Шекспира в СССР определила место М. М. Морозова в советской культуре, а он, в свою очередь, сыграл видную роль в том, чтобы сделать творчество Шекспира всенародным достоянием.

В 1937 году М. М. Морозов возглавил Кабинет Шекспира и западноевропейской драматургии, созданный тремя годами раньше при Всероссийском театральном обществе. Кабинет был занят разносторонней деятельностью: обслуживал устными и письменными консультациями театральные работники, устраивал ежегодные шекспировские конференции, готовил научные исследования, издавал шекспироведческие труды. С конца 30-х годов одна за другой появляются в печати работы М. М. Морозова о Шекспире: «Комментарии к пьесам Шекспира», «Язык и стиль Шекспира», «Вильям Шекспир», «О динамике созданных Шекспиром образов», «Метафоры Шекспира как выражение характеров действующих лиц», «Шекспир на советской сцене». Книга «Шекспир на советской сцене» вышла в Лондоне в 1947 году на английском языке, с предисловием выдающегося английского шекспироведа Довера Уилсона.

Сами названия работ М. М. Морозова говорят о его разностороннем подходе к Шекспиру — он историк литературы, текстолог, комментатор, переводчик, театровед. В этой многоохватности есть ведущее устремление: от Шекспира к театру и от театра к Шекспиру. Театр ставил одну за другой шекспировские пьесы и нуждался в знатоке Шекспира. Театр обязывал специалиста решать разносторонние задачи и обогащал его стремительно растущим опытом сценического толкования Шекспира. Исследовательский академизм, комментаторская дотошность и чувство театральности соединились в Морозове-шекспироведе, это и искал в нем советский шекспировский театр. Довер Уилсон писал, что такому соединению в одном лице исследователя и актера в Советском Союзе могут только позавидовать английские исследователи и актеры. В Англии со времен

Грэнвиле-Баркера не было, пожалуй, шекспироведа, который стоял бы к театру, к его практическому творчеству так же близко, как Морозов.

Морозовские «Комментарии к пьесам Шекспира» давали обобщающие ответы на вопросы творческих работников театра, поступавшие в Кабинет Шекспира со всех концов Советского Союза. Выполненные М. М. Морозовым прозаические комментированные переводы «Гамлета» и «Отелло» предназначались прежде всего режиссерам и актерам, для которых, как писал М. М. Морозов, особое значение имеют «смысловые оттенки исполняемого текста. Из этих, казалось бы, «второстепенных» деталей вырастают иногда целые образы».

Перевод Шекспира для театра представляется Морозову-шекспироведу «весьма актуальным вопросом». Прозаический, подстрочный перевод с комментарием — это для режиссера и актера. Для сцены и зрительного зала нужен подлинный Шекспир — Шекспир оригинала на истинном языке перевода.

М. Морозов не мыслил развития культуры без знания ее прошлого, без связи современности с историческим временем. «Мастера театра в образах Шекспира», «Белинский о Шекспире», «А. Н. Островский — переводчик Шекспира» — в этих и многих других работах профессора Морозова автором движет мысль о традиции, благодарная память о передовых деятелях прошлого, об их новаторских усилиях и творческих достижениях, стремление выявить, осмыслить и утвердить плодотворные идеи и принципы.

...«Глубокость» для Белинского, — подчеркивает М. М. Морозов, — отнюдь не исключала доступности. Более того: доступность, по его мнению, является непременным условием художественности. Правильная и актуальная мысль. «Островский увидел Шекспира глазами его современников: для Островского Шекспир — широко доступный писатель. И эту доступность, эту доходчивость Островский великолепно передал в своем переводе». Тут же примеры, живые иллюстрации:

«Твид» — название шотландской шерстяной материи, пропитанной овечьим салом и прекрасно сохраняющей тепло... «Он был одет в куртку из твида», — переведет один переводчик. «Он был одет в теплую шерстяную куртку», — переведет другой. «Аква вита», которую пили в Англии времен Шекспира, — приблизительно то же самое, что наша водка. «Он выпил маленький стакан аква вита», — переведет один переводчик. «Он опрокинул рюмку водки», — переведет другой. С одной стороны, мы имеем переводы, которые высоко ценятся знатоками и особенно нравятся тем, которые знают иностранный язык и читали переведенное произведение в подлиннике. С другой стороны — переводы, доступные широкому читателю и зрителю. Не приходится доказывать, к которому из двух лагерей принадлежал Островский». Без доказательств очевидно, какой «лагерь» поддерживал Морозов. Переводчик-филолог, переводчик-теоретик и человек творческого импульса, он чувствовал опасность подавления холодной ученостью и литературной техникой вдохновенного творчества.

«Несмотря на многочисленные недостатки, — писал М. Морозов, — часто граничащие с небрежностью, вольность импровизаций и недопустимые упрощения, перевод Полевого в чем-то действительно передает живое дыхание великой трагедии Шекспира. Читая «Пиквикский клуб» Диккенса в вольной передаче Иринарха Введенского, мы смеемся от души, восхищаемся перлами подлинного английского юмора и даже готовы простить Введенскому его невозможную «отсебятину»...»

М. Морозов соглашается с точкой зрения Б. Пастернака на художественный перевод как творческий акт. Но не разделяет его позиции в целом. Он ведет решительную борьбу с отсебятиной в новых переводах. «Русский Шекспир» должен быть русским, живым, выразительным, поэтичным, но не «русифицированным». Он должен быть вдохновенным, творческим, но и точным. М. Морозов утверждал этот принцип и руководствовался им при разборе переводов А. Радловой, Т. Щепкиной-Куперник, М. Кузмина, С. Маршака, Б. Пастернака, М. Лозинского. Этому разбору он посвятил статьи «Читайте его снова и снова...», «Шекспир в переводе Бориса Пастернака», «Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака».

М. Морозов — исследователь и критик становился поэтом, описывая «творчество переводчика, который, вступив в борьбу с буквой подлинника, побеждает эту букву, преодолевает ее и, освободив содержание, облакает его в новую форму родного языка».

С восторженностью писал и говорил он о достижениях выдающихся советских переводчиков, рассматривая их работу как новый этап в осмыслении Шекспира. Но чрезвычайная отзывчивость, благожелательность М. Морозова не колебали его принципов и не порождали снисходительности. Отмечая в переводах неудачи и промахи, он исходил из кардинальной задачи перевода и потому был строг и требователен. Вместе с тем он учитывал творческую индивидуальность переводчика, его возможности, указывал направление работы.

М. Морозова порадовали переводческие удачи Анны Радловой, он подчеркнул, что сделано у нее «сильно» и в «духе подлинника». Но он тут же с огорчением писал: «По переводам Радловой уже никак не назовешь Шекспира «нежным лебедем Эйвона». А между тем эта в широком смысле слова эмоциональная сторона имеет не только стилистическое, но и принципиальное, смысловое значение».

«Огромная заслуга Бориса Пастернака в его переводах трех пьес Шекспира — «Гамлета», «Ромео и Джульетты» и «Антония и Клеопатры» — заключается в том, что, переводя прежде всего для театра, он решительно порвал с буквализмом, стремясь к внутреннему, а не внешнему сходству», — пишет М. Морозов. И тут же, указывая на «случай отклонения от смысла подлинника», заключает: «В момент такого отклонения перевод перестает быть переводом».

Перевод «Ромео и Джульетты», сделанный поэтом Б. Пастернаком, писал в издательской рецензии М. Морозов, «в целом является замечательным художественным произведением. Чудесно, например, воссоздана на русском языке знаменитая сцена в саду, где подлинная высокая поэтичность сочетается с подкупающей простотой. Характерные образы сделаны особенно удачно, красочны и по-шекспировски индивидуализированы. Театр будет благодарен Пастернаку... Но в переводе много неточностей. Поэту-переводчику следует еще много поработать. Вот ряд замечаний, далеко, конечно, не исчерпывающих...». По этим замечаниям можно судить, как даже, казалось бы, мелкий промах приобретает существенное значение. Например: «Ставить ли «Ромео и Джульетту» в оформлении итальянском или английском эпохи Шекспира — вопрос, который разрешается постановщиком спектакля. Интересно, что Энгельс выделял «Ромео и Джульетту», указывая на присутствие в этой пьесе «влияния юга». Да и в самом тексте говорится о жаре, гранатовом дереве и проч. Пастернак неправильно подчеркивает английский колорит, употребляя слово «джентльмены» (вместо «синьоры». — М.У.). Неправильно это потому, что для англичанина «джентльмены» просто значит «господа», а для русского читателя и зрителя непременно «английские господа». Так благодаря одному слову сужаются возможности постановщика! Неприемлема также русифицирующая всю пьесу фраза «друг Петруша»...»

М. Морозов не упускал случая подчеркнуть необходимость соединения в работнике искусства таланта со знанием, которое ставит талант на почву реальности и не душит вдохновения. Его литературные портреты известных актеров М. Т. Иванова-Козельского, В. Н. Андреева-Бурлака, М. И. Писарева выделяют эту мысль.

Три литературных портрета посвящены трагическим судьбам выдающихся талантов русской провинциальной сцены второй половины прошлого века. Они живо рисуют реальные лица и условия театральной провинции. Они написаны с чувством национальной гордости за щедрую талантами народную Русь, с чувством восхищения мужеством огромных дарований, актеров-патриотов, народных артистов, рыцарей без страха и упрека, вдохновенно и самоотверженно служивших русскому искусству.

Общие условия провинциальной сцены, подчиненной частному предпринимательству, способствовали «стихийному» отношению к искусству. Репетиции наспех, спектакли вовсе без репетиций, игра под суфлера порождали актерскую отсебятину. М. Морозов знал многих старых актеров и в своих очерках приводит их яркие свидетельства: «До сих пор в среде старых работников театра сохранились рассказы об этом легендарном времени. Актер, разгримировавшись после спектакля, говорит своему соседу: «Яша, а пьеса-то, оказывается, в стихах»... Или другой случай. На сцену выходит знаменитость и видит актера-старичка, одетого в какую-то ливрею. В это время суфлер почему-то сбился и замолчал. Знаменитость, чтобы не было заминки в действии, говорит старичку: «Эй, голубчик, принеси-ка мне стакан воды». Старичок подходит к знаменитости и в ужасе шепчет: «Помилуйте (имя и отчество), я сегодня граф-с...»

Вращаясь в этой среде, повседневно дыша этим воздухом, легко было поддаться распространенной практике, тем более когда природа таланта, такого, как у Василия Николаевича Андреева-Бурлака, блестящего имитатора и импровизатора, сама склонялась к стихийности. Бурлак «произвел неотразимое впечатление» на юношу Горького, в роли Иудушки Головлева он заставил его почувствовать «страшную силу театра».

«О многих актерах старой русской провинциальной сцены существовало и все еще не изжито представление как о самородках, игравших исключительно «нутром»: «как бог на душу положит»...» Бурлак делал ставку на вдохновение. Но со временем, подчеркивает М. М. Морозов, он «перешел на совершенно иные позиции, публично выступив с лекцией о работе над ролью».

Ссылается М. Морозов и на другой случай... «Иванов возымел смелую мысль: сыграть Гамлета... Начинающий провинциальный актер, вышедший из народных масс, «Митрошка Иванов», как называли его театральные щеголи, не захотел удовлетвориться одним лишь «разучиванием» роли. Он стремится проникнуть в подлинник, изучить все его тонкости. Он знакомится со специальными исследованиями, посвященными великой трагедии... Готовясь к роли, он читает по ночам, чтобы приобрести необходимые знания».

Так, обращаясь к прошлому опыту искусства, характеризуя его многосторонне и без прикрас, М. Морозов выявляет в нем все плодотворное, что могло и может способствовать развитию современного искусства. И в том, как он пишет о талантах, что акцентирует в их исканиях и пристрастиях, непосредственно сказывается и личное его чувство. Об Иванове-Козельском: «...до безумия влюбленный в Шекспира». Те же слова можно присоединить к имени самого Морозова. До вдохновенного и умного «безумия» он был влюблен в искусство высокой поэзии и правды.

М. Морозов превосходно знал не только Шекспира. Он был человеком широкой литературной эрудиции. Предметом его специального изучения была итальянская комедия масок. Он писал о Марло, Бернсе, Китсе, Шоу — об английских писателях разных времен. Разносторонняя осведомленность, точное знание текста, живость и пронзительность наблюдений неизменно отличали его письменные и устные высказывания о литературе.

Мне особенно запомнилась продолжительная личная беседа с Михаилом Михайловичем о творчестве Томаса Гарди цветущей весной трагического сорок первого года, когда был еще мир. Я писал кандидатскую диссертацию, а профессор Морозов готов был выступить моим оппонентом. Я восторженно говорил о трогательной и патетической любви Гарди к природе, обостренной и приподнятой гражданским чувством любви к человеку. Михаил Михайлович внимательно слушал меня, глаза его блестели, вспыхивали сочувственными огоньками, но когда я замолчал, восторженный профессор спокойным тоном проговорил: «У Гарди утрачена непосредственность восприятия природы. Между его поэтическим и вдохновенным чувством природы стоят живопись и литература». Я сам прослеживал связь ранней манеры пейзажных зарисовок Гарди с живописью Рейсдаля и Вилляма Дюбуа, отмечал влияние на его художественное восприятие живописи Тернера, но я видел в этих влияниях только обогащение непосредственного чувства родной природы. Я вспомнил тогда знаменательные слова Джона Драйдена, английского драматурга, поэта и критика: «Шекспир не нуждался в книжных очках, чтобы читать природу» — и эти слова впервые приобрели для меня разносторонний и глубокий смысл. Действительно, никто из английских писателей «конца века» не чувствовал природу так сильно и своеобразно, как Гарди, однако и его чувство не могло поразить совершенной цельностью и простотой. Я привожу этот случай как один из примеров незаметных, никем в своей сумме не учтенных, но реальных, живых и многочисленных влияний М. Морозова на тех, кто общался с ним, влияний и слова и мысли, искренней интонации, естественного эмоционального жеста, влияний личности, личности цельной, талантливой, отзывчивой, человека — знатока, патриота, гражданина.

В последние годы жизни М. Морозов свой опыт, знания отдавал работе на посту главного редактора журнала «Новости». Это было двухнедельное издание на английском языке, призванное содействовать взаимопониманию, сотрудничеству и дружбе между советским и английским народами. Было естественным видеть во главе такого журнала профессора Морозова. Это имя многое могло сказать английскому читателю.

М. Морозов входил в международную редколлегия «Шекспировского обозрения», издаваемого в Стрэтфорде-на-Эйвоне, родине Шекспира. В этом обозрении была опубликована его статья о метафорах Шекспира — исследование русского шекспироведа о языке английского гения в английском издании. Михаил Михайлович любил свою редакторскую работу, был воодушевлен задачами журнала, руководил им и писал для него.

«Люди всегда радовались весне» — так начиналась последняя статья главного редактора журнала «Новости», посвященная празднику 1 Мая. «Для каждого трудящегося, кем бы ни был он, рабочим у станка...» Статья осталась незаконченной... 9 мая 1952 года оборвалась жизнь Михаила Михайловича Морозова.

Сейчас ему было бы восемьдесят лет. Его публичные лекции в Московском университете на Моховой собирали толпы его почитателей. Его с вниманием и признательностью слушали студенты МИФЛИ, Литературного института, ГИТИСа, МГУ, студийцы, актеры столичных и многих других театров — в разных городах Российской Федерации и национальных республик. Популярность М. Морозова сочеталась с авторитетностью. «Как и для других, для меня Вы живой авторитет, англовед и шекспириолог, знаток английского языка и литературы и все то, что я Вам однажды писал: человек с огнем и талантом...» (Борис Пастернак).

Огонь и талант. И знание. Неустанный труд. Патриотизм. Гражданственность.
Мне выпала удача близко знать этого человека.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Молодые силы литературы

Отеческой заботой о начинающих писателях, композиторах, художниках, работах театра, кино, телевидения проникнуто постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью», принятое в конце прошлого года. Постановление отмечает большой вклад, вносимый молодыми в сокровищницу советского искусства и литературы, их искреннюю готовность отзываться на самые острые и важные вопросы времени. О новых литературных силах, влившись в отряд советских литераторов, немало говорилось и на VI Всесоюзном съезде писателей. То обстоятельство, что произведения начинающих авторов, как правило, обращены к современности и поднимают актуальные проблемы жизни, вытекает из самой природы нашего творческого развития. Молодые писатели — это вчерашние агрономы, рабочие, инженеры, учителя, студенты и колхозники. В творчество они вносят свой немалый жизненный и профессиональный опыт, хорошую литературную подготовку, образованность и широту кругозора, интеллектуальные интересы современного поколения, его поиски, его дерзания, исторические приметы эпохи.

Постановление ЦК КПСС призывает нас всячески активизировать повседневную работу с творческой молодежью, помогать начинающим писателям не только в практической работе над произведением, но и способствовать формированию их мировоззрения, совершенствованию профессионального мастерства.

Для отдела критики «Нового мира» стало уже традицией материалы одного из весенних номеров посвящать специально молодым (напомним статьи прошлых лет М. Чудаковой, А. Марченко, В. Камянова, В. Гейдеко, Ю. Смелкова). Обращаясь к проблеме творческой молодежи, авторы критических статей стремятся исследовать специфику и своеобразие вопросов, интересующих молодых писателей, нравственную атмосферу их произведений, все, что связано с гражданской, социальной позицией литературного героя. И на этот раз мы предлагаем вниманию читателей ряд материалов, принадлежащих перу В. Камянова, Ю. Домбровского, Ник. Воронова, Л. Лихогеева и других, где рассматриваются новые работы молодых литераторов, в контексте актуальных творческих проблем, в частности в связи с проблемой духовной причастности нашего современника к глубинным историческим процессам, занимающим сегодня писателей самых разных поколений. Каждое новое поколение литераторов выявляет свое осмысление современной жизни, ценность литературного произведения зависит от того, насколько глубоко и художественно выразительно сумеет автор проникнуть в сущность социальных явлений, отразить в герое черты и особенности своего поколения, своего времени.

Именно на эту сторону творческого процесса прежде всего обращает наш взгляд постановление ЦК КПСС. Вместе с тем этот важнейший документ охватывает и многие другие аспекты идейно-эстетического и творческого развития молодежи; работа с молодыми, говорится в нем, «должна основываться на сочетании чуткого, уважительного отношения к ним с требовательностью и принципиальностью. Следует изучать проблемы и нужды молодежи, помогать ей проявлять свои дарования, направлять развитие талантов по творчески перспективному пути. Постоянно укреплять и разнообразить связи молодой художественной интеллигенции с жизнью, развивать ее общественную активность, поручать молодым интересные дела, воспитывать их как стойких бойцов за коммунистические идеалы».

Долг литературной критики — взыскательно и терпеливо помогать росту литературной смены, помня, что забота о молодых — это забота о самом будущем советской литературы.



ПО РОДОСЛОВНОЙ ЛИНИИ

Будильник добросовестно отсчитывал часы и минуты. Но когда ему полагалось затарахтеть, человек уже был на ногах: он не мог доверить столь примитивному механизму такую драгоценную вещь, как время.

Наступающий день был хронометрирован едва ли не по секундам, и каждую из них предстояло до краев нагрузить делом. Сон, еда, нехитрые бытовые заботы расценивались при таком режиме как досадный простой и потеря темпа. Вздунное время рвалось вперед, открывая взору сверкающую новизну, с большей настойчивостью требуя от человека зоркости вглядывания, чем зоркой оглядки. Трудяга день, грохочущий победно и мощно, с необыкновенной властью занимал собою мысль. Литературную в частности.

«Время действия моей хроники — двадцать четыре часа», — объявляла Валентин Катаев в своей знаменитой повести «Время, вперед!», как раз и открывающейся картиной делового утра, бесполезным дребезжанием будильника, хозяин которого не намерен доверять тикающей жестянке драгоценную вещь — время.

Литература той горячей поры, к которой принадлежит катаевская повесть о бетонщиках Магнитки, крупно и резко выделяла ближайшие отрезки времени. Отходить к дальним рубежам минувшего летописцам Великого Перелома попросту было недосуг. Динамика невиданных сдвигов и переворотов властно распоряжалась жизнью словесного образа.

Достаточно вспомнить названия — «День второй», «Не переводя дыхания», «Темп», «Энергия», «Марш 30-го года», «Разбег», «Рельсы гудят». Заглавия-девизы, заглавия — будоражащие сигналы точно сообщали о температурном режиме, который царил в этих художественных системах, о накале гражданских страстей, волевой нацеленности персонажей на взятие ответственного рубежа. Сюжетное время максимально приближалось к времени производственному; совпадало с уплотненными сроками стройки, пуска промышленного объекта или даже графиком сменных работ. Личность была как бы «обжата» событием, проходя

решающую проверку, расходуя себя и самоопределяясь в его границах.

Теперь переводим взгляд на текущие 70-е... Тридцать с лишним лет мирного развития страны подсказывают литературе особый внутренний ритм и временной «режим». Историческое время входит сегодня в кругозор художника все более крупными протяженностями. Подступы к новому дню прослеживаются искусством с той обостренной пытливостью, которая, в свою очередь, есть отличительная примета нового дмья.

Возьмем такой ряд фактов.

В. Катаев, некогда разместивший действие пространного повествования в границах суток («Время, вперед!»,) пишет теперь «Кладбище в Скулянах», где один за другим вспыхивают отдаленные планы минувшего, вступая между собой в самые неожиданные связи и сцепления.

У молодого архангельского прозаика В. Личутина параллельно выходят две повести — «Бабушки и дядюшки» («Дружба народов», 1976, № 6) и «Душа горит» («Север», 1976, №№ 5, 6). Оба произведения повествуют о нескольких поколениях поморских семей и многими признаками напоминают традиционную семейную хронику. Но, как и в последней вещи В. Катаева, минувшие десятилетия движутся на нас словно бы рассыпанным строем, и разноудаленные (от нынешнего дня) события притираются одно к другому в самой прихотливой последовательности.

В летних номерах «Невы» за 1976 год опубликована повесть М. Глинки «Водяной знак». Изложенная здесь история ленинградского инженера Сидорова прослоена эпизодами из жизни его дедов, прадедов и пращуров. А примерно за год до «Водяного знака» на страницах той же «Невы» была предпринята попытка реставрировать мифологическую древность Эллады и вывести на randеву двух подростков, отдаленных друг от друга во времени примерно на три тысячелетия: первый из них — ленинградский школьник Димка, второй — юный Гомер, проходящий своего рода моральную стажировку при сыне Зевса Геракле (повесть В. Тублина «Золотые яблоки Гесперид»).

Намеренно называю произведения, либо выходящие параллельно, либо разделенные таким коротким интервалом, что авторов никак не заподозришь в равнении друг на друга. Не станем сейчас выяснять, насколько в каждом из названных случаев оправданы встречи и пересечения дня нынешнего с днями минувшими. Отметим лишь обращение прозаиков, по преимуществу молодых, к широким временным протяженностям, их строгую заботу о том, чтобы взятое звено времени выступало как составляющее цепи времен. Если воспользоваться спортивной терминологией, сегодняшнюю прозу интересует не столько герой спринтерского склада, сколько стайер — характер, которому больше подходит длинная дистанция исторических, социальных процессов, нежели бурная «стометровка».

И постановка вопросов самого капитального, «долгосрочного» свойства считается сегодня неотъемлемой, даже актуальной задачей текущей литературы. Сошлюсь на недавнее выступление главного редактора журнала «Вопросы философии» И. Фролова за «круглым столом» в «Вопросах литературы». «У меня сложилось впечатление,— говорил И. Фролов,— что в последние годы мы нередко слишком уж увлекались поисками решения непосредственно практических, актуальных для данного момента задач. Бесспорно, такие задачи чрезвычайно важны, но не должны при этом исчезать из поля зрения и главнейшие, ответственные проблемы, которые стоят перед философией и экономикой, историей, литературой. Не должна приостанавливаться работа мысли на «глубинном» уровне». Допускаю, что, говоря о чрезмерной увлеченности ближайшими практическими задачами, И. Фролов поддался некоей инерции перечисления (философия, экономика, история...) и, сохраняя целостность ряда, не стал делать для литературы смягчающие оговорки. А они, в общем-то, напрашиваются, ибо как раз «в последние годы» наша литература особенно энергично переступает прагматические рамки... В приведенных словах И. Фролова примечательна подчеркнутость разграничения: есть задачи «данного момента» и есть сверхзадачи познания, как научного, так и художественного, которым, если вспомнить опыт классики — сзевской, русской и зарубежной,— отдается максимум внимания.

Что ж, наше время расставило задачи

того и другого типа, что называется, по роду. И сегодняшняя литература, «молодая» в том числе, с полным сочувствием выслушивает пожелания и советы вроде процитированных — о необходимости вести линию поисков в глубь самых коренных общественных и духовных процессов. Не только выслушивает, но и ведет свой поиск вглубь. Задавшись вопросом «как именно ведет?», оказываешься перед достаточно сложной картиной.

Некоторые ее детали мы постараемся здесь рассмотреть.

1

История, рассказанная Михаилом Глинкой в повести «Водяной знак» («Нева», 1976, №№ 6, 7), приводит на память старый как мир сюжет о найденше, у которого среди лохмотьев вдруг обнаружилась секретная метка либо золотой медальон — знак его принадлежности к богатому аристократическому роду.

Центральное лицо «Водяного знака» ленинградский инженер Евгений Сидоров, бывший детдомовец, потерявший в блокадную пору всех близких, как выясняется, должен зваться не Сидоров, а Неледзевский и принадлежит к роду, ведущему свой отсчет в России с Куликовской битвы. Волею случая и стараниями добрых людей Сидоров-Неледзевский, привыкший считать, что, кроме детдомовского, никакого прошлого у него нет, водворяется, так сказать, под крону могучего родословного дерева. В дело вступают заботливый дядя-историк и хлопотливая тетушка, берущие под свой покров чудом отыскавшегося племянника.

Речь, однако, пойдет не о том, как исцеляет боль одиночества и неприютства, уступая место радости сердечных слияний в родственном кругу. Флер сердечности чуть ли не при первой встрече старого Неледзевского с молодым рассеивается под напором дядиных недоумений и просветительских сентенций. Недоумения вызваны куцым объемом исторических познаний племянника, который земщину путает с земством, западников, славянофилов, крестьянские реформы, мануфактурное производство каким-то чудесным образом выстраивает в общий ряд, где, по саркастическому замечанию дяди, не хватает лишь войны Алой и Белой роз. «Тебе тридцать лет,— корит Неледзевский-старший непросвещенного Евгения.— Ты пишешь в анкетах, что получил высшее образование, ты считаешь себя русским чело-

веком...», «Ты аморфен. Любой неглупый и знающий человек может повернуть тебя за два часа в свою веру». Кульминацией дядиных обличений становится более чем суровый афоризм: «Человек с отключенной памятью?! Да это чудовище!»

Говорю о суровости, ибо, читая описание рождественной встречи разлученных войной Неледзевских, ждешь каких-то других нот. А слышишь вот эти. Сочетание «дядя-историк» здесь правильной читать в обратном порядке, так как Неледзевского-старшего даже чисто семейное, «частное» обстоятельство застаёт несгибаемым профессионалом, оберегающим прошлое от забвения.

И что же? Закоренелый «технар» Сидоров быстро осознал всю пагубу своих гуманитарных пробелов и принялся их восполнять. У нас на глазах чуть ли не с нулевого цикла начинает расти здание общекультурной выучки Евгения. «История катилась на него, как вода, а он был лодкой, он плыл, качался. Кругом было море...» А в море, добавим мы, чуть расширяя рамки авторского сравнения, целая система маяков, не дающих навигатору потеряться среди зыбей.

Под «маяками» разумею рукописные новеллы Неледзевского-старшего, посвященные патриархам рода и положенные в фундамент исторического самообразования племянника.

Впрочем, развернутые картины минувшего не просто введены в кругозор центрального персонажа. Они служат важными элементами всей повествовательной конструкции, призваны сообщать живую предметность идее сотрудничества поколений. Однако, читая «исторические» эпизоды, идущие вперебивку с эпизодами служебной и частной жизни ленинградца Сидорова, видишь, что мысль о глубоких связях настоящего с минувшим осталась неким вымпелом на месте очередного погружения в воды исторического «моря». Внутренний же строй вставных рассказов, движение в них фабулы, проработка подробностей говорят скорее об усилиях реставраторства (воспроизводится колорит, узнаваемые атрибуты эпохи), чем о широте поставленных здесь аналитических, концептуальных и т. п. задач.

Герои дядюшкиных рассказов — многочисленные прапорщики, матросы, живописцы, шляхтичи, мелкопоместные дворяне — легко и свободно перемещаются на отведенном для них пространстве, неплохо

сообщаясь с реалиями конкретных эпох, говорят и переписываются в меру архаично и вместе выразительно. Все было бы хорошо, не обладай серия новелл о предках одним неудобным свойством: путь туда, в глубь обстоятельств двухсотлетней, допустим, давности, широк и обилён впечатлениями, путь обратно, к основной линии рассказа, узок и затруднен.

Значительная часть бытовых, документальных подробностей, множество малых да и больших происшествий, образующих вставные сюжеты, так и оседает в их пределах, находясь на службе у той или иной ближайшей надобности. А к выходу из сюжетов прибываются, в общем-то, расхожие истины.

«За что ни возьмись, все скользило в прошлое, свивалось там в какую-то сплошную сетку, где все было связано со всем» — таковы мысли Сидорова, прикоснувшегося к историческим корням. Что ж, герою, не помнившему исторического родства, беллетризованные рассказы о временах Екатерины II или Анны Иоанновны, безусловно, пошли на пользу. А повести как целому? Способны ли заключения о неразрывной связи «всего со всем», о нитях преемственности или об «эстафете души», проносимой сквозь времена (есть и такое), цементировать собой мозаику дядюшкиных повествований?

Задаю свои риторические вопросы не ради того, чтобы прочесть автору «мораль» за отход от принципа «сосредоточенного единства» (Гегель) всех частей художественного целого, хотя напоминания об этом принципе по нынешним временам далеко не бесполезны. Нет, дело вот в чем: герою повести предложена уплотненная программа исторического самообразования. Он должен включить в свой духовный кругозор множество конкретных, притом нехрестоматийных фактов, научиться улавливать связь «всего со всем». Но как нам, читателям, вполне разделяющим добрые пожелания автора, отыскать в его построениях не идеал даже — просто добротный уровень, рабочий образец грамотного диалектического мышления, целостного, а не фрагментарного восприятия истории, до которого предстоит возвыситься герою?

«Сосредоточенное единство», будь оно достигнуто писателем, могло бы нести в себе искомый критерий. Многочисленные «новеллы», встроенные в повесть и живущие каждая своей жизнью, напротив, размывают его...

М. Глинка работает в литературе, где накоплен колоссальный опыт изображения человека, стоящего лицом к лицу с трудовой задачей, всей остротой слуха, зрения, воли обращенного в сторону дела. Что же до нынешней социальной и духовной ситуации, сложившейся в процессе НТР, когда в самих же интересах дела человек обязан заглядывать за его «край», видеть конкретное дело в широких сцеплениях и опосредованиях, быть и практиком и проблемистом, то навык ее эстетического освоения достаточно молод. И молодость навыка способна обнаруживать себя в противоречии, свойственном молодости вообще: бойкий, приметливый ум уже схватил некую актуальную задачу и понесся ее решать, а опыт души не поспевает следом.

И работа ума оказывается чем-то вроде летучего разведпоиска, который даже при самых блистательных результатах еще не означает оперативного успеха и не меняет линию фронта. Между тем бойкий маневренный разум готов нередко трубить победу, имея в активе лишь самые предварительные «разведанные».

Познание истории в гораздо большей мере, чем освоение пусть головоломных, но прикладных наук, требует неспешного подтигивания духовных «тылов», мобилизации скрытых нравственных «мощностей». Методичное вгрызание в подробности, многократное переспрашивание у минувшего, каким же оно в действительности было, намного предпочтительней резвых наскоков и торопливого восполнения «пробелов».

«И сколько, сколько еще пройдет, должно пройти времени,— справедливо замечает М. Глинка,— пока у самого Евгения, запоздало и отрывочно проглядывающего книги по истории России, копящего зернышко к зернышку, возникнет своя, еще зияющая пустотами, но все же связанная паутинками мостиков страна предков?» Сказанное о накоплении «зернышек» звучало бы немного убедительней, не будь у М. Глинки столь демонстративным и столь прямолинейным «красноречие» композиционных смещений и перебивов, состоящих на службе у готового тезиса.

В чрезмерной отчетливости этого языка слышится звонкий рапорт о первоуяснении актуальной темы.

...Сколько у каждого из нас прапра...дедушек, а равно и бабушек? Не счастье! Как это сказано у Грибоедова? «Пофилософствуй — ум вскружится». М. Глинка решил

подойти к вопросу с цифрами в руках: «По миллиону одновременно живущих прямых предков у нас, наверно, не было. Десятки тысяч — это уже вероятней. Сотня, две сотни, три — уже реальность. Да и того хватит. Пятьдесят человек — это уже калейдоскоп характеров». И вот по такому-то «кружеву перекрестных браков», рассуждает автор, «одна и та же наследственная черта, один и тот же порыв, порок или добродетель могут прийти в кровь одного и того же человека...».

Верно, могут. Но сколь бы прочно ни связывали нас родословные линии с глубинной минувшей, они лишь малая часть тех путей и каналов, по которым опыт истории перетекает в современность. И не слишком ли много надежд возложено у М. Глинки на генеалогические «кружева»? Вряд ли есть нужда напоминать, что пороки или добродетели приобретаются с не меньшим успехом, чем наследуются, входят «в кровь» человека и минуя ствол родословного дерева. Хотелось бы остановиться на другом, менее очевидном, при этом отвлекшись на время от повести М. Глинки.

Мысль о человеке как частице истории, наследнике опыта многих поколений в нашей литературе далеко не нова. Но, к примеру, классикам для ее обоснования не требовалось непременно погружаться во тьму генеалогии. Толстой писал о ростовской «породе» и фамильных чертах Болконских, однако нам и в голову не придет измерять глубину и сложность характеров Наташи Ростовской или князя Андрея «родовыми» мерками.

В «Преступлении и наказании» никто не водит Раскольникова по лабиринтам семейных преданий и вообще никак не выделена тема прошлого. Оно присутствует анонимно, накрепко впечатанное в духовный состав, нравственную «память» персонажей. О прошлом знать не знает Раскольников — теоретик и экспериментатор, разрешивший себе «кровь по совести», зато прекрасно «знает» Раскольников «внутренний», испытывающий органическое отвращение к убийству, а равно и Свидригайлов, которому вдруг открылась призрачность его «свободы» от человеческих норм и установлений.

У Шолохова в «Тихом Доне», кажется, самый далекий экскурс в минувшие десятилетия — история Прокофия Мелехова (третье поколение семьи, считая от Григория), а прямые следы старины мы отчетливей всего различаем в укоренившихся обы-

чаях хуторян да еще в ворчливых репликах вроде: «Как испокон веку на Дону повелось...» — или: «Наши деды-прадеды не дурее нас были...». Но разве ненамного глубже опыт ушедших поколений (положительный) претворен и выявлен в обостренной совестливости Григория, его рыцарском покровительстве слабому и ущемленному, наконец, в бескомпромиссности его морального суда над собой?..

Прошлое, если угодно, — постоянная служба контроля над хлопотливой текучкой очередных забот: не чрезмерна ли их власть над нашим сознанием? Опыт прошлого — и снадобье и профилактика от лихорадки светных расчетов; он учит нас достоинству шага, учит ценить чистоту принципа выше ближайшей выгоды.

Кстати, когда Толстой определил главную особенность нравственной жизни Пьера Безухова как противоборство в нем «внешнего» и «внутреннего» человека, он дал нам в руки формулу очень широкого значения. Ведь с тех пор как искусство, отточив свой психологический инструментарий, стало исследовать нравственный мир личности, его взгляду открылась своего рода конфликтная вертикаль: есть уровень нетерпеливого «хочу!» и есть уровень контрольных вопросов «можно или нет? вправде ли я?», подсказанных не только индивидуальным навыком, не простой предосторожностью («Что из этого выйдет?»), но прежде всего системой отстоявшихся, общезначимых норм.

Назойливое хотение, корыстный расчет либо раздувающаяся претензия нуждаются в санкции «внутреннего человека», который тем менее сговорчив, чем яснее различает общее. И не столь уж мал соблазн блокировать этот контрольный пост, съехав с договорных этических основ на простор личной предприимчивости. Такова база принципиального разногласия, а порой и конфликтного раскола в рамках вполне уравновешенного самосознания личности.

«Внутренний человек» — всегдашний фаворит искусства, которое ревниво следит за расторопностью его антагониста, не давая последнему возомнить о себе как правом и сильнейшем, то есть отстаивая достоинство широкого опыта от эгоистического своеволия, каприза, неумеренной претензии. Так складывалась «драматургия», пожалуй, наиболее значительных характеров, прежде всего в границах русской реалистической традиции.

По мере того как текущее время перера-

батывается в нравственный опыт личности, оно входит в соприкосновение с уже отстоявшимися, усвоенными временами. Минутная стрелка, говоря фигурально, может задевать или «заедать» часовую, как, допустим, бонапартистские химеры Родиона Раскольникова ущемляют и глушат его отзывчивость, тягу к добру, совестливость.

Идет не просто спор хорошего и дурного начал, вставших друг против друга, идет, если угодно, иерархический спор уровней в пределах нравственного «я» личности.

Вспомнив про генеалогию, о которой так много толков среди персонажей «Водяного знака», можно сказать, что родовит и знатен именно «внутренний человек», поскольку он наследник и хранитель неравных человеческих ценностей, а безроден поборник сезонности, которым своевольно правит каждая новая минута.

Заметим кстати, что характер, в котором прослеживаются уровни нравственного сознания, может отлично служить мерой различения подлинного искусства и псевдоили недоискусства. Для беллетристики принцип соподчиненности либо иерархии «уровней» совершенно неподъемен. И хотя она наслышана о том, что мир личности сложен, но сложность эту представляет как вытянутый ряд несхожестей (скажем, герой — эрудит, а заодно хороший производитель, но тиранит домашних или азартно играет на бегах).

Объемное изображение при этом уступает место плоскостному, а диалектика внутренней жизни подменяется как раз тем самым «калейдоскопом», о котором обмолвился М. Глинка, говоря о невообразимой пестроте психических свойств, наследуемых каждым из нас через «кружево перекрестных браков».

Не в пример беллетризму строгое искусство (реалистическое в первую голову) по самой природе своей исторично, даже если живописует явления еще не остывшего дня. Исторично уже потому, что видит укорененность опыта прошлых поколений в нравственном составе сегодняшнего человека.

Хочу уточнить: «Водяной знак» — произведение отнюдь не серийное и не прохладно-иллюстративное. Автору в самом деле кровно дорог провозглашаемый девиз: «Исторические знания — в наш духовный строй!» Отстаивая, подкрепляя эту идею, он бывает проникновенен, красноречив и возвышенно горяч. Только горячность, запал первооткрытия упрямо действует как бы

против движения темы. Рассмотрим этот казус чуть попристальней.

Дедом нашего героя, как выяснилось, был скромный земский статистик, где-то на пороге первой мировой войны поехавший в Сибирь «писать цифры столбиком». Подвижник, энтузиаст черновой работы, он опирался на убеждение, что «повернуть народную жизнь к свету нельзя иначе, нежели не подвергнув ее в первую очередь беспристрастному, жесткому и гласному анализу».

Из всей беллетризованной «генеалогии» Сидорова неброскому эпизоду с дедом-статистиком отдаешь решительное предпочтение. Воспринимается он как передышка после резвых перескоков через рубежи столетий. Царит здесь сосредоточенность на процессах существенных, скрытых от поверхностного взгляда: не только на запросах совести правдолюба-статистика, но и на том, как медленно и упорно в рамках многих поколений вызревало качество интеллигентности, складывался глубокий интерес к коренным запросам народной жизни. В общем, наглядный урок для внука: воспринимай прогрессивный опыт прошлого, наращивай цепочку преемственности! И еще: усваивай дедову привычку вникать. Но вникать Сидоров не успевает. Он спешит. А с ним и автор. Первому требуется поскорей замолить свой грех невежества, второму — проследить за восходом семян, упавших в душу новообращенного Сидорова, и довести дело до жатвы.

События развертываются в ускоренном темпе. Евгений Сидоров, которого сослуживцы по управлению звали Бикфордовым Шнуром за умелую ликвидацию разного рода устаревших сооружений, превращается в рачительного хранителя старины и даже сочиняет хитроумный проект объездной транспортной петли-«развязки», позволяющий сбереж второстепенный (тем дороже усилия героя!) памятник церковной архитектуры, который из-за неудачного местоположения был почти приговорен к сносу.

Слишком наглядное торжество истины ученье — свет? Возможно. Только нет причин подозревать автора в бесстрастном иллюстраторстве. Демонстративность, даже ходульность сюжетного перелома — от худа к добру здесь скорей голосовой нажим, призывный клич взволнованного проповедника, чем расчетливый шаг схематика-беллетриста.

Сделав открытие — «все мы выходцы из страны предков», герой повести становится пламенным неопитом усвоенной истины. И позиция автора, который делит с героем его пламень, незаметно сужается до облюбованного «пункта».

Вокруг прозревшего и постигшего (прошрое) Сидорова возникает тихое кипение восторгов. К нему обращаются полные ожидания взоры, «как-то все выходило, что теперь вдруг его советы и консультации стали постоянно необходимы все большему числу людей». Высокомерная эрудитка Маринэ вынуждена признать, что у него изменился «рисунок рта. Будто бы теперь он крепче сжимал губы»; новообретенную те тушку ужасает его бивачный быт: «Такому человеку, как он, нужен дом, условия для работы... Друзья. Комфорт, наконец».

Между тем сам герой, слегка отяжелев от притока знаний и популярности, понемногу приосанивается, и в голове у него начинают роиться мысли о двух берегах: прежнем, низинном, и новом, возвышенном, где разместились люди творческой мысли. «Евгений хотел, он должен был жить на том берегу, где жили эти люди». Хотел и будет, добавим мы, ибо всем ходом повести ему предначертан удел неугомонного искателя истины, который с каждым днем все тверже встает на историческую почву, отрешаясь от наследия «Бикфордова Шнура». Но смена жизненного курса не всегда сулит одни лишь приобретения. Порой им сопутствуют и потери.

И верно. Оглядываясь на оставленный низинный берег, Сидоров, руководимый дядей-историком, отчетливей всего различает там горестную фигурку Риты, «доисторической», так сказать, своей подруги, которая была и мила и близка душе, но... Ее «тянуло зевнуть, когда она глянула в книгу дяди». То ли в генах Ритиных таился некий изъян, то ли воспитание подвело, но проблемы духа, увы, не ее сфера.

Как же поступить с нею нашему герою? Предоставить Риту ее заурядным заботам, зевкам и одинокой доле? К тому, собственно, дело идет. «Хорошая моя,— подумал он.— Добрая. Не помнящая зла». Подумал, заметим от себя, уже прощальное, уже в мыслях отбывая к иным берегам.

Но разве Сидоров — невольник собственного возвышения? Разве он только что не сделал выбор и прощальным мановением в Ритину сторону выразил неумолимость фатума, а не душевную свою суть? Автор,

однако, не намерен углубляться в ситуацию (очень кстати пришлась Ритина «доброта», как бы аннулирующая «зло») и документировать герою моральной придирчивостью, ибо тот сумел угодить ему в главном — стал на путь исторических штудий. А раз так, вот тебе, герой, льготное право на комфорт, вот тебе новый «рисунок рта»... А Рита? Пусть умерит свои запросы сообразно талантам и скромненько отступит в тень?

Не подпадает ли в таком случае героиня под действие особого «гуманизма», аккуратно подогнанного под ее невысокий духовный рост? И не чревата ли авторская метафора о двух берегах нежелательным выводом об исходном неравенстве их обитателей?

Разумеется, автор исполнен самых благих помыслов. Он горячо доказывает благодетельность (для общества и личности) глубокой и острой исторической памяти. Но верная идея, преподносимая с экзальтацией первооткрытия, приобретает ложный оттенок: даешь исторические знания, а если что не так — после разберемся!

И стремительный духовный взлет Сидорова вопреки авторскому мажору располагает к невеселым раздумьям. Например — о коварном правиле короткого одеяла, действующем в подобных системах: на голову натянул — ноги зябнут, ноги в тепле — голова на воле...

Флобер в свое время писал: «Автор должен незримо присутствовать в своем произведении всюду, как бог во вселенной». Только автору совсем не просто сохранить прерогативы бога, если на организуемую «вселенную» он смотрит из-за плеча героя-фаворита, призванного проществовать от неведения к истине. Облич «вселенной» скорее всего окажется перекошен, а истина воспротивится слишком возбужденному к себе подходу. Тем более истина о сугубой важности широты (исторического, вообще духовного кругозора) и пагубе зашоренной узости. Узкая методика ее (истины) защиты — нечто вроде непредвиденного самопровержения по ходу доказательства (потому и пришлось так подробно задержаться на повести М. Глинки, что пафосу доказательства здесь очень наглядно противостоит коварство метода).

Иначе говоря, перед нами вопрос о внутренней обеспеченности широких философских заявок, которые содержатся в нынешней прозе, прощупывающей «времен нервующую нить».

2

Сегодняшняя критика, задаваясь этой проблемой и перечисляя произведения, где философские заявки не только широки, но и обеспечены, называет среди других книг и недавнюю «Комиссию» С. Зальгина. Не повторяя уже сказанного об этом романе критикой, хочу выделить в нем одну лишь линию — Лебяжка реальная и «легендарная».

Как мы помним, деревня Лебяжка, пытаясь оградить свой микроклад от бурь грозного 1918 года, когда, по выражению одного из мужиков, «весь белый свет на куски расколотый», выставляет против внешних и внутренних угроз и напастей сторожевой пост разума или рассудительности — Лесную Комиссию. Пост, на ту пору не очень защищенный, что со всей наглядностью обнаружилось в финале («загадочное» убийство Устинова, расправа колчаковцев над членами Комиссии).

Роман, однако, написан не о том, как наивно-утопичны попытки урезонить бурю или вознести идеальный закон (слово, которым буквально пестрят дебаты и декларации Лесной Комиссии) над социально-исторической закономерностью. Об этом тоже. Только попутно. А главное в романе — как раз глубина и укорененность «идеального» в народном сознании, постоянное присутствие где-то за фронтом каждодневных забот лелеемой надежды на торжество высшей «законности» — истинно разумного строя жизни. И не просто присутствие — энергичный выход этой надежды на самую первую позицию в ряду мотивов, определяющих общественное поведение людей от земли, то есть отнюдь не «идеалистов».

Случай, с точки зрения статистики, не самый показательный? Верно. Только если бы Зальгина занимала среднестатистическая правда, он вполне мог разместить действие в одной из степных деревень, где никакими Комиссиями даже не пахло. Но идея Комиссии вызрела именно в Лебяжке, исключительность которой среди окрестных сел писатель не устает подчеркивать. Причем, приглядываясь к основным чертам Лебяжки, мы легко убедимся, что главная среди них — отчетливость ее истории в сегодняшнем сознании лебяжичцев. Хранимые крестьянами предания о двух старцах, основателях здешнего поселения, о полу-вятских девках, от которых пошло в рост

лебяжинское племя, примерно так же про-слаивают собой рассказ о судьбе Комиссии, как памятные нам новеллы Неледзевского-старшего — повествование о бывшем детдомовце Сидорове. Только у С. Зальги-на эти оглядки на старину менее всего отмечены печатью иллюстративно-просветительского к ней подхода или генеалогической любознательности. Не для общей эрудиции нужна история его героям и не для величания. Нужна для Дела.

Строили, скажем, лебяжинцы всем миром школу. Настал обеденный час. Собрались работники за общим столом. Тут-то «сказка» про кержака Илюху и полувятскую девку Лизавету «к нынешнему застолью хорошо приладилась». Только при всем своем затейливом ладе прозвучала она не благостным добавлением к отрадной на ту пору трудовой спайке, не словесной пряностью к согласному застолью. Прозвучала скрытой тревогой: не распадутся ли завтра скрепы, которыми держится теперешняя артельность? Тревогой и напоминанием о той давности, когда заветы раскола, религиозная нетерпимость кержаков-первопоселенцев грозили извести сам их «корень»; когда полувятские девки «поженили на себе кержацких парней, смешали двуперстный крест с трехперстным»; когда согласие поверх искусственных барьеров выступило непременным условием выживания обоих «племен» и пошел «счет жизни кержацко-полувятской деревни Лебяжки, пошли от туда законы и правила стояния ее на зеленом бутре...».

И все истории кержацко-полувятского «цикла» у С. Зальгина — закономерное, требуемое общим ходом романного действия подключение того, исходного опыта к нынешнему состоянию лебяжинцев, активизация важнейших «распорядительных» запасов их коллективной памяти. И характерно, что п а м я т л и в а я Лебяжка сообщается с Революцией на уровне самых высоких социальных идеалов, чутко схватывая ее заветные принципы и стратегические задачи — такие, как народное самоуправление при полном равенстве прав трудящихся, торжество демократической законности, разумный и строгий контроль над природными богатствами. Собственно, Лесная Комиссия была пробой, попыткой внедрить эти высокие начала, эти выношенные идеи в деревенскую практику. Была их детищем. Только, увы, не очень жизнестойким в условиях исторического разлома.

Ни малоги Эльдорадо, ни второго некра-совского Тарбагата из Лебяжки 1918 года не вышло, ибо у реальной истории собственные темпы, свой порядок вызревания новых социальных форм и к утопистам, действующим в обгон ее темпов, она достаточно сурова. Впрочем, такого рода закономерности нам давно усвоены. И короткая жизнь Лесной Комиссии содержит для нас более капитальные уроки, чем факт (или пусть неизбежность) ее гибели. Уничтоженная физически, Комиссия остается как волеизъявление, пример народного инициативного правдостроительства, которое отвечало планам, чаяниям многих крестьянских поколений, передававших выстраданную ими мудрость вперед «по цепочке» — для практического претворения.

Деревенская старина сознательно подтягивается мужиками-правдостроителями к дню нынешнему, напитывая своей энергией их согласные действия. Вот этим согласием, возникшим на основе рассуждения и работы духа, скрепленным, усиленным уникальной «памятливостью», лебяжинские «мужики совета», polegшие под колчаковскими шомполами, как раз и выше своей неизбежной «ошибки» и конечного удела, который кончен лишь по внешнему, фабульному счету. Философская же «даль» романа формируется с опорой прежде всего на лебяжинский почин, круговой совет, идея которого шомполам, разумеется, неподвластна.

«Соединение истории и современности, соединение древней сказочности с новейшей творческой манерой всегда было задачей искусства, даже тогда, когда оно как будто и вовсе не заботилось об истории; не создавало произведений исторических как таковых и даже не упоминало о ней. Искусство создает эти связи между прошлым и настоящим непрерывно, поскольку непрерывно чувствует то и другое, тем и другим пользуется». Эти мысли высказаны С. Зальгиным за несколько лет до выхода «Комиссии», где весьма наглядно сошлись «древняя сказочность» с «современностью» и где история присутствует не в красочных реставрациях, не в извлечениях для начинающих ценителей старины, а в социальном и духовном состоянии и активной людской массы.

При этом связи между прошлым и настоящим здесь туго натянуты и находятся под высоким смысловым напряжением.

Лебяжинская Лесная Комиссия по сути —

коллективный трагический герой мелеховского типа. Взыбленному времени она предлагает уважать ее моральную (да и территориальную) суверенность, признать за ней право на свободный умственный поиск и предоставить крестьянина его исконному союзу с землей.

В окружении окрестных деревень Лебяжка с ее Комиссией выглядят примерно так же одиноко и неприкаянно, как Григорий Мелехов меж двух враждующих лагерей, которые совсем не настроены вникать в его особенные резоны и восхищаться духовной чистотой его поисков.

Но Шолохову, дабы укоренить Григория в хуторском и фамильном прошлом, достаточно было прочертить на самом сюжетном виду одну отчетливую линию — ту, что ведет к центральному герою от Прокофия Мелехова с его моральной значительностью, внутренней силой, бесстрашием перед лицом неправды. Залыгину же, как мы видели, в сопоставимой ситуации понадобилась «древняя сказочность», широкое подключение деревенской старины к действиям и самому факту рождения Лесной Комиссии, то есть понадобилось специально акцентировать связь между звеньями времени, которую сегодня так пристально исследует наша литература.

Совсем еще недавно глубина исторического опыта деревни была как бы за чертой любознательности наших писателей. Это и понятно: их вниманием владели динамика и драматизм ближайших переломов и преобразований, за которыми прошлое села смотрелось расплывчатым задником, почти не отвлекавшим от происходящего на авансцене. Кроме того, где они, твердые ступени, по которым можно спуститься в заветные глубины деревенского прошлого? Просто ли нащупать исторические «тылы» деревни и подтянуть к новому дню, если документальные зацепки — редкость, а память старожилых и клочковата и хранит, в общем-то, близкое? Так, значит, удел «далекого» — бытьем порастать?.. Вопросы такого рода терпеливо ждали своей (опять же исторической) очереди и, дождавшись, вызвали немалое возбуждение умов.

Первые литературные попытки даже не ответить — откликнуться на них были, как правило, горячи, но малококонструктивны. Мешало нетерпение молодых по преимуществу авторов провозгласить открывшиеся им истины о собственном опыте деревни. Нетерпению отвечала и «нетерпеливая»

стилистика с голосовыми подъемами и придыханиями, с распевной подачей «древнего благочестия», «древней широты», «бедньж отшельников», лугов, где «ютятся правда», и т. п. Впрочем, на эту тему немало сказано в критике, и вряд ли есть смысл повторяться. Тем более что «деревенская» проза в теперешнем ее состоянии все меньше тяготеет к размягченному элизмизму при оглядке на сельскую старину.

3

Сегодняшняя проза о деревне, если вновь воспользоваться словами С. Залыгина, стремится не выпускать из поля зрения живые «связи между прошлым и настоящим... поскольку непрерывно чувствует то и другое, тем и другим пользуется». И хорошо, когда интерес к этим связям находит подкрепление в сосредоточенности аналитического усилия автора, стремлении дойти до сути, в том, что Блок называл «упорством поэтической воли». То есть в качествах отнюдь не рядовых...

В романе молодого прозаика, опубликованном незадолго до повести М. Глиники «Водяной знак», встречаем признание героя-повествователя, сделанное вроде бы мимоходом и даже не очень всерьез, но тем не менее примечательное: «Моя история ушла из-под контроля и потеряла чувство меры». Сразу же отметим, что в центре упомянутой «истории» — начинающий скульптор, оказавшийся в традиционной для нынешней прозы ситуации свидания с родной деревней.

Молодой романист, таким образом, вышел на оживленные тематические линии, проложенные задолго до него и легко различимые, например, в рассказах и повестях Г. Матевосяна, В. Белова, Е. Носова, В. Распутина, В. Афоняна.

Итак, ситуация в основе традиционна: молодой художник, а перед ним — мир «истоков», родная деревня. На сей раз грузинская К чести Александра Эбаноидзе, возвратившего очередной сюжет по бывки в обширное повествование (роман «Брак по имеретински», — «Дружба народов», 1976, № 3), он удачно избежал примелькавшихся стереотипов «ностальгической» прозы, свободно меняя интонационные регистры, соединяя лиризм с юмором, прославивая «серьезные» эпизоды озорной водевильной эксцентрикой.

«Именно юмор, жизненная наблюдательность помогая преобразовать цепь забав-

ных новелл в роман, еще несколько перегруженный бытовыми зарисовками, но, бесспорно, обладающий цельной и объемной художественной мыслью», — пишет А. Бочаров в своем интересном разборе «Брака по-имеретински» (см. его статью «Сквозь призму поликонфликтности», — «Октябрь», 1976, № 7). Первое утверждение критика (насчет юмора и наблюдательности) представляется и впрямь бесспорным, последнее — не очень близким к истине.

А. Бочарову пришлось по вкусу, что действие романа кончается «на настроении», а не «на сообщении», что сюжетный финал «заключен в первой же фразе романа». Но резонен вопрос: зачем понадобилась автору иллюзия «открытого» финала? Слова критика о преимуществах «настроенческой» концовки — слабый ответ.

Что, собственно, замыкает собой хепши энд, переброшенный в начало, — известие о браке горожанина Ладо Инашвили (он же повествователь) с деревенской девушкой Нуцей? Замыкает внешние перипетии рассказа про то, как всей деревней чуть ли не пинками гнали вольнолюбивого скульптора под венец, а тот упирался; когда же гнать перестали, тут-то он по своей уже воле... Но за фабульными сплетениями, за пряностью житейского анекдота угадываются линии и повороты внешне серьезного «происшествия», оставшегося в романе как бы недопроявленным.

Видели вы детскую игрушку-самоделку — тугая бумажная торбочка на резинке? Мальчишка швыряет ее — «на испуг» — прямо в лицо другому, резинка пружинит, и мешочек снова в руках бросающего. Имеретинская деревня тоже вроде бы «забросила» юного Ладо в Тбилиси, и ей важно почувствовать, что и там он свой, что «резинка» надежна. Вернувшегося (на побывку? совсем?) героя она приняла в дружескую теплую ладонь. Со всех сторон к нему тянутся губы, сложенные для поцелуя, раздаются ликующие возгласы, расцветают улыбки. Радушию и сердечности родной деревни, кажется, нет предела...

Председатель колхоза, замысливший воздвигнуть на сельской площади скульптуру, идеально покладист в роли заказчика: хочешь изваять бегущую девушку — будь потвоему. Красивейшая из местных девушек Нуца — «сгусток терпко-сладкой имеретинской красоты» — словно для того только и вошла на ту пору в самый сок юности, чтобы очаровать собой Ладо и в свою оче-

редь очароваться им (сердце ее никем пока не задето, хотя и полно ожиданий; ни соблазны города, ни вузовский диплом Нуцу к себе не манят).

Но «ладонь» имеретинской деревни миглом становится напряженной и жесткой, как только общий любимец Ладо начинает борьбу за личную независимость. Независимость от чего? От обычного, надо полагать, согласно которому, если уж ты раззадорил людскую молву, дал повод рядом с твоим именем называть имя непорочной девицы, — женись! Но только ли в обычае дело? Рассудим. Значит, как уже сказано, против свободной воли художника деревня выставляет вековой неписанный закон «ославил — бери в жены». Художник, которому красивая Нуца служила моделью, обороняется то логическим доводом («Если б я женился на всех натурщицах...»), то шуткой, то бранью и угрозами, пробует улизнуть из деревни. Все тщетно. Перед ним монолит. Стена лиц. Настороженных, невосприимчивых к доводам. Но до определенной черты не враждебных.

Это и понятно: ведь пока все идет как по нотам. Попался птенчик и рвется из рук, на волю хочет. Так и положено. По негласным правилам «игры». Кстати, сам «пострадавший» отлично видит, что он ненароком втиснулся в «роль», которая репетировалась веками и для которой нет вот этого Ладо, а есть собирательное «парень». Видит и в таком именно повороте, на таком уровне трактует случившееся. Но трактовкой героя-рассказчика не охвачена одна занимательная подробность — реакция деревни на его отъезд в город и победу над обычаем. Он, сумевший «вырваться», настоявшийся-таки на своем, то есть на праве свободного выбора, и, несмотря ни на что, полный приязни к землякам, с недоумением обнаруживает их ледяную отчужденность («Но деревня забыла меня. Отрезала... До меня ей не было дела»).

Неужели так велика над земляками власть предрассудка и так цепко держатся они за обветшалый обычай, что «отступника» из сердца вон? Да нет же! Обычай здесь, если хотите, метонимия — часть вместо целого, одна из многочисленных скреп, которыми издавна держался крестьянский «мир». Подловив своего «вольноотпущенника» Инашвили на крючок обычая, деревня поворачивает его лицом к глубине нажитого и выстраданного ею опыта, где рядом и доброе и дурное — в тесном сплетении

и в ореоле традиции. Поворачивает и глядит, что будет. А будут хлопоты героя, как бы с крючка сняться. И в разгар хлопот он лишь бегом коснется взглядом глубины, которая над ним уже не властна, не держит, ибо внутренне он отложился от «мира».

Вот она, главная обида деревни: ослабла ее власть над сердцами отделившихся сыновей. И вот сюжет, который стихийно прорезывается сквозь перипетию той самой «истории», что, по признанию рассказчика, уходит «из-под контроля», сюжет, завязавшийся помимо бытовой эксцентрики и уж конечно вопреки благополучно-свадебному финалу, словно приглашающему нас не смущать душу излишними сложностями.

Произошло некое «вздутие» материала, уложенного в удобную форму рассказа-исповеди со счастливым концом. Но, видимо, это и неизбежно в условиях, когда автор не рискует на виду у читателя оборудовать собственный КП, в стороне от персонажа-избранника, и взбираться по крутизне эпического материала без страховочных средств беллетристики.

...Лет восемь назад в одной лирико-исповедальной повести герой-рассказчик признавался, что ему «вдруг ударило в голову воспоминанием о тысячелетях». И уязвимость этого заявления была как в пародийности его звучания, так в самом существе: вспоминать разом целые тысячелетия значит не вспоминать ничего. Сегодняшние «воспоминания» прозаиков-«деревенщиков» гораздо более конкретны, и «машину времени» они не гоняют впустую (по широкому фронту «тысячелетий»).

Остановлюсь в этой связи на творчестве молодого архангельского прозаика Владимира Личутина.

Двум повестям, упомянутым в начале статьи, у него предшествовал роман «Долгий отдых», уже в жанровых своих чертах содержащий некий отклик на обострившийся интерес к «старине», земледельческой в частности, не совсем привычный исторический роман, где не происходит ровно ничего «исторического». Нет ни имен, ни событий, выделяемых жирным шрифтом в календарях и учебниках. А есть безвестная поморская деревня, словно бы отколовшаяся от «всеобщей» истории.

В. Личутин берет материал, пожалуй, наиболее удобный для возведения воздушных замков, создания прекраснородных легенд о «древнем благочестии». Поморы —

народ вольный, крепостного права не знавший. Иноземные завоеватели в такую даль не забирались и поморских нравов не ломали. Рука царской администрации здесь не столь ощутима, как в центральной России: что ни говори, «край света». И тем не менее весь уклад общины, живущей вроде бы «из себя», подчинен жесткой социально-исторической обусловленности, о которой ни на минуту не забываешь, читая роман.

В. Личутин реставрирует поморскую старину отнюдь не в угоду (и не в пику) той или иной априорной схеме. Старине этой дано заявить о себе со страниц романа не сухой однозначностью силлогизма, а всей густотой, весомой и плотной вещественностью крестьянского бытия, в изображении которого обнаруживается незаурядность живописного и поэтического дара В. Личутина.

Не в пример зальгицкой высокоумной Лебяжке общинный мир «Долгого отдыха» тяжело и одышливо ворочается в затягивающей вязкой «материальности», медленно вынашивая отчетливое слово протеста, одобрения или веры, обращенное вовне. Причем рождается оно не на широком людском форуме, не от сложения частных догадок или прозрений в общее миропонимание, а на малом участке человеческой обиды и боли, рождается под действием очнувшегося достоинства, которое стало оглядываться в поисках закона, способного осадить разгулявшийся произвол.

Что же до гармонии одного со многими (в деле духовного поиска, в попытках утолить мужицкую жажду правды), признаки ее пока неразличимы. Писатель выведывает у патриархальной «закрытой» общности секреты ее самодвижения и резервы жизнестойкости. Выясняется: поэзия единения, заявляющая о себе в часы согласного труда всем миром или противоборства стихиям, вовсе не помеха наступлению грубой прозы — прозы своекорыстия, мироедства, расслоения поморов на голытьбу и «крепких хозяев», под действием которого одна за другой слабеют и распадаются скрепы, общавшие устойчивость общинному бытию.

Почуввав заброшенную мироедом петлю, произвол неправой силы, пробуждается личность. И сам факт ее пробуждения, факт открытой апелляции к твердой нравственной норме есть новое сотрясение патриархальных начал — таков наиболее «общий» вид процессов, занимающих романиста, предпринявшего глубокий рейд в помор-

скую старину, дабы разглядеть и постичь реальные ее черты.

Если, читая «Долгий отдых», угадываешь здесь стилистические заветы советского исторического романа предвоенной поры (А. Толстой, А. Чапыгин, В. Шишков, А. Веселый) с его густым, «ядренным» живописанием обычая, поступка, телесной силы или немочи, то новые повести В. Личутина тесней всего связаны с эстетическим опытом деревенской прозы последних десятилетий. Близки к ней, в частности, житейской ситуацией: здесь тоже взят распространенный сюжет п о б ы в к и, отпускного наезда к сельским (или поселковым) пенатам местного уроженца, недавно осевшего в городе и посвятившего себя искусству (подобно герою А. Эбанойдзе) либо науке. Легко «узнается» и авторская интонация, где есть и элегическая исповедальность, и ноты ностальгической грусти, и оттенок неловкости за анемичного героя, которому не грех быть побойчей да и поудачливей в начинаниях.

В общем, эстетический состав этой прозы, если по отдельности перебирать ее черты и признаки, вполне привычен. Не вполне привычен, однако, характер их соединения, при котором особый вес и значение приобрела система временных смещений, ретроспекций, преданий, былей, относящихся к генеалогии центрального героя, который настойчиво пестует в себе чувство причастности к семейному опыту и традициям. Причем в деле освоения старины у него нет поощрителей и наставников. Полный простор духовной инициативе.

Место действия «Бабушек и дядюшек» — Слобода, расположенная где-то на полпути между большим северным городом и деревней, взрастившей многие поколения родичей героя, теперь слобожан; место действия второй повести, «Душа горит», — поморская деревня Вазица. Про Вазицу сказано, что она тридцать пять лет назад «отправила с поклоном на войну девяносто полноценных мужиков и полностью овдовила себя, ибо с той жестокой мясорубки вернулись лишь трое», а теперь крестьяне, «памятуя о долгой нужде... детей своих в города погнали сами» и деревня «ослабла родовым корнем». В «Бабушках и дядюшках», когда по ходу семейных бесед всплывают имена деревенской родни, выясняется, что из шести дядьев главного героя с минувшей войны вернулся только один. Приплюсовав к этому обстоятельству другие, наглядно выделенные в повести, видим: и Слобода и де-

ревня Снопа являют ту же картину ослабления родового корня.

Если теперь вспомнить крылатое слово Шукшина о современном «переселенце» (из деревни в город), стоящем одной ногой на берегу, другой в лодке, и приложить этот образ к личутинским интеллигентам, возвращенным северной глубиной, то понадобится уточнение: каждый из них раскачивается на двух лодках — нога на одной, вторая на другой. И дабы чувствовать себя потверже, тянутся они к родословному дереву. То есть, быть может, тянулись бы и находясь в полной устойчивости. Но вряд ли с тем же усердием.

«Я теперь все об отце знаю, — говорит сельский учитель и поэт-дилетант Тимофей Ланин брату-биологу (повесть «Душа горит»). — Можешь представить, как сыщик, копал... Может, просто доказать хотелось, что и у меня, как у прочих нормальных людей, был отец. Мы, безотцовщина, немного отличны от прочих. С крохотным клеймом на душе...» Что именно удалось «раскопать» Тимофею, нам хорошо известно, ибо история дворянского по своему первоистоку рода Ланиных развернута в систему самостоятельных картин, где на передний план выходят в самой прихотливой очередности то отставной подполковник Фантим Ланин, поселившийся в разгар движения народников среди поморов, на «дальнем студеном берегу, куда и ссылка-то считалась особо страшной», то дочь его Анна, профессиональная революционерка, которая в 20-е годы была «у самого Смидовича правой рукой», то внук Илья, первый советский интеллигент среди вазичан, учитель, энтузиаст коллективизации поморских хозяйств, позднее — армейский политработник, прошедший по дорогам 1941-го и принявший лютую смерть в гитлеровском плену, где он не стал скрывать своего комиссарства.

Если мысленно перемотать композиционную ленту повести, вернув событиям их хронологический порядок, выйдет достаточно четкая семейная хроника, наглядно, звено к звену, соотнесенная с этапами истории страны, передающая динамику социальных преобразований и в городе и в деревне. Примерно то же и во второй повести. Только там нельзя так глубоко заглянуть в колодезь времени. Предел видимого — 20-е годы. Но и они в дымке. Намного отчетливей — военное четырехлетие. Фронтальная судьба, любимого дядюшки центрального

героя дана с той же оптической резкостью, что и события ближайшего к нам плана. Герой, сдвинувшийся с родового корня, оглядывается на дела и судьбы старших, которым вышло принять на свои плечи весь груз чрезвычайных этапов истории, с уважительным и любовным, но вместе и виноватым выражением.

«Дерзости духа во мне нет и силы, одни желанья», — признается Тимофей Ланин, тот, что правду об отце-подвижнике, «как сыщик, копал». Причем на примере Тимофея рассмотрен достаточно острый вариант обрыва фамильной традиции. Была цепочка: прадед — народник, отец — просветитель, ставший живой легендой среди вазичан... Идущий следом за ними Тимофей тоже настраивал себя не на службу — на служение: окончив институт, вернулся в деревню учителем, женился по примеру отца на местной крестьянке... Но то ли подвели чрезмерная ригористичность и буквализм принятого решения «иду следом!», то ли сюрпризы послевоенной урбанизации, во всяком случае патетическая судьба на сей раз определенно не сложилась. И несостоявшийся подвижник сник. Прошлое для него теперь не только внутренняя опора, но и негаснущий укор: тебя, немощного, выставляли сильные, на ровный путь вывели, а ты... Нечто подобное чувствует и центральный герой «Бабушек и дядюшек», умеющий пока лишь остротой сердечного внимания, усилиями памяти отозваться на труды и лишения вырастивших его людей, на высокую меру их стойкости. Он с теплом и душевной заботой приглядывается к жизни матери и дяди, вспоминает уже ушедших старших, мысленно воскрешая, стремясь навсегда укоренить в своей памяти их «детские мечтания, признания в любви, горести и страдания».

Не слишком ли, однако, эфемерен подобный способ возвращения «сыновнего долга»? Сомнение вполне естественное, но словно бы не принятое автором в расчет. Пробел, который восполнен в другой повести — «Душа горит».

Здесь на равных правах с Тимофеем Ланиным действует его приезжий брат Арсений, искусник, можно сказать, эфемерного разрешения нравственных проблем. Внутреннее беспокойство он привык устранять внутренними же средствами. Самовнушением прежде всего: дескать, внешний ход твоей жизни может быть и вял и монотонен, главное — «не заленивать ду-

шой». И младшего, Тимофея, к тому же склоняет: «Ты пойми: раз горишь и переживаешь, значит, свое существование оправдываешь».

Нехитрая, в общем-то, казуистика: переживай, брат, и в беспокойстве чувств обретешь невозмутимость совести. Но при всей элементарности такой казуистики нет гарантии, что взыскующая память младшего не замкнется «на массу» сердечных сокрушений (об ускользающем поприще сельского просветителя) и «переживаний». Во всяком случае, финал повести такого опасения не снимает.

Помните, как образцово ясен был путь инженера Сидорова («Водяной знак») от пункта «невежество» через тернии познания к лаврам сочинителя проекта? Ничего похожего в повестях В. Личутина мы не найдем.

История здесь больше смотрит в душу неокрепшим интеллигентам из глубинки, нежели шлифует их ум или раздвигает общий кругозор. Она противоречива и беспокойна, обдает дыханием неостывших драм, не суля растревоженным ею персонажам ни компактных назиданий, ни ближайших производственных удач.

Вообще проза В. Личутина органична, свободна от рационалистической заданности, и силам, которые сошлись у него в эпическом действии, дано развертываться по внутренней их логике. Но все это свободное саморазвитие происходит до некой критической черты, где выясняется, что «грузоподъемность» повести резко превышена и количество завязанных (либо намеченных) автором драматических узлов, ситуаций, моральных коллизий, взывающих к решению, обернулось качеством неслаженности или — мягче — слабой соотносительности многих повествовательных планов. (Заметим, что в противоположность двум повестям В. Личутина роман «Долгий отдых», где речь идет о процессах отстоявшихся, давно нашедших прочное русло, — пример строго экономной, четко сложенной повествовательной системы.)

Прошлое, однажды выглянув из дымки «воспоминаний», получив художественную материальность наряду и наравне с приметами нового дня, уже не хочет опять уходить в «дымку», настойчиво требуя и пространства и яркого света, а главное — твердого обоснования: зачем оно вызвано? Но с характером центрального персонажа лучше всего согласуются, увы, нетвердые

обоснования. Вдобавок к этому и сам писатель не очень отчетливо различает, как именно его герой употребит на практике новообретенное чувство истории.

Как и роман молодого прозаика из Грузии «Брак по-имеретински», две повести северянина В. Личутина несут на себе заметную печать колебания и переходности. В определенном смысле даже отградную, ибо колебанием обозначена некая грань, проступающая сегодня и в самой деревенской прозе и в живом движении ее материала. Деревню больше не устраивает роль возбuditельницы ностальгических чувств у своих отколотившихся сыновей. Она ставит перед ними вопросы широкого свойства, требует глубины духовного постижения былого и нови в их единстве, требует зрелости нравственного, гражданского самоопределения как закономерной стадии их поисков.

Такие требования далеко не просты. И след озабоченности ими бывает различим в самой организации («Моя история ушла из-под контроля») повестей или романов, где молодой герой прикасается к сельским истокам.

4

Во избежание недоразумений: я вовсе не собираюсь затевать поход против отступников от классической поэтики и настаивать на непрменной строгости архитектурных пропорций, плавном чередовании повествовательных планов и т. п. «Форма», как известно, признает лишь одну законодательную инстанцию — художественный замысел.

И пусть себе исповедь или «история» героя-рассказчика уходит из-под его контроля, оставаясь, разумеется, подконтрольна стратегическим задачам автора. Но речь у нас только что шла о тех именно случаях, когда авторская стратегия, власть общего замысла не успела окрепнуть и неподатливость ей материала зеркально отражается в неполадках «формы».

Если же говорить о стратегии окрепшей, зрелой, то ей нередко свойственно принимать обманчиво-рассеянный вид, обличье свободного, не регламентированного (ни сюжетностью, ни «капризами» характеров) повествования, где первыми бросаются в глаза жанровые черты либо путевых заметок, либо эссе, либо научно-популярного очерка. Явление это достаточно полно объяснено сегодняшней критикой (на примерах, допустим, «Ледовой книги» Ю. Смуула,

«Сада камней» Д. Гранина, «Уроков Армии» и «Выбора натуры» А. Битова).

Обманчиво рассеянный вид и у недавней повести Даниила Гранина «Обратный билет», близко стоящей к литературе отпускных побывок и ностальгических маршрутов по следам минувших лет. Но далеко ли мы продвинемся (в понимании повести), держась за ниточку литературных подобий? Не дальше самой первой перемены сюжетных обстоятельств, когда вдруг выясняется, что речь идет не совсем про то и повествователь, приобретая «обратный билет», не был так уж безоговорочно нацелен на встречу с детством. Имелись, оказывается, еще и другие резоны, поначалу не совсем ясные ему самому. Они всплывают один за другим, формируя сменой своей или постепенным наращиванием второй, и главный, план повести. «Что будет теперь с моим детским омутом? Сохранится ли он в памяти?» — спрашивает себя рассказчик, убедившись, что родные его Кислицы неизвестны и нет в их новом облике ни единой черточки, способной оживить давнее. И продолжает на той примерно ноте, как авторы элегических повестей о прошлом: «Если бы я попал в старые Кислицы, мне бы взгрустнулось, припечалилось. Затем ведь и ехал».

Но если и впрямь ехал только затем, чтоб «взгрустнулось, припечалилось», то теперь, говоря его же словами, самое время «досадовать оттого, что грусти не получилось». Все, однако, выходит по другой совершенно логике. Состояние «припечаленности» оказывается чем-то вроде вытяжного парашютика, за которым открывается иная, уже как бы надличная озабоченность — вопросами духовной преемственности, живой связи современности с культурной традицией.

...Есть в Старой Руссе мемориал Достоевского, а у мемориала хранитель Георгий Иванович, для которого изучение, популяризация великого писателя — дело всей жизни. Линия рассказа как раз и сворачивает к поступкам и личности человека «возвышенной страсти», «может, единственного, кто был... сейчас кстати», был душевно необходим повествователю после неудавшейся встречи с прошлым.

В этом месте не исключена читательская догадка: уж не придется ли нам (как инженеру Сидорову из повести М. Глинки) брать под авторским надзором полезные уроки у специалиста по сбережению культурных ценностей? Нет, не к тому дело идет.

Едва мы успели сосредоточиться на фигуре музейного хранителя, как из-за нее выглянуло совсем неожиданное лицо — некий завсегдашай старорусского кафе-забегаловки Петр Сергеевич, который при знакомстве рекомендуется: «Я человек грамотный. У меня сын майор».

Помните Риту из «Водяного знака», которой так дорого обошелся зевок при виде умной книги? Петр Сергеевич, если воспользоваться классификациями инженера Сидорова, тоже не из тех, чье место на возвышенном берегу. Человек он практического склада, от книжной премудрости далек. Когда пробует сформулировать не совсем привычную мысль, краснеет от напряжения. Но вот казус: есть у него к повествователю несколько далеко не праздных вопросов о... Достоевском.

Не странно ли? Не плод ли авторского прекрасномыслия? Подобное наше подозрение, пожалуй, в программе гранинской вещи. А еще вернее так: читательские переживания, умственное беспокойство Петра Сергеевича — гвоздь ее «программы». Что же, однако, заставило его приняться за чтение одного из сложнейших классиков? Старорусский мемориал.

Ходят по улицам Старой Руссы экскурсия. Наезжают туристы. Здешний старожил Георгий Иванович снует как взмыленный по городу, разыскивая места, описанные Достоевским, и, кажется, весь город готов объявить музейным экспонатом. Человек основательный, Петр Сергеевич находит нужным определить в ситуации: не упустил ли он чего, раз этому писателю такая почеть? И вот, по собственному признанию, прочел он «в целом роман «Братья Карамазовы»... Весь отпуск читал». Да как! Своего собеседника, профессионального литератора, ловит на неточном цитировании.

Совсем незаметно, без композиционных и прочих нажимов под пером Гранина проходной, казалось бы, персонаж, выдвинувшись из повествовательного фона, приобретает черты человека сокровенного. Или верней — обнаруживает свою сокровенность, которой выпал случай (не всегда и не всем выпадает!) открыть, выразить самое себя в обход крепко накатанной каждомневности. Следя за «странным» диалогом о Достоевском, мы попутно отмечаем и состояние повествователя, его особый цепкий интерес к «любительским» суждениям и трудному самовыражению собеседника, вспоминаем промелькнувший вопрос

к себе: «Почему меня вдруг так утешил этот мемориал...? Какое возмещение мне тут почуялось?»

Купленный в кассе «обратный билет», как выясняется, все же приблизил к рассказчику прошлое, но несколько неожиданным образом: там, где вроде не ждалось, не гадалось, вдруг обнаружило себя дальнедействие, негаснущая заразительность Духовного поиска, живая энергия давнего, казалось бы, вымысла, закрепленного в приметах и реалиях, уже почти неузнаваемых. А может, все-таки ждалось и гадалось? Может, и «обратный билет» приобретался в неясной надежде на знакомство с более широким «мемориалом», нежели сулили Кислицы?.. Говоря о неясной надежде, разумею активность сокровенного человека и в самом повествователе, который внешне как будто расслаблен, плывет, чуть подгребая веслом, по течению фактов, ассоциаций, путевых замет. На деле «свободная» форма здесь способ выявления протекающей в нем внутренней работы.

Работы без заданного плана. И все же плановой, ибо порядок ее и нацеленность подконтрольны общему строю личности, заявляющему о себе смысловым акцентом, силой интонационного ударения, распределением увиденного (либо пропомненного) по ценностной шкале. Так вот, в нашем случае при внешней ненапряженности состояния отлично угадывается, что строй личности сомкнут, что в этом строю — опыт обдуманного и пережитого как за военное четырехлетие (в повести очень важны мгновенные вспышки фронтовых воспоминаний), так в кружении рядовых будней, опыт духовного освоения настоящего в его неотрывности от глубины минувшего. Отсюда уверенность и распорядительная сила негромкого авторского слова, которая надежно страхует гранинскую «историю» от внезапного неподчинения «контролю» и утраты «чувства меры».

Иначе говоря, литературный (а за ним или в его основе гражданский, философский, да и просто житейский) опыт, как мы видели на примерах Гранина и Зальгина, особенно пристально рассматривает связь времен в ее духовных проекциях, не слишком налегая на броское красноречие «формы».

При этом художественная мысль, смещившаяся в глубь жизненных процессов, не нарушает их естественного хода, и потревоженному ею миновшему дано оста-

ваться в «рабочем состоянии», то есть в состоянии проникающего воздействия на человека, который и хранит опыт и наращивает его, двигаясь в потоке своего исторического времени.

Вряд ли будет чересчур смелым предположение, что образ протяженного Времени, ныне столь популярный в литературе, есть одно из обнаружений гуманистической концепции, согласно которой в человеке «все начала и концы» (М. Горький), концепции фундаментальной, классической и предполагающей ее дальнейшее освоение.

Искусству свойственно утверждать «связь всего со всем» не декларационно или трактатно, не через свод иллюстраций к тезису, а через человека, чья принципиальная неисчерпаемость принимается за исходное. Конечно, в теории все это выходит просто. На практике очевидный вроде бы постулат о неисчерпаемости может оказаться и не постулатом вовсе, а искомым. Сошлюсь для примера на столь памятный нам по недавним еще театральным сезонам тип «производственной» драмы, где персонажи-антагонисты, ввергнутые в пучину технологического, допустим, конфликта, оставались и нравственно неподвижны и нравственно неотделимы от занятых позиций. То есть личность поглощалась позицией, по сути, без остатка. По дружному признанию критики, нынешние драматурги и режиссеры все реже выводят на подмостки подобного рода нерасторжимые пары. Примелькались? Жизнь подсказаны более разветвленные конфликты? Отчасти такое объяснение разумно.

Ну а если вновь вернуться к концепции человека? Легко ли совместить принцип неисчерпаемости с заведомой и жесткой прикрепленностью персонажа к амплуа, функции, в рамках которой личность практически исчерпана? Создатели «технологических» драм, а равно повестей, романов, сценариев умели обходить такие вопросы стороной.

Но вот в движении и взрослении времени была пройдена некая неуловимая грань, за которой персонажи-функции стали восприниматься как чистый анахронизм. Их никто не «отменял», на них даже критические стрелы сыпались немногим гуще прежнего (общими любимцами критики они никогда не были). Просто исчез или сильно «засквозил» тот заслон из сугубо деловых,

ведомственных, отраслевых и т. д. проблем, за которым отсиживался персонаж с репутацией (прогрессиста или, напротив, зажимщика), но без характера.

Практические, деловые проблемы не отступили в тень и не утратили своей остроты, они только пропустили вперед себя делового человека, озабоченного ими. Оказались при нем, а не он при них. Отсюда не следует, что «производственные» драмы, повести, романы эстетически накренились в сторону усложненного психологизма, живописания душевных сломов и т. п. Нет, произошло другое: взгляду авторов открылась та самая конфликтная вертикаль, о которой шла речь в начале этой статьи.

Если нужны примеры, можно сослаться хотя бы на памятных нам «консерваторов», противостоящих бригадиру Потапову («Премия» А. Гельмана) или Виктору Лагутину («Сталевары» Г. Бокарева). В этих «консерваторах» по ходу конфликта размораживается их человеческая суть, пробуждается чувство стыда за творимую ими неправду, их гражданское и профессиональное сознание стягивает с себя груз рутинного навыка.

Понятно, что в такого рода сюжетах проблема Времени мало тревожит персонажей: им не до нее. Да и мысль авторов здесь почти не выходит на уровень общеполитическо-эстетических категорий. Но, добравшись до внутреннего человека, поддержав его силой писательской убежденности, признав за ним право на решающий голос, авторы, таким образом, ввели в свой сюжет тему связи времен. Опосредованно, разумеется.

Прозаики, о которых у нас шла речь, вводят и трактуют ее программно, развернуто, а подчас пафосно и философично. Тема эта в их произведениях внятно и сильно заявляет о своей непреходящей остроте и актуальности. Причем у авторов молодых подчас заявляет излишне демонстративно.

Впрочем, такова, пожалуй, обратная сторона горячей и острой «программности» в подходе к широкой философской теме (не говоря уж о литературной молодости авторов).

И совсем удивительны перенапряженность, ломкость формы в тех случаях, когда поставленный под ударение принцип сопряженности времен недоосвоен, удивительна и некоторая связанность (целевым заданием!) героев, упорно собирающих себя по родословным линиям.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Николай Воронов. Правда человеческих отношений.— Юрий Домбровский. Начало пути.— И. Питляр. Во власти впечатления.— Л. Лиходеев. Позволяет надеяться.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Резниченко. Проверено в космосе.— Р. Баландин. Город глазами геолога.

Литература и искусство

ПРАВДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Владимир Мирнев. Перелетное время. Повести и рассказы. «Современник». 1976. 413 стр.

Давним свойством литературы является ее стремление исследовать личность в пору, когда она пытается постичь себя и собственное назначение, определить свою взаимосвязь и свои противоречия с другими людьми, с народом, со всем существующим миром. Как личность сложилась, куда она движется и что ей необходимо, чтобы быть счастливой, полноценной? Это стремление литературы формируется и определяется многими нравственными, философскими, социальными причинами. Одна из них — изображение и осознание опасностей, пагубных для личности, а следовательно, в чем-то и для определенного класса, для нации, для общества, для всего мира. Важно помнить: что бы ни сделал один из нас, деяние с вероятной неизбежностью склонно повториться в подобных поступках других людей, да и не только повториться, но и вылиться в действие эпидемической распространности. Для литературы этот результат — и как локальное, замкнутое на самом себе последствие, так и последствие, в котором заложена своего рода реакция ядерного деления.

Понятно, говоря об этом, я имею в виду литературу, которой чужды развлекательность, умиленность, радостное, на грани эйфории ускользание от забот человека и народа. Глубокая литература, насыщенная исканиями, страстями, болями, а в конечном счете огромными обретениями, создается серьезными художниками. Эти слова читатель наверняка отнесет к произведениям классическим, во всяком случае утвердившимся и принадлежащим признанным писателям. Я же поведу речь о новом писателе Владимире Мирневе, авторе трех книг повестей и рассказов: «Скорый поезд» (1973), «Крутой месяц» (1974) и вот — «Перелетное время». Новый, потому что его произведения отмечены примечательной индивидуальностью стиля и жизненного содержания.

Свой третий сборник повестей и рассказов, составивший полносезный том, Владимир Мирнев назвал с метафорической загадочностью. Только прочитав его, понимаешь, что перелетное время для его главных героев — это время отрыва от поля привычного существования, недолгое

движение в пространстве иных чувств и размышлений, посадка в неожиданных для их восприятия широтах бытия. Но этим не исчерпывается метафора. Для некоторых из героев это и перелет судьбы, не сопровождающийся, увы, исполнением надежд. Судьбы, которые не состоялись, не просто печалят автора: они — его страдание, отсюда у Мирнева такая истовая пристрастность к теме ответственности за жизнь человека и перед жизнью вообще. В повести «Галюшкин» героя, заводского мастера, начинает одолевать неопределенное волнение, за которым — потребность самопонимания и осознания всей жизни. Однако было бы опрометчиво и фальшиво утверждать, что в любом и каждом человеке пробуждается неотвратимая потребность в самопонимании и в осознании того, что есть жизнь. Галюшкин настолько чист душой, что и при полной невинности своей способен виноватить себя. Он настолько доброжелателен, что невольно впадает в самоуничижение. Он так порядочен, доверчив, скромнен, что не догадывается о неверности жены, ни в чем не смеет стеснять ее волю, даже в том, что она не хочет иметь детей.

Толчком, который ввел Галюшкина в состояние перелетного времени, послужил случай на уроке истории: учитель Виктор Васильевич с присущей ему бестактностью стал совестить Галюшкина, высокопарно предложил ему «подумать о жизни». Ничего нет в том исключительного, что надутый кривляка «проработал» благородного скромника, стал поучать человека высокого духовного строя, пусть и малограмотного, замotanного работой, ученьем, бытовыми неурядицами. Для повести важно, что это был толчок: Галюшкин действительно задумался над жизнью.

А жизнь сама все обостряла и обостряла это новое в душе героя. Вдруг обнаружилось: его Валя носит крестик. Вдруг Валя, не желавшая рожать, заявила, что хочет иметь ребенка, но на консультации у женского врача узнала, что дети у нее вряд ли будут — испортила организм абортami, а ходила она на аборты по собственному произволу. Галюшкин принимает вину на себя. По наивному добротству он думает, что рядовой врач ошибся и необходим особый доктор, знаменитый, он скажет точно, а если понадобится, и вылечит Валу. Галюшкин вспоминает, что на целинных землях работал с Баренцевым, с которым они были как братья. Этот Баренцев

теперь доктор, и у него собственная легковая машина «Волга», уж он-то им поможет обязательно. Но не сбылась надежда: оказалось, что доктор-то он доктор, но не медицинский, а в области физики. И Галюшкин испытал разочарование — горько не только то, что Баренцев не в силах им помочь, горько равнодушие Баренцева, забытое им чувство трудового братства. С нежной жалостью Галюшкин говорит, что жизнь огромная и не надо по мелочам ее тратить, по-малюсенькому. И много еще у Галюшкина было на душе, да высказать всего не умел. Понимание того, чем была охвачена душа, явилось позже, на улице: «Он шел, не торопясь, и внезапно со всей ясностью и определенностью ощутил огромный мир, покоившийся вокруг него и в нем самом, и чем яснее и определеннее понимал и чувствовал весь этот мир, землю и небо, тем ему становилось все более и более озабоченней. Нет, не будет ребеночка, своего ребеночка...»

Владимир Мирнев не старается «раскавычить», какой же в деталях смысл жизни открылся Галюшкину. Галюшкин ведь не мыслитель, умеющий формулировать движения своего внутреннего мира. Мы присутствуем не столько при взлете его понимания, сколько при взлете его чувствования. Но писатель таким «нелобовым» усилием свойственного ему искусства приводит к важным мыслям самого читателя. Да, «самоублажение», став жизненной целью, ведет к одиночеству. Да, страшна утрата великого чувства — чувства продолжения рода. Существовать рядом, но в разобщенности — не это ли одно из самых опасных свойств человеческого отчуждения.

Важно в связи с этим подчеркнуть: Владимир Мирнев редко возлагает вину целиком на какого-то отдельного человека. Взаимность вины, общность вины — вот что он рисует и редко упускает из виду. Отношения между людьми вырабатываются как обществом, так и личностью, частное, личное закрепляется (или отвергается) коллективным «тиражированием» определенных отношений. Нельзя дать сладостному индивидуализму, эгоцентрической самопоглощенности привиться среди нас — об этом Владимир Мирнев говорит с душевной проникновенностью, являя тем самым собственную зрелость гражданина и писателя.

Сущность жизни определяется прежде всего ее духовными ценностями. В повести «Галюшкин» это внимание к душе друг

друга, в повести «Дом на Северной» это верность любви как одна из высочайших вершин жизни. Страшно потерять верность любви. Глупо затоптали свое юношеское чувство Сергей Мирошин и Зина. И вот он встречает ее, когда Зина уже замужняя женщина, мать семейства. Прежнее чувство, притушенное разлукой, запольхало в них, да... Он готов оставить жену и сына, потому что мир без Зины и ее любви обесценился для него, а вот она не в состоянии оставить мужа: он болен туберкулезом, погибнет без нее. В конце концов гибнет сама Зина... Виновен в катастрофе и Сергей. Но опять-таки необходимо подчеркнуть, что автор настаивает на взаимной ответственности героев, самим движением их отношений он приводит к суровому предупреждению: мы порой сами обесмысливаем ценности жизни, убиваем свое счастье легкодумностью, тупым эгоизмом.

В повести «Обвал» идея ценности жизни получает у Мирнева, может, наисерьезнейшее толкование: жизнь — в том, на что и ради чего ты ее расходуешь.

...Буран в горах свел троих — шоферов Саева и Дарина, а также охранника Панкрата по прозвищу Домкрат. Вместе они ищут спасенья. Судьба, характер, убеждения каждого из них искусно проецируются в их поступках. Узнаем Николая Саева — справедливого, прочного, мужественного человека. Нас коробит беспокойная осмотрительность Панкрата — трус он, что ли? Открывается его история: однажды Панкрат, когда был караульщиком, доверил ружье соседу, а сосед, вместо того чтобы пугнуть мальчишку выстрелом в воздух, ударил прямо в него. Соседа посадили, а Панкрату дали год условного заключения. Он покинул Тульщину и приехал в горы, где охраняет машины с рудой. И здесь страхлась неприятность — из-за сложного, странно запутанного дела его сейчас вызывают в милицию. Считаясь по заснеженным горам, бедолага голодают, а могли бы убить архаря и подстрелить куропатку, если бы Панкрат не скрыл, что с ним пистолет с обоймой патронов...

Дарин, этот бросающийся в глаза своей смелостью, щедростью, начитанностью человек, нечаянным образом обнаруживает пистолет у Панкрата, в приступе безудержного негодования поносит его последними словами. Оглядка Панкрата, утайка пистолета возмутили и нас, и мы нестрогим судом Дарина за издевательские насмешки в ад-

рес Панкрата. Согласны мы и с укором Саева: «...мы с голоду умрем, а пагроны пусть живут целехонькие?»

Но вот все пристальней сопоставляешь поведение Панкрата с лихой безоглядностью Дарина («Я люблю идти и идти все время вперед и назад не смотреть никогда. Иначе не стоит идти вперед») — и почему-то все смягчаешься к Панкрату, пожилому человеку, фронтовику, многодетному отцу. Потому что он подорвался на доверчивости, у него пятеро ребятишек, он пытается дать образование старшему сыну. Он понимает тишину еще с фронтовых лет: «...в покое всем хорошо, в покое люди любят друг дружку. И мужиков и баб. А как нет покоя, над бабами начинают измываться, над всем, что послабшее». Он в голоде и тяжелых блужданиях по горам не теряет способности к восприятию красоты, не перестает любить родную землю: «...какая наша Россия, какая она тихая да зеленая, да спровористые мужики в ней какие!» А что Дарин? Он живет в свое удовольствие, никому не помогая, ни о ком не тревожась...

Именно Панкрат спасает в горах Саева и Дарина. Вот и оглядка, вот и остраска! И то, что на минуту мелькнуло в мыслях о Панкрате — трус, мешанское отродье, пресмыкающееся ради благополучия семьи перед любым человечешкой, — теперь мы со стыдом отвергаем, порочен торопливый суд! И с Дариным несколько поторопились — казался чистым романтиком, хлестко язвил над всяческой патетикой («Кто тогда будет гореть священным пламенем жизни?»), а вот что-то в нем... что нам его блестящие черты, если они так явно идут от индивидуалистической природы, в заботе о сугубо личном, все для престижа. Здесь случай независимости человека, который обособил себя от общества до островного существования в его среде, однако за этим обособлением нет плодотворной идеи, а есть стихийный отрыв мудствующего себялюбца от людского материка.

Дарин не исследован автором со свойственной его манере дотошной многоаспектностью. Не потому, что тип такого человека-«острова» еще не сложился, — он сложился, но пока не стал объектом пристального интереса писателя. При всей своей обманчивой простоте, при том, что он способен испытывать муки, чаще физические, чем нравственные, Дарин все-таки обладает редкостной прочностью. Но эта прочность не вызывает теплоты чувства. Оно у Вла-

димира Мирнева для героев, которые находятся в мучительном поиске собственного предназначения, не выносят ложной условности в делах, помыслах, чувствах, которые готовы трудиться, служить высоким целям «до дней последних донца». Таков механик Зубков из рассказа «Отъезд», учитель Смежиков в рассказе «Над тетрадью».

Всеохватность человеческого мировосприятия волнует Владимира Мирнева, воспринимается им как сущность духовной жизни. В этом писатель (как и его герой из рассказа «Бесконечные струны Пряжина») усматривает всеиллие и несокрушимость нашего бытия. Одна из черт этой духовности — вечная тяга к родным местам, нежная память о близких, которых уже нет на земле. Федор из рассказа «Маленькие ботинки» едет из армии, и хотя родных уже нет в деревне Лебяжий Пух, он не может не сойти на заветной станции. И встает в памяти горькое прошлое их семьи. Зима, когда отцу нельзя было выходить из избы на улицу (во время войны, под Варшавой, у него открылась «мокрота», но он не подумал лечиться, пока не взял Берлин). Младший брат Ваня мечтал о новых, черных, блестящих, с золотистыми шнурками ботинках — ботинки ему купили, но он даже не успел их примерить, умер. Мать, маленькая, скуластенькая, с волосами, стриженными под «ежик», у которой вся жизнь одна бесконечная трудовая страда. Отец, мать, брат — они были печалью Феდიной судьбы. И то, что он как бы встретится с ними в отлетающих годах своей нелегкой юности, — это для героя Владимира Мирнева великая и возвышающая душу потребность. Столь трепетно написанная причастность

Федора к прошлому семьи есть и причастность к истории страны в пору ее скорби и подвига.

Два года назад произведения Владимира Мирнева удостоились в «Литературной газете» доброго отзыва И. С. Соколова-Микитова. Замечательный русский прозаик отнес к достоинствам молодого автора его умение изображать живые народные характеры, красоту природы России, любовь к людям. Судя по книге «Перелетное время», достоинства прозы В. Мирнева окрепли и углубились. Нельзя не добавить, что и тематически их пределы раздвинулись. Некоторую замедленность — от чрезмерной основательности — течения повествования Мирнев начал преодолевать, однако на этом сложном пути его ждут новые усилия. По-прежнему, как представляется мне, не всегда достигается им изобразительная соразмерность в авторском языке и в языке героев. Увы, покамест сочной, сжатой, стремительней, красочней язык персонажей. За этим легко просматривается сельская биография автора. Она же, океански необозримая речевая стихия деревенского языка, самодовлеющая в стилистике Мирнева, порукой тому, что ему есть чем подпирать силу собственно авторской речи.

Книга Владимира Мирнева оставляет впечатление, что, крупно проявив черты профессиональной зрелости как в идейном, так и в стилевом отношении, писатель находится в состоянии творческого разбега, который предполагает у него серьезный запас еще не початой энергии таланта.

Николай ВОРОНОВ.



НАЧАЛО ПУТИ

С. Родионов. Не от мира сего. Повесть. «Простор», 1976, № 1.

Т. Хлопьянкина. Здравствуйте, уважаемая редакция. Повесть. «Простор», 1976, №№ 7—8.

Н. Сафонов. Белка. Рассказ. «Литературная Россия», 1976, № 3. Соперник. Рассказ. «Сельская молодежь», 1977, № 2.

Три молодых человека из разных концов страны, пишущих на разные темы, предстали перед судом читателя. Поначалу кажется, что только это их и объединяет. Однако же их связь и глубже и органичнее.

В литературе, как известно, скидок не положено. Не каждому молодому, разумеется, дано начинать с «Детства» или «Бедных

людей». Но что-то свое, не похожее на все прочитанное ранее, молодой автор обязан предъявить читателю при первом же своем появлении. И вот это обязательное условие все три автора, на мой взгляд, выполняют. Их произведения пластичны, своеобразны, хорошо построены. Их интересно читать.

В. Шукшин, предвзято как-то публикуя одного молодого прозаика (Е. Попова), писал, что его больше всего привлекло умение автора подмечать «трудноуловимое состояние людей, когда они еще в поисках лучшего места, в нешуточной борьбе за человеческую жизнь и еще должны только породить исторически стойкое потомство». Именно вот эти качества — умение подмечать состояние внутреннего роста человека в сложном и часто противоречивом процессе борьбы и становления — и делают столь привлекательными и интересными произведения трех молодых авторов.

Повести С. Родионова «Не от мира сего» и Т. Хлопянкиной «Здравствуйте, уважаемая редакция» посвящены вопросам права и морали, точнее — соотношению права с моралью. Вот как развивается сюжет повести Родионова. Молодому следователю прокуратуры звонит неизвестная и сообщает, что по такому-то адресу находится труп женщины. Следователь, настроенный не слишком серьезно — ему уже звонили с утра, и предлагали свежие батоны, и напрашивались на знакомство, — шуточно спрашивает, чей же это труп. Мой, отвечает трубка. Вот разыграли так разыграли, думает следователь. Он сначала сердится, потом смеется, а напоследок даже как бы включается в эту странную игру. Но вот неизвестная говорит: «Моя мама на даче, будет только завтра. Я хочу, чтобы вы приехали и все оформили до нее. Пусть она не видит... Записку я написала... виноватых нет... Дверь я оставляю открытой, чтобы не ломали, только приезжайте поскорее, не хочу, чтобы входили посторонние». И тут следователь сразу понимает, что это совсем не розыгрыш, а что-то очень страшное, он звонит в милицию, потом в «скорую помощь» и наконец, не выдержав, сам мчится по названному адресу. Поздно. Дверь точно не заперта, а в красном углу у окна висела женщина. На столе на чистой белой скатерти записка и паспорт... Она все приготовила, словно знала, что для отыскания причин самоубийства необходим паспорт, а для составления протокола нужен чистый стол. Все! Больше в этой комнате пока делать нечего. Теперь Рябинин вправе вызывать и допрашивать свидетелей, вытребовать и изымать документы, искать подозреваемого, то есть производить следственные действия... Но обстоятельства таковы, что не больно-то подходят для возбуждения уголовного преследования. Покойная, моло-

дая красивая женщина Рита Виленская, работала в научном институте, ни от кого материально не зависела и никаких служебных неприятностей не имела. Да и в записке сказано прямо: виновных нет. И однако, сопоставляя обстоятельства, вызывая свидетелей, проникая все больше и больше в психологию Риты, присматриваясь к условиям ее работы и окружению, следователь добирается до истинного виновника. Им оказывается человек, который до того не только был вне всяких подозрений, но о существовании которого следователь и не догадывался.

Детектив, который решался вначале как задача со многими неизвестными, — они снимаются одно за другим по мере развертывания событий — превращается в психологическую драму. И вот тогда и оказывается, что автор задумывал и не детектив вовсе, а произведение о моральной ответственности человека, той самой ответственности, которая в уголовном кодексе никак не обозначена и санкций не имеет. Однако легче от этого следователю не становится. Он понимает, что «негодяй» — слово такое страшное, что иногда и слово «преступник» блекнет перед ним.

Повесть называется «Не от мира сего». Однако эти слова относятся не к покойной, а к виновнику ее гибели. Это он человек не от мира сего. А ведь ни о чем худом режиссер телевидения Макридин не помышляя, он просто отдал на растерзание и осмеяние счастливой сопернице Риты, своей жене, единственно сокровенную тайну покойной — любовь к нему. Рита ему стала просто не нужна, так почему же не покрасоваться под конец и не пококотничать своей неотразимостью. Вот он сидит в кресле перед следователем, высокий, благожелательно улыбающийся мужчина в желтой кожанке, с полированными ногтями и хромированной зажигалкой.

«Виленская покончила с собой из-за вашего предательства», — говорит следователь.

«— По-моему, — нравоучительно сказал режиссер, — слово «предательство» в этой истории неуместно.

— Почему же?.. Сначала вы предали жену... потом — Виленскую.

— В моих действиях нет состава преступления... — он уже проконсультировался. — Надеюсь, эта история на моей работе не отразится... А то вот так вплинешь в историю из-за человека, который не от мира сего...

— Обязательно отразится! — крикнул Рябинин. — Я завтра же поеду на студию и сообщу начальству. Я соберу ваш коллектив и все расскажу ему. Я пойду в газету и покажу дело корреспонденту...

Макридин кинулся к двери и выскочил вон».

На этом и надлежало бы закончить повесть. Но, к сожалению, автор продолжает: «Рябинин встал и медленно вышел в коридор. У стены стояла Шуручка (подруга покойной. — Ю. Д.).

... — Мы... едем на кладбище, — сообщила Шуручка.

— Я поеду с вами, — сказал Рябинин».

Вот это уже явный перебор, сочинительство, от которого В. Шукшин предостерегал молодых авторов. Стремление к максимальной выразительности, закругленности, к броскости приводит Родионова иногда и к более существенным просчетам и потерям. В прокуратуре кончился трудный рабочий день. Следователь Рябинин сидит «опустошенный, помятый, ко всему равнодушный от усталости и нервного перенапряжения». Очень понятное каждому состояние. Ничего к этому прибавлять не следует, но автор прибавляет. «Он думал о том, как люди покоччат с мировыми и локальными войнами и объявят войну своим недостаткам. И это будет война последняя. Но думая об этом, приходилось много фантазировать, а неточности Рябинина раздражали».

Да, неточности везде, в литературе же особенно, вещь нехорошая, а автор в этом месте очень неточен. Ведь невозможно же, в самом деле, представить, что мысль о переустройстве общества и личном самоусовершенствовании человечества приходит к следователю именно сейчас, в минуты его смертельной усталости и равнодушия ко всему. И добро бы, если бы Рябинин был еще одержим этой мыслью, вынашивал ее, говорил о ней, а то ведь она мелькнула и исчезла, не оставив в повести и следа.

Не все ладно и с образом Риты. Ее звонок к следователю, скорбный и деловой разговор с ним по телефону, письмо к матери, соображение о том, что все надо убрать до соседей, — все это достоверно. Но вот как говорит о покойной ее лучшая подруга: «Принца ждала под алыми парусами. Говорила, что умного, сильного, смелого, доброго ей мало. Необыкновенный должен быть, как Гамлет». Принц, алые паруса, Гамлет — это что-то уж совсем не то. Это действительно не от мира сего. Конечно, подруга, возмож-

но, ошибается или что-то скрывает, но вот дневниковая запись самой покойной: «Мой человек горд, независим и живет идеей. Он хочет слетать на Венеру, найти лекарство от рака, сложить своими руками невероятный дом, вырастить на скалах сад... Он всегда с кем-то борется и страдает, поэтому лицо покрыто ссадинами, а глаза горят злым непримиримым светом... Покажите мне его, моего человека». Здесь особенно замечательно это «покажите мне». Образ Риты после таких откровений начинает расплываться, двоиться и терять свою первоначальную достоверность. К счастью, таких мест в повести немного и дело, в конце концов, не в них, а в той опасности, которая подстерегает молодого автора, и имя этой опасности — литературщина. Родионов — талантливый рассказчик, он умеет построить и крепко завязать сюжет, читателя он все время держит в напряжении, притом что действие повести развивается прямолинейно и просто, без нагромождения случайностей, без нарочитой путаности и ложных ходов. Удаются ему и характеры. В его героев веришь, но до тех пор, пока живые люди не начинают подгоняться под некий стандарт. Нет, великое это дело в ремесле писателя — уметь вовремя поставить точку.

Произведение Т. Хлопьянкиной «Здравствуйте, уважаемая редакция» в этом отношении почти безупречно — тут все стоит на своих местах и ничего лишнего. В повести описан почти по часам день одной областной газеты, выходящей где-то в Казахстане. Все действие вращается вокруг довольно таки непримечательного для редакции эпизода.

В центральном органе, газете «Известия», появилась заметка «Аэропорт на замке». Не касаясь ни виновников, ни причин, газета отметила как нечто нелепое и недопустимое то, что строительство нового аэропорта не то заморожено, не то прекращено вовсе. Заметка эта вызвала растерянность среди сотрудников редакции областной газеты, так как они некоторым образом были причастны к «замораживанию». В свое время газета поместила сочувственную статью о новом проекте аэропорта и его авторе Марлене Широкове, человеке энергичном и талантливом. Несколько позднее вдруг потянуло иным ветерком. Некое авторитетное лицо (тут часто, хотя и мимоходом, упоминается имя главного архитектора города) сначала назвало методы строительства плодами гигантомании автора, а потом вообще поста-

вило под сомнение все строительство. Стоит ли, мол, создавать новый аэропорт, когда старый после необходимой реконструкции способен удовлетворить нужды города. И вот областная газета добилась того, что строительство законсервировали. Время шло, история стала забываться и забылась бы вовсе, не появившись в «Известиях» вот эта недоуменная заметка.

Положение после нее оказалось запутанным. В редакции думали-думали и решили все свести на нет — провести интервью с архитектором Широковым под рубрикой «Мир увлеченного человека» и этим исчерпать вопрос. С таким заданием посылается к Широкову молодая сотрудница из отдела писем Нагима Сапарова, девушка только что со студенческой скамьи. Она встречается с автором проекта, всепонимающим, мудрым, усталым и доброжелательным человеком, и тут вдруг ясно видит, что, собственно, писать-то ей не о чем. «Какое может быть интервью, — говорит она, возвратившись, — мы извиниться перед ним должны, а не интервью».

Кончается повесть тем, что в редакцию звонят из московского журнала и заказывают заведующей отделом талантливой и умной Лена Болотовой очерк о творчестве архитектора Широкова. Лена соглашается. Статью готовили в нашем отделе, говорит она, я готовила. Хотите, я напишу все, как было?

Таков сюжет повести. На эту же тему, то есть тему моральной ответственности газетчика, несколько лет назад был написан роман Л. Жуховицкого «Остановиться, оглянуться...». Там герой романа, автор фельетона, заклеившего изобретателя нового лекарственного препарата как недоучку и шарлатана, в конце концов тоже организует статью, в которой воздается должное талантливому ученому.

В повести «Здравствуйте, уважаемая редакция» схожее решение. Однако если у Жуховицкого ответственность узкоиндивидуальна, то в случае, изображенном Хлоплянкой, нет одного виноватого: кто-то посомневался да смолчал, кто-то рьяно кинулся выполнять задание — и положение получилось парадоксальное: охраняя государственные средства, газета своими неуклюжими выпадами содействовала их разбазариванию, и сделала это так, что теперь и спрашивать не с кого. Все правы, потому что все виноваты.

Мне кажется, что Т. Хлоплянкина высту-

пила с актуальных и нужных нам позиций. Ее повесть хорошо написана, образы героев яркие. Запоминаются и скромная, трудолюбивая Нагима, старающаяся своим умом дойти до сути, и обаятельная, бедовая, быстрая на ответы и работу Лена Болотова, и автор спорного проекта архитектор Марлен Широков. Послушайте, как Широков просто, доступно, с неповторимыми живыми интонациями объясняет Нагиме Сапаровой суть проблемы. «Понимаете, спор-то наш с главным архитектором — очень давний. Чтобы его разрешить, нужно учитывать массу самых разных вещей. Как растет наш город, в какую сторону он растет. Во сколько может обойтись строительство дороги и как быстро она окупится... А откуда газетчику все это знать?.. Вас торопят. Статья нужна завтра, послезавтра, в конце недели. И ничего не ведающая, честная, хорошая девочка произносит решающее слово в споре. До поры до времени она не понимает, что натворила. Потом начинает понимать. Но кого ей винить? Себя? Но ведь ей — поручили, приказали. Других? Но ведь писала-то она. Не дай вам бог очутиться в такой ситуации».

Приходится извиниться за столь обширную цитату, но она необходима, потому что именно тут особенность дарования Т. Хлоплянкой (журналиста по профессии) выступает с особой отчетливостью. Важно и другое. В этой цитате изложена и основная мысль повести: именно эти люди — Нагима, Болотова, Широков, — смелые, добрые, честные, несмотря на все препоны, которые им ставит жизнь, на их ошибки, гарантируют то, что правда в конце концов обязательно победит. В конце концов... Не очень-то это веселые слова, но произносить их иногда приходится. Умная, задорная, по-своему жестковатая повесть Т. Хлоплянкой напоминает и об этом.

Третий из молодых авторов, на котором хочется остановиться, Николай Сафонов. У этого писателя своеобразная литературная судьба. По образованию он юрист, долгое время состоял в коллегии защитников, участвовал во многих процессах, заочно кончил Литературный институт, специализировался по Сименону. Читатель, может, обратил внимание в № 11 «Нового мира» за 1976 год на его небольшую рецензию об этом своеобразном прозаике, создателе нового психологического детектива. Вопросы права и морали, их взаимосвязь, нарушение и воздаяние, вина вольная и невольная за-

нимают в творчестве Сафонова очень большое место. Однако в двух небольших рассказах, о которых пойдет речь, автора интересуют совсем иные проблемы. В первом из них — «Белке» — рассказывается о жизни и смерти высокопородистой собаки, о ее любви к беспризорному, бесправному дворовому псу Батику. Небольшая новелла эта на первый взгляд кажется странноватой. Это тот не столь уж частый в нашей литературе случай, когда через реалистическую ткань спокойного повествования вдруг начинает проступать второй план, тревожный, не совсем понятный и едва ли не фантастичный.

Рассказывая о «любви» животных, автор верит, что собакой руководит настоящее чувство, и мы готовы согласиться с ним. Ведь одно из главных исконных свойств человека — это способность очеловечить все, с чем он соприкасается. В рассказе Сафонова собаки разговаривают, сообщают друг другу новости, предостерегают от опасностей. «Батик ей (Белке.— Ю. Д.) рассказывал однажды, как ловили его, но тогда ему посчастливилось улизнуть. Два раза в жизни такого везения не бывает». Появление этих строчек и подобных им в тонком элегическом рассказе Сафонова вполне закономерно. Ведь, кроме всего прочего, животные действительно умеют предупреждать друг друга. Очевидно, на таких основах и создаются волшебные сказки или «фантазии в манере Калло». Горькая история любви и гибели Белки и Батика как будто сошла с кадров фильма Образцова «Кому он нужен, этот Васыка!».

Второй рассказ Сафонова посвящен тоже любви, но уже человеческой, и называется «Соперник». Впрочем, правильнее, если бы это слово стояло во множественном числе — соперники. Тут, по сути, два внутренних монолога двух смертельных врагов, которые никогда не встречали друг друга. Один из них удачливый, другой нет. Но и удачливому сопернику никак не назовешь счастливым. Он все время терзается тайной ревностью. Отвергнутый же тих, застенчив, а часто и попросту смешон. Его неуключие попытки блеснуть, победить свою робость и перейти к более близким отношениям просто комичны. Женщина читала его восторженные, запинающиеся письма и смеялась. Но вот однажды наступил такой день, когда все, что вначале влекло ее и ослепляло, казалось силой, мужеством,

оригинальностью, поблекло и стало бесильным перед тихой человеческой нежностью и настоящей робкой любовью отвергнутого. И тут уже несчастным оказывается победитель, вернее, завоеватель. Он ничего не в силах изменить. И прежде всего потому, что ему не с кем и не с чем бороться. Враг не только неотразим, но и непоражаем, потому что его как бы и не существует вовсе. Он уже не лицо. Он память. Память сердца, и только.

Но и соперник тоже несчастлив, и не только потому, что понес невозвратимую утрату, но главным образом оттого, что он и не подозревает о своей победе и своей силе. Единственное, что принадлежит ему, это прошлое, воспоминания. Ими он и живет. «В день ее рождения я прихожу домой один... даю волю фантазии и разговариваю с ней. Я так вхожу в роль, что порой забываюсь, и тогда мне кажется, что я разговариваю с живой, а не с выдуманной, и ее можно потрогать рукой, провести пальцами по лицу, зарыться в ее волосы... Хорошо еще, что тринадцатое февраля бывает раз в году, а то бы я только то и делал, что справлял ее день рождения, и у меня была бы не жизнь, а сплошной праздник». Сказано, разумеется, это не больно весело, но, с другой стороны, совершенно правомерна и фраза, которая кончает и исчерпывает рассказ: «Не будь ее, не было бы у меня и праздника, праздника, который она подарила мне на долгую жизнь». Кто прав, кто виноват в этом споре? Кто счастлив, кто обойден судьбой в кружении сердец? На этот вопрос нет и не может быть однозначного ответа. Ведь искусство имеет дело с такими проблемами бытия, которые и понять бывает трудно и исчерпать невозможно. Поэтому они и называются проклятыми, мировыми, вечными. К одной из этих вечных проблем и прикоснулся Н. Сафонов.

Как видим, все эти произведения молодых авторов посвящены вопросам морали. И ставятся социально-нравственные вопросы на большом, разнообразном материале, на широком жизненном фоне. Это то главное, что можно сказать, представляя читателю три новых имени. Вопросы, которые они ставят, правомерны. Но отвечать на эти вопросы им потом придется всю жизнь.

Впрочем, что же? В этом-то и заключается профессия и назначение писателя.

Юрий ДОМБРОВСКИЙ.



ВО ВЛАСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Юрий Щеглов. Когда отец ушел на фронт. Пани Юлишка. Повести. М. «Советский писатель». 1976. 304 стр.

У мальчика во время бомбежки погибла мать. Он «силился восстановить в памяти подробности происшедшего накануне, но не смог». Так до конца повести он и не сумел этого сделать. Как отрезало... Начинается одиссея одинокой и потрясенной детской души. Взрослые люди, которых мальчик встречает во время своих скитаний (во всяком случае, многие из них), полны желания помочь ему — приютить, накормить, поделиться чем можно. Но мальчик (в самом конце повести мы узнаем, что его зовут Юрой) отовсюду бежит. Даже оттуда, где ему хорошо, тепло и спокойно.

Это непрерывное бегство ни к чему доброму, конечно, не приводит: мальчика избивают в пустом вагоне беспризорные подростки, потом в Ташкенте (город не назван, но легко узнается) он попадает в шайку торговцев наркотиками и едва не погибает здесь. Кончается повесть «Когда отец ушел на фронт» все же относительно благополучно. Юра находит приют в горотделе милиции, работникам которого он помог разоблачить преступную шайку хаджи Салима. В самом конце повести мальчик совершает, правда, еще один побег, но сейчас он бежит не один, а с уборщицей милиции Икбол. Вместе они определяются на работу в наманганский госпиталь, и на этом в начале 1942 года кончается Юрино детство.

Откуда все же в маленьком, девятилетнем человеке это странное, непреодолимое стремление к бегству, чем оно вызвано?

Повесть написана от первого лица — от лица ребенка. Сам Юра дает несколько объяснений этому своему свойству: он «продолжал бегство от немцев»; он просто стал «бегунком» по своему характеру; он пытался бежать «от самого себя», то есть от того ужаса, который поселился в его душе.

Юра живет во власти впечатлений, он не может противиться им, и именно они направляют и определяют его алогичные поступки. В детском доме имени Крупской мальчику, к примеру, было совсем неплохо, но вот сюда привезли эвакуированных ребят, он увидел их и «стиснул зубы до ломоты в челюстях и отвел взгляд от мальчика с покалеченными руками. Я не мог смот-

реть на два белых полена, подцепленных на грязных бинтах — одно под другим...». Той же ночью Юра поднялся шпингалетом на окне, спустился по водосточной трубе и «был таков».

Или так, например: на железнодорожной станции Н-ка Юру приютила в своей будке одинокая женщина Прасковья. И здесь ему тоже было хорошо. Но красивая «путейка», как оказалось, охотно и без разбору дарила свою любовь мужчинам, и однажды Юре довелось увидеть, как был оскорблен и унижен один из ее поклонников, безответный Косточок. «Его глаза наполнились переливчатой влагой; слезы не капали, они вздрагивали и мерцали голубизной. Я не мог больше выносить этого», — говорит Юра. И тут же вскакивает на подножку мимо идущего поезда.

Чужое страдание, скорее увиденное, чем почувствованное, становится невыносимым, побуждает к бегству. Такова власть впечатления над этой бедной, израненной душой.

Увиденное и услышанное Юрой писатель передает с большой умелостью, во всем роскошестве красок, звуков, уподоблений. Мог ли в те годы столь ярко и изощренно воспринимать мир маленький Юра или так вспоминает об этом взрослый человек, в конце концов не важно. Автор, наверное, сам понимает, что ребенок не может такими, например, словами передавать свои впечатления: «Старухи синхронно, как по команде, повернулись...»; а вот дальше: «...и, оставляя за собой клубочки пыли, отправились вдогонку за баушкой Матреной» — слова именно Юры. Эти «клубочки пыли» — образ вполне в духе ребенка. Вообще Юра — великий мастер сравнений и уподоблений.

Вот над избитым, больным мальчиком вьется муха. Он пристально следит «за ее маневрами, стараясь предугадать их. Она носилась то на бреющем, то неожиданно кидала свой корпус в пики, то шла на посадку, задрвав переднюю часть и вытянув ноги, как шасси... Когда она взлетала с засекреченного, ей одной известного аэродрома и приступала к маневрам, я слышал отдаленное — тию-тию-тию: это пули на излете впились в землю».

Образ объясним, уместен и закономерен.

Развернутая метафора точно накладывается на постоянное ощущение страдания и боли.

Действие второй повести сборника, «Пани Юлишка», развивается в Киеве (который почему-то снова не назван) перед самым вторжением немецких войск и в первые дни оккупации. Героиня этого произведения — пани Юлишка, пожилая домработница из профессорской семьи, оставленная в городе в надежде на скорое возвращение хозяев для охраны квартиры и ухода за собакой Рэддой.

Вторая повесть написана уже не от имени ее главного действующего лица, но все равно и это повесть, так сказать, «монологическая». Писателя интересует только и исключительно жизнь его скромной героини, и только ее он пытается «воскресить» и скрупулезно исследовать. Герой иной, но способ раскрытия его внутреннего мира тот же, что и в первой повести: через и при помощи изображения внешних впечатлений. На этот раз взрослого человека.

Капля за каплей в душу пани Юлишки проникают сначала некое любопытство, затем отвращение, а потом и подлинная, жаркая ненависть к немцам. Завершается этот процесс своеобразным бунтом героини: приглашенная помогать на офицерской пирушке, которую устраивают в «родной» Юлишкиной квартире, она в конце концов разбивает прекрасную хозяйскую посуду, оскверненную погаными прикосновениями. За что и несет тяжкое наказание: избитая, Юлишка умирает.

Настроение, состояние Юлишки, как то было и с Юрой, всецело определяется тем, что она видит и слышит из своего окна или окна дворницкой, где она поселяется.

Вначале во двор въезжают немецкие мотоциклы. На асфальт прыгивают солдаты в длиннопольх шинелях. Вот один из них, в каске: «Юлишка улыбнулась оттого, что каска напомнила ей гигантского навозного жука». С той поры этого солдата (Юлишке потом пришлось познакомиться с ним и поближе) она только так и называла — «навозный жук». Позже Юлишка увидит, как «навозный жук» выволочит на балкон их квартиры резной шкафа, в котором хранились книги по искусству, и сбросит его с балкона. И он, «кувыркнувшись в воздухе, страшно рассыпающейся грудой смачно хлопнулся об асфальт... Убийство шкафа физически раздавило Юлишку своей безжалостностью. И бессмысленностью». Потом с этого же балкона прыгнула старая

собака: «Рэдда мощно оттолкнулась от скамейки и, перекинув через перила свое длинное породистое туловище, стремглав рванулась вниз, изгибаясь в полете бубликом, судорожно подгребая воздух под брюхо растопыренными лапами». Тут уже не убийство, как было в случае со шкафом, а настоящее самоубийство. Сцена написана выразительно, экспрессивно — и ужас Юлишки, наблюдавшей это, и даже, кажется, «чувства» самой Рэдды невольно передаются и нам, читателям повести.

Юлишка слышит рядом с собой немецкую речь. Для ее ушей это «скрежет болтов и гаек о дно медного таза для варенья», или же «грохот консервных банок, падающих в мусорный бак». Образ точен, нравиться автору, и он часто повторяет его, что уже, наверное, и лишнее.

Примеры можно было бы множить и множить, потому что вся книжка, по существу, написана так — густо, ярко, метафорично.

Однако возьму еще пример, на котором хотелось бы продемонстрировать одно свойство некоторых авторских метафор.

В первой повести Юра едет на «операцию» по поимке шайки на милицейской «эмке». Вот как об этом написано: «Я ждал, что она — «эмка» — вот-вот приподнимет половинки панциря и встряхнет ими, как тот жучок во дворе господина Белоногова, а затем взмоет в небо — к островкам туч, к луне, стрекоча мотором. За ней взмою и я — ведь я нахожусь внутри точно такого жука». Выше приводилось описание немецкого солдата, прозванного Юлишкой «навозным жуком». «Эмка», это славное жужжащее и трепещущее как бы живое существо, мила и приятна Юриному сердцу, а немецкий солдат в каске глубоко противен и Юлишке и читателю повести. Тем не менее и машина и солдат — «жуки», то, что солдат «навозный жук», мало что меняет в эмоциональном плане (кстати, навозный жук — насекомое на редкость красивое). Подобное и еще можно встретить в книге. Видимо, возможность эффектного сравнения пока еще слишком увлекает писателя — порой вопреки смыслу и нравственной сущности сравниваемых явлений.

В книге мало диалогов, редки прямые высказывания персонажей, живая речь. Автор почти не говорит «я увидел то-то и то-то» или, положим, «она услышала то-то и то-то» (конкретно-обычное: дом, стену, свист, крик). Вместо этого непременно по-

является метафора. Любое внешнее впечатление, сталкиваясь с авторским (или его героя) воображением, тут же, как искру, высекает метафору, а она, в свою очередь, вызывает эмоциональный отклик, внутренний толчок, импульс и часто приводит героя к неожиданному поступку. Вспомним, как Юра увидел раненого эвакуированного мальчика с его «белыми поленьями» рук, именно поэтому он той же ночью проснулся от «странного толчка» и «был таков».

Можно сказать, что впечатление, преображенное воображением, здесь почти сразу ведет за собой поступок. И почти никогда оно не превращается в глубокое переживание.

Внутренний мир Юры и Юлишки, в сущности, скрыт от нас, мы его мало знаем. Окружающее наполняет эти живые сосуды своими яркими звонкими впечатлениями. А в целостную картину душевной жизни человека они не слагаются. Похоже, что писатель намеренно отказывается от приемов психологического письма, поставив перед собой цель показывать внутреннее только и исключительно через внешнее и при его помощи.

Думается, что в первой повести, герой которой ребенок, это как-то оправдывает себя. Хотя и здесь не обошлось без некоторого искусственного сужения и без того малого душевного горизонта героя: Юра — мальчик без воспоминаний, почти начисто лишенный предыдущего опыта, душевных переживаний. Он некая чистая дощечка, на которой жизнь пишет свои письма.

Для второй повести пришлось, кажется, специально выбирать героиню — человека очень простой и несложной души, наделенного лишь беспримечной добротой да богатым, чисто детским воображением. Думать, копить, осмысливать, «перемалывать» в душе свои впечатления Юлишка не умеет так

же, как не умел делать это девятилетний Юра. Иногда она, правда, вспоминает о прошлом. Но это тоже какие-то отрывочные цветные фрагменты, отдельные предметы, не складывающиеся в картину, в цельный рисунок характера, в историю прожитой, долгой жизни...

Менее всего мне хочется поучать автора первой книги, книги во многом своеобразной. И уж совсем не хочется уподобляться тем «сбивателям», о которых старый русский писатель сказал однажды, что они все время кричали на него: «Ты не так... ты не туда... Это не тут...»

Задача критика, видимо, не в этом, а в том, чтобы попытаться разобраться в новой для него книге и, если это окажется возможным, помочь писателю «познать самого себя», свою силу и свою слабость. Потому что не остановится же, в самом деле, Юрий Щеглов на своих первых героях Юре и Юлишке. Должны же будут непременно появиться на его пути и люди другого склада — более крупные и глубокие. Люди, может быть, менее импульсивные, но зато больше и интенсивней думающие. Наконец, встанет, конечно, перед писателем и более сложная задача — задача рассказать не об одном только человеке, а о многих и разных людях, соединенных между собой многообразными отношениями. Так, разумеется, и будет. Должно быть. И тогда, наверное, придется найти в самом себе какие-то новые силы и возможности, потому что прежние окажутся тесными и недостаточными. Хотелось бы поэтому пожелать писателю расширить сферу поисков художественных средств, позволяющих глубже, чем прежде, изображать душевную жизнь своих героев, пристальнее вникать в их переживания и размышления, соединяя воедино мысль и чувство, рациональное и эмоциональное.

И. ПИТАЯР.



ПОЗВОЛЯЕТ НАДЕЯТЬСЯ

Николай Булгаков. Я иду гулять. Повесть и рассказы. М. «Молодая гвардия». 1976. 127 стр.

Николай Булгаков появился несколько лет назад неслышно и незаметно. Он работал в комнате шестнадцатой полосы «Литературной газеты», называемой «Клуб 12 стульев».

Сидя на одном из этих стульев, кстати сказать, совершенно не похожем на те, ко-

торые рисуют в газете, а на простом канцелярском скрипучем стуле, Николай Булгаков в непомерной пухлой пачке редакционных писем выискивал зерно для помещения такового в отдел сатиры и юмора.

Разница между тем, как выглядит письмо в юмористический отдел, вынутое из кон-

верта, и то же письмо, опубликованное на странице, такая же, как между стулом, на котором сидит сотрудник, и стулом, который рисуют для всеобщего обозрения. Доведение входящей остроты до исходящих печатных кондиций дело трудное и неблагоприятное. Но именно об этом деле написано немало нежных воспоминаний довольно великих юмористов и сатириков. Никакой университет не может дать литератору того, что дает ему двух-трехлетнее газетно-приходское училище. Потому что в этой школе проходят главное, без чего литератору, тяготеющему к смешному, никак нельзя, — здесь преподают интонацию жизни. Здесь преподают акценты быта и пластику будничных мелочей. Выносливые копают вглубь, невыносливые сочиняют каламбуры. Выносливые остаются в реальном мире, невыносливые уходят в облегченный, фанерный и скрипучий.

И вот вышла книга Николая Булгакова «Я иду гулять».

Всякое сочинение молодого коллеги возбуждает во мне старинный вопрос — есть ли порох в пороховнице? Сочинения старых коллег такого вопроса не возбуждают потому, что я заранее знаю, что пороха у них навалом. Я даже знаю, какой это порох. Потому что у старого коллеги производство давно налажено.

Молодой Николай Булгаков назвал свою книгу по названию основной ее части — повести, помещенной вначале. Он пишет о детстве. Причем не вообще о детстве, а о своем собственном детстве.

Конечно, вопрос достаточно освещен в литературе, даже в юмористической. Разумеется, выставлять свое детство рядом с другими детствами, уже заключенными в золотые переплеты, небезопасно.

Николай Булгаков пишет:

«Художественная литература — вещь, конечно, хорошая. Но сейчас она только с толку сбивает. Напишешь тут о чем-нибудь, а тебе не поверят, подумают: ага, художественная литература. Все придумал. Но ведь и у писателя, выдумщика, однажды может случиться так, что самая для него неожиданная фантазия — это появившееся вдруг воспоминание о том, как каждый день было видно то, что сегодня каждый день не видно...»

Это замечание следует расценивать как взгляд молодого литератора, который после школы решил остаться в реальном мире.

Потому что ничего фантастичнее реального мира для юмористического писателя быть не может. Цветы вымыслов распускаются на натуральных грядках, их орошают натуральной влагой.

Одна из задач юмористического писателя состоит в том, чтобы сделать видным то, что не видно, или неясно видно, или видно, но не точно. Юмористическая литература наиболее далека от фанерных приспособлений. Ей совершенно противопоказано выражение неиспытываемых чувств и страдание от отсутствующих страстей. Юмор есть способ разглядывания самого себя со стороны. В юморе всегда присутствует элемент печали. Ему гораздо более к лицу тихая улыбка, чем рот, полный кондиционных зубов. Зубы можно и вставить, улыбку же не изобразить, потому что это будет гримаса.

Когда юмористический писатель начинает свою жизнь и обмакивает свое первое перо в первые чернила, за его стулом собираются соблазны и искушения. Эта чертовская компания толкает его под локоть и хихикает за его спиной. Она подсовывает ему манерность, сентиментальность, беззаботность — купится или не купится? Клонет или не клонет? Станет его или не станет оглядеться и лично разобраться что к чему?

Можно поздравить Николая Булгакова с тем, что в первом раунде он отбил почти без потерь. Мы читаем его маленькую повесть и видим, что она населена живыми людьми, как был населен ими тот двор, который описан.

Оказывается, мы знали этих людей! Знали мы и старичка из подвала, который теперь уже умер, и дядечку из домоуправления, который никогда не умрет, знали мы и Кольку (не Булгакова Кольку, а того Кольку, который во флигеле). Знали мы и тетю Полинку с ее диким остроумием и заботливой нежностью, беспощадную хранительницу коммунальной справедливости...

Николай Булгаков нарисовал их для нас кратко и точно.

Юмористический писатель постоянно рискует получить вопрос: а сам-то ты каков? Избежать этого вопроса значит сделать полдела.

А избежать его можно только одним способом — начинать с себя. Надо принять удар иронии на себя самого. Надо быть органичным и естественным. И еще необходимо постоянно примеривать на себе действия своих героев: не фальшивы ли?

Мне кажется. Николай Булгаков это по-

нял. Он сам был и дядей, и тетей, и соседом, и приятелем, и самим собою. Рисуя людей, столь не похожих друг на друга, он старался лично удостовериться в их непохожести, а для этой причины переживал то, что переживали они.

Я отметил, что Николай Булгаков отбился в своем первом раунде почти без потерь. Почти. Потому что в коротких рассказах, помещенных вслед за повестью, потери у него есть. В них он иногда допускает до себя манерность — беззаботную велеречивую спутницу юмористической литературы. Но он еще молод. Он в том возрасте, когда спутниц трудно выбирать и можно дать

провести себя на мякине. Важно, чтобы он вовремя спохватился.

Книга Николая Булгакова вызывает интерес тем, что она написана свежими чернилами. Писал ее молодой человек, наделенный собственными глазами и не очень падкий на подражания. Во всяком случае, чтение ее вызывает желание серьезно порассуждать о юмористическом жанре литературы, жанре легком с виду, но обманчивом и мстительном по существу.

И еще эта книга позволяет надеяться на то, что появился новый писатель этого жанра...

Л. ЛИХОДЕЕВ.



Политика и наука

ПРОВЕРЕНО В КОСМОСЕ

«Союз» и «Аполлон». Рассказывают советские ученые, инженеры и космонавты — участники совместных работ с американскими специалистами. Под редакцией Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, члена-корреспондента АН СССР К. Д. Бушуева. М. Политиздат. 1976. 271 стр.

О совместном советско-американском космическом эксперименте в наших газетах и журналах в свое время писали очень много и подробно. Но как убеждает выпшедшая недавно в Политиздате книга «„Союз“ и „Аполлон“», периодика не смогла да и не в состоянии была охватить всего многообразия научной, технической, организационной и практической работы, предшествовавшей полету. Одну лишь упоминание о том, что ЭПАС (экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз») оставил потомкам в наследство свыше ста томов расчетов, проектов, исследований, записок, писем, телеграмм и других документов, что непосредственно космический полет только при советском пресс-центре освещали свыше 700 советских и иностранных журналистов и литераторов, представлявших печать, радио и телевидение 45 стран мира, говорит само за себя. Должны были появиться книги. И «„Союз“ и „Аполлон“» — одна из первых.

В богато иллюстрированном цветными фотографиями, схемами, рисунками издании собраны рассказы советских ученых, инженеров и космонавтов — участников и очевидцев первого в мире международного космического эксперимента.

По этим рассказам и воспоминаниям даже непосвященному становится возможным представить всю грандиозность ЭПАСа и его

значение в будущем, колоссальный объем почти четырехлетней предполетной работы тысяч ученых, инженеров, рабочих у нас дома и в США, дерзость и величие человеческого разума.

Авторы книги — а их очень много, от рядовых инженеров до докторов наук и академиков, — доступно и интересно излагают сложнейшие проблемы, раскрывая многие малоизвестные страницы подготовки и проведения полета, возвращают читателя к первым дням встреч с американскими специалистами, к изначальным шагам подготовки космического полета и ведут его через месяцы и годы к тому дню и часу, когда на Байконуре, а затем и на мысе Канаверал была подана команда: «Ключ на старт!» Перед читателем проходит многотрудный, извилистый путь подготовки и проведения ЭПАСа. И подан он не в форме сугубо информационного репортажа или отчета, хотя в книге есть и «чистая» информация, а в форме глубокого анализа многих научных сторон эксперимента.

Размышления ученых в книге, их ретроспективный взгляд наводят на одну мысль, которая в будущем может пригодиться человечеству, будь то космические исследования или иные сферы межгосударственных отношений. Речь о совместном советско-американском эксперименте зашла в 1970 году, а не годами десятью раньше,

когда практическая космонавтика делала только первые шаги, когда «и с технической и с организационной точек зрения было бы куда как хорошо», и трудностей, наверное, было бы во много раз меньше. Возможно, не пришлось бы заново создавать некоторые узлы и агрегаты, системы связи и измерения. Но обстоятельства международно-национальных отношений были таковы, что к решению о проведении совместного полета две ведущие страны мира пришли только спустя несколько лет после многих успешных стартов в космос в Советском Союзе и в США. Заметим, что колебания и неуверенность в осуществимости ЭПАСа наблюдалась среди некоторой части американских ученых и инженеров вплоть до лета 1974 года, когда тогдашний президент Р. Никсон под давлением «уотергейтского дела» вынужден был покинуть Белый дом. На мой вопрос: «Повлияет ли создавшаяся президентская ситуация на осуществление полета?» — многие ученые и инженеры в космическом центре имени Годарда, в Смитсоновском техническом музее тогда отвечали утвердительно. И лишь астронавт М. Коллинз, ставший к тому времени директором Национального музея авиации и астронавтики, остался непреклонен.

— Ни один из будущих президентов, кто бы им ни стал, не пойдет на обострение с вашей страной. Советский Союз давно и хорошо заявил о себе. И не только в космонавтике. Поэтому осуществление программы ЭПАСа вне всякой угрозы, — говорил он.

Да, знаменитый американец, побывавший в лунном рейсе, оказался прав. Миллионы землян на экранах своих телевизоров наблюдали за успешным проведением совместного космического рейса, не зная, конечно, о всех сложностях, что были на его подготовительном пути.

Известно, что обе страны в освоении космоса шли своими похожими и непохожими непроторенными дорогами, в основе которых, правда, лежали общепризнанные теории фундаментальных наук, одни и те же законы природы. И тем не менее американцы свои корабли сажают на воду, мы — на сушу. У них форма корабля напоминает усеченный конус с овальным основанием, у нас — автомобильную фару. Но эти различия оказались почти безобидными, когда ученые подошли к сравнению более характерных систем и узлов. Для стыковки двух кораблей разных стран и осуществления перехода, ради чего в основном и предпри-

нимался эксперимент, корабли оказались непригодными. Они были совершенно несовместимы. Поэтому стыковочный узел и все, что так или иначе взаимодействует с ним, пришлось создавать заново, а также по этой и ряду других причин модернизировать сами корабли. Затем ученые подошли к радиотехническим средствам связи, обнаружив и здесь полное отсутствие «взаимопонимания». Дальше — измерительные параметры. Без них не создать ни единой детали, узла, агрегата. И здесь полное отличие. Американцы все измерения производят в фунтах, футах, милях. Мы — в сантиметрах, метрах, километрах. У американцев существовала и существует своя техническая и языковая терминология, у нас — своя.

— Нас и наших советских коллег, — говорил мне в Хьюстонском космическом центре технический директор с американской стороны Г. Ланни, — разделяет не только язык, но и уже сложившиеся в течение многих лет различные технические принципы. Однако мы были откровенны, мы искали общие решения и, когда требовалось, шли на взаимные компромиссы.

О взаимоприемлемых, компромиссных решениях технических задач и научных проблем читатель найдет на страницах книги много увлекательных рассказов и увидит, в каких сложных порой положениях оказывались ученые и инженеры, как их осеняла мысль и как они выходили победителями из труднейших ситуаций благодаря планомерной и четкой организации всех исследований.

В связи с этим хочется сказать несколько слов об организационной стороне всей подготовительной работы. Ей уделяют внимание многие авторы книги. Философ и естествоиспытатель XVII века Р. Декарт говорил: «Расчлените изучаемую вами задачу на столько частей, на сколько сможете и на сколько это потребуется вам, чтобы их было легко решать». Взяв на вооружение рекомендации ученого, руководители полета создали четкую организационную структуру ЭПАСа. На протяжении почти четырех лет у нас и в США работало пять рабочих групп, в них были свои подгруппы, каждая из которых занималась узкой, конкретной темой, в целом решая большую и сложную проблему всей рабочей группы. В рассказах пяти советских руководителей рабочих групп ЭПАСа читатель, особенно хозяйственный руководитель любого звена, най-

дет немало полезных советов для себя, ведь организационная структура сложнейшего международного эксперимента полностью оправдала себя, как оправдал себя и сам полет. Известно, что в результате этого полета в космосе проверен и испытан стыковочный модуль, представляющий в дальнейшем широкие возможности для совместных космических экспедиций.

Диалектика развития космонавтики такова, что в недалеком будущем полеты пило-

тируемых кораблей и орбитальных станций в околоземном космическом пространстве станут обычным делом. Поэтому, как пишет в предисловии к книге академик Б. Петров, «интерес, который вызвала во всем мире советско-американская встреча на космической орбите, объясняется не просто тем, что это именно первая встреча, но и надеждой, что она не последняя».

Г. РЕЗНИЧЕНКО.



ГОРОД ГЛАЗАМИ ГЕОЛОГА

Р. Леггет. Города и геология. Перевод с английского. М. «Мир». 1976. 559 стр.

Успехи урбанизации незаметно отодвинули на второй план существенное обстоятельство: город, преобразующий естественную природу, все же остается ее частью; он связан с окружающей средой тысячами нитей, неотделим от нее. Прежде всего это относится к геологическому окружению. Основание любого города, любого сооружения — вовсе не прочный и инертный каменный постамент, а нечто очень сложное, изменчивое и нередко напоминающее о себе разрушительными подземными ударами, провалами, поглощающими дома, деформацией строений, нарушением коммуникаций и многими другими очень неприятными для нас явлениями.

Город служит объектом изучения социологов, проектировщиков, географов, архитекторов, инженеров, историков, психологов, экономистов... Перечень можно продолжить, и далеко не первыми в нем будут стоять геологи. Но не потому, что геологические исследования городских территорий имеют второстепенное значение. Напротив, чаще всего именно геологи первыми приступают к работе на строительных площадках и своими успехами и ошибками в значительной степени определяют судьбу городов. Однако о геологии городов до сих пор не много известно не только широким массам, но и людям, связанным с проектированием и строительством. Отчасти это объясняется отсутствием соответствующей популярной литературы. Это упущение в определенной мере восполняет книга Р. Леггета.

«Хотя от угрожающих геологических явлений не застрахован ни один город, их катастрофические последствия вполне можно

свести к минимуму. Для этого необходимо только проводить городское планирование в полном соответствии с местными инженерно-геологическими условиями. По мере роста городов учащаются попытки освоения земель, весьма благоприятных для застройки, но не подходящих с геологической точки зрения. Вероятно, нет более благородного по своим социальным последствиям направления в инженерной геологии, чем пропаганда геологических знаний среди планировщиков, инженеров-строителей и архитекторов и разъяснение опасностей, которыми чревато использование новых земель под строительство. Хочется надеяться, что те, кто принимает решения, связанные со строительством городов, прислушиваются к рекомендациям геологов. Это позволит обеспечить не только удобства, но и безопасность городов» — в этих словах Р. Леггета выражена, по существу, основная цель его книги.

Рецензируемая монография в основном ретроспективна. Взгляд автора обращен преимущественно в прошлое. Начинает он издавна, с древнего документа времен вавилонского царя Хаммурапи (XVIII век до н. э.): «Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу прочно, так, что построенный им дом обвалится и причинит смерть хозяину дома, то этого строителя должно убить...» Если бы суровый закон Хаммурапи сохранял свою силу до сих пор, работа градостроителя наверняка могла бы привлекать только самых отчаянных людей...

С древнейших времен создатели городов сталкивались с многочисленными трудностями. Еще древнеримский историк Тацит со-

общал о разрушении амфитеатра в Фиденгах, повлекшем за собой множество жертв. По справедливому утверждению Р. Леггета, «судьбы многих древних городов складывались в зависимости от местных геологических условий и протекавших там естественных процессов. Не вызывает сомнения, что воздействие человека на природу порой приводило к гибели построенных им же городов, причем местоположение большинства из них выбиралось хотя и интуитивно, но с учетом геологических факторов...»

Вряд ли стоит пересказывать хотя бы некоторые из многочисленных интересных и убедительных примеров связи геологии и градостроительства, которыми изобилует монография. Описания в ней сопровождаются иллюстративным материалом — схемами, картами, геологическими разрезами, фотографиями. Все это составляет, так сказать, основной продуктивный пласт рецензируемой работы. В этом смысле ее можно считать своеобразной популярной энциклопедией по геологии городов.

Пожалуй, читателя поразит количество и разнообразие «геологических каверз», которые поберегла природа для тех, кто возводит города. О некоторых трагедиях, вызванных геологическими явлениями, придется слышать по радио: достаточно вспомнить катастрофические землетрясения 1976 года в Италии и у нас в Средней Азии; таранные волны цунами, нередко обрушивающиеся на побережья Японских островов; тропические циклоны (торнадо, ураганы); вулканические извержения. Обо всех подобных буйствах стихий, подчас начисто стирающих с лица Земли многолюдные города, известно едва ли не всем жителям нашей планеты. Это как бы из ряда вон выходящие случаи, знаменитые катастрофы. И все же люди с непонятной настойчивостью продолжают возводить города на тех же самых местах, где еще недавно землетрясение или дунами до основания разрушили все строения.

Автор показывает, что если пока еще нельзя предотвратить природную катастрофу, то полностью в наших силах с помощью специальных инженерных мер добиться того, чтобы сооружения смогли противостоять стихиям. Другой способ — избегать строительства городов на опасных территориях. И наконец, возможно заблаговременно уведомлять население о стихийном бедствии. Однако в любом случае требуется детально исследовать природную обстановку, гео-

логические особенности городской территории, физико-географические процессы.

Менее известны, но подчас не менее серьезные малозаметные на первый взгляд природные явления, хотя они вызывают вполне очевидные, наглядные последствия. Автор описывает грунтовые условия под такими знаменитыми сооружениями, как Пизанская падающая башня, мавзолеем Тадж-Махал, средневековые соборы Великобритании, попавшие в критические ситуации из-за того, что не были учтены геологическое строение и степень прочности естественных оснований. В природе нередко встречаются необычайно «коварные» грунты, резко проседающие под сооружением при замачивании, вспучивающиеся, неравномерно уплотняющиеся, текучие, проваливающиеся, сползающие под уклон.

Но и это не все. Р. Леггет рассказывает о разнообразных геологических явлениях, угрожающих городам: оползнях и обвалах, разрушении прибрежных участков, грязекаменных лавинах, движущихся песках, протанвающих подземных льдах районов вечной мерзлоты и т. д.

Много внимания в книге уделено проблеме подземных вод, остро стоящей во многих городах мира. Дело в том, что подземные воды прямо или косвенно участвуют почти во всех геологических процессах, причиняющих ущерб городам. Даже некоторые землетрясения, как предполагается, связаны с динамикой подземных вод. Оседание городских территорий, просадки грунтов, карстовые провалы, обрушения склонов и многое другое невозможно изучить без учета гидрогеологических условий.

Р. Леггет в своей работе исходит из потребностей городов в воде, в надежном основании, в строительных материалах. Такой подход, конечно, правомерен. Более того, он достаточно распространен. Чаще всего при проектировании городов как раз и принято ограничиваться постановкой конкретных задач: обеспечить население такой-то по качеству и количеству подземной водой, разведать месторождения строительных материалов, выяснить грунтовые условия на определенных участках под такие-то сооружения и т. д. Отдельные группы специалистов проводят соответствующие работы. Все как будто совершенно правильно: конкретные исследования необходимы, удовлетворять потребности города надо.

Но вот незадача: рано или поздно выясняются некоторые принципиальные недора-

ботки. Растут потребности горда в воде, требуются дополнительные объемы строительных материалов, смещаются строительные участки, обнаруживаются непредвиденные геологические явления. Да и вполне понятно: невозможно заранее все предусмотреть до деталей. Иногда даже очень существенные для городского строительства особенности природной обстановки поначалу остаются незамеченными. Немало примеров подобной непредусмотрительности приведено в книге. Да и вообще мысль о том, что деятельность человека вызывает не только предусмотренные, предвиденные последствия, но и — очень часто более мощные по масштабам — непредвиденные, вторичные и третичные последствия, уже стала хрестоматийной истиной.

Что же следует делать, как организовать исследования, чтобы свести к минимуму непредусмотренные вредные последствия нашей деятельности? Одна из наиболее существенных мер — проведение комплексных исследований природных условий, изучение окружающей город среды как единого целого во всем ее многообразии и взаимной зависимости отдельных компонентов. Наши потребности, безусловно, также необходимо учитывать, но только с неперменным условием: требуется заранее выяснить, как скажется наше вмешательство на течении природных процессов.

Итак, во избежание неожиданных аварий сооружений при проектировании городов следует придерживаться, если можно так выразиться, принципа избыточной информации. Мы должны знать о природной среде, геологических условиях, природных водах (в том числе подземных) и т. д. значительно больше, чем требуется непосредственно для удовлетворения наших очевидных и заранее известных потребностей.

К сожалению, об этом забывают на каждом шагу. Инженерно-геологические изыскания проводятся, конечно, обязательно и предваряют строительство. Но этого недостаточно. Порой встречается тенденция экономить на изысканиях, до предела их конкретизировать, пренебрегать теоретическими разработками. А это значит — все, что нами не предвидено заранее, остается неизвестным. Позже это приводит к авариям, постоянным ремонтам, исправлениям прежних ошибок, дополнительным дорогостоящим инженерным мероприятиям; иногда приходится переносить на новые территории отдельные кварталы, районы, а то и

целые города. Цена незнанию слишком высока. Жаль, что этому обстоятельству не уделено должного внимания в рецензируемой книге.

Еще одно, как нам кажется, упущение Р. Леггета: он не выделил особо чрезвычайно важный геологический фактор, наиболее могучую геологическую силу, господствующую на земной поверхности и в приповерхностных недрах. Это геологическая деятельность человека. Воздействуя на природу, человек вызывает целый ряд новых геологических явлений, активизирует медленно текущие естественные процессы. Заметим, что в нашей отечественной литературе, посвященной геологии городов, нередко в должной мере подчеркивается геологическая деятельность человека (в качестве примера можно привести работы Ф. Котлова). Приходится высказать также упрек, в значительной степени традиционный по отношению к иностранным авторам: в книге Р. Леггета почти не учтены достижения советской инженерной геологии. В плане теоретическом это, в частности, представления о геологической деятельности человека, развиваемые в нашей стране с начала XX века, прежде всего в трудах В. Вернадского и А. Ферсмана, а ныне прочно вошедшие в отечественную инженерную геологию. В плане практическом это новые формы организации инженерно-геологических изысканий, характерные для социалистических стран и впервые разработанные в нашей стране. Богатейшему опыту советских геологов в объемистой книге уделено менее двух страниц. Это обстоятельство следовало бы учесть научному редактору книги: соответствующее послесловие было бы очень полезным дополнением к монографии Р. Леггета. Тем более что у нас фактически отсутствуют популярные книги, посвященные геологии советских городов. А ведь необходимость в «геологическом просвещении» сейчас особенно очевидна в связи с необычайным размахом городского строительства. Автор прав, когда он замечает: «Геология до сих пор не занимает достойного места в школьной программе. Пренебрежение к преподаванию геологии в школе отражает недостаточное внимание к этому предмету со стороны общественности... Надо надеяться, что науки о Земле (включающие геологию и связанные с ней дисциплины) получат наконец должное признание».

...Мы сохраняем двойственное отношение к городу. С одной стороны, более половины

всех жителей экономически развитых стран — горожане, для которых городской ландшафт настолько привычен, что представляется им более естественным, чем лесная глухомань, горные кручи, пустыня. С другой стороны, еще Сент-Экзюпери отметил, что с самолета Земля выглядит малолюдной, города и поселки на ней редки.

И то и другое впечатление обманчиво. Городской ландшафт, как показывают медицинские и социологические исследования, во многом не отвечает физическим и духовным потребностям человека. Скажем, число сердечно-сосудистых заболеваний здесь вдвое выше, чем в сельских местностях.

Вряд ли верно и утверждение, что городские ландшафты охватывают лишь ничтожную долю земной поверхности. Р. Леггет приводит такие цифры: «2,75% всей территории США занято под различные строительные сооружения, причем значительная часть земель навсегда потеряла свой первоначальный вид... Еще более внушительны данные для Великобритании. По сведениям, относящимся еще к 1922 г., свыше 10% территории Объединенного Королевства было

занято строительными сооружениями... Полвека спустя эта цифра составляла 14—15%». Предполагается, что к исходу XX века городские территории возрастут более чем вдвое. А еще надо учесть, что зоны влияния городов выходят далеко за пределы собственно городских районов. Недаром наиболее крупные города (мегаполисы) обнаруживаются из космоса. «В этих условиях, — подчеркивает автор, — рациональное планирование, экономическое и безопасное строительство немислимы без точного знания геологии будущихстроек».

Книга Р. Леггета, как мы отметили раньше, ретроспективна. Но именно это ставит ее в ряд книг, обращенных в будущее. Хорошее знание прошлого помогает нам избежать повторения ошибок, многое предусматривать заранее. Поэтому живо написанная, богато иллюстрированная и основанная на глубоком знании материала работа Р. Леггета о геологии городов, несмотря на отдельные недостатки, заслуживает высокой оценки и может быть рекомендована широкому кругу читателей.

Р. БАЛАНДИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ. Облака и птицы. Стихи. М. «Советский писатель». 1976. 80 стр.

Внимательный читатель советской поэзии, конечно же, приметил имя Михаила Синельникова, чьи переводы на протяжении последних нескольких лет активно публикуются в периодике и выходят отдельными изданиями. Особую привязанность молодой переводчик питает к киргизским и грузинским авторам. Это и неудивительно, ведь в Киргизии прошло его детство, а любовь к Грузии внушили ему стихи великих русских поэтов и частые творческие поездки в этот удивительно поэтический край.

И вот сейчас появилась первая книга оригинальных стихотворений молодого поэта, которая по-новому открыла нам природу его художественного дарования.

Лирика Михаила Синельникова выразительна, сравнения точны и неожиданны: «шиповник розовый лангуста» или «плоты беспомощны и слабы, как неумелые мазки («Моря и живописцы»)». Подобных строк немало.

Но есть и обратная сторона этого живописного и полногласного стиха — несколько прямолинейная заданность экзотических и броских метафор. Читатель постепенно привыкает к приподнято-живописной манере поэта и ждет уже другого: острого чувства, глубокого движения темы. Ждет взволнованности, душевного покоя, сердечной боли, наконец.

Михаил Синельников и сам это порой ощущает. Стихотворение «Слова» достаточно точно передает его отношение к любым видам щеголеватой литературности:

Слова размолоты на силос.
От слов распухла голова...
В беде
Приобретают силу
Обыкновенные слова.

Кстати, эти строки могли бы стать естественным завершением стихотворения. Но поэт зачем-то продолжает:

Как будто в огненной Сахаре,
Где губит нашу речь хлоров,

Цветет естественный гербарий
Иерихонских синих роз.

Красиво, с претензией и вряд ли необходимо. Пример того, как поэтические достоинства могут оборачиваться недостатком.

Первые стихи Михаила Синельникова я прочитал в газете «Московский комсомолец» лет четырнадцать назад. Еще тогда Леонид Мартынов в своем предисловии к ним отмечал яркую одаренность шестнадцатилетнего автора. За все предшествовавшие книге стихов годы мастерство М. Синельникова несомненно окрепло, отчетливей стало своеобразие поэтической манеры. Прежде всего это относится к стихам киргизского цикла («Киргизская охота», «Киргизская рапсодия», «Кочевник», «Мазар»). Именно здесь с особой якостью различаешь, как упорно преодолевает поэт соблазны умозрительно-книжной «экзотики» в пользу искренности, простоты и правды. Это общая и крепнущая тенденция поэтической работы М. Синельникова.

Виктор Широков.



АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ. Свет московских окон. М. «Советский писатель». 1976. 320 стр.

Если бы из всех качеств, присущих творческому почерку Анатолия Медникова, потребовалось выделить главное, ведущее, то следовало бы, пожалуй, назвать основательностью письма. Это не легкое скольжение по поверхности жизненного материала, так сказать, по облицовке фасада, а вторжение внутрь конструкции здания: мысль писателя серьезна, фундаментальна.

Мы не случайно прибегаем к строительной терминологии. Хотя Медников как очеркист и не «однолюб» — мы знаем его книги о металлургах, корабелях, военную «Берлинскую тетрадь», — но все же самой первой его любовью и, как полагается первой любви, самой глубокой, пронесенной через всю литературную судьбу, было страстие к строителям. О них, строителях, и новая книга «Свет московских окон». Это документальная повесть, которая выросла

из отдельных очерков, печатавшихся в разное время и объединенных теперь в широкую панораму строительных будней Москвы.

Глубина раскрытия темы идет, естественно, прежде всего от знания дела, о котором пишет автор, знания технологии в прямом смысле слова, истории и проблем градостроительства как в общем плане, так и в конкретных проявлениях, что позволяет писателю свободно оперировать материалом, имея на все свой взгляд, свою точку зрения, с которой порой можно не соглашаться, но которая весома и подкреплена компетентностью автора.

Судя по всему, в работе над книгой автору не потребовалось никаких специальных интервью с ее основными героями, поскольку писателя связывают с ними многолетнее знакомство, дружба, обеспечивающие свободу и точность в раскрытии характеров.

Не желая сталкивать романистов с очеркистами, отметим все же, что последние действуют в особой зоне, имея дело с живыми, реальными людьми, названными именно. Как легко невзначай обидеть и даже оскорбить человека, из лучших побуждений обнаруживая нечто сугубо личное в его жизни. Как неприятно в таких случаях получить «рекламацию» от героя... У Медникова портрет — от знания характера, склада ума, привычек героя, от близости с героем.

Вот, например, бригадир монтажников Владимир Конелев, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР. Медников нашел, «открыл» этого знаменитого ныне рабочего, как и других, задолго до того, как тот стал широко известен и удостоился своих громких званий и высоких наград. И эта славная трудовая биография не случайная находка очеркиста, не просто счастливая встреча, а результат прочных связей писателя с жизнью, выработавших в нем безошибочное чутье на человека. При этом портрет героя рождается без аптекарского взвешивания положительного и отрицательного, а из реальных наблюдений. Писатель предельно правдив в обрисовке всех сторон непрдуманного характера.

И дела, проблемы тоже не надуманны, а жизненны. Слово весома потому, что за ним реальное дело. Писателя волнуют заботы и тревоги московских строителей. Медников — публицист, это его литературная профессия. И сильнее всего он в публицистике, идущей, что называется, след в след за самым делом, фактом, наблюдением, где вывод, смысл сказанного приходит к читателю без помощи указующего перста. Но его публицистика много проигрывает, когда авторские выводы даются «открытым текстом», декларативным способом. Думаю, что характерные для стиля Медникова основательность, фундаментальность, конкретность не нуждаются в такого рода подпорках.

А. Любимов.



ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР. *Фламандские легенды.* Перевод, послесловие и комментарии М. Н. Черневич. М. «Наука». 1975. 279 стр.

Выдающийся бельгийский писатель Шарль Де Костер (1827—1879) хорошо известен у нас как автор замечательного романа «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». Роман этот, ярко изобразивший национально-освободительную борьбу фламандского народа против испанского гнета в XVI веке, не раз переводился на русский язык и многократно издавался в нашей стране. Его торжественно называли «Библией Бельгии» или «Библией Фландрии». С полным правом можно было бы назвать его народной книгой о героизме и свободолюбии. Ромен Роллан сравнивал роман с великими творениями Рабле и Сервантеса.

«Легенда об Уленшпигеле» — вершина творчества Шарля Де Костера, но ему принадлежат и другие весьма талантливые произведения. И прежде всего это, бесспорно, «Фламандские легенды», во многом близкие «Легенде об Уленшпигеле». Создавались они в то время, когда Де Костер был увлечен старинными фламандскими сказаниями и как деятельный сотрудник журнала «Уленшпигель», издававшегося в 1856 году в Брюсселе группой прогрессивных литераторов, «соприкасался» с героем старинной фламандской народной книги изобретательным и жизнелюбивым Тилем Уленшпигелем, появившимся на страницах журнала, названного его именем. И хотя Уленшпигеля мы еще не находим среди персонажей «Фламандских легенд», дух его уже витает в этой небольшой книге. Правда, нет в книге могучего эпического размаха, присущего знаменитому роману Де Костера, но ведь и задачи «Фламандских легенд» совсем иные. Зато встречаем мы здесь выразительный национальный колорит, оживляющий образы старой, веселой и одновременно страдающей Фландрии.

Всего в книге четыре новеллы, разнообразные по своему характеру, восходящие к различным источникам. Романтическая сказочная основа и яркий фламандский колорит объединяют эти, казалось бы, несхожие произведения. Объединяет их также отчетливо выраженная героическая тенденция, предвещающая героический пафос «Легенды об Уленшпигеле». И, как обычно бывает в народных сказках, добро в них непременно одерживает верх над злом. Женщины и девушки брабантского селения Уккле сокрушают разбойничью шайку, опустошавшую страну («Братство Толстой морды»). Юная девушка, обладательница благородного сердца, отсекает голову великому злодею, находившемуся под покровительством самого дьявола («Сир Галевин»). И уже вплотную к роману об Уленшпигеле подводит нас занимательный рассказ о кузнеце Сметсе Смее («Сметсе Смее»), который подобно Уленшпигелю боролся вместе с гёзами против испанского владычества и в рай впущен господом за то, что беспощадно избивал бесов, являвшихся к нему в облики таких лютых врагов нидерландской свобо-

ды, как гонитель «еретиков» Гессельс, кровавый герцог Альба и король Филипп II.

Обращаясь к далекому прошлому Бельгии, которое при изображении католического фанатизма или деспотизма власть имущих оказывалось достаточно злободневным, Де Костер использовал не только народные предания, старинные книги и манускрипты, но и полотна, рисунки и гравюры старинных нидерландских художников, охотно останавливавшихся на деталях повседневного быта либо создававших сложные сатирические фантазмагории, как, например, изобретательный Питер Брейгель, прозванный Мужичком. Подобную фантазмагорию, изображавшую в манере Брейгеля и Иеронима Босха наказание грешников (гонящиеся за властью, завоеватели, лихоимцы и др.), Шарль Де Костер включил в рассказ о Сметсе Смее. Здесь и гигантские крабы на трясущихся и скрюченных человеческих ногах, пожирающие тех, «кто пресмыкался при жизни», и крылатые поросята с ливерными колбасками вместо хвостиков, дразнящие чревоугодников, и многое другое. Написаны «Фламандские легенды» на французском языке XVI века, которому Де Костер учился у Рабле и Монтеня.

Понятно, что перед переводчиком стояла совсем не легкая задача. До русского читателя нужно было донести своеобразную прелесть этой малоизвестной у нас книги, то подчеркнута старомодной, то остросовременной, то залихватской, то наивной, то ускользающей в царство поэтического вымысла, то твердо ступающей по грешной земле. М. Н. Черневич избрала верный путь. Избегав утомительной архаизации, она передала в своем переводе многообразие тонов и оттенков, присущее французскому оригиналу.

Очень хорошо, что книга эта увидела свет. Хочется напомнить, что в этом году исполняется сто пятьдесят лет со дня рождения Шарля Де Костера.

Б. Пуришев.



НИКОЛАЙ НОСОВ. Повесть о детстве. «Нева», 1976, № 4.

Чем последняя повесть недавно умершего писателя Николая Носова отличается от своих многочисленных «тезок»? Тем ли только, чем отличается вообще детство всякого человека от детства другого, хотя бы и соседствующего с ним во времени, в поколении, живущего в том же городе и даже на той же улице? Конечно, и этим. Право, такая отличность — немаловажная сторона любого литературного замысла, в основу которого легли собственные воспоминания. Но запечатлеть личное, неповторимое — еще не вся задача. Важно расширить представление читателя о конкретном отрезке исторического времени, который предстанет перед ним в новой книге о детстве в своем, особом преломлении.

Действительно, Киев предреволюционной

и революционной поры, представленный Носовым, далеко не во всем совпадает с тем Киевом, который нам уже знаком по Булгакову и Паустовскому, по иным мемуарам, хотя при чтении носовской повести то и дело встречаешь и названия знакомых улиц и описания известных событий. Однако в данном случае и топографический, и политический, и духовный ландшафты Киева воспринимаются нами по-иному, как по-иному воспринимает их гимназист Коля Носов.

«Взрослые часто не понимают детей, потому что видят мир не таким, каким его видят дети. В окружающих предметах взрослые видят их назначение, видят то, чем эти предметы полезны для них. Дети же видят лицо вещей. Они не знают, откуда эти вещи явились, кто их сделал и сделал ли кто. Дети знают, что вещи существуют, что вещи живут, и относятся к вещам как к живым существам». Эти открывающие повесть строки, которые, вероятно, будут использованы толкователями творчества отличного детского писателя Носова, заявляя о второй теме новой книги. Если первая — это ребенок в истории, в ее определенном временном отрезке, то вторую можно определить так: ребенок в «вечном», в языческом мире детства. Не каждому дано запомнить и запечатлеть черты и образы этой первоначальной поры. Носову удалось. И запомнить и воспроизвести. Кстати, трудность воспроизведения еще и в том, что ребенок не всякую минуту находится в своем мире. Поневоле причастный к миру старших, он является «двойкодышащим» существом и то выныривает, дыша «взрослым» воздухом и порой очень толково ориентируясь в нашем мире, то скрывается в глубины своего, невидимого нам детского царства и живет, руководствуясь тамошней логикой, не признавая, отвергая нашу, взрослую, с которой в иные минуты склонен ладить и соглашаться. Вот эта все время ощущаемая в повести двугранность мальчишечьей души, двумерность детского мира и определяет особенность книги.

В повести поставлено немало проблем, и всех не коснешься в короткой рецензии. Может быть, самая важная из них, и упомянуть ее необходимо, — проблема внутренней самостоятельности ребенка, рассказ о том, как герой повести становится человеком, отвечающим за самого себя. Поначалу он «нечто вроде тени, отбрасываемой в солнечный день предметом». Или объектом. А «объект» в нашем случае — это старший брат Павел, все поведение которого копирует младший порой даже против своей воли, а в то же время его sneдает тайное желание «сделать что-нибудь вполне самостоятельное, чтоб можно было сказать: «Это я сам!» Позднее и герой и мы с ним увидим, что самостоятельность, «настоящая человеческая радость», — не подарок, сделанный кем-то, а собственное приобретение, достигнутое «в борьбе, в труде, в преодолении трудностей», не только право, но и обязанность.

Это человеческое становление происходит в годы становления молодой Советской республики, начинающегося строительства новой жизни, в котором готовится принять участие и возмужавший герой повести.

Ю. Болдырев.

Переславль-Залесский.



А. И. ХРАМЦОВ. Уральская баллада. М. «Советская Россия». 1976. 314 стр.

Книга Героя Социалистического Труда, бригадира зуборезчиков Уралмаша А. Храмцова — это рассказ о том, как сложилась жизнь обыкновенного советского паренька, как он завоевал высочайшее доверие народа — на XXIV и XXV партийных съездах Александр Иванович избирался членом Центрального Комитета, дважды был депутатом Верховного Совета СССР. Рассказ этот перемежается раздумьями о насущных проблемах развития страны, которые вынесены в небольшие главы «Из полемического блокнота». Полемического потому, что не все решения приходят сразу, им предшествуют дискуссии, споры не только на собраниях или на страницах газет и журналов, но и в самой жизни.

Пятнадцать лет Храмцов поступил в школу ФЗУ при знаменитом Уралмаше. Парнишку определили в группу карусельщиков. Первым его учителем был кадровый токарь В. Петров. «Заниматься будем со всей серьезностью, — сказал он парню, — как того и требует текущий политический момент». Однако вскоре Александр почувствовал, что работа на карусельном станке в некоторой степени ограничивает возможности станочника проявить себя. Он пришел к своему старшему мастеру А. Баркову и обратился к нему с витиеватой фразой: «С известных пор у меня не имеется склонностей к карусельному станку». Александр опасался, что его упрекнут в недооценке «текущего политического момента», но ошибся. «Правильно, — ответил ему мастер, — нечего тебе делать на карусельном. Подготовку ты получил хорошую, старание тоже есть. Поэтому мы из тебя в два счета сделаем зубореза». Зуборезное дело — очень важное, ни одна машина ведь не обходится без зубчатой передачи.

Началась война. Уралмаш перешел на производство танков. Люди и станки меняли профессии. Зуборезные станки, на которых работал Александр, помимо обработки шестерен получили дополнительную нагрузку — фрезерную. Александр еще не был готов к такой работе, не справлялся с заданиями, стало быть, не отвечал еще требованиям «текущего политического момента». «Только на пятнадцатый день я справился с нормой. Но потратил на это столько сил, что к концу смены едва не упал тут же у станка». А между тем заводские «молнии» сообщали о рекордах, достигнутых на других участках. Позже и Храмцов стал давать по три нор-

В конце 1943 года Храмцов начал работать на зубодолбежном станке «Сайкс». «Тогда я еще не знал, что наша новая встреча с ним всерьез и надолго, а произошло именно так, вот уже четвертый десяток лет работаю на этом станке». Его сменщиком на «Сайксе» был А. Данилович. Делали они «погон». На одном только этом станке на всем Уралмаше изготовляли этот важный узел. «От нас с Даниловичем зависела вся танковая программа завода... Эти слова меня и теперь к полу гнут, такой они наполнены ответственностью. А в войну и вовсе с ног валили».

Уже в зрелом возрасте Храмцов садится на школьную скамью: кончает вечернюю школу, затем курсы мастеров, техникум (в том, что в течение почти десяти лет А. Храмцов имел возможность непрерывно учиться, поднимаясь со ступени на ступень, немалая заслуга и его жены Пани).

По инициативе А. Храмцова зуборезы объединились в бригаду. «До 1958 года мы официально не считались бригадой и каждый был как бы сам по себе. Но попробуй быть сам по себе, если деталь, которую ты должен обрабатывать, установили на станок несколько смен назад... Мы столь тесно связаны друг с другом в производственном отношении, что давно должны рассматривать себя единым коллективом».

Интересны включенные в книгу автобиографии товарищей А. Храмцова по бригаде. Александр Иванович везде и во всем привык проверять себя, соответствует ли он «текущему политическому моменту». С этой же меркой он подходит ко всему, с чем сталкивается в цехе, в быту. «Мы унаследовали от первых пятилеток, — записывает он в свой полемический блокнот, — энтузиазм строителей Турксиба, Магнитки, Кузнецка, Комсомольска, Уралмашзавода. Но вместе с этим бытуют еще среди нас и индивидуализм, пренебрежение общественными интересами, чрезмерная страсть к деньгам и вещам, мы зовем их еще и пережитками, хотя иные из них никак не связаны с прошлым, а благоприобретенны». Это позиция человека зрелого, идущего не только на ногу со временем, но, пожалуй, и впереди его. В 1961 году А. Храмцов вступил в ряды Коммунистической партии.

О сегодняшних достижениях комплексной бригады А. Храмцова рассказывают в письме Генерального секретарю ЦК КПСС товарищу Л. И. Брежневу свердловчане — делегаты XXV съезда КПСС. Авторы письма, в ноябре прошлого года опубликованного в «Правде», — под ним 21 подпись передовых рабочих Свердловской области — сообщают о своих трудовых успехах, починах, делаются мыслями и чувствами, вызванными речью Л. И. Брежнева на октябрьском (1976) Пленуме ЦК. «Коллектив принял на себя обязательство выполнить пятилетнее задание по росту производительности труда за четыре года... — указывается в письме. — Выработка на одного рабочего в комплексной бригаде возросла на 16 процентов, вся продукция сдается с первого предъявления...»

Л. И. Брежнев высоко оценил инициативу свердловчан — делегатов XXV съезда. «Оно (письмо.—И. П.) хорошо передает дух солидарности и творчества, рожденный XXV съездом партии»,— говорится в ответе товарища Брежнева.

«В 1937 году я впервые попал на Уралмаш-завод,— этими словами заканчивает А. Храпцов книгу-автобиографию — И с тех пор вот уже почти сорок лет не расстаюсь с ним. Завод научил меня мастерству, завод вывел в люди, на заводе нашел я свою семью, завод поднял меня до государственных вершин. Всем, чего я достиг в жизни, обязан я заводу. И вся моя жизнь отдана ему».

И. Пешкин.



ВИТАЛИЙ КОРИОНОВ. Устремленные в будущее. Коммунисты в современном мире. М. Политиздат. 1976. 231 стр.

«Сознание справедливости своего дела, светлые идеалы марксизма-ленинизма дают коммунистам непреодолимую моральную силу»,— приводит автор слова А. Куньяла.

В ряды коммунистов шли и идут лучшие из лучших — наиболее честные и передовые рабочие и крестьяне, представители интеллигенции. Не случайно, что коммунистами стали и такие выдающиеся деятели мировой культуры, как Анри Барбюс и Фредерик Жюлио-Кюри, Теодор Драйзер и Пабло Пикассо, Диего Ривера и Уильям Дюбуа, Шон О'Кейси и Пабло Неруда...

«Всему миру известно,— отмечает В. Коррионов,— имя американского писателя Теодора Драйзера. Расцвет его творчества пришелся на годы после Октябрьской революции. Посетив Страну Советов, он с волнением писал о том, что последняя стала для него «источником света», что в ее великих делах он неизменно «находил поддержку и вдохновение для творческой работы»...

В разделе «Надежда человечества» рассказывается о тех основных задачах, которые сегодня решают коммунисты Франции, Индии, Италии, Западной Германии, США и ряда других стран. Читатель узнает много интересного и волнующего о деятельности братских компартий, их разносторонней борьбе за демократию и социальный прогресс, огромной политической работе, проводимой в массах.

Настоящий подвиг совершила аргентинская компартия, которая в тяжелейших условиях подполья сумела издать 45 томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина тиражом свыше 250 тысяч экземпляров. А орган ЦК компартии Португалии газета «Аванте!» не переставала выходить даже в самые черные годы салазаровского террора. Фашистские ищейки так и не смогли обнаружить, где именно она печаталась.

Вторая часть книги названа «Несгибаемые». Это теплый человеческий рассказ о жизни и борьбе некоторых выдающихся деятелей международного коммунистического движения: гордость Чили — Луис Корвалан, пламенный патриот-интернационалист Родней Арисменди, неустрасимый Алваро

Куньял, испытанный марксист-ленинец Гэс Холл, славный сын своего народа Генри Уинстон, ветеран революционной гвардии Викторно Кодовилья.

Ознакомившись с книгой, читатель вправе сказать, что все высокие нравственные качества и героизм каждого из них сочетают в себе качества и черты всех остальных. Все они несгибаемые и неустрасимые, стойкие марксисты-ленинцы, интернационалисты, ветераны революционной гвардии, славные сыновья своего народа.

«Я провел в тюрьмах в общей сложности тринадцать лет»,— говорит Генеральный секретарь португальской компартии товарищ А. Куньял. К восьми годам тюремного заключения был приговорен Генри Уинстон. Тяжелое заболевание (он ослеп в тюрьме) не сломало его, он стоит и ныне вместе с Г. Холлом в первых рядах борцов за демократию и социализм.

Три с лишним года трудящиеся всего мира вели неустанную борьбу за освобождение из застенков фашистской хунты выдающегося руководителя чилийского народа Луиса Корвалана. И вот усилия могучего международного движения солидарности увенчались успехом — Л. Корвалан на воле и прибыл в Москву, общепризнанную столицу пролетарского интернационализма. Освобождение Луиса Корвалана, сказал Л. И. Брежнев, надо рассматривать как важное политическое событие, которое несомненно окажет большое воздействие на активизацию борьбы коммунистов, всех демократов, революционного движения в Чили и в других странах Латинской Америки.

«По опыту героической партии большевиков, многих поколений революционеров других стран мы знаем,— заявил XXV съезд КПСС,— любые попытки террором остановить ход истории обречены на провал».

В книге нашли место не только мастерски написанные биографии руководителей компартий Чили, США, Португалии, Уругвая и Аргентины, характеристики их личных достоинств и душевных качеств, их жизни в семье и в партии. Это вместе с тем и панорама громадной революционной деятельности коммунистических партий этих стран, рассказ о том, как эти партии вырабатывают революционную линию, об их программных установках, тактике и стратегии борьбы. Книга В. Коррионова содержит и воспоминания о многочисленных личных встречах с руководителями компартий, их мысли и высказывания по актуальным вопросам.

...Около ста тридцати лет назад К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» возвестили миру о появлении научного коммунизма. Ныне коммунизм, пройдя через победу Великого Октября и созданный В. И. Лениным Коммунистический Интернационал, превратился в мировое коммунистическое движение, наиболее влиятельную политическую силу современности. Победа социалистической революции сначала в России, а затем еще в 14 странах, коммунистические партии, действующие в

90 странах — всюду, где есть рабочий класс, полный крах колониальной системы империализма и могучее движение трудящихся капиталистических стран за построение «нового мира» на земле — таков величественный итог самоотверженной борьбы коммунистов.

Замечательная книга известного журналиста-международника и ученого В. Корионова безусловно является важным вкладом в изучение истории международного коммунистического движения.

С. Сурат,
профессор.



К. МАНОЛОВ. Великие химики. В двух томах. Перевод с болгарского К. Манолова и С. Тасева под редакцией доктора исторических наук Н. М. Раскина и В. М. Тютюникова. М. «Мир». 1976. Т. 1. 451 стр. Т. 2. 412 стр.

В последние годы у нас резко возрос интерес к истории научных знаний. Написано и издано множество биографий ученых — представителей различных отраслей науки, в том числе химической. Однако сборников биографий выдающихся химиков мира в советской литературе почти нет. Немного их издано и за границей. Поэтому появление данного двухтомника, к тому же хорошо составленного и увлекательно написанного, несомненно вызовет читательский интерес.

Отбирая биографии ученых для своей книги, К. Манолов стремился не только нарисовать портреты блестящих исследователей и первооткрывателей многих химических законов (Гей-Люссак, Менделеев, Вавт-Гофф и другие), но и проследить на протяжении почти трех столетий пути развития химии. Автору пришлось проделать громадную работу, чтобы из имеющегося необъятного количества разнообразных публикаций, содержащих лабораторные дневники, переписку, личные документы ученых, выбрать наиболее яркие факты, характеризующие их личность и творчество.

Автор показывает своих героев не отвлеченно от всего, что непосредственно связано с их исследованиями и открытиями, а в сфере их разнообразных интересов, взаимоотношений в семье и с друзьями и коллегами по науке. Это не сухари, не аскеты, оторвавшиеся от общества невидимым панцирем. Его герои — живые, полнокровные люди, наделенные всеми присущими человеку страстями. Многие из них увлекаются путешествиями, спортом, музыкой, живописью. К примеру, известный французский химик Бергто считался большим ценителем искусства. В 1869 году он в составе делегации государственных деятелей и ученых Франции посетил Египет для участия в торжествах по случаю открытия Суэцкого канала. «Бергто пришел в восторг от величественных памятников древних цивилизаций, — пишет автор. — Посещение Асуана, Бен-Хасана, Лук-

сора, Карнака были для него настоящим праздником. Софи Бергто (его жена. — Б. Р.) была тоже тонкой ценительницей древних памятников архитектуры. Вечером, когда утомленная Софи засыпала, Бергто усаживался за стол, чтобы записать в дневник впечатления о прошедшем дне или поделиться ими в письмах к своему другу Ренану».

Еще одна особенность этой интересной и поучительной книги: жизнь и творчество великих химиков показаны в ней в тесной взаимосвязи с общественной средой, с развитием науки и технического прогресса. Претворение в жизнь многих замечательных идей и блестящих замыслов становится возможным лишь на определенном уровне развития производительных сил. Эта мысль проходит красной нитью через всю книгу.

Известный немецкий химик-органик Э. Фишер заинтересовался биологическими и биохимическими процессами, протекающими в организмах животных. Для того чтобы раскрыть их тайны, ученый решил приступить к исследованию белковых веществ.

«Изучение белков начнем одновременно с двух сторон, — излагал Фишер план будущей работы сотруднику. — Мы исследуем состав различных белковых веществ. В настоящее время единственный путь к решению этой задачи — гидролиз. Полученную смесь аминокислот мы разделим... а потом определим состав соответствующих им белковых веществ... С другой стороны, попытаемся синтезировать вещества, которые хотя бы по составу были похожи на белки». В результате долгой и кропотливой работы были получены полипептиды — «осколки» белковых молекул. Это была важная веха на пути к синтезу живого белка.

Читая книгу, невольно становишься «соучастником» исследователя, вместе с ним ищешь путь к успешному решению поставленной задачи, пытаешься понять его ошибки.

Среди 35 биографий выдающихся химиков, помещенных в этой книге, несколько мало известных советскому читателю (И. Р. Глаубер, А. Девилья, Т. Грэм, А. Гофман, Р. Вильштеттер, К. Бош). Знакомство с ними расширяет круг знаний читателя и обогащает его новыми сведениями, позволяет ему глубже узнать историю химической науки.

В приводимых автором четырех биографиях русских химиков (М. В. Ломоносова, Н. Н. Зинина, Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова) наглядно раскрыт и весомый вклад русской научной мысли в развитие химии.

К. Манолов — известный болгарский химик, специалист в области комплексных соединений и талантливый популяризатор науки. Думается, что его новая книга будет радушно принята нашим читателем. Ее с удовольствием и большим вниманием прочтут учителя и инженеры, химики-исследователи и студенты. Она может быть рекомендована и старшим школьникам.

Б. Розен.

ИЗ РЕДАКЦИИ «ОНИ И ОНИ»

Уважаемая редакция!

Прочитав книгу В. Парнес «Михаил Степанович Воронин»¹, я не смогла удержаться, чтобы не написать о ней.

Книга эта — серьезная научная монография и вместе с тем документальное художественное произведение, в котором изображен не выдуманный, а действительно существовавший, всеми уважаемый и любимый человек, к тому же крупный ученый, настолько крупный, что его считают основоположником отечественной экспериментальной науки о грибах.

А как важна эта наука, наверное, знает каждый из нас. Антибиотики, которыми мы пользуемся во время серьезной болезни, хлебопекарная промышленность, получение комбикормов, белково-витаминных концентратов, многих химических препаратов — в основе всюду лежит использование грибов. Но Воронин создал в России не только эту науку — он проложил от нее мост к другой области знания, к науке о болезнях растений, поражающих поля пшеницы и подсолнечника, картофеля и капусты, плодовые деревья и виноград. Но и это не все. Ученый сделал открытие, положившее начало изучению роли бактерий в круговороте азота в природе, возникновению почвенной микробиологии. Именно он первым в мире установил, что бобовые растения, о которых и раньше знали, каким-то непонятным образом способствуют плодородию почвы, содержат в клубеньках, в огромном количестве вырастающих на их корнях, палочковидные образования, по всем своим свойствам сходные с бактериями. С этого времени и началось изучение роли бактерий в сельском хозяйстве. Оставить глубокий след в трех областях науки дано не каждому. Да, таков был этот ученый.

Но из книги, что особенно важно, мы узнаем не только о том, что он внес в науку, но и о том, как он жил. Это покажется удивительным для современного читателя. Сделать так много и вместе с тем совершенно не обособиться от людей не только в плане общественном — он принимал участие в движении за эмансипацию женщины, за высшее женское образование, за организацию первых русских научных съездов, вел большую работу в Петербургском обществе естествоиспытателей, включался в события университетской жизни, — но и в плане личном. Воронин откликается на горе и радость решительно всех, кого знает, тратя на это много сил душевных и физических.

Вот небольшой отрывок из книги, который дает об этом представление: «Человек, которого судьба хоть однажды сталкивала с Ворониным, уже не исчезал из его поля зрения. Двери дома были открыты для всех. Множество народа шло к нему со своим горем. У одного нет денег, чтобы заплатить за дочь в институт; другой должен к известному сроку внести в казну растраченную сумму; у третьего умирает жена, и он просит Михаила Степановича пригласить на консультацию профессора Боткина; бедный студент, у которого никого нет в Петербурге, болен, и его необходимо поместить в лечебницу для душевнобольных, и притом за плату, так как бесплатные отделения все переполнены; еще у кого-то близкий человек попался в запрещенными книгами и сидит в предварительном заключении, его надо выручить...»

Михаил Степанович вносит плату в институт за девушку и, более того, обещает платить за нее, пока она не окончит курс. Он дает, хоть и скрепя сердце, необходимую сумму, чтобы человек мог внести ее в казну и покрыть растрату. Он надевает фрак и отправляется к начальнику III отделения выручать арестованного. Он помещает в лечебницу больного студента и не только платит за него, но и навещает время от времени, хоть ездить приходится к черту на кулички — в Удельную. Он уговаривает знаменитого профессора поехать на консультацию к тяжело больной, и тот оставляет свои занятия и выполняет эту просьбу. И так без конца...»

А сколько это требовало времени? Страшно подумать! И тем не менее он никогда не нарушал слова, данного кому бы то ни было; он никогда не устраивал из серьезного дела спешки и гонки, обдумывал все до мельчайших деталей, стараясь предусмотреть различные обстоятельства, которые могли бы вклиниться и помешать. Размышления, раздумья составляли важную часть его существования. Не впопыхах, между делом, в случайную свободную минутку, совсем нет — он думал часами, днями, специально отводя их для этого. Думал о работе, о жизни, о людях и даже порой решал себе предаваться мечтам и фантазиям.

¹ В. А. Парнес. Михаил Степанович Воронин. 1838—1903. М. «Наука». 1976. 183 стр.

Как же он сводил баланс? Может быть, именно потому, что не торопился, не старался никого перегнуть, что думал не о славе, а только о деле, которое по-настоящему любил? Не берусь сказать. Друзья ругают его за то, что он расстраивает себя «по пустякам», а он, вообще очень мягкий и уступчивый, с негодованием отвергает эти упреки: в жизни надо быть прежде всего Человеком. Таков его основной принцип. И он неотступно следует ему.

Обрывается жизнь ученого, и его друг академик С. Навашин пишет: «Прославленный естествоиспытатель, более полувека неутомимо трудившийся в области ботаники, исследователь, значение которого было уже давно общепризнано самыми выдающимися зарубежными учеными и обществами естествоиспытателей, Воронин в широких кругах своей родины был в еще большей мере известен как Человек, как обаятельная личность, вызывающая любовь, уважение и удивление окружающих».

Невольно сопоставляешь этот образ с героем недавно увиденного фильма «Анна и Командор», в котором мы встречаемся с другим весьма распространенным типом положительного героя-ученого. Он «горит» на работе, у него нет ни минуты свободного времени даже для того, чтобы поздороваться со своими подчиненными — а он директор крупного института — не на ходу, чтобы приостановиться на минутку и по-человечески протянуть руку и спросить о здоровье (все-таки внимание!). Он, может, и хотел бы, да работа подстегивает: некогда, некогда. Запыхавшись, влетает Командор утром в свой кабинет. И все вокруг него тоже в суете, в спешке, в волнении. Да и как же не волноваться, дело такое ответственное, опыт так рискован — опыт, к которому они давно готовятся. Герой смел, отважен — берет на себя наиболее опасную роль. В искренности его увлечения наукой нет причин сомневаться. Звание академика, которого он удостоен, конечно, радует его, но не это для него главное — новый опыт. Скорей. Скорей. Зрителю передается его беспокойство. Тревога все нарастает. Хочется остановить героя хоть на минуту: подумай хорошенько, поговори обстоятельно с коллегами. Зачем ты так несешься вперед?! Но, может быть, виной не он, а темп жизни побуждает его к этому?

Вот и задумываешься. Ведь фильм кончается катастрофой. Опыт не удался. Осечка, стоившая жизни. Умер очень ценный человек, крупный ученый. Потеря невозместима, по меньшей мере на долгий период. Потеряно и время. Именно время, которым, казалось бы, так дорожил герой...

И тут снова мысленно возвращаешься к герою книги В. Парнес, в известном смысле антиподу Командора. Был бы ли он жизнеспособен в сегодняшних условиях? Мог бы ли он стать образцом для подражания? И в более широком плане — теряет ли ученый, «отвлекаясь» на жизнь, на людей, или обретает?

Так кто же из героев прав — Воронин или Командор?

И другой вопрос: обязан ли ученый, занимающий такое видное место в обществе, быть проводником гуманности?

Я считаю, что сегодня, когда неизмеримо возросла нравственная ответственность ученого, нам особенно нужен такой герой, как Воронин.

И вот он появился в нашей литературе.

Н. Деева,
педиатр.

Москва.

Уважаемые товарищи!

В № 12 вашего журнала за 1975 год в разделе «К 150-летию со дня восстания декабристов» помещена статья Л. Вишневого «Из летописи подвига (Петр Долгоруков и люди 14 декабря)». Статья эта оставляет тягостное чувство. Исходя из бесспорной истины о важности и значимости каждого нового факта, новой подробности, нового освещения событий, связанных с историей движения декабристов, автор обращается к деятельности князя П. В. Долгорукова как историка движения, предлагая «поставить это имя в активный контекст истории декабризма».

Несомненно, вопрос об участии П. В. Долгорукова в создании документальной базы истории движения декабристов заслуживает самого серьезного внимания и изучения. Начало такому изучению в советской исторической литературе уже положено. Но оно еще далеко не завершено. Требуются дополнительные архивные изыскания для выявления всего комплекса долгоруковских бумаг. Их происхождение и судьба во многом еще остаются загадкой. Необходим тщательный анализ источников информации Долгорукова, выявление и отделение серьезных материалов от малодостоверных и совсем не достоверных (к последнему роду специалисты относят, между прочим, приводимые Л. Вишневым детали, касающиеся Пестеля).

Наряду с недостаточной разработанностью вопроса об источниковой основе декабристских публикаций П. В. Долгорукова, с отсутствием их критической оценки не сделано еще попытки и их систематического анализа с точки зрения историографической. Такой анализ невозможен без учета весьма противоречивых идейных позиций Долгорукова. Между тем эта сторона вопроса во многом недостаточно прояс-

яена. Ведь известно, что общественно-политическая позиция Долгорукова во многом определялась не столько демократическими воззрениями, сколько аристократической фрондой, уязвленным честолюбием родовитого эмигранта.

Однако для Л. Вишневого не существует всех этих нерешенных исследовательских вопросов. Он считает возможным произвольно группировать факты, вырывая их из контекста событий, не замечая всех сложных перипетий развития последекабристской идеологии, подчас их игнорируя, подчас вульгаризируя. В угоду предвзятой схеме Л. Вишневого противопоставляет Долгорукова как якобы наследника и хранителя подлинно революционных традиций декабризма такому достойнейшему представителю героической когорты, с честью и мужеством прошедшему через каторгу и поселение, каким был А. В. Поджио. Бесспорный факт сотрудничества, характер которого также ждет еще своего исследователя, П. В. Долгорукова в Вольной прессе А. И. Герцена и Н. П. Огарева служит для Вишневого основанием ставить эти имена в один ряд. Мало того, Л. Вишневский утверждает, что, кроме декабристских публикаций Долгорукова, «заграничному читателю, большей частью русскому эмигранту», была доступна следующая «немногочисленная литература»: «Россия для русских» (!!!) Н. И. Тургенева и «Записки Миханла Фонвизина». Это утверждение не может спасти брошенная несколько ниже фраза, что «только Вольная печать Герцена, статьи и некрологи Долгорукова говорили правду о декабристах».

Правдивость многих публикаций Долгорукова сомнительна. К тому же к 1860 году, когда он только начал свою издательско-публицистическую деятельность, распространение декабристских идей, исследование истории движения, публикация соответствующих документальных материалов получили широчайший размах в изданиях Вольной прессы. Вышедшие к этому времени пять книжек «Полярной звезды», издания, символизировавшего преемственность революционной традиции, с профилями пяти казненных на обложке, самим фактом своего появления служили делу пропаганды декабризма. «Полярная звезда» была наполнена декабристскими публикациями.

К началу 1858 года редакция «Полярной звезды» подготовила и выпустила в свет книгу «14 декабря 1825 года и император Николай», разоблачавшую верноподданническую ложь барона М. А. Корфа, автора раболопной книги «О востестве на престол императора Николая I». Лондонское издание, содержавшее «Письмо к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)» Герцена, публикацию официальных правительственных материалов о восстании 14 декабря и «Разбор книги Корфа», написанный Огаревым, положило начало систематической разработке революционной концепции истории декабризма. Не случайно письмо Герцена и статья Огарева были в 1861 году литографированы студенческим кружком в Москве и в том же году перепечатаны тайной типографией. Оба издания получили широкое распространение среди передового студенчества. Декабристские материалы — статьи, некрологи, документы — публиковались в «Колоколе», а также в «Историческом сборнике Вольной русской типографии» (1859, 1861), сборнике «За пять лет» (1860). Издания поэтического наследия декабристов «Думы. Стихотворения К. Ф. Рыльева» (1860), «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861) предваряли предисловия Огарева, раскрывавшие идейное содержание декабристской поэзии и ее роль в российском освободительном движении. Вряд ли есть необходимость продолжать данный перечень. Следует лишь отметить, что декабристская тема буквально пронизывала пропагандистскую деятельность Герцена за границей, начиная с его первых произведений, касающихся России. Еще в 1854 году он заявлял, что выступает от лица «Руси Пестеля и Муравьева, Рыльева и Бестужева».

Таковы факты. И для того чтобы разобраться в значении декабристских публикаций П. В. Долгорукова, обязателен их точный учет и осмысление. Идеализировать такую двусмысленную фигуру, как Долгоруков, игнорируя его либеральные и конституционно-монархические настроения, ставить его на один уровень с Герценом значит отступать от научной объективности. Там, где проблема только начинается, задача едва поставлена, автором дается совершенно определенное решение; там, где следует поставить знак вопроса, ставятся знаки восклицания. Вряд ли такой облегченный прием служит делу научной разработки истории революционного движения в России.

Е. Рудницкая,
доктор исторических наук.

Москва.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870—1924, Т. 7. Март—ноябрь 1919. Под общей редакцией Г. Голикова. 700 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. И. Брежнев. Об актуальных проблемах партийного строительства. Изд. 2-е, дополненное. 775 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Ненароков. Великий Октябрь: краткая история, документы, фотографии. 239 стр. Цена 1 р. 93 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ветер вена. Сборник очерков и рассказов о людях труда. 344 стр. Цена 1 р.

В. Каверин. Петроградский студент. Роман. 295 стр. Цена 60 к.

Г. Радов. Друг мой, Антон Прокофьевич. Повесть, рассказы и очерки. 608 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. Солоухин. Прекрасная Адыгене. Повести и рассказы. 304 стр. Цена 74 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Белая аруана. Казахские рассказы. Переводы. 471 стр. Цена 1 р. 2 к.

Т. Бреза. Валтасаров пир.—Лабиринт. Перевод с польского. («Библиотека польской литературы») 614 стр. Цена 1 р. 91 к.

Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка во время второй мировой войны. Роман. Перевод с чешского. 463 стр. Цена 1 р. 87 к.

Х. Гойтисоло. Особые приметы. Роман. Перевод с испанского. («Зарубежный роман XX века») 477 стр. Цена 1 р. 85 к.

А. Граши. Горная свирель. Стихи. Перевод с армянского. 447 стр. Цена 1 р. 25 к.

Т. Сухотина-Толстая. Воспоминания. («Литературные мемуары») 541 стр. Цена 1 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Битов. Дни человека. Повести. 351 стр. Цена 71 к.

Времена года. Родная природа в поэзии. 255 стр. Цена 1 р. 28 к.

Ю. Коротков. Писарев. («Жизнь замечательных людей») 368 стр. Цена 99 к.

В. Распутин. Повести. Предисловие С. Залыгина. 654 стр. Цена 1 р. 43 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Афонин. Последняя осень. Повесть и рассказы. («Новинки «Современника») 223 стр. Цена 55 к.

Н. Горохов. Иду с Волги... Стихи. («Первая книга в столице») 64 стр. Цена 25 к.

Б. Можжев. Мужики и бабы. Роман. («Новинки «Современника») 333 стр. Цена 84 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Белов. Рассказы о всякой живности. Предисловие Е. Носова. 159 стр. Цена 50 к.

Г. Волков. Путь гения. Становление личности и мировоззрения Карла Маркса. 270 стр. Цена 57 к.

Меня зовут Коадовальдо Эзера. Рассказы современных писателей Кубы.— Стихи **Николаеса Гильена.** Перевод с испанского. Составление Г. Каминской. Предисловие И. Мотышова. 128 стр. Цена 53 к.

С. Могилевская. Над рекой Утратай. Повесть о польском композиторе Ф. Шопене. 144 стр. Цена 59 к.

С. Орлов. Стихотворения. Предисловие А. Туркова. 143 стр. Цена 33 к.

К. Чудинова. Юности прекрасное начало. Рассказ коммунистки. 158 стр. Цена 49 к.

ВОЕНИЗДАТ

Академия Генерального штаба. Под редакцией В. Г. Кушкова. 278 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Кожевников. В полдень на солнечной стороне. Роман. 472 стр. Цена 1 р. 11 к.

«ИСКУССТВО»

В. Афанасьева, В. Луконин и Н. Померанцева. Искусство Древнего Востока. Под общей редакцией И. О. Кацнельсона. 375 стр. Цена 2 р. 3 к.

Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись, графика, литература, музыка. Под редакцией А. Д. Чегодаева, В. Н. Прокофьева и И. Е. Даниловой. 319 стр. Цена 3 р. 15 к.

С. Михалков. Театр для детей. Сборник пьес. После словие Н. Путинцева. 655 стр. Цена 1 р. 90 к.

А. Федоров-Давыдов. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. 1860—1900. Монография. 71 стр. Цена 30 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатсв**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Пугинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 28/II 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/III 1977 г.
А 09741. Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
Тираж 180.000 экз. Зака. 350.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии №1 ордена Ленина комбината печати издательства «Гадяньска Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01689

Цена 70 коп.

70636